Новый Журнал

№300

Нью-Йорк

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Семьдесят восьмой год издания

Кн. 300 **НЬЮ-ЙОРК** **2020**

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Сергей Голлербах, Марина Гарбер, Елена Дубровина, Мария Рубинс, Владимир фон Цуриков.

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская
Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рудольф Фурман

The New Review, Inc.:

T.Bobrinskoy; T.Chebotareva; S.Hollerbach; G.Glinka; M.Jordan; P.Khlebnikov; V.Kreyd; G.Mesniaeff; A.Nebolsine; A.Neratoff; I.Sikorsky; P.Tcherepnine; V. von Tsurikov; M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW
№ 300, сентябрь 2020
© 2020 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» он-лайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review, 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Дмитрий Бобышев – Из невошедшего. Стихи 5
Владимир Гандельсман – Надпись на книге. Стихи 11
Андрей Иванов – Гапсаль. Рассказ 18
Бахыт Кенжеев – Стихи 36
Алексей Цветков – Стихи 38
Марина Гарбер – Стихи 43
Игорь Гельбах – Опоздавшие. Роман 50
Андрей Грицман – Стихи 131
Ирина Машинская – Стихи 137
Владимир Ханан – Стихи 142
Геннадий Кацов – Стихи 148
Катя Капович – Стихи 151
Леонид Ржевский – Человек, которому было всё равно. Повесть 156
Владимир Яськов – Следы соляных столпов. Стихи 192
Виталий Амурский – Стихи 196
Евгений Коган – Стихи 200

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

К 150-летию И. А. Бунина
Современники о присуждении Нобелевской премии И. Бунину
(*Публ. – Е. Дубровина)* 204
Юрий Мандельштам – Статьи об Иване Бунине
(*Публ. – Елена Дубровина, Мари Стравинская*) 222

А. В. Назарова, М. В. Михайлова – «Милый Фаныч!»
Письма Е. Н. Чирикова к А. М. Федорову 235
Письма Е. Н. Чирикова к А. М. Федорову
(*Публ. – А. Назарова, М. Михайлова*) 245

КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Ренэ Герра – Памяти Екатерины Таубер 280
Г. Евграфов – Пути и встречи Андрея Седых 301
Г. Кацов – Игорь Чиннов: «Нейтронная бомба не тронет меня» 314
Елена Кулен – Иван Елагин. Материалы к биографии 333
Ольга Матич – Саша Соколов. Три поразительных и
очень разных романа 383
П. Н. Базанов – Издательство «Новый Журнал» 405

ЭССЕ. ОЧЕРКИ. ЗАМЕТКИ

А. Е. Климов – История ежегодника «Записки РАГ в США» 415
А. Любимов – Св.-Троицкий мужской монастырь в Джорданвилле. Страницы истории 421
Сергей Голлербах – Вспоминая Р. Б. Гуля 429
П. Глушаков – Виктор Некрасов и «идеологическая бдительность». Неопубликованное письмо 1947 года 434
В. Леонидов – Памяти Евгения Витковского (1950–2020) 438

ОБ АВТОРАХ 440

ЮБИЛЕЙНАЯ КНИГА № 300

«Думаю, что Новый Журнал с полным правом может отметить свой юбилей... Столь длительного издания 'толстого' журнала в эмиграции не бывало», – так писал Роман Борисович Гуль в юбилейной сотой книжке НЖ в 1970 году. Что же можем сказать мы, новожурнальцы, выпуская юбилейный трехсотый номер? Что журнал жив – жив своими авторами, своими читателями. Что он не стареет – и сегодня, как прежде, служит зеркалом литературы многонациональной русскоговорящей диаспоры. Или – повторяя слова основателей НЖ, – что «цель журнала была и остается неизменной – свободное творчество, свободная мысль», что «отстаивая гражданскую, политическую и творческую свободу человека, видя Россию культурной неотделимой частью Европы, Новый Журнал боролся и будет бороться с антикультурой». Да будет так!

По старой доброй традиции, Новый Журнал всегда называл своих авторов «сотрудниками». Мы все – действительно равные, добровольные, бескорыстные трудники во славу великой русской культуры и литературы.

Поздравляем всех новожурнальцев и наших читателей с юбилейным 300-м номером!

Редакция, редакционная коллегия НЖ, корпорация The New Review Inc.

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Дмитрий Бобышев

Из невошедшего

СОЛДАТСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Посвящается В. Уфлянду

Ты сегодня устала. Спи себе.
По уставу
Пишутся письма.
Он приходит обычно к ночи,
Треугольный солдатский почерк.

Полистаешь его у лампы,
Переставишь ее
Поближе.
Ты сегодня устала.
Легла бы, слышишь?

Тундра.
Трудно. Рабочий ветер.
Он настёгивает гимнастерку
Из холста беззащитного цвета.
Это там,
На конце ответа.
Говорят о далеких семьях.
Ковыряют
Мерзлую землю.

Трудно.
Тундра. Идут оттуда
Поздним часом солдатские письма.
Попечалься,
и спи себе…

1956

ФЕВРАЛЬ НА ТАВРИЧЕСКОЙ УЛИЦЕ

Каждый угол на этой уличке,
Затвердившей его ненастье,
Был обшарен глазами колючими
И ошпарен был рифмами наспех.

И прохожий, задумав каверзу
Своему преуспевшему другу,
Замечал, как чудно́ спотыкается
Человек, огибающий угол.

День встречал его светом и холодом,
Как особая форма озноба;
И улыбка была приколота
Справедливой, высокой злобой.

И прохожий, задумавший каверзу
Своему преуспевшему другу,
Никогда и ни в чем не раскается,
Только будет стихом перепуган.

Так кромсать свое сердце наскоро.
Разбегаться в цветах побежалых.
Знать, что если тоска угластая,
Значит солнце в ней дребезжало.

февраль 1956

НЕСКОЛЬКО ПЕРВЫХ ЦВЕТОВ

Тогда, в начале дня, в начале месяца
Я нес к тебе весеннее созвездьице.
Должно быть,
И нелепо, и потешно
Я шел, как с чистой склянкою аптечной.

Ты мыла волосы. Ты не хотела выйти.
Как будто с возрастом,
                как будто можно вырасти.
Должно быть,
                так потешно, так застенчиво
Я нес его в ладонях, словно птенчика.

Весеннее прохладное созвездьице,
Оно ночами
из-под снега светится.
Нечаянно приснится мне.
Нечаянно.
Как ты.
Ах, это всё было вначале.

май 1958

* * *

Со мною девочка идет, Наталья.
Ты словно туфелька, моя Натальюшка,
и словно лодочка, надо льдами –
ты на ледышки, идешь, наталкиваешься.

У школьников в пеналах – марки,
в портфелях мокрые лежат тетради...
Мы школьники с тобою в марте,
на завтраки мы всё потратили.

И улицы для нас проветрены,
начищены, блестят как никелевые.
И все деревья стоят приветливые,
и скоро белые наши каникулы.

О, ракушка на море летняя,
о, как засасывает глубина!
Ты – донышко мое последнее,
откроешься – и нету дна...

И небо – звездами и медузами,
земля – пещерами и дверями
сквозят, просвечивая донизу,
и кажутся совсем дырявыми.

И девочка над миром тающим,
проветренная и сквозная –
ветрами теплыми, налетающими,
и ты просвечиваешь, я знаю!

1959

НА АРЕСТ ДРУГА

Не получился наш прекрасный план,
всё сорвалось... Держись теперь, товарищ!
Делили мы безделье пополам,
но ты один и дела не провалишь.

А всех трудов-то было – легкий крест
процеживать часы за разговором,
мне думалось: ты – мельник здешних мест,
ты – в мельника разжалованный ворон.

Безумного ль, бездумного держал
то демона, то ангела над кровом.
Один запретным воздухом дышал,
орудовал другой опасным словом.

За это – а за что тебя еще –
и выдворили из полуподвала,
и – под замок. Жить, просто жить и всё,
оказывается, преступно мало.

Виновен ты, что не торчишь у касс,
что чек житейских благ не отоваришь.
И, веришь ли, впервые на заказ
пишу тебе – держись теперь, товарищ.

1970

ПОЛЬШЕ

Бравурно говорлив, чернокрылат и лаков,
жемчужную картавинку рояль
пророкотал и выплеснул, восплакав…
Но благородный звук никак не окрылял
ни «Польшу нежную, где нету короля»,
ни бурно негодующих поляков.

Увы, не волновал блистательный клавир
ни прелестью прохлад, ни прелью жара,
которыми он Истину кривил:
заполонил эфир как раз, когда Варшава

белками, бедная, от немоты вращала.
И плыл аккорд по клавиши в крови...

Конечно, под прямым присмотром сюзерена...
Но – свой же, свой! – на марсовых полях,
чтобы страна не стала суверенна,
орла когтит орел, и с ляхом бьется лях.
– Тадеуш, ты хорош не тем, что ты поляк,
лишь – ежели мышление созрело!

Виновен ли при том со-братственный народ?
В другом бараке общего режима
ярмо ему больней и дольше трёт.
Но, чтобы Музы ввек беда не раздружила,
наш дивный Мандельштам, свои распялив жилы,
о Польше пел, небесный патриот...…

Всё той же властию неправедной замучен...
Виновен ли со-ангельский ему
со-херувим в лазури благозвучий,
что музыка его маскировала тьму –
прославленный Шопен – куда зовущий?

Хотя бы в этот час чахоточно зардейсь!
Не отдадим серебряного дара!
И дорог мне поляк, но не гордец.
Скорее ты со мной, гордячка, солидарна,
пока расстрелянною шубкой смотришь странно
в сестричестве растерянных сердец.

Милуоки, дек. 1981

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ИМПЕРИИ

Ну как не помянуть Большого брата,
когда его недрёманнейший глаз
влипал в окно с огромного плаката,
на весь фасад, с изнанки зная нас.

Но для тебя, вольняшки и придурка,
рассвет бывал совсем иным чреват:
гремел в окне наружный репродуктор,
в башку вбивая звука мегаватт.

Как в шесть утра: «Проклятьем заклейменный»
сквозь две подушки на ушах «Вставай!» –
прогаркнет, поневоле к миллионам
таких, как ты, идешь на Первомай.

А помнишь Ноября промозглый ветер?
Ты держишь Пельше, от своих отстав.
«Товарищи, ряды свои проверьте», –
распорядитель тянет за рукав...

Почтовый ящик! От таких подальше...
Колосья колят Мировой кочан.
И ты полюбишь на ходу поддавших
родных, с утра под мухой, заводчан.

Вперед нельзя, и напирают сзади,
и выход вбок закрыт грузовиком.
Что делать с Пельше? Выбросишь – посадят...
И давит балерун броневиком.

На отщепенца здесь идет облава.
Всё в кумачевой и твоей крови:
и «С», и «Л», и «А», и «В», и СЛАВА
на министерствах Правды и Любви.

1984

ЛЬВУ ДРУСКИНУ

В последний летний теплый день года,
когда уже в саду совсем осень,
мы вспомнили о дне другом, зимнем,
до праздников примерно дней за семь.
И дров-то будь здоров брала печка,
горячий нижний свет лила в лица,
и дня хватало нам вот так, с верхом,
чтобы поймать, хоть раз, взгляд друга...
С утра затопишь печь, глядишь – вечер,
и в вечность наш денек уж весь вышел,
и лыжи не нужны. Ну дай выпить
за тот последний теплый день года.

1970

Владимир Гандельсман

Надпись на книге

* * *

когда я жил ее любя
и с нею слитно
я повторял внутри себя
свою молитву
не дай отчаяться строкой
и поразиться
что кто-то дольше чем другой
под небом длится
не дай ей смерти никогда
чтобы на свете
она осталась навсегда
не дай ей смерти

* * *

Идя из школы музыкальной,
где пруд зеркальный
(еще сонатное анданте
как отзвук «данте»
в ушах звучало, но стихая),
в начале мая
прозрачный свет неимоверный
я встретил вербный.
И не было ни ноты дальше
без капли фальши.
Летали в небе жизни птичьи,
но Беатриче
уже исчезла (вновь соната...)
в огне заката.

* * *

Небо звезд ли, микроны
мги, листва ли сыра и промозгла...
Но творение кроны
человеческой – мозга –

вовсе чудо, Всевышний.
Как Ты смог его преумножить?

Ведь еще непостижней
это всё уничтожить.

Что ж тут странного, если
день сегодня светлей, чем обычно,
и легко мне, и есть ли,
есть ли я – безразлично.

Под листвою, рожденной
утром, лист лежит прошлогодний,
бездыханный, придонный,
жизни брат бесподобный.

ДЕНЬ

Кате Капович

Торопясь, за ступенью ступень,
дверь парадной...
Открывается день
в новоро́жденный воздух отрадный,

в ярко-синее небо, в сирень,
в свет отвесный,
в бестелесную тень,
в трепет тени куста бессловесный.

Краткий миг – он с тобою не врозь,
беспредельный,
точно кто-то насквозь
проницает сосуд твой скудельный.

И тебя – я нечаянный сбой улучу
стихотворного метра –
держит, словно свечу,
прикрывая ладонью от ветра.

* * *

Наизнанку эдем
памяти зло
вывернут. Ком
в горле. Былое с тем
только светло,
с кем незнаком.

За душой ни гроша.
Что ты темнишь?
Выйди на свет.
Крошечная душа
в пятки, как мышь,
убежала – и нет.

Радости имена
в пух и прах
разлетелись в пути.
Пришли времена.
Стоят в дверях.
Не дают пройти.

В ТРЕХ ЧАСТЯХ

Алле

как ни называй их
иберийцами
римлянами
италийцами
хоть патрициями
хоть свиными рылами
всяко ходят скопом
с копьями
с топотом пульса в крови
в поту
вброд
по горло топями
или на плоту
багровы багры
крики
вдоль по реке
ночью жгут костры
и точат когти
и висят в раскоряку скотьи
туши на крюке

но не смрад силы
не тучи
их фаланг не огонь
не стоны агонии
в смертном позоре

лишь имена певучие
Юлий
Эмилий
Клавдий
Помпей
Антоний
остаются
это путь а не случай
истории
оставлять звук имен
не мольбы тех кто пленён
и не прах
того кто сожжен
и не горе
поруганных жен

да и что из Альпийских
из Тирренского
Ионического
и Адриатики
из слепящего списка
извлечешь
кроме блеска
их величеств
гор
и моря
и прядей дриады
и любви двух
отроков
отроков вдох и выдох
обмороков
сердцу тесно
и другое ему соприродно
и зовет юницу из оков
то одна песня
то другая поочередно

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

О сердечной тяжести
или радости, дочь,
о гудке, огласившем ночь,
о его протяжности.
Упадет звезда – не моргну.
Всё навеки проявлено.
Небо гарью приправлено –
надышаться им не могу.
Это детство мое с такой
нежностью приголублено,
точно там и полюблено
то, что станет тобой.

ЯБЛОНЯ

Яблоня в заоконной
тишине изнутри
каждой гирьки зеленой
мне глаголет: смотри.

Ведь пока голосами
птиц колеблем рассвет,
весом быть и весами –
лучшей участи нет.

Зарождается запись
в отдаленье, как гром,
как замес и как завязь
с сердцевидным нутром.

Что же так заслоняло
раньше зренье мое?
Разве яблони мало,
чтоб смотреть на нее?

* * *

Деревья в сговоре, как близкие
неизлечимого, и смотрят, утешая
тебя, поверх тебя, в луга Альпийские,
цветущие, и боль, пусть небольшая,

но есть, но ест, как эта роль смиренца
непримиримого… Молчу, не спорю,
и не смотреть поверх, а насмотреться
я вышел сквозь деревья к морю.

За мальчиком терьер ушастый
бежит то нехотя, то припуская…
Не подышать я вышел – надышаться,
и в этом соль, и в этом соль морская.

ОНА

Из какого полумрака ты
вышла в солнце зимнее и невысокое,
сотканная из какой беды,
из какой печали сотканная –
за одно мгновенье до весны
в тишину февральскую, беззвёздную,
созданная вся из белизны,
зрения во славу созданная?
Не одно из тысячи начал,
но – единственное. Более подробного
облика любви я не встречал.
Никогда и ничего подобного.

Там текла река – стекла литьё –
в арку Троицкого, точно в залу тронную,
но какая-то беда свое
кровное брала украдкой темною,
душу унося в другую даль,
проча ей тяжелую и бесприветную,
пригнетенную к земле печаль,
кем бог знает заповеданную.
Словно бы на свой закат спеша –
птичья легкость ли ей опостылела? –
неба не осилила душа,
не превозмогла и не осилила.

ХУДОЖНИК В СВОИ 85

1

Лодка сна причаливает.
Люлька. Ножки
нашаривают шлепанцы.
В открытое окно на его нюх летят
розы, мальвы, пионы и флоксы.

2

Пирс, куст рябины
стали теми, кто их видел,
но больше не видит, умер.
Старик смотрит: на отмели
мальчик строит песчаную крепость.

3

Он меняет местами чайник и ложку,
ложку и хлеб, хлеб и соль,
соль и вазу, вазу ставит на место мозга
и, взыскуя порядка,
обносит ее вкруг стола.

4

В соборе его тела,
как удары колокола,
падают тяжелые капли слез.
Он – и Господь, и колокол, и молящий.
Он – апокалипсис себя.

5

В лунном свете в ночной рубашке
он стоит у окна.
Подплывая тихо,
жена берет его на руки.
Убаюкивая, несет в постель.

Нью-Йорк – Санкт-Петербург

Андрей Иванов

Гапсаль

Хаапсалу. Август. +24°С. Безнадежно пытался сфотографировать паутину на гостиничном окне в коридоре. Сложная структура, двойная система. Три паука. Запутался в переходах, забрел на третий этаж. Финны двери оставляют открытыми. Жарко. В одном номере увидел на столе выставку бутылок. Обалдеть, как пьют! Женщина сидела и курила. В глазах прострация. Гулял вокруг озера. Задумался над определением Николая Кузанского: *Бог – это животворящее дыхание бездны*. Думал об этом, о ветре иного, о нити, на которой барахтается паучок, спускаясь в бездну. Долго и очень медленно шел, глядя на озерную гладь. Яркое солнце. Серебряные блики вспыхивают. Вода словно горит. В какой-то волшебный миг я поплыл над водой, как огромный пузырь, который мы видели на прошлой неделе в сквере Таммсааре.

Под большим каштаном в самом начале аллеи устраивал представление иллюзионист с серебряным лицом в голубом костюме; он колдовал изогнутым прутом с петлей на конце, окунал петлю в ведерочко с мыльной водой и вытягивал, как рыбак из озера, небывалой величины пузыри; перед ним стояла очень большая черная шляпа (как из сказки Туве Янссон). Поодаль настраивали аппаратуру индейцы; их музыка заиграла, совпав с появлением особенно крупной сферы, переливавшейся на солнце не то как слюда, не то как бензин в воде. Пузырь рос и рос, вытягивая и искажая все вокруг – и прохожих, и машины, и трамвай, и индейцев в перьях, – это было подлинное чудо! Казалось, наконец-то из дрянной проволочки в мир просочилась галлюцинация – и танцует, танцует, затмевая собой всё! Даник весело прыгал и хихикал так, словно ему было пять лет. Пузырь то растягивался на полтора-два метра, то складывался, то летел по ветру, будто заигрывая и уворачиваясь от рук. Иллюзию осмысленного поведения пузырю придали нудные флейты индейцев (раз в году и палка стреляет), они хорошо подходили его плавким движениям. Так он просуществовал довольно долго. Прохожие останавливались. Иллюзионист сам с удивлением смотрел своему творению вслед. Я дважды выгребал из карманов мелочь, бросал в шляпу, а пузырь плыл и плыл, меняя форму, искажая мир...

* * *

По России гастролирует странный учитель: за гроши читает школьникам лекцию о «распятом мальчике»; керосинка коптит небо, ползет к Средиземному морю, а я гуляю по заброшенной гапсальской гимназии; посреди пыли, в пустом коридоре, в конце которого хлам, рейки, вдоль стен на полу кучи обвалившейся известки и облупившейся краски.

Я сижу с мешком, извлекаю из него себя – косточка за косточкой, – раскладываю на столе, делаю надписи, привязываю проволочками бирки, ставлю крестики, заполняю бланки – ты же этого хотела.

Меня сюда заманила собственная тень, искавшая в пористом дыхании кирпичной кладки спасения от ослепительного солнца. Стена казалась живой. Отупев от солнца, шлемиль свернул во двор. «Здесь будет прохладней», – сказал он. Я пожал плечами и пошел за ним. Смотри-ка, а там черный ход! Не ходи, подумал я, но было поздно – шлемиль открыл дверь, вошел в затхлый сумрак. Мы долго, с облегчением, пробирались по темному, пропахшему сыростью коридору. Кое-где висели стенды с фотографиями и картинками учеников. Кажется, еще два года назад гимназия функционировала. Лица на портретах свежие, ни тени, ни штриха советской жизни на них. Всё иначе, как-то свежо. Вспоминались те, что были в нашей школе; я приходил в школу слишком рано и тоже бродил и рассматривал стенды; там всё было иначе – всё вызывало волнение, на каждом лице лежала печать ответственности; люди на портретах были серьезными, они смотрели с боязнью и готовностью к чему угодно. А на этих стендах лица светились надеждой, ожиданием жизни, их ничто не тяготило.

Я теперь всё время думаю о том, что всё кончилось, ничего больше не будет, человек подрубил сук, на котором сидел, – от палеолита до наших дней; надежды были напрасными. Может, в жизни этих детей, замерших на полинялых от солнца фотокарточках, всё удалось? Хорошо бы хоть на несколько лет забыться... Слыхал от моряков легенду: якобы перед штормом или цунами случается несколько дивных спокойных дней, когда время длится бесконечно, как в сказке, – будто стихия, зная о скорой гибели живых существ, дает им то, что вскоре отнимет.

Лестница без перил. Не спеша, прислушиваясь к эху шагов и собственному дыханию, поднимался, пока не вошел в актовый зал. Здесь ничуть не легче. Плотный душный воздух. Все окна были зашторены, одну фрамугу забили картоном. Зато тихо.

– Хорошо, – сказал я негромко, – очень хорошо.

* * *

Третий день хожу в эту гимназию; беру с собой Диккенса, но читать почти не получается – мысль убегает и плетет свое. Встаю, прохаживаюсь, осматриваю классы. Не меньше часа я провожу в пыльном кабинете директора. Оказывается, школа не так уж противна, когда в ней никого нет. Я бы мог работать директором пустой гимназии. У меня неплохо получается. Сижу в кресле, закинув ноги на тумбочку, читаю Bleak House. Не читается. Что ж, совершаю обход моих владений. Хожу по коридорам, осматриваю пустые стены с важным видом, сдвигаю стулья и парты, колупаю старую шпатлевку. Нашел синий халат, повесил его на плечики и отдаю ему приказы, выговариваю... Настоящий директор! Школа – ничего в ней страшного: здание как здание. И все-таки есть что-то таинственное: шорохи, поскрипывания. Невидимые духи ее точат.

Покурил здесь привезенный из Таллина гашиш, тяжело взгрустнулось, думал о разном: представлял горы, реки, ледники, космос, старался увидеть те же картины, что вызывал в своем воображении, когда мне было десять лет... Я тогда сидел за предпоследней партой первого ряда в кабинете ГТО (отвлекался на стенды с политической информацией). Вместо гор и ледников мне является старая уборщица, которая была в нашей школе техничкой, а много лет спустя убирала офисы в астрологической конторе Окстьерна. Она была немногим старше моей мамы и проживала в том же района, где и мы (я называл его мифологическим районом: ул. Кунгла, бар «Ильматар», «Калма-сауна»* и т. д.). Они с моей матушкой хорошо знали друг друга, но в конторе Окстьерна эта уборщица меня не признавала; в своей скромности она достигла аутизма: она никого не видела, тихонько скользила с тряпкой, собирая легкими прикосновениями пыль, без шороха, еле слышная, незаметная, как тонкое облако, прикрывающее солнце, проплывала по коридорам и лесенкам, стараясь не сдвинуть ничего лишнего. Мама, давно ровняясь на нее, рассказывала про ее тихое существование, я подозревал в той религиозность, но мама ни разу не обмолвилась, была ли она верующей. В конце концов, так ли важно быть верующим, чтобы прийти к смирению? Последние годы они сблизились как никогда, искали одни и те же места, расходились, сходились, встречались, созванивались, держались друг дружки и стали сильно похожи внешне.

Недавно я снова видел ее мельком – усталый разбитый человек, – и теперь она не идет из головы.

Синий халат... сорвал со спинки, выбросил! Не помогло...

---

* В финно-угорской мифологии Кунгла – сказочная страна, Ильматар – богиня воздуха, Калма – богиня смерти и распада. (*Ред.*)

* * *

В 1995 году, незадолго до того, как мир тронулся и завертелся быстрей, у меня было предупреждающее видение. В Национальной библиотеке на третьем этаже я читал «Портрет художника в юности» в переводе Богословской-Бобровой; вдруг всё исчезло: библиотека, полки с книгами, огромные окна, крыши за ними, столики с лампами – всё померкло, я увидел космос, в котором копошились тела, они плыли сквозь черноту, содрогаясь. Это было похоже на ожившую фреску «Сотворение Адама» (только всё было во мраке). Меня уносило в какую-то дыру, мама пыталась меня удержать. Все происходило в страшной спешке, во всем была судорога. Вокруг нас было много тел – настоящий поток материи. Видение походило на серию вспышек (все-таки время и пространство не текут плавно, это больше похоже на спазмы). Я назвал то видение Разлукой. Тогда мы с мамой расстались и с тех пор не встретились, и никогда не встретимся, сколько бы ни сталкивались на улице, в тумане или на гололеде, в тополиный пух одетый жаркий день, на лестничной площадке или в коридоре поликлиники; сколько бы я ни ходил ее встречать на автобусную остановку, мы не встретимся никогда, потому что нас разорвала сила, которая превыше земных законов, сила, которой люди подбирают всякие наименования: судьба, рок, предначертание и проч.; эта сила швырнула ее в направлении одной бесконечности, а меня засосала бесконечность другая – встреча невозможна.

Где-то она теперь убирает...

Я не могу изгнать воспоминания о ее скорбной фигуре, не могу заслонить ее лицо ширмой вымысла. Вижу ее улыбку, она напоминает мне о горьких временах, перенесенных моей матерью. Нет ничего, что искупило бы эти страдания. Боль, которую я нанес моей матери, ничем не искупить. Я не в состоянии создать роман, который освободил бы меня от этих мучительных уколов совести; я бы хотел написать хотя бы одну книгу, в которой не было бы этого чувства. Если бы я написал такую книгу, это означало бы, что я прожил довольно долгий период времени без этих болезненных уколов совести, без боли и стыда. Но я не имею права на это; меня ничто не очистит от вины за боль, которую я нанес матери, поэтому сама мечта о такой книге, в которой не было бы стыда, боли, страха, – это мечта труса. Мечтать о таком романе, в котором всё чисто и гладко, для меня недоступная роскошь; я не напишу такого романа, потому что не исправлю ее жизнь. Мы будем вечно вращаться – стремясь и отталкиваясь, сближаясь, отворачиваясь, удаляясь, снова устремляясь навстречу и улетая в обратном направлении – по болезненно расшатанной эллиптической орбите. Мне стыдно, что я не в состоянии побороть это чувство жалос-

ти, оно унижает меня, но я заслужил это унижение, потому что мы живем в связке – от нее ко мне всё еще протянута нить, которая никогда не оборвется, даже когда один из нас... Я помню ее скрюченные руки – они выворачивают мне душу, – эта старушка и моя мать возвышаются надо мной и над моим искусством, оно не стоит ни одного вздоха этих женщин. Эти мысли сильнее меня; я могу только терзаться и презирать себя за терзания. Об этом никто не должен знать; о том, как я иногда сижу и слушаю любимые мамины пластинки и думаю о ней; я думаю о том, что никак не могу встретить ее, мы с ней обретаемся в разных мирах, само время для нас движется не одинаково.

Я сидел там с выключенным телефоном и думал о моем сыне, думал о наших поэтах и писателях, в частности, об одном эстонском писателе, который раз в пять лет летает в Гонконг, где какой-то целитель сдирает с его спины несколько слоев кожи, очищая его от токсичных веществ. «Несколько лет после этого чувствуешь себя молодым, – задорно говорил писатель, – бухаешь, грешишь, и опять летишь к нему, чтобы с тебя содрали шкуру.» – «Сильно болит?» – «Ой, очень сильно, долго, но потом – как заново родился!»

Мысли текли свободно и медленно; я смотрел на поблескивающий кусочек разбитого стекла, что торчал в форточке окна, – он был рубцеватый, покрытый слоями пыли, он преломлял солнечный луч, светился то синим, то красным, то совершенно инопланетным цветом, он был как кусочек витража.

* * *

ручей

По пути из Токио в родную деревню на холме своего детства Мицусабуро* обнаруживает родник: он смотрит на бурлящий ключ и лужицы, на камешки и струйки бегущей воды, и понимает: родник не изменился (даже камешки тут, кажется ему, лежат так же, как двадцать лет назад); он пьет воду из него, и ему кажется, будто вода – та же самая. Я вспоминаю, как работал вахтером на мебельной фабрике с одним пожилым эстонцем (Айн Тамм), высланным во время Большой мартовской депортации в Омскую область с матерью и старшим братом (отца расстреляли, старший брат умер от коклюша в товарном вагоне по пути в Омск); эстонец слабо говорил по-эстонски, зато превосходно знал русский и был большим поклонником

* Протагонист романа Кэндзабуро Оэ «Футбол 1860 года».

адмирала Колчака (он говорил, что Колчак – его герой), и даже пел песню «Гори, гори, моя звезда» по вечерам, когда уже все сдали ключи и на территории, кроме нас и собак, не оставалось никого. Айн рассказывал, как трудно ему было добиться реституции своей земли под Тарту. Три года он ходил на бюрократические процедуры, где ему продували череп таинством закона о собственности и историческим произволом в обусловленном процессуальном порядке регистрации права на наследование земельного участка через восстановление попранной оккупационными силами справедливости. Право на наследование, говорили ему буквоеды, необходимо доказать. Как мог он доказать свое право? Справкой о насильственной смерти собственника, отвечали крючкотворы. Кто был собственником? Отец, расстрелянный органами НКВД. Ага, говорили канцелярские крысы, необходимы архивные данные. Архивные данные были засекречены, свидетельства о смерти матери и брата ему пришлось заказывать из России, чернильные души которой потребовали от него, теперь лица иностранного государства (Айн получил гражданство), обоснования на запрос подобных документов, которые, утверждали кабинетные гусеницы, ввиду того, что Эстония – иностранное государство, могут обладать политической функцией, а посему стоят дороже. Чтобы раздобыть деньги, необходимые для покрытия расходов, связанных с кабинетными приключениями, Айн работал в двух местах. На каждом дежурстве, как заклинание, он твердил, что вернет землю, на которой жили его предки, и – *назло коварному соседу*, шутливо цитировал он, – отстроит дом таким, каким он его помнил. Помимо сложностей, связанных с доказательством того, что он остался один (были еще какие-то родственники, но совсем дальние, и – *холодно встретили*, говорил Айн, *дали понять, что я – чужой*), он столкнулся с множеством других препон, которые чинили ему местные чинодралы, по совершенно неясной ему причине, так как на его клочке земли не было никаких построек, кроме барака, в котором жили самовольно вселившиеся, похожие на блаженных бродяг музыканты (впоследствии добившись своего, он их не выгнал). Айн бродил по тартуским землям и ничего не узнавал. Неудивительно, ему было четыре года, когда их выслали. Долго ходил, пока не набрел на ручей, сел возле него и вдруг вспомнил, как они с мамой сидели возле этого ручья! И заплакал – *и от счастья, и от горя*, и долго плакал... Он плакал и тогда, когда рассказывал мне эту историю...

(В обоих случаях – японца и эстонца – вода помогает воссоединиться с родиной, помогает вспомнить.)

* * *

Все мои мысли в этом пустом здании обнажились, и процессы, которые прежде мне удавалось от себя самого скрывать, проявились; я услышал, как во мне вращаются мысли, как работает механизм, их порождающий, как паутинные плетутся кружева – те самые, при обычном ритме жизни неуловимые; поднимаюсь по тенистой лестнице и улавливаю легкое жужжание мозга, который нашептывает: *авось где-то там, пока я по лестнице иду, провернутся волшебные жернова и кто-то кому-то скажет, передаст мою книгу, замолвит словечко, вольет ловкую похвальную фразу в чье-нибудь чуткое ухо, шепнет мое имя, и пустится оно мухой летать по чьей-то голове, заводя скрытые от меня пружинки;, сейчас я хожу, считая ступеньки, вверх, вниз, вверх, вниз, а кто-то читает мою книжку, кто-то приближается, строка за строкой, к финалу, готовя рецензию или письмо, которое всё изменит на шахматной доске в мою пользу*... и т. д., и т. п., – едва заметный скулеж ржавого механизма! Где-нибудь посреди шумной улицы, в пылу жизни, я бы не услышал журчания позорной струйки, вымаливающей мне благостей у неведомых теней. Вот он я какой, подумал я, попрошайка в душе, на коленках успех себе вымаливаю, вытачиваю воровскую надежду на помилование, авось амнистию дадут, скостят мне эти муки, накинут премию... У кого я вымаливаю премию? У каких теней? Куда струится такой ручеек? Страшно подумать... Гасить! Заглушать трезвостью такое журчание! Нет надежды! Нет и не может быть!

Коридор вывел в небольшой холл; звук шагов стал раскатистый и уверенный – под ногами появилось битое стекло, оно оркестром звучало в этих стенах! Ох, как красиво хрустело оно под моими ногами! Какая музыка! Я подумал, что дни, когда мне удавалось покурить или поесть грибов, делались просторней, как этот холл; да, обычные дни – это узкий коридор, череда дверей, однообразие, суета, встречные люди, узкий транспорт, багаж, багаж, узкие серые дни, а холл – это день, когда ты покурил, в такие дни и ловишь и истребляешь в себе всякую дрянь.

Долго не мог уйти из холла. Курил, слушал, как крошится стекло под ногами, как хруст разносится по залу, как эхо, дробясь на сложные кристаллы, фракталами разносит звук по стенам, будто вешая на них стенды с картинками и фотокарточками. Я закрыл глаза, представлял панно, мозаику, барельеф и даже вращающийся калейдоскоп: стекло ломалось, в моем воображении появлялись глаза, улыбки, сцены из прошлого, поцелуй, быстро вращающаяся бутылочка, сухие шершавые губы эстонской девочки по имени Анжелика, с которой мы целовались в пионерском лагере имени Панфилова в 1982 году, –

ради нее я забросил чемпионат по футболу, я убегал с ней в елки, сидел на берегу мелкой речушки, качался на качелях, пускал пузыри, обнимал ее, целовал... у нее были золотистые волосы, слегка вьющиеся, бледная кожа, канапушки, маленькие смеющиеся голубые глаза, маленькие губы, слегка выпученные, они походили на подсохшие дольки мандарина...

* * *

Я тут как будто и не в городе; за окном такая тихая улица, туго натянутая озерная гладь, птицы на камнях, и по променаду отдыхающие ходят, совсем неслышно катится инвалид...

* * *

Жара. Испепеляющая пронзительная ясность. И духота. Как в Херсонесе. Мать была тайно религиозной. Она никому о своем увлечении не говорила. Собирала книжки. Ходила на встречи с бабками. И меня водила. Святой Климент Римский был ее кумиром. Она возила меня в Херсонес. Остались две фотографии. Я уничтожил много фотографий; из сохранившихся мне особенно дороги две, что сделала мама в Херсонесе в 1983 году: я стою под отлитым из турецких пушек колоколом (расставив широко руки и ноги – homo vitruvianus), другая – возле колонны древней разрушенной базилики. Когда мы гуляли по музею и полису, я вспоминал миф об аргонавтах, отчетливо помню, как сказал маме: «Я хочу поехать в Грецию! Мама, мы можем поехать в Грецию?» Она засмеялась. «Ну, может быть, когда-нибудь», – сказала она уклончиво. Она заводила меня в церковь, что-то пыталась там узнать; в музее расспрашивала об останках святого Климента, ей показали какую-то мраморную скалу, она к ней прикоснулась и попросила меня, умоляюще глядя в глаза, чтобы я тоже прикоснулся к «святыне». Вернувшись, я врал, что побывал в Греции; показывая фотографию, где я поднимаюсь по ступеням античного театра (эта фотография теперь утеряна), я говорил, что это древнегреческий Афинский театр, никто не мог с этим поспорить, даже те, кто меня жгучей ненавистью ненавидел, злобно смотрели на фотографию, фыркали и в худшем случае ворчали: «И как вас вообще пустили за границу», на что я отвечал язвительно: «Мой папа в МВД работает» – на это никому нечего было сказать, и моя ложь текла дальше – из уст в уста; на меня смотрели, как на *человека, который побывал в Греции*.

Мы живем в очень иллюзорное время. Те руины мне кажутся останками подлинной цивилизации.

Зимой 1993 года я начал писать роман под названием «Аргонавт и

Гидра», который сжег на побережье Таллинского залива весной 1996 года; пройдя сквозь огонь, Аргонавт вышел из пепла в прошлом году.

* * *

Жизнь – это заблуждение.

Когда ты уже не можешь переносить явственного присутствия духа и бесконечность находишь повсюду, ты можешь принять снотворное или наркотик, барбитурат, от которого уснет твоя плоть, твой мозг забудется. После смерти тела забытье невозможно. После смерти есть только свет, ясность; отвлечься невозможно – ты видишь источник и бесконечность, и ничего боле.

Что такое жизнь? Что такое человек?

Ответ: забытье, передышка.

Есть духи, они находятся за пределами круга жизни, вне всего, вне материи и пространства, вне времени. Они пребывают в бесконечности. Дух бросается в материю тогда, когда ясность источника становится непереносимой; дух бросается в море материи, чтобы забыться, искупаться в жизни, нырнуть в нее, стать кем-то, забыть свою ангельскую природу и бесконечность.

Какая ирония! Мы, аргонавты, ищем в жизни пробуждения, ищем воспоминания о жизни вечной; мы, поэты, грезим тем, что было (лермонтовская грусть щемит сердце). Зачем? Мы же бросились в жизнь, чтобы не помнить, чтобы хоть чуть-чуть передохнуть от вечности.

* * *

Облюбовал себе классную комнату, где не так жарко, сижу. Представляю, как я выгляжу за этой партой. Сколько всякого шороха, сколько пыли... Но какой покой! Во всяком случае, можно делать записи. Поскрипываю ручкой; я сам не более, чем козявка, тот же паук. Никто не мешает плести паутину. У меня с детства тяга к поиску укромных уголков. В этом деле меня трудно превзойти. Помню, что я обустраивал по-всякому такие места. Носил туда вещи. Самым интересным предметом были большие стенные часы из бухгалтерской конторы, в которой убирала моя мать; я их оттуда украл и повесил в бомбоубежище (которое мы оккупировали). Я сидел там и слушал во мраке часы, они щелкали, стрелки за что-то зацеплялись, я слушал этот звук, он меня сковывал и уводил, связанного, по коридорам лабиринта, – так я обнаружил, что время бывает картонным. Снова вспоминал тот пузырь, он тек в моем сознании, как вода.

А что, если тут сделать чучело из моей одежды, сидящим за одной из парт? Собрать некое подобие меня: нога на ногу, согнулся над блокнотом с карандашом в руке из набитой песком резиновой

перчатки? Мысль эта была молниеносной, но настолько яркой, что я поморщился, как от подлинной вспышки.

Я бы хотел, чтобы с меня содрали шкуру, да побольше.

Я снова думал о писателе, который ездил в Гонконг.

«Хорошая процедура. Если хочешь, дам тебе координаты этого массажиста-целителя. Будешь в Гонконге – зайдешь, не пожалеешь.»

Пошутил, наверное.

* * *

Кто-то поскребся. Жук появился. Вполз в полоску солнечного света на полу. Глаз долго склеивал трещины и узоры плохо зашлифованной замазки. Полосы напоминали пашню, ручьи, сварочные швы, кору деревьев. Может быть, провалился в сон на несколько минут. Жук полз по свету. Беззвучно (значит, скребся кто-то другой). Жук плыл. Свет был ярким, ослепительным. Отсвечивая... жук плыл в пламени. Теперь я не один...

тсс щелк тсссс крок крок фрррр
фрррр тсссс чук
харк-харк

* * *

Мы с жуком долго оставались в пустой классной комнате одни. Солнечный день стоял к нам боком – как водитель автобуса, который вышел покурить перед отбытием, стоит и курит, не глядя на вас. А потом он пошел, сел, поехал, этот солнечный, ароматный, пылью напудренный день. Гладко и беззвучно, день катил мимо. Газетный киоск – сквозистый, стеклянный, веселый газетный киоск на колесиках – вот каков этот день!

Я взял жука на ладонь и сел за парту. Выбрал ту, вторую по центру, за такой я сидел в начальных классах, я хотел ощутить себя ребенком, не подростком – ребенком семи-восьми лет. Дал жуку сползти, он поместился в выемку для ручек и карандашей, там и успокоился.

* * *

Есть много забытых авторов – тех, кого совсем никто не перечитывает; чтение их книг похоже на посещение заброшенных зданий, посещение забытых островов, воспоминание людей, которых, скорей всего, никто не вспоминает.

* * *

Я укрылся в этой заброшенной школе, потому что нигде не получается побыть одному, я укрылся в этом затянутом паутинами здании,

потому что здесь нет зеркал, и в стеклах и полировке шкафчиков нет моего отражения, – всё покрывает пыль; хочется побыть одному, инкогнито, в разреженной тишине посидеть на скамейке, ни о чем не думая, просто глядя вдаль, или на озеро, посмотреть на прогуливающихся по променаду, пройтись самому, шагать без цели, прислушиваясь к тому, как позвякивают замочки на сандалиях, – иногда мне удается идти так, что замочки звякают в такт со скрипом уключин, и это меня почему-то радует. В гостинице даже аппарат с шоколадками и содой меня встречает моим покореженным призраком; я иду по коридору и вижу, как навстречу мне в овальном зеркале движется мой вытянутый двойник; в ресторане в каждом приборе есть моя рука, в каждой эмалированной крышке кривляется мой гиньоль; даже в соуснике... даже в чайной ложке какое-то шевеление...

* * *

Снова думал о писателе, который летал в Гонконг, где ему со спины сдирали кожу...

Да, я бы тоже хотел, чтобы с меня сняли пару слоев...

Черт возьми, пусть сдерут вместе с кожей и жесты, и мимику, и привычки, и память, и само свойство запоминать и записывать, само призвание пусть сдерут тоже. Эти стандарты... ходить в пиджаках, быть кем-то, притворяться, что у тебя ALLES in BUTTER! Строить из себя интеллектуала, изображать мыслителя, напускать писательский вид... быть так называемым *культурным человеком*... Нет, черт возьми, культура – это тюрьма, а культурный человек ходит по струнке и соблюдает пенитенциарный регламент и предписанные экзекуции посещает строго по списку. Но искусство – преступление! Взлом! Нарушение регламента и границ. Бунт. Контрабанда! Хулиганство!

Я бы заказал такую операцию: сняли бы с моей задницы кожу и вместо лица приживили, дабы каждый встречный смотрел и видел: вот идет жопа. Rejoyce, and be exceedingly bad!

Нет, не об этом я, конечно, думал...

Я думал о том, что все-таки кривил душой, когда говорил Руперту и Адаму, будто все писатели достойны равной похвалы и хорошей зарплаты, – нет, я так не считаю, это не так.

* * *

Я в этой школе, потому что тут тихо. В нашем искусственном до канцелярской миниатюрности мирке, куда ни пойдешь, всюду музычка. Лучше сидеть здесь – среди мух и пауков – в полной тишине (не считая жужжания, нет, жужжание – та же тишина, жужжание мух укрепляет тишину, вьет ее и делает плотней).

Я буду думать об уборщице, или о кассиршах в наших супермаркетах, или гардеробщицах в поликлинике «Медикум», о заячьей губе киоскерши, у которой я покупаю газеты, или о том, какая травма изуродовала перекошенную продавщицу в цветочном, и как она, несмотря на боли, улыбается.

Да что там за крики?

Поднимаюсь, подхожу к окну. Озеро. Пристань. Белая, с красной крышей. Лодка. Весла как спички. Оранжевый спасательный круг. Всё кукольное.

Вечер – сиреневый и тихий. Двое эстонских парней на ломанном английском отговаривают от прогулки на лодке пьяную шведку (длинные ноги, коротенькое платье, длинные белые влажные волосы). Она настаивает. Весло – шлеп! Брызг! Смеется. Парни говорят: *You are going to be wet!* Она отвечает: *I'm already wet, don't you see that!* – и смеется.

Общение с издателями и литературными агентами чревато тем, что они навязывают тебе свой взгляд на литературу. Они постоянно просят меня сократить мой роман. Но я в этом смысла не вижу: все мои романы – без того сильно сокращенные версии тех романов, которые я оставляю себе. Я и без того вижу: проходит пять лет после выхода романа и – от того, что я его сократил, толку никакого: тот, кто прочитал его, тот прочитал бы его, будь он на полторы сотни страниц длинней. А через десять-двадцать-тридцать лет размеры моих романов утратят всякое значение, поскольку о них вообще никто не вспомнит. Срежу несколько страниц – и буду мучиться из-за этого; оставлю как есть – и с каждым годом меня будет наполнять растущее чувство удовлетворения. Они говорят: чем он короче, тем легче его продать. Неслыханная чушь. До сих пор они ничего не продали – всех своих иностранных издателей нашел я или те люди, которые к моим агентам не имели отношения. Мне советовали переехать тоже: если вы переедете из вашей Эстонии куда-нибудь в более интересное место – например, в Берлин или Париж, – нам будет проще вас предлагать. Для них роман – продукт, а писатель – вендерный аппарат, из которого вываливаются шоколадки, конфеты, бутылки с газировкой, можно даже купить стаканчик кофе, надо только знать заветную комбинацию кнопок. Писатель – мертвое существо, робот, машина, завод, мануфактура. Вендерный аппарат легко передвинуть. Нужно поставить его ближе к выходу, чтобы покупателям было удобней. Прохожий останавливается, бросает в прорезь аппарата несколько монет и – получает свою шоколадку. Идет дальше. Так должен быть устроен роман. Таким должны быть вы, Андрей. Переезжайте в Стокгольм, тогда вас шведы сразу напечатают. А потом переедете в

Копенгаген – и датчане возьмут. Дальше – в Амстердам... Так и не задерживайтесь, странствуйте и продавайте свои романы! Этакая перекатиблядь. Что такое роман? Обтянутая подарочной лентой коробка, внутри которой игрушки, хрустящие леденцы, резиновые дилдо и прочая дрянь. Литература больше ничего не значит. Никто не открывает книгу с трепетом ожидания: «сейчас я что-то открою для себя», – нет, этого чувства больше нет, этого исторического трепета нет; они развеялись, как пудра из старинной пудреницы, они исчезли, как выветрились духи из бабушкиного флакона; книгу открывают с усталостью, превозмогая себя; читать и писать – труд, мука, пытка. Автора больше нет. Все пишут. Автор – каждый. Все давят на мозги и влезают в душу. Автора нет. Автор повсюду и нигде. Романист – это суфлер в театре жизни, от этого рудимента избавились, его больше никто не слушает, он уполз к себе, под сцену, – и там, с мышами и тараканами, бубнит себе под нос и пишет что-то... что-то, на что всем плевать. Его нет с нами. Литературы нет. Роман умер! Тем лучше! Теперь я позволю себе быть собой. Всё равно никто не читает. Никто ничего не ждет, меня нет, I'm supposed to be dead. Thank you very much! Я могу написать то, что вздумается, напр. то, что обычно бормочу перед сном, что проговариваю сквозь сжатые зубы, когда выгружаю из фуры туши мертвых животных, я могу себе позволить записать то, на что всем насрать, что прокручивается в моей голове, пока я гуляю с табаком в пустой классной комнате заброшенной гимназии, будто бы размышляя: курить или не курить? В те минуты, в гимназии, я есть. Не автор – а я! Без маски! И теперь, когда больше никто ничего от меня не ждет, я могу написать то, что слышала одна только пыль пустой классной комнаты.

Над озером смех. Смех или крики? Капли дождя. Весла плюхают плоско. Капли. Раскрываю зонтик. Хожу по классной комнате. А, как хорошо! Вечер с зонтиком. Легкий тонконогий дождь. Визг. Не хочу увидеть, как они повалятся в воду. Все вместе. Я никого не хочу видеть. И спасать никого не хочу. Меня беспокоит время. Оно ускользает. Смех. Смех. Я не успеваю наполнять каплю моей жизни светом вечности. Ни в чем нет смысла. Закрываю зонт. Сажусь, погружаюсь в пыль моих размышлений.

Я не верю ни прошлому, ни настоящему; не верю этой загробной гимназии, которая пытается меня обучить тишине и дыханию пылью прошлого; не верю озерной глади, безупречно отражающей ход облачной стаи...

Всплескивают весла, ломая небесную синь, по небесам плывет лодка с пьяными парнями – с запада на восток... На пристани стоят девушки и еще один парень; все они пьяные, но я не верю...

Туве Янссон пишет в своем эссе, будто она сидит на скамейке в парке (недалеко от Сен-Сюльпис) и не знает, о чем писать, ругается с бродягой и выбрасывает свой блокнот... Каким же образом я читаю ее эссе, если блокнот с этим эссе выброшен в помойное ведро? Ложь. Всё ложь. От начала и до конца. Она не сидела на скамейке и не писала эссе в парке. И она прекрасно это знала – с самого начала.

Так и я... я пишу эти слова сейчас в блокнот, но поправлять и добавлять что-то буду где-нибудь – в поезде, в автобусе, на билете, на руке нацарапаю пару букв, чтоб не забыть, – и позже, лет через пять, когда буду править, буду листать мой блокнот и кричать, что я не верю моим блокнотам, не верю воспоминаниям, на которых держится всё мое письмо. Меня дурачит время, порывы, эмоции; я легко доверяюсь мгновению, хватаюсь записывать, тороплюсь, горю вместе со словами. Они не стоят, они движутся, как муравьи, живые, примыкают друг к дружке так ладно, что образуется верный ритм – строгий, чеканный, как строевой шаг солдат, и эта гармония живет несколько мгновений, но очень часто всё это умирает через несколько дней или месяцев, – перечитываю и не верю. Стройность и ладность меня пугают, как неприступные стены, на которых висят таблички: *forbudt*, *no tresspassing*, *kuri koer,* etc. Очень часто мне кажется, что слова меня водят за нос, они сами закрались мне в голову, и – как круговая порука – одно слово позвало своего знакомого, а то – другого, за тем прибежало третье, и так далее. Они собрались и дурачат меня, построили балаган в моей голове, натянули цирковой шатер и – танцуют, подбрасывают блестящие кегли, крутятся, вертятся, плюются огнем, скачут, как блохи... От этого сводит скулы. Но бывает, перебирая старые записи, вдруг понимаю: а вот это то, что нужно, тут всё на месте, слегка покосившийся строй пьяненьких слов, тут размыло тропинку строки, здесь вырос дикий куст спонтанной стилистической фигуры, без нее можно было бы и обойтись, но вот есть она – дурная, неказистая, неуместная – и всё выглядит живым, дикорастущим; вот несколько раз переписанное, слоями времени подернутое, слова тут как ноты, они подобраны натруженными мышцами памяти... Во мне всё держится на одной мышце – на волевом чувстве прошлого; отними его у меня – и ничего не останется. Кажется, и оно стало меня подводить. Во-первых, не поспеваю: на что ни гляну, всё куда-то уезжает, дни несутся, как горная река; бросаюсь в социальные тенета и полыхающие свежими сводками новостные потоки, чтобы быть в форме, – это отчетливый признак того, что я уже не полагаюсь на память, на вчерашний день, боюсь не успеть, боюсь остаться один на один в своей пустой комнате, в которую никто никогда не войдет (жуткий кошмар, он преследует меня с раннего детства: я в комнате, из которой не могу

выйти, и я откуда-то знаю, что сюда никто не придет; я кричу, реву, ору – и понимаю, что голос мой слаб, меня никто никогда не услышит); во-вторых, понимая, что мое умение жить держится только на одном – умении чувствовать и описывать чувства, пытаться выписать из себя то, чему никак не подобрать слов, и что, скорей всего, высказать невозможно – почему и обречен, и ограничен одним занятием – подбором метафор (струны моей чувственности), выстраиваю анфилады однородных конструкций (часто ломая скелет синтаксиса), я знаю: я всегда буду тащиться позади, в пыльном облаке выхлопных газов, в то время как ревущая толпа, с бивнями, бубнами, барабанами, будет нестись вперед, на встречу с миром. Они полагают, что там, где вспыхивает новость (о которой, несомненно, минутой позже заговорят все) и загорается мир – там его центр, его средоточие, пуп. Нет, завязь мира – в его поэтическом созвучии; циклон жизни выходит из вибрирующего возможностями безмолвия; жизнь гудит и извергается там, где слова похожи на лаву, а чувства струятся, как газ, еще не вспыхнувший, там жизнь еще бесформенна и безымянна; не явленная в мир красота или катастрофа в первозданном состоянии содержит в себе всё – имя, которым ее наградят (буде то полотно или цунами), дата, которой пришпилят, личностей, которым припишут отцовство или авторство чуда; там, в утробе мира, красота или катастрофа похожи на пузырек, пробирающийся по подводным трещинам к поверхности, – вот-вот он всплывет, вспыхнет, пламя охватит всех нас, и время побежит по венам, заставляя наши рты лаять, кукарекать, ржать: breaking news! breaking news! Для меня любая новость – это остывающий кусок прошлого; это автобус, который едет не в будущее, а в обратном направлении; это шахта для гномов, которые воображают, что роют ход на обратную сторону Земли, где им грезится счастье: алмазные копи, хрустальные пальмовые деревья, пчелы, которые носят золотую пыльцу в улья, истекающие золотом и янтарем. Новость – это артефакт. Событие так же бессмысленно, как черепок, найденный на пожарище. Я никогда не понимал, отчего археологи так радуются, когда находят что-нибудь. Они полагают, что найденный предмет прошлого им что-то расскажет о прошлом. Какая чушь! Во-первых, история – это не наука о прошлом, во-вторых, искать прошлое следует только в настоящем, в тех же ошибках людей, которые уже были совершены, и они будут повторяться. История – это не наука, история – это судорога, болезнь, которая парализовала человечество. Вещи – это обман, иллюзия формы; информация – иллюзия изменения мира, который будто бы принимает новую форму, словно куда-то двигаясь.

* * *

крок-крок
фффррр

Улетел...

* * *

Я раньше думал, что смогу решить проблему, и всё наладится; я думал, что проблему можно назвать как-нибудь так: «I vs System»; будто решив эту проблему, я смогу найти способ, как жить в системе, которая ничего мне предложить не может: параллельное существование. Затем я думал, что все-таки надо уживаться с людьми, дело не в системе, потому что, скажем, в лагере беженцев не было никакой системы, были индивиды, и я не знал, как мне с ними жить; и теперь я тоже сколько-то лет заблуждался, будто пытаюсь решить проблему, как уживаться с другими людьми. Дело не в других! Проблема во мне – я пытаюсь понять, как мне уживаться с самим собой. Я совершенно не понимаю себя. Сам себя вожу за нос, играю в прятки с самим собой. Я не был иностранцем в Дании или где-нибудь еще; родина изменилась, но разве я когда-нибудь что-то чувствовал к ней до и после развала СССР? Нет, мне всё равно. Ни холодно ни жарко; что до, что после Независимости. Мое положение в государстве не является первостепенной проблемой. Я был и остаюсь иностранцем внутри себя самого. Я чужой по отношению к себе. Что бы я ни сделал, будет расценено как мое и только мое, даже если я просто сделаю что-нибудь из притворства, назло: напишу порнографический детектив в духе Виана – они всё равно соскоблят псевдоним и напечатают мое имя, которое мне кажется чужим. Я согласился: пусть это имя считается моим, но я всё равно так не считаю. Я так и не получил моего настоящего имени. Бумажки не меняют сути человека. Тот, кто должен был сообщить мне мое подлинное имя, так и не прибыл. Возможно, он прибудет в самом конце. Возможно, так это и происходит. И языки, на которых я говорю и пишу, – чужие. Люди, которых я знаю, – чужие.

Я ничего не жду. Я ни на что не надеюсь. В раздумье я проходил мимо проклятого фургона, который стоит у меня под окном. Я смотрел на этот фургон последние два года, когда курил на балконе, смотрел на потертую надпись: *...anateenistus*. И вдруг – дверца фургона заскрежетала, приоткрылась, чуть-чуть. Я встал. Смотрю. Дверца поехала вбок, скрипя, и передо мной появилась груда пластика. Она вывалилась из фургона, с кряхтением, шелестя и вздыхая, захлопнула вагон и пошла. Это была та самая бездомная чертовка с мешками, которую я встречал в парке. Она живет в этой машине, у меня под окном! В кармане перекрестка... Как она там живет? Почему обосно-

валась здесь? Нашла брошенный фургон и забралась в него? Вот это меня удивляет. Эта старуха – в Европе – выживает в фургоне, как пещерный человек, в то время как – в той же Европе – рядом с Библией продается новейший перевод Корана, но при этом запрещают бурки, хиджабы; в демократической Европе есть короли и королевы, строят мечети рядом с церквами, тюрьмы превращают в культурные центры и музеи, но как и встарь генералы забривают молодых в свои казармы. Может быть, моему сыну тоже придется пойти в казарму; его обреют, он должен будет носить форму, подчиняться командам, выполнять приказы, он будет ползать и стрелять, из его карманов будут выскальзывать монетки, укатываться в траву, прятаться под листвой, лет через сто их отыщет рука ребенка, который будет мечтателем, а потом возненавидит мечту, потому что он увидит работу мечты в сердце своего отца; мальчик поймет, что мечта, могучи возвысить человека, делает из его отца идиота (лучше бы вместо армии отправляли молодежь за границу жить – в Голландию, Скандинавию, Францию, Великобританию, Германию, оплатили бы им проживание, просто так).

Мой дядя считает, что армия моему сыну пойдет на пользу. «Во всяком случае, он не станет таким, какими стали мы, – говорит он в трубку, – я избежал армии в свое время, работал в пожарной службе, на телефоне (я это знал) – и мне это не пошло на пользу. Я не высыпался, скучал и много думал. Звонков было немного, пожары не каждый день случаются, Таллин – город маленький, пока так сидишь, столько в себе перелопатишь, к утру с ямой в душе выходишь на свет... Да-а-а, так я превратился в человека из подполья, и с тобой та же история... Я чувствовал это по твоим письмам: институт не шел тебе на пользу – ты слишком много думал, твои письма было невозможно читать, ты был весь соткан из противоречий. Ты и теперь такой же!»

* * *

Жаль, нельзя здесь остаться – насовсем, погребенным, в этой заброшенной гимназии...

* * *

Из века в век человек калечит человека – физически и морально. Схватка, борьба, клыки и яростные взгляды, психологическое давление, моральное превосходство. Тирания. Человек разрывает на части тело сочеловека, вытаскивает из его кишок алмазы, разжимает челюсти, шарит по ротовой полости, за ниточку вытягивает презерватив с кокаином; человек едет в танке и давит бегущих по улице людей, их именами названы тринадцать улиц в Вильнюсе. Рисуясь и жеманничая, в Саудовской Аравии палач сообщает журналистам, что по

настоятельному совету врача вынужден пропустить намеченное на понедельник побиение камнями женщины, которая изменяла мужу. Я долго смотрел на его фотографию. Вот живет и здравствует человек, гордится тем, что он убийца. Это наш век. Это человек нашего столетия: the 21st century man. Он живет на Земле и дает интервью репортерам, жалуется на производственную травму – растянул сустав плеча во время отсечения головы, чересчур усердно взмахнул. Это наше время... Время обманчиво. Об этом толковал Хануман: «Люди в Европе и Штатах полагают, будто время для всех течет одновременно. Коварная иллюзия! Большая часть человечества находится во тьме веков. Оглянись вокруг, Юдж, наш лагерь беженцев набит людьми из разных временных пластов». О том же писал Шпенглер: нельзя говорить о единой истории. Каждое племя живет у своей реки; все реки бегут в океан, но каждая со своей скоростью.

Этци, человек эпохи халколита, как установили ученые, страдал от той же бактерии, что и я, у него тоже была язва двенадцатиперстной кишки, – анатомически никакой разницы между нами, видимо, нет. Если меня положить в холодильник, я буду таким же, как и Тирольский ледяной человек. Вешу побольше, рост и возраст у нас одинаковые.

Я не хочу жить и писать для искривленного мира; я нахожу настоящее отвратительным, абсурдным, уродливым. Момент настоящего времени всегда окружен полем потенциального, здесь обитает надежда, в этом поле возможны любые изменения, в том числе и к лучшему. В некоторых пределах потенциального поля я еще буду активным, – са. 10-15 лет, – в этот период я еще могу что-то сделать, но всё, что я сделаю за эти годы, будет достоянием будущего, которого я не увижу, поэтому я оцениваю себя мертвецом, но – активным, *действующим мертвецом* (тот, кто живет не для себя, но ради памяти других). Так вот, стимулировать мою активность может только надежда на то, что мир изменится к лучшему, и в будущем, которого я не увижу и достоянием которого станут мои труды, не будут от голода умирать дети, палач не будет рубить головы женщинам, не будет войн и беженцев. Я закрываю глаза, я вглядываюсь в будущее, в котором меня нет, я вижу лодки – в них сидят беженцы, один на другом, люди, распухшие от голода, жажды, морской воды; лодки с горами трупов плывут к берегам Европы, а Европа, сидя на огромном жирном быке, уплывает от них дальше и дальше в океан своей отдельной истории...

Таллинн

Бахыт Кенжеев

* * *

девы младые гуляют везде
тесное небо сгибают в дугу
кто созерцает круги на воде
кто оставляет следы на снегу

всякая впрочем бессмертью сестра
сколь же прекрасна любая из дев
дивный источник ума и добра
длинное белое платье надев

будь я бобыль или даже студент
я посвящал бы им скажем стихи
приобретал бы муслиновых лент
шпилек духов и другой чепухи

жизнь убегает как мишка во сне
тот на скамейке который промок
девы смеются щебечут оне
им невдомек

ВОЙНА И МИР

наташу бросил граф толстой сорвал красотке свадьбу
она бежит в тоске простой в рязанскую усадьбу
на ветках ягодки висят но в целом хрень и даже
святая вещь вишневый сад готовится к продаже

наташа чешет волоса девичью моет выю
над ней сияют небеса струятся как живые
но это там а мы-то тут жизнь гнусная столь лжива
под умывальником растут репейник и крапива

наташа надевает лиф и байковое платье
ах все заботы позабыв желается летать ей
где только ястребы парят где нету пьяной рвани
где звезды честные горят в воздушном океане

жаль физика во всей красе ей подставляет ногу
ну что поделаешь мы все мечтали понемногу
о чем-нибудь и как-нибудь про льва и крокодила
а вот летать сквозь млечный путь увы не выходило

* * *

стеклянная осень царица полей
налей-ка стаканчик на мой юбилей
стаканчик хрустальный двуокись свинца
за блоковский праздник без края-конца

спрошу холодильник и стол и кровать
за что я гренаду пошел воевать
зачем на чужбине где финик и мирт
глотаю свой изопропиловый спирт

а всё потому отвечает господь
что жизнь коротать не орешки колоть
не петь под фанеру не ждать трудодней
а только рыдать да смеяться над ней

ну что мотылек возразит октябрю
хорошее дело ему говорю
мне речь по карману и день по плечу
и ночи по горло гуляй не хочу

Нью-Йорк

Поздравляем Бахыта Кенжеева
с 70-летием!
Желаем новых стихов, книг, –
и «речь по карману, и день по плечу»!

«Новый Журнал»

Алексей Цветков

* * *

стекла в стрелках дым в трубу
лес одетый в мыло
конькобежцы на пруду
вот и всё что было

стрекот ходиков скорей
стриж в лазури лихо
после ловли пескарей
сбор ботвы и лыка

своз соломы на возах
сельские приметы
исчезают на глазах
ветхие предметы

так привидится потом
отчая сторонка
на окне лежит батон
на столе солонка

ночь проспим и время с ней
ни молвы ни толка
станем тише и грустней
жить уже недолго

* * *

нас ночь разводила и наспех совала в метро
там пристален люд и народ астеничен рабочий
в коротком углу приблизительно я или кто
плечами впечатан в молву и мурлом неразборчив

какой-то он давний по виду двойник отставной
чей пульс пеленгуя часы отбивают победу
но нет постепенно которые были со мной
и негде добиться куда я так тщательно еду

бузило нетрезвых когда нас пускали в метро
числом человек молодежи в ком знания шатки

пока в переулках по сущие бедра мело
их нежную внутренность то бишь и не было шапки

назад в эту зиму вморожен как столп соляной
дворы бездыханны и снежные игры всё те же
но где отовсюду которые были со мной
и не были даже которые тоже всё реже

я вырасту бродским природы я всех сберегу
разборчивой речью с прилавков шумя тиражами
кто там на излете маршрута дрожали в снегу
дружили однажды чтоб с песней в метро провожали

портвейна рубин или спасской жирафья звезда
где смех вам не молк и с барханов сахары заметно
пусть светит оттуда какие вы были всегда
а мне до конечной в ночи обо всех незабвенно

* * *

на секунду в мозгу светло
пропасть в прошлое как в стекло
если вслед самому себе
оказаться внизу в стекле

далеки они в белом блеске
бороздящие бред челны
помнишь прошлое будто вместе
пеленали его в чехлы

раньше звук издавали вещи
их зрачки пламенели резче
степь стекала в изгиб стальной
где холмы по краям тюлени
в заповедных глазах темнели
расставанья твои со мной

с крутизны ледяного верха
слишком лишних шеренга лет
оттого так надвое время
а другой половины нет

в горький срок на краю парома
в шлеме с гребнем горит аврора
протянув острие копья
можно снова и никогда

* * *

был долгий дом напев простой луны
свечной нагар за столько лет печали
в потемках губы гнева и любви
так сбивчиво и быстро обещали

зачем один он был никто из нас
одолженная память просто милость
так воздух восставал так ветер гас
а жить на свете всё не приходилось

родившись раз я поступлю как все
кто целовал и дождь с картинки вытер
пусть это будет девушка в косе
из паспорта который ты не видел

последний раз заночевать в плену
влюбиться блин вздымая ртуть под сорок
хоть кажется кто эти мы ему
который нам не возникая дорог

ты знаешь я пойду теперь сгорю
я собственно и раньше жил негласно
тогда возьми и где-нибудь в саду
так пристально под сливами так ясно

* * *

ночью в черную дверь непривычно привинчена ручка
но ручьями стожары и перистый светел убор
в перерыве грозы отвечай человек-почемучка
ученик сентября чтобы осени в очи в упор

здесь на твердую голову все аксиомы системы
понимать и кому так коварно планета кругла
плюс на минус в мозгу расскажи электричество где мы
чтобы бережно знать если выхода нет ни рубля

сквозь молчание спящих сверчков возле черного хода
различать пустоту и пульсаров прерывистый свист
ты один в этом квантовом сне остальное погода
признавайся погоде скажи молодой гармонист

им бы всем по уму только сердце всегда настигало
быть бы богом над ними недолго до полной луны
до стожар расстояние страсти но милости мало
потому нас так меньше чем если бы всё по любви

свет обеих медведиц и млечная их чечевица
сговорились пасти до зари у калитки козла
здесь попробуй умри а потом допроси очевидца
вся природа глядит никогда не отводит глаза

* * *

кто камни тяжелил и руку правил богу
чтобы родней всегда и так звеня земля
кто зодчий всех зверей и сочинил погоду
увы что был не я

когда в безоблачной но за полночь гилее
так млечно теплится узор подложных тел
стоять и видеть сон что есть одна милее
какую ты хотел

на свете бога нет но к куполу крутому
прильни где невелик зодиакальный круг
в танцующий бинокль мы говорим плутону
прощай холодный друг

кто щерился без глаз от пристани кромешной
кто опускал во мрак беззвучное весло
теперь в последний раз мерцает под одеждой
нагое естество

простые проводы стакан и осетрина
кость компаса дрожит берцовая в окно
за тот предел где лжешь ни ты ни прозерпина
не властвуют давно

* * *

когда-нибудь пришла и встала у окна
к присутствию спиной а в небесах чертила
всю синеву и траекторию орла
я очинял перо и разводил чернила

мир вечерел квазары падали в подол
пускай бы вымысел удачен был у бога
так подмывало петь но видимо потом
когда прокашляться после ее ухода

хотелось что судьба отсюда не беда
сквозь трепет изнутри где близко плоть слепая
я постигал с трудом кто у меня была
пришла и у окна когда-нибудь стояла

навек и светится что никогда прошло
как у себя в ласко в большой бизоньей шкуре
вся радость на стене лазурное пятно
где кажется умри и будешь жив не хуже

сойдя по паспорту в неброскую страну
в окрестность скромную москвы или саранска
припоминаешь как однажды жил в раю
и голос пробовал так сипло но старался

Марина Гарбер

* * *

Там, где часами синеустыми
без задней мысли и подвоха
приезжие играют с чувствами
хмельных работниц пищеблока, –
словам пузыриться и лопаться,
покуда солнце, мощь удвоив,
в песке нащупывает шлепанцы
и радуется, как живое.

Пещеры каменное чудище
гудит в груди запавшей клавишей,
двухлетний юнга, безъязык еще,
в кармашек опускает камешек,
и, не обучен человечьему,
бежит с ведерком и лопаткой
наперерез Нерею встречному
с таким же камнем под подкладкой.

В провинции, где время полнится
водой и чайками захватано,
в витрину пшикает курортница:
ах, блекло! – говорит, – ах, матово!
Нахлынет взгляд босого отрока
и метра три еще протащится,
как в невод пойманное облако
за крутобедрою купальщицей.

Терраса каменна, лежак из льна,
и чувствуя в фактуре разницу,
распахнуто и легкомысленно
халатик обнимает дачницу.
В курсиве хлама на обочине,
под сенью мусорного бака
мелькают птичьи многоточия
в зонтичных звездах пастернака.

Отец ученья – повторение,
в нем пользы мерено-немерено,

и если б не стихотворение,
всё это было бы утеряно,
ведь жизнь могла вчера закончиться
и под брезентовым навесом
смерть в облике нагой курортницы
легла бы с уличным повесой.

Но морю холодно, и плащ его
приветно машет рукавами
тому, кто из поселка спящего
уходит к пристани дворами,
и если бы не речь сизифова
поэта, вымысла стяжателя,
никто не уловил бы тихого
двух берегов рукопожатия.

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ

1

В окне видна одна из древних прях –
со сломанными спицами в руках,
в корзинке ниток пыльной прялки возле
былое завязалось в узелки
и вспышки хлопка из ее руки
пространство облепляют по-стрекозьи.
И если пальцем поскрести метель,
зажжется в луна-парке карусель,
по кругу двинут кукольные пони –
вот этому кто штырь воткнул в живот?..
Жаль, парк заброшен, заколочен вход
и выход воспрещен потусторонним.
А было время, шила и пряла,
цветных стрекоз снимала со стекла,
в углу стола садилась и глядела,
как в праздники рубаху примерял,
и не было отзывчивей зеркал,
чем этой пряхи маленькое тело.
Да нить тонка, труба звала в поход –
поборник, корабельщик, мореход,
ему на суше было солонее,
чем на открытых всем ветрам морях,
да и в любом порту довольно прях,
искусных брючниц, нежных белошвеек...

2

В дому живет подросток-полубог –
ей суждено разматывать клубок,
запутанный злопамятною пряхой,
и ждать того, кто жив в другой семье,
сражен в бою, убит, сидит в тюрьме,
спит в луна-парке на скамейке дряхлой.
Что до любви, то в ней потворства нет,
есть стол, буфет и на стене портрет –
чем время расторопнее, тем тише
его черты, – есть лампы тусклый свет
и, как однажды не сказал поэт,
есть женщины сырому небу ближе.
Так эти две живут – одна в другой –
что невозможно, спицей ли, иглой
поддев, разъединить, – да так похожи,
что если старшей холодно от слез,
то младшей – нестерпимо, и мороз
дерет по коже.

3

В тройной шатленке мужа и отца,
вдоль-поперек рассмотренной (с торца
он к ним во двор войдет через калитку,
чтобы искать, терять, ловить на слух,
не находить нерасторжимых двух), –
есть слово «дух» – возьми его на нитку!
Две женщины – звенящее звено
Того, кто видит их через окно
и присмиряет черный снег над ними.
И если б я умела говорить,
молилась бы: да не порвется нить –
во имя дочери, и матери во имя.

СТАРОЕ ФОТО

Они почти что смотрят в объектив,
но на мгновенье их опередив,
тяжелая выпархивает птица,
глухой щелчок – и падают в архив
еще не подготовленные лица.

Мне сотню лет спустя любой изъян
заметен – как топорщится карман,
как бантиком не завязались губки,
и как фотограф, нерадив и пьян,
не сгладил складку на воздушной юбке.

Не специально ехали сюда,
но летний вечер, старый парк, вода
болотного оттенка дождевого,
и вспышки, словно рыбки из пруда
какого-то люмьерного улова –
всё это увлекало и влекло
к фотографу, за пыльное стекло
его витрины, в омут объектива, –
всё схлынет, но, пока не утекло,
впечаталось в бумагу косо-криво.

За спинами темнеет грязный фон,
поскольку свет еще не доведен
до апогея, вместо пасторали –
ширь пепелища... Но она и он
грядущее предчувствуют едва ли:
растерянный, как нищий во дворце,
он замер с легкой тенью на лице,
она – в улыбке, подведенной охрой,
а хвостик даты, смазанный в конце,
да «Царского» распластанное «ц» –
твоя вина, неряшливый фотограф!

Так жизнь со лба не вытирает пот,
не ретуширует упрямый рот,
так тянет лямку время-проявитель, –
фотограф, снявший всё наоборот,
я – чтец твоих нечаянных щедрот,
я – безыскусных репетиций зритель.
И вижу, как не опустилась тьма,
он не убит и не сошла с ума
она, и где-то на последнем круге,
как треугольник бурого письма
немая почтальонша, смерть сама
ей, пробегая, не вложила в руки.

* * *

Темны дела твои, тихи дворы,
от груза освобождены амбары,
и грузчика зовет в тартарары
звенящее сопрано стеклотары,
в него палят без промаху дома
промасленными выстрелами кухонь,
округлая – о ком? о ком? – зима
влетает в рот и вылетает в ухо.

В такие дни (для них в календаре
просвета не оставили осадки)
снег превращает город в лазарет,
где грузчика обветрившийся след –
как на халате докторском заплатки,
а вдоль спины – морозец от догадки:
свободы нет, но есть отбой и свет.

Когда, – я говорю, – в такие дни
мы из себя стремительно взрослели
в палате общей, смертны и одни
в сугробах перепаханной постели,
нас коридорной лампочки накал
не освещал и расточался мимо
плывущих по волнам неисцелимых
внутри запотевающих зеркал.

И всяк хотел из проруби окна
глазами черпать окуней молчания,
быть первенцем, придумывать названия
лекарствам, а медсестрам – имена,
копить и перемалывать руду
порыва, еле-шороха, движения, –
преображать всю эту ерунду:
болезнь – в покой, и слезы – в утешение.

* * *

Он еще молчит, и ему неловко
облекать в слова, как ржавеет вечер,
или как бельевая дрожит веревка,
ведь ее и сравнить-то покуда не с чем.
На бочок, молчок, светлячок запаса,
и в его копилке чудес под кожей

надрываются птицы пера Саврасов-
а-а... – эхо, единственный звук возможный.

Он пока ученик одного дыхания,
унисона, сердца-такт-в-такт-биения
с той, чьи к вечеру млечные очертания
старший брат называет стихотворением.
Но еще – ни брата, ни даже матери,
никаких фамильных дерев, а только
то, как вишни срывает с клеенки скатерти
безымянная, полная звуком сойка, –

видит. Или же, лишь предчувствуя
неминуемость жизни, ее горячую
оболочку, письменную и устную,
выбирает детство немое, зрячее?
Собирает ноты в тетрадку опыта –
с неба сброшенный человечий колокол,
безъязыкий, не ведающий ни шепота,
ни последней песни, ни то, как волоком

годы поволокут за краешек
изумрудного блюда с телегой, с лошадью,
как снега словес ледяных, не тающих,
полетят, стреляя в кого ни попадя,
выправлять красивости на уродства,
как себя на куски разрывают сами
облака, – наконец, добиваясь сходства
с парусами.

* * *

В первый день нагрянувшего года
выйдем в город, вышедший из моды,
в люрексовый блеск и тарарам,
снег идет, как пьяный по дворам,
где рябин костлявые удоды
свет клюют и кланяются нам.

Паф! – сквозняк выстреливает дверью,
светотени тянутся к хайвею,
фары – облепиховым гуськом,
горизонт замазан и заклеен,

мы молчим, поскольку не умеем
шевелить стеклянным языком.

Стерпится, не слюбится, смолчится –
так молчит суровая волчица,
сероглазо считывая всех
тех, кто плавно катит в колесницах
с общим выражением на лицах,
разметая пластиковый снег.

У вай-фая строго на примете
крестный ход устраивают дети,
и несчастный мальчик Ваня Гут
плачет, словно он за всех в ответе, –
тятя, тятя, нас поймали в сети
и на дальний берег волокут.

Мы читали правильные фильмы,
те, в которых нас, непобедимых,
так сыграл, хоть слезы утирай,
Фрэнк Синатра в гриме пилигрима
и навеки обессмертил – иль мы
сами честно выдумали рай?

Я держусь тебя, почти ослепла
от порывов ледяного ветра,
трудно выдыхать и не вдыхать,
слушая, как слепленных из пепла
школьников приветствует директор:
с добрым утром, бойня номер пять!

Сдуру перепутав кнут и пряник,
на ковчег, бессмертный, как Титаник,
поспешим, чтоб грезить впереди
островок, мерцающий в тумане,
видеть Ноя в нашем капитане
с лубяным подснежником в груди.

И не знать, что у него в загоне
огнедышат мраморные кони
волн и потакают кораблю,
где народ наряден и бессонен,
а точнее, мертв и похоронен.
Ты – живой. И я тебя люблю.

Игорь Гельбах

Опоздавшие*

Часть третья

ГЛАВА 1

Прадед Рихарда был немецкий коммерсант, обосновавшийся в конце 60-х годов XIX века в Петербурге, где он создал и возглавил компанию, поставлявшую в необъятную Россию рояли и другие музыкальные инструменты, изготовленные в Брауншвейге. Через несколько лет после начала активной работы в России Оскар Гаазе женился на Елизавете Эйснер, очаровательной уроженке Петербурга лютеранского вероисповедания. Елизавета получила хорошее музыкальное образование и обладала приятным колоратурным сопрано. Исполненная ею в салоне Елены Андреевны Штакеншнейдер ария Царицы Ночи из моцартовской «Волшебной флейты» определила и жизнь, и судьбу Оскара Гаазе. Елизавете аккомпанировала ее мать, когда-то ходившая в ученицах у одного из петербургских учеников самого Фильда. Сидя у рояля фирмы «Рёниш» и время от времени отрываясь от адаптированного варианта музыкального текста, она бросала восхищенные взгляды на дочь, которая, ни на мгновение не пренебрегая мимикой, исполняла арию, начинавшуюся словами: «В груди моей пылает жажда мести!..»

Пение Елизаветы произвело на Оскара столь сильное впечатление, что он совершенно не запомнил, о чем позднее, уже после исполнения арии, говорил окружившим его гостям дома известный писатель Ф. М. Достоевский, присутствовавший на памятном вечере во флигеле на берегу Мойки. Между тем разговор шел о недавних петербуржских пожарах и поджигателях, и писатель, человек лет пятидесяти, небольшого роста, с негустой русою бородкою, редкими и тонкими волосами на крупной голове с высоким лбом и маленькими, светло-карими с искоркой глазами, поведал любопытствующим, что недавно в Петербурге уже наблюдалось появление Антихриста,

---

* Продолжение. Начало см. НЖ, № 299, 2020.

и, судя по деталям его рассказа, который произвел на его слушательниц сильнейшее впечатление, сам Федор Михайлович сталкивался с ним не один раз.

Через неделю после достопамятного вечера в салоне Е. А. Штакеншнейдер Оскар побывал в доме профессора медицины Г. М. Эйснера и сделал предложение руки и сердца Елизавете. Предложение было принято, молодые люди обвенчались, была сыграна свадьба со множеством приглашенных гостей, и через год после рождения его старшего сына Карла видный коммерсант Оскар Гаазе стал поставщиком Двора Его Императорского Величества.

Фридрих Гаазе родился через четыре года после вечера в салоне Е. А. Штакеншнейдер и, как и его старший брат Карл, с отличием закончил юридический факультет Петербургского университета, но, не желая существовать в тени старшего брата, взявшего на себя часть обязанностей по управлению фирмой «Гаазе и сыновья», решил жить и работать в Москве, где у семьи Гаазе наличествовали достаточно прочные, налаженные связи. Следует отметить, что Фридрих производил самое выгодное впечатление на людей, с которыми ему доводилось сталкиваться. Он был строен, серьезен и казался человеком чрезвычайно внимательным и абсолютно уверенным в том, что говорит. При этом он был ироничен, красноречив и не склонен к экивокам. Один из его коллег по московской адвокатуре заметил, что обществу несомненно повезло с тем, что Фридрих Гаазе выбрал карьеру адвоката, а не стал, например, прокурором. «Именно такого рода люди могут со временем сделать наше общество более милосердным, – пояснил он, – поскольку милосердие требует, чтобы нас постоянно били палками по голове. Попробуйте же представить его пожелания и требования, занимай он пост прокурора?»

В адвокатуре первопрестольной Фридрих Оскарович быстро приобрел репутацию восходящей звезды и стал известен под именем «московского Гаазе». Однако наедине с собою он рассматривал свою жизнь как определенного рода задачу, которую следует решить как можно корректнее, поставив во главу угла *служение*.

Его старший брат однажды заметил в разговоре со своей невестой, что убеждения заменяют Фридриху корсет. И пояснил: корсет неудобен, но помогает быть стройным. Возможно, он намекал на некую внутреннюю зажатость Фридриха. Впрочем, существовала еще и страсть, которой Фридрих отдавал немало внимания и душевных сил: он любил музыку и в юности получил неплохое музыкальное образование. Но какая-то зажатость преследовала, казалась, его и здесь. Ему, как однажды заметил всё тот же старший брат, удалось превратить известные слова «Кто хочет невозможного, мне мил» в

свое motto во всем, что касалось его взаимоотношений с музыкой. Иными словами, он был слишком требователен к себе.

Свою будущую жену Фридрих Оскарович впервые увидел в бытность студентом последнего курса Петербургского университета. Произошло это в кирхе Святых Петра и Павла на Невском в ходе бракосочетания его старшего брата Карла. Внимание его привлекла стоявшая в том же ряду, что и он, довольно высокая светловолосая девушка с вплетенными в косы белыми и серо-голубыми под цвет глаз лентами. Косы, в свою очередь, были сплетены в некий венец, возвышавшийся над ее спокойным лицом с правильными чертами и слегка намеченной улыбкой. Агнесса, родившаяся в Риге в тот же год, что и Фридрих, была дочерью известного рижского врача Арвида Балодиса, переехавшего в Москву, где он стал сотрудником клиники профессора Остроумова, ведущего специалиста того времени по легочным заболеваниям.

Агнесса, позднее узнал Фридрих, дружила с невестой Карла Гаазе и поэтому, естественно, не могла не приехать из Москвы вместе со своей матерью на церемонию бракосочетания подруги.

Итак, Фридрих и Агнесса познакомились в тот же день, уже после окончания церемонии венчания, и через некоторое время после переезда Фридриха в Москву возобновили свое знакомство, развившееся в приязненные отношения, которые в конце концов увенчались браком. Впрочем, как позднее признался Фридрих одному из своих близких друзей, сердце его в то время дремало, ибо он строил свою жизнь в ту пору, как ему казалось, следуя голосу разума, порой даже и не сознавая того, что в действительности следует по пути, уже пройденному его старшим братом.

Поначалу это был удобный и комфортабельный брак, и незадолго перед концом XIX века Агнесса родила Фридриху Оскаровичу сына Акселя, а вслед за ним и дочь Кристину, и все последующие годы более или менее успешно пыталась совместить свой интерес и любовь к театру с семейной жизнью и воспитанием детей. Так что если в этом браке и не хватало какой-то изюминки, то ее отсутствие компенсировалась рядом факторов, и прежде всего нежеланием супругов признаться самим себе в некоторой доброкачественной пресности собственного существования.

Надо сказать, что Агнесса оказалась смелее и однажды сказала Фридриху, что иногда ей представляется, что они оба, если говорить об их душевном состоянии, остаются, в сущности, заблудившимися в лесу детьми, которые осознают это лишь иногда, да и то на мгновение, поскольку всё остальное время им кажется – именно кажется, – что они передвигаются по прекрасной сельской местности с хороши-

ми дорогами и тенистыми, спасающими от летнего солнца аллеями, не отдавая себе отчета в том, что и прекрасная сельская местность, и тенистые аллеи – не более, чем декорации, иллюзия. И лишь иногда, во сне, жизнь приоткрывает им свое подлинное лицо, заставляя порой просыпаться в холодном липком поту, ощущая при этом невозможность выразить и осознанно пережить тот ужас, что сдавил ее грудь и не давал возможности дышать.

Итак, Агнесса стремилась достичь ощущения полноты в своих переживаниях, чувствованиях и видении жизни, избрав в качестве магического кристалла театр, и оттого дом ее всегда был полон «талантливыми и даже почти гениальными», по ее выражению, людьми. Со временем покровительство ее служителям сцены и вовлеченность в вопросы внутритеатральной жизни привела ее к самой что ни на есть банальной связи с молодым и как будто талантливым драматургом, который вскоре бросил ее и обратил все свое силы на то, чтобы завоевать сердце уже прощавшейся с молодостью, но по-прежнему популярной у зрителей актрисой, полагавшей, что ничто не сможет лучше поддержать внимание публики к ее персоне и таланту, чем бурный роман с потерявшим голову молодым драматургом.

История эта в своем развитии прошла несколько фаз, привлекла внимание публики и даже послужила причиной демонстративной попытки Агнессы покончить счеты с жизнью. Со временем всем людям, так или иначе вовлеченным в данную ситуацию, стало ясно, что задача сохранения семьи оказалась довольно сложной и даже непосильной для самого Фридриха Оскаровича, покинувшего, в конце концов, не только свой дом, жену и несчастных детей, но и Москву с ее адвокатской коллегией заодно, и переехавшего в Тифлис, где он и продолжил свою карьеру адвоката. Через год после его отъезда, когда страсти вокруг оказавшегося несчастным брака несколько улеглись, Карл Гаазе, старший брат Фридриха, обратился в Консисторию в качестве легального представителя своего младшего брата с тем, чтобы получить решение о расторжении брака Фридриха с Агнессой.

ГЛАВА 2

Окончательный переезд Фридриха в Тифлис случился через несколько лет после завершения громкого процесса, закончившегося полным оправданием князя Григола Амирановича Амирэджиби, отпрыска старинного рода из Картли, в семье которого уже много поколений хранился крест царицы Тамар. Защищая эту бесценную реликвию, князь, прославившийся своими трофеями, привезенными из Африки, где он охотился на львов, застрелил троих вооруженных

грабителей, собиравшихся эту реликвию похитить. Газеты демократического направления утверждали, однако, что убитые были представителями крестьян, пришедшими к известному своим суровым нравом князю с посланием, содержавшим требования жителей ближних к имению деревень.

Выезд на место происшествия и тщательный анализ показаний свидетелей, включавший текстологическую и графологическую экспертизы вышеупомянутого послания, позволили Фридриху восстановить ясную картину произошедшего и представить ее суду, доказав при этом совершенно неопровержимым образом, каковы были подлинные намерения грабителей и их действия, вынудившие князя применить огнестрельное оружие для защиты своей семьи и стрелять на поражение. «Ибо любые попытки испугать бандитов, стреляя в воздух, или только ранить их неизбежно поставили бы под угрозу жизни самого князя и его домашних», – утверждал Фридрих, и его аргументация была принята присяжными заседателями, единогласно оправдавшими обвиняемого.

Следует рассказать и о том, что именно в доме князя Амирэджиби Фридрих познакомился с его вдовствовавшей племянницей, княгиней Тициановой, в девичестве – княжной Амирэджиби, которая стала его женой через некоторое время после завершения процесса переезда адвоката Фридриха Гаазе из Москвы в Тифлис. Этому замечательному событию предшествовали развод Фридриха Гаазе и Агнессы Балодис-Гаазе, а также переход Фридриха Гаазе из лютеранства в лоно Грузинской Православной Церкви. Кроме того, новому браку Фридриха последовала смена его фамилии с Гаазе на Гаазе-Амирэджиби. Смена конфессии и перемена фамилии случились в силу того, что именно такими были завуалированные под условия категорические требования, выдвинутые дядей княгини Саломе, полагавшим этот брак до некоторой степени мезальянсом и, тем не менее, согласившимся на него, ибо он не хотел стать тем человеком, которого княжна будет винить в том, что именно он, ее дядя, князь Амирэджиби, оказался непреодолимым препятствием на ее пути к счастью.

Естественно, произошло всё это не в один день и даже не в один год, а за первым успешным процессом, проведенным Фридрихом в Грузии, последовали другие процессы, проведенные молодым адвокатом с той же доказательной силой и всесокрушающей убедительностью. Более того, со временем у Фридриха Оскаровича возник достаточно широкий круг знакомств, и положение его и авторитет в обществе значительно упрочились ко времени бракосочетания с прекрасной княгиней Тициановой. Последнее обстоятельство было частично связано с тем, что во времена, о которых идет речь, в

Тифлисе жили и играли свою определенную роль в жизни местного общества немцы из Баден-Вюртемберга, предки которых попали в эти края еще в 1795 году, при Екатерине Второй.

ГЛАВА 3

Поначалу, во времена Екатерины Великой, речь шла о нескольких сотнях семей лютеран-переселенцев, которые надеялись достичь окрестностей горы Арарат, дабы встретить там наступление тысячелетнего Царства Божьего на Земле. Однако из-за шедшей в то время войны между Россией и Персией российские власти предложили переселенцам создавать свои колонии на землях Грузии, поскольку военные действия препятствовали передвижению поселенцев в направлении Арарата.

С течением времени военные действия пришли и на территорию Грузии, где с персами сражались войска грузинского царя Ираклия II. Сражения на территориии Грузии отличались крайней ожесточенностью, и в 1795 году, после победы под Крцаниси, персы в очередной раз разграбили и сожгли Тифлис.

И тем не менее, слухи о сказочной стране Грузии продолжали волновать сознание германцев и в последующие десятилетия, и очередные немецкие колонисты, три десятка семей, прибыли в медленно возраждавшийся Тифлис в сентябре 1817 года. Они поселились в предместьях города, основав поселение Александердорф, где колонисты занимались сельским хозяйством, распахивали местность под сады и огороды и провели оросительный канал. В последовавшие этому событию годы в Грузии были созданы еще шесть новых поселений колонистов.

А. С. Пушкин, побывавший в 1829 г. в Тифлисе, писал в своей повести «Путешествие в Арзрум»: «Тифлис находится на берегах Куры в долине, окруженной каменистыми горами. Они укрывают его со всех сторон от ветров и, раскалясь на солнце, не нагревают, а кипятят недвижный воздух... – Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишинев. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекидными корзинами; арбы, запряженные волами, перегорожали дорогу. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне теснились на неправильной площади; между ими молодые русские чиновники разъезжали верхами на карабахских жеребцах... – Мы ездили в немецкую колонию и там обедали. Пили там делаемое пиво, вкусу очень неприятного, и заплатили очень дорого за очень плохой обед».

Прошло всего двадцать лет со времени посещения поэтом Тифлиса, и начиная с середины XIX века в Грузию устремился поток

немецких специалистов в виноградарстве и разнообразных ремеслах, приезжавших сюда вместе с семьями.

В 1862 году немецкую колонию Александердорф присоединили к Тифлису. Вскоре возникла и школа с обучением на немецком и русском языках. Она находилась за Верийским мостом, рядом со зданием кирхи Петра и Павла, выстроенной в конце XIX века в неоготическом стиле по проекту архитектора Леопольда Бильфельда. Проезжая момо здания кирхи, Фридрих иногда вспоминал строки Тютчева, да они, в сущности, сами приходили ему на ум:

Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой, –
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.

Последующие две строфы стихотворения, повествующие о приуготовлении к последней молитве, волновали Фридриха в гораздо меньшей мере. Он был молод, полон планов и жизненных сил. У него было достаточное количество интересных и важных клиентов в руководстве компании братьев Сименс.

Известные братья Сименс, возглавлявшие электротехническую компанию, у которой уже были представительства в Лондоне и в Петербурге, прибыли в Тифлис вскоре после окончания Крымской войны. В последующие годы компания занималась прокладкой телеграфной линии Лондон – Калькутта, проходившей через Европу и Российскую Империю, включая и территорию Грузии.

Открыв свое представительство в Тбилиси, компания начала деятельность с того, что установила телеграфную связь между Тифлисом и Коджори, где находилась дача наместника.

Пройдя по Грузии, телеграфная линия проследовала через Иран в Калькутту, крупнейший и важнейший город Индии того времени.

Судьбы же братьев Сименс, создателей электротехнической компании, оказались связаны с Грузией вплоть до места упокоения – оба были похоронены в Тифлисе. Старший, Вальтер, погиб, упав с лошади на прогулке в горах. К тому времени он уже был германским консулом в Тифлисе. После его смерти консулом стал его младший брат Отто Сименс.

Связал свою судьбу с Грузией и Герман Абих, который родился в Германии и был петербургским академиком геологии. Он приехал в Тифлис, занимая пост представителя Академии по особым поручениям, и заложил научные основы географии и геологии всего Кавказа, а также обследовал ряд месторождений полезных ископаемых.

Изучением же природы Грузии и развитием ее сельского хозяйства занимались и ботаники, и лесники, и агрономы, и представители других специальностей, прибывшие в страну из Германии. В Грузии нашли себе применение и таланты немецких врачей, архитекторов, музыкантов и ученых, историков и представителей иных дисциплин, так что в целом предприятие, связанное с поселением немцев в Грузии, оказалось весьма успешным.

Скорее всего, именно в силу указанных обстоятельств Фридрих никогда не испытывал недостатка в общении с людьми образованными и говорящими по-русски и по-немецки.

Одним из его старших друзей был сын потомственного почетного гражданина Тифлиса и пионера книжного дела на Кавказе, Густава Беренштама, уроженца Курляндии и выпускника петербургской Петришуле 1845 года.

Сам Густав часто ездил в Россию за книгами и не раз бывал в европейских столицах. Во времена князя Барятинского, наместника, окружившего себя образованными людьми, его книжная лавка стала одним из центров культурной жизни Тифлиса. В конце лета 1861 года Густав Васильевич обвенчался с приехавшей в Тифлис из Парижа ученицей Ж. Оффенбаха пианисткой Каролиной-Анной Монье, а весной следующего года у них родился сын Федор, который был лет на пятнадцать старше Фридриха, что не помешало их долгой и сердечной дружбе.

Федор завершил свое обучение в Петербургской Академии художеств в 1889 году со званием «классный художник архитектуры 3-й степени» и принимал участие в проходивших каждое лето археологических экспедициях по Грузии. Находясь в экспедиции, Федор не только копировал фрески грузинских монастырей, но и писал картины с видами Кавказа, развалинами крепостей и живописными руинами брошенных селений.

Время от времени к экспедициям присоединялся и Фридрих Гаазе, увлекавшийся не только возможностью встреч с природой и памятниками истории страны, но и процессом записи образцов грузинского мелоса, таких же необычных, волнующих и разнообразных, как и пейзажи этой горной страны.

Однажды, вчитавшись в опубликованную в Лондоне в 1888 году и уже полтора десятилетия лежавшую на полке магазина Беренштама книгу Оливера Уордропа «Королевство Грузия: путешествие в страну женщин, вина и песен», Фридрих обнаружил в ней следующую фразу: «Жить среди такого веселого, с открытым сердцем и щедрой рукой, честного и невинного народа – лучшее лечение, которое можно только себе представить, от меланхолии и мизантропии». В тот же

вечер он поделился своим открытием с Федором Беренштамом, вместе с которым направлялся в театр, ибо в тот первоначальный тифлисский период своей жизни Фридрих Гаазе, как и другие его знакомые, друзья и многие другие люди их круга отдавали должное внимание театральным спектаклям, привозимым антрепренерами из России или представленным вновь возникшими театральными объединениями в обретавшем новое лицо Тифлисе начала двадцатого века.

ГЛАВА 4

Сразу же после переезда в Тифлис Фридрих начал брать уроки грузинского языка у своего духовника, отца Акакия, чьим служебным кабинетом оказалась одна из келий в примыкающем к Сионскому собору строении Грузино-Имеретинской синодальной конторы. Происходивший из Гурии, о. Акакий вел переписку экзарха по вопросам сохранения церковных святынь и сотрудничества между христианскими Церквами различных деноминаций на территориии Грузии.

Встречи Фридриха с о. Акакием происходили, как минимум, дважды в неделю и обычно начинались после окончания рабочего дня – почти всегда завершаясь трапезами, а порой и пиршествами здесь же, поблизости от Сионского храма, в одном из замечательных мест на берегу реки Мтквари (Куры), а порой, в летнее время, и в ресторациях, устроенных на плотах. Трапезы эти считал о. Акакий естественной и непременной частью изучения языка и культуры, неоднократно указывая на то немаловажное обстоятельство, что и сами грузины получают значительную часть своих социальных и исторических познаний за столом, в ходе живого общения, собеседований и дискуссий.

Вот одна из тех грузинских легенд, что о. Акакий поведал Фридриху:

«Когда Бог стал распределять земли между народами, грузины явились на раздачу земель последними. К тому времени все земли уже были розданы, и в ответ на заданный Богом вопрос о причине опоздания ответили, что, находясь в дороге, они продолжали праздновать сотворение мира и, выпивая, произносили тосты во хвалу Господа.

Богу так понравился ответ грузин, что он отдал им тот райский уголок, который приберег для себя.

Вот так и достались грузинам плодородная земля, горы, море и волнующие душу виды. И они украсили землю удивительными храмами, посадили виноградники, а застолье возвели в культ».

Рассказав всё это, о. Акакий добавил:

– В Грузии есть поверье, что время, проведенное с гостем, не засчитывается в возраст. Потому что каждый гость – от Бога.

С течением времени познания Фридриха в грузинском становились и глубже, и живее – подобно воде в середине протекающей под Метехским замком Мтквари. Грузинское застолье и совершенно отличная от европейской традиция его проведения, длинные и поэтические речи, тяготевшие к достижению своего рода согласия и симфонизма, – а это ощущение возникало, если окинуть застолье единым взглядом и постараться понять его как определенное действо, – всё это помогло Фридриху освоить определенно новое для него, иное, свойственное грузинам миросозерцание, корнями своими уходящее в неоплатонизм. Ибо как иначе можно было бы объяснить упоенное отношение грузин к миру как целостности и, собственно, к своего рода божеству – так что мир оказывался тем же самым Богом, но только на известной ступени его развития.

И вот именно это одухотворение сущего особенно поразило Фридриха, слушавшего грузинские песни, пронизывавшие всю эту иную жизнь, крайне отличную от петербуржской или ее московской разновидности. Более того, постепенно, вслушиваясь в грузинские песни, он заинтересовался грузинским мелосом, одним из собирателей которого и знатоком он со временем стал. На это, впрочем, ушло около двух десятилетий не только увлеченной работы с записанными уже песнями, но и участие в экспедициях в различные районы Грузии. Собственно, именно придя к идее о необходимости активного поиска и фиксации музыкального фольклора, Фридрих начал брать регулярные уроки верховой езды, желая довести свое владение этим искусством до уровня необходимого в самом что ни на есть практическом смысле этого слова – ибо намерение свободного, не признающего ограничений передвижения по этой горной стране требовало, естественно, и умения передвигаться в седле. К тому же ему нравилось бывать и на всякого рода праздниках, где, помимо скачек, наблюдал он и «цхенбурти», своеобразную игру наездников с ракетками и мячом. Начав брать уроки верховой езды, Фридрих постепенно, по ходу овладения этим древним искусством, начал ощущать то, что наедине с собою называл «ощущением кентавра».

Следует сказать, что античный мир и его легенды всегда присутствовали отнюдь не на периферии, а, скорее, в скрытом центре той сложной архитектуры связей, которой отличалось сознание Фридриха. Иногда ему казалось, что и жизнь его в этой новой стране, и сознание его имеют больше точек сцепления с окружающим, нежели это было дотоле. Возможно, что одной из причин этого был

счастливый, по его собственному, сделанному себе признанию, брак с Саломе.

Ее мать, бывшая фрейлина императрицы mademoiselle Амалия Лидерс вышла замуж за генерала артиллерии князя Арчила Амирэджиби, участника походов Русской армии в Среднюю Азию. Первый муж Саломе, артиллерист князь Тицианов, погиб при взрыве боеприпасов на оружейном заводе в Ижоре, что до глубины души потрясло ожидавшую его в Петербурге Саломе, решившую после этого навсегда покинуть город, который не принес счастья ни ей, ни ее мужу. Прошло три года, и встреча с Фридрихом позволила Саломе в большей степени почувствовать себя дочерью фрейлины Амалии, нежели князя Арчила.

Попробую пояснить эту мысль. В молодости Саломе вместе со своими родителями прожила ряд лет в Петербурге, в Грузии бывала лишь наездами, а переехала в Тифлис лишь после гибели мужа, оказавшись, в конечном счете, воспитанной двумя культурами, что было явлением достаточно характерным для того времени. Но, и это безусловно главное, Фридрих ей нравился, он показался ей обаятельным и интересным мужчиной. Нравилось ей и то, что она показалась ему всё еще красивой и привлекательной женщиной. Более того, помимо взаимного тяготения, между ними возникло еще и некое ощущение сообщничества. И Фридрих, и Саломе, даже не договариваясь об этом, понимали, что в жизни каждого из них в Тифлисе присутствует элемент доставлявшей им удовольствие игры, которая должна была нравиться окружающим, в чем они и преуспели.

Возможно, всё вышесказанное объясняет и то, что именно в этом городе, участвуя в процессе в качестве приглашенного из Москвы адвоката, Фридрих Оскарович обнаружил, что может быть не только замечательно логичным и красноречивым адвокатом, защитником несправедливо обвиненных и невинных жертв, но еще и человеком, страстно полюбившим и «многобалконный» город, и ряд связанных с ним сторон жизни, осознавшим при этом всю ее скрытую от него до каких-то пор чувственную красоту и богатство. Однажды ему в голову пришло восточное, как он сам определил его, сравнение души с пребывающим в ножнах клинком кинжала; в другой раз его посетило ощущение того, что он сам, как целое, является лишь повторением одного из запечатленных на старой фреске персонажей. Не испытывая склонности к сравнениям поэтическим, он, тем не менее, был не лишен чувства *красоты* и полагал ее ничем иным, как сиянием *истины*. И ему нравилась его новая, совершенно ни с чем не сравнимая жизнь, нравились все связанные с ней ощущения и переживания, которые он полагал естественными и подлинными и уж никак не навязанными. И, наконец, в 1908 году у переехавшего из Москвы в

Тифлис Фридриха Гаазе-Амирэджиби и его красавицы жены, Саломе Гаазе-Амирэджиби, родилась дочь, названная счастливыми родителями Нестан-Дареджан в честь героини поэмы о витязе в тигровой шкуре, похищенной, как известно, злыми духами, *каджами*.

ГЛАВА 5

Не следует, однако, полагать, что постепенно привыкавший к своей новой жизни в стране, которую можно было бы назвать «райским садом Эдема», Фридрих не обращал внимания на происходившие вокруг события экстраординарного порядка, указывавшие на контуры грядущих потрясений. Жизнь просто не предоставила ему такой возможности.

Несколько приглушенный расстоянием грохот Русско-японской войны, январский расстрел в Петербурге 1905 года, митинги, стачки и Гурийское восстание, подавленное войсками генерала Алиханова, и, наконец, Манифест от 17 октября – всё это послужило лишь своего рода фоном для произошедшего, свидетелем которого оказался вживавшийся в жизнь всё еще новой для себя страны Фридрих.

Вот сведения об одном из поразивших его событий: от своего учителя грузинского языка о. Акакия Фридрих узнал о том, что в конце августа 1906 года ни один из представителей грузинского духовенства не встретил в кафедральном Сионском соборе прибывшего из России архиепископа Никона, нового экзарха Грузии. Узнал он и о том, что на встрече в соборе присутствовали только русские священники. Причиной же происшедшего афронта было то, что грузинское духовенство единодушно требовало восстановления утерянной в 1811 году автокефалии. В последовавшие прибытию нового экзарха дни Фридрих, вернувшийся вместе с женой в Тифлис после летнего отдыха на недавно выстроенной даче в Коджори, услышал множество эмоциональных комментариев по поводу случившегося, исходивших от знакомых и даже малознакомых людей, а из собеседований с о. Акакием по поводу происшедшего его ученик вынес ощущение возникновения еще одного серьезного сдвига в отношениях между Грузией и Россией.

Спустя почти год, 13 июня 1907 года, выйдя с дружеской пирушки, посвященной окончанию революции и началу работы Третьей Думы, – а происходила оная пирушка в ресторане у подножья Сололакского хребта на улице Вельяминовской, – Фридрих вскоре оказался на Эриваньской площади и, намереваясь кликнуть извозчика, стал невольным свидетелем взрывов и стрельбы, сопровождавших ограбление почтовой кареты Государственного банка.

Несколько позднее, уже после проведения необходимых следственных мероприятий, полицией было установлено и стало достоверно известно следующее: ограбление со взрывом и стрельбой было организовано эсдеками под руководством некоего Камо Тер-Петросяна, за которым стоял обучавший его русскому языку уроженец Гори Иосиф Джугашвили, по кличке Коба.

Мало того, в самом конце лета всё того же 1907 года Грузию потрясло убийство Ильи Чавчавадзе, еще при жизни названного в Грузии «отцом нации», что, естественно, никак не устраивало грабивших банки его политических противников. Илья пользовался огромной популярностью как писатель, поэт и публицист, лидер национально-демократического движения, создатель и организатор первого в Грузии банка. Он никогда не жалел собственных денег на благотворительность и поддержание деятельности созданных им обществ по распространению грамотности, содействия развитию театра и т. д., и т. п. Это был живой и страстный человек, всегда готовый протянуть руку помощи ближнему и порадоваться успеху друга; любивший компанию и общение; известный еще и как непревзойденный в то время тамада.

Итак, в самом конце августа 1907 года 70-летний князь Илья Чавчавадзе и его жена выехали в запряженной двумя лошадьми коляске в сопровождении слуги из Тбилиси в уже заложенное к тому времени имение князя Сагурамо. За некоторое время до этого Илье Чавчавадзе удалось остановить и удержать от решительных действий направленные на усмирение крестьян Сагурамо войска. Казаки патрулировали окрестности поместья и в день его убийства.

На козлах коляски с князем Чавчавадзе и его женой сидел кучер, вступивший в сговор с людьми, планировавшими убить князя. Ехал вместе с Ильей и его женой и преданный слуга князя, который и стал первой жертвой разбойничьего нападения в Цицамури, у Большого Камня.

Илья пытался отстреливаться от нападавших, но его сразили выстрелом в грудь, а потом добивали прикладами. Затем один из убийц, осыпая князя проклятиями, несколько раз выстрелил в лицо умиравшего человека. Супругу князя, призывавшую убийц остановиться, били прикладами, ломали ей пальцы...

Позднее – и в ходе следствия, и на процессе – преступники утверждали, что нападение на князя было совершено с целью ограбления. Похищены были золотые часы, бумажник, кольца и очки. Один из убийц сунул в карман маузер Ильи. Второй – очки в золотой оправе. Третий, сдирая кольца с пальцев княгини, переломал ей суставы. Они разделили между собой жакет и пальто, жилет и пояс, браслет и сорочку. С убитого слуги стащили сапоги и сняли серебряный пояс.

Непосредственными исполнителями убийства были крестьяне из имения князя: один был проворовавшийся староста, другой – убийца, третий – вор, четвертый – смутьян. Участвовала в этом уникальном по жестокости убийстве и другая, социально близкая чернь.

Военный трибунал приговорил убийц к смертной казни через повешение, но жена князя обратилась к генерал-губернатору с просьбой о помиловании преступников. «...Если бы мой муж был сегодня жив, то он простил бы тех, кто в свое время не пощадил его...», – писала она, и ее просьба о помиловании была выполнена. Известная максима о «строгости российских законов, смягчаемых необязательностью их исполнения» оказалась более чем уместной в применениии к сложившейся ситуации.

Потрясен был убийством Ильи и Фридрих, слышавший не одно публичное выступление князя. Да и всё остальное: поведение обвиняемых, поведение свидетелей и решение генерал-губернатора о помиловании преступников – всё это не укладывалось в его сознании в единую, стройную картину. Вопрос, не переставший волновать Фридриха и в последующие годы, был связан с очевидной для него и, как он полагал, для любого другого непредвзятого наблюдателя, проблемой наличия непримиримого противоречия между воззрениями общества как целого – определяющими, в том числе, и его правовую культуру, – и тем, какие ценности и мотивы управляют поведением его отдельных представителей и прослоек. Ибо в Грузии, как это со временем стало ясно Фридриху, наряду с постепенно входившими в жизнь новыми правовыми нормами, связаными с изменением самого строя жизни, провозвестником которых был князь и сторонник демократических реформ Илья Чавчавадзе, не только присутствовал, но даже и процветал сложившийся в весьма далекие времена романтический культ «благородного разбойника», подтверждений чему не следовало искать слишком далеко в истории, ибо обучавший налетчика Камо русскому языку горийский революционер известен был под кличкой Коба – по имени героя-разбойника из одноименной романтической повести известного грузинского писателя Александра Казбеги (1848–1893).

Отвлекаясь от того, как и в каких словах выражал Фридрих посещавшие его сомнения и соображения относительно происходивших в этой стране процессов, следует признать, что «медовый месяц» отношений Фридриха с окружавшей его реальностью прошел.

Самым же важным следствием всего произошедшего оказалось то, что после гибели Ильи Чавчавадзе политическим пространством в стране овладели социал-демократы.

И, наконец, в конце мая следующего, 1908 года экзарх был

смертельно ранен на лестнице Грузино-Имеретинской Синодальной конторы выстрелами из пистолетов. Убийцы скрылись с места преступления. Через полчаса экзарх умер.

И Фридрих, и о. Акакий, находившиеся во время покушения в келье о. Акакия, слышали выстрелы и были опрошены полицией.

Нельзя не отметить, что, беседуя с о. Акакием, Фридрих не раз узнавал в словах своего собеседника присутствие тех же, что беспокоили и его, мотивов. Страстная душа о. Акакия давала о себе знать, он не раз возмущался теми или иными сообщениями или событиями, сведения о которых, связанные с самыми разными областями человеческой деятельности, появлялись на страницах газет того времени.

Однако особое негодование о. Акакия вызвало сообщение о предложенном русским биологом, профессором И. И. Ивановым, эксперименте по созданию гибрида человека и обезьяны. Произошло это в 1910 году, во время выступления профессора перед Всемирным конгрессом зоологов в Граце, где он описал возможность получения подобного гибрида, используя искусственное осеменение.

– Один англичанин человека от обезьяны произвел, а русский его коллега решил человека снова в обезьяну превратить! – возмущенно восклицал о. Акакий, обращаясь к Фридриху. – Неужели они считают, что жизнь есть цирк, мой дорогой? Или просто представление в Мулен-Руж? Или Фоли-Бержер? Канкан? Оффенбах? Тулуз-Лотрек? – продолжал он, демонстрируя порой неожиданную осведомленность в вопросах, достаточно удаленных от сферы его профессиональных интересов.

Надо сказать, что несмотря на то, что его знакомству с о. Акакием было уже более десяти лет и знание, или даже владение, грузинским языком стало к этому времени той частью жизни Фридриха, о которой он, в сущности, не задумывался, поскольку почитал знание это естественным, Фридрих продолжал испытывать привязанность к священнику, по-прежнему занимавшему одну из келий в строении Грузино-Имеретинской Синодальной конторы.

Побывав не один раз в доме о. Акакия – а дом, где он жил со своей семьей, стоял неподалеку от Сионского собора, на одной из карабкающихся в сторону крепости Нарекала улочек, – Фридрих пришел к заключению, радикальность которого его, с одной стороны, воодушевила, а с другой стороны, еще раз заставила почувствовать инородность своего бытия тому, частью чего казался и, по-видимому, был о. Акакий. А был это, представлялось Фридриху, человек, совершенно просто и естественно «живущий в истории» своей страны, своей семьи, традиций и веры; человек, ощущающий всю естественность и сопряженное с величием достоинство обычной человеческой жизни.

ГЛАВА 6

И здесь нам, наверное, следует упомянуть еще и то, что именно в доме уроженца Гурии о. Акакия зародился первый интерес Фридриха к грузинским песням и мелосу. Прислушиваясь к народным песням этой страны, он со временем обнаружил, что определенные повторяющиеся созвучия и рулады, объединяя звучащее изображение скольжения проникающих из-за отрогов гор утренних лучей солнца с захватывающим дух звуковым описанием глубоких теней, горных провалов и беззаботно простирающихся под солнцем горных лугов и даже водных капель, преломляющих свет в радужное сияние воздуха у водопадов, – рулады эти создают ощущение того горного пейзажа, того окружения, к которому обращается обычно одинокий или ведущий голос певца, повествующий о случившемся или о совершившейся истории так, как она видится в этом пейзаже.

Говоря иначе, Фридриху казалось, или, вернее сказать, со временем он уверился в том, что начал ощущать и представлять структуру определенного типа народных песен, называемых им наедине с собою «голосом в горах». Эти песни представляют собой медитации, упоминающие традиционные пасторальные реалии – пастушью свирель саламури и охраняющих свое стадо пастухов...

Вообще же, как писал Фридрих уже позднее, оказавшись в эмиграции во Франции, темы грузинского мелоса, грузинской музыки и истории грузинской музыкальной культуры – воистину глубоки и необъятны.

Мы же попробуем рассказать лишь об одной арии из оперы «Маленький кахетинец», написанной уроженцем кахетинского села Ацкури Нико Сулханишвили. Небольшое село, где жили его родители, расположено поблизости от столицы Кахетии – Телави, города, лежащего на холмах над долиной реки Алазани. Рожденный в 1871 году, он сначала учился пению в Телавском духовном училище, а затем, с семнадцати до двадцати пяти лет – в Тифлисской духовной семинарии. Позднее он вернулся в Кахетию, край вина, храмов и крепостей, и дирижировал хором Телавского духовного училища.

В 1912 году, после участия в фольклорной экспедиции, он организовал этнографический хор, с которым исполнял и собственные сочинения. Знаток народной песни, он мастерски владел искусством хорового письма, первый ввел четырехголосие, а также женские голоса в состав хоров и стал одним из основоположников грузинской композиторской хоровой музыки.

«Маленьким кахетинцем» («Патара кахи») называют в Грузии

предпоследнего грузинского царя Ираклия II, заключившего в 1783 году Георгиевский трактат с Российской империей. В основу либретто единственной оперы Нико Сулханишвили легли события, связанные с битвой, произошедшей в 1795 году между персами, пришедшими со стороны Гянджи, и грузинами, встретившими их при Крцаниси, в виду лежащего за рекой Тбилиси, когда пятитысячное грузинское войско оказалось перед тридцатью пятью тысячами кызылбашей и персов.

Осознав неизбежность поражения в этом самом важном сражении его жизни, 75-летний грузинский царь Ираклий II решил искать смерть на поле боя, но этому воспрепятствовали его внуки, не позволившие ему броситься в гущу сражения. Одержавшие победу персы разграбили и сожгли Тбилиси. Сокрушенный царь удалился в Кахетию, где и скончался в начале 1798 года. Он был похоронен в Мцхета, в тысячелетнем храме Светицховели, построенном на месте захоронения хитона Христа.

Ария «Опоздавшие», в которой стенания молодого пастуха в горах словно сплетаются со своими отзвуками и отражают голоса тех, кто опоздал к началу сражения, поразила Фридриха.

Пастух ждет вестей с поля сражения и уверен, что те, кто услышат голос его свирели, не собьются с пути и попадут на поле боя. Но ожидание невыносимо, ибо пастух уверен, что его место среди сверстников в гуще сражения.

О Боже, мой путь запутан.
Но и не только путь,
Но и собственные мои следы...
Кто я и кто пастырь мой?
А между тем слышу – поблизости уже та самая битва...
Битва, на которую мы опоздали...
Или я опоздал, о Боже...
Но опоздали мы не по злой воле,
Путь наш заплутал,
А следы затерялись в тумане...

При первом прослушивании арии Фридрих уловил лишь общее направление пастушьих жалоб и молений, но его поразил ее драматизм, сплетенный из мотивов жертвенности, боли и скорби, одиночество голоса, величие гор, темнеющая туча и озаренные светом края облаков...

«Нигде, – думал он с удивлением, – нигде не переживал я связь с событиями исторического прошлого так сильно, как в этой стране,

и, возможно, я оттого и люблю ее, что она открыла во мне эту способность переживать и чувствовать.»

Возвращаясь из посещения прошлого, связанного с фигурой «Патара кахи», как называл народ своего любимца, Ираклия II, к истории Фридриха, то есть в 1910 год, последний год жизни писателя Л. Н. Толстого, стоит отметить, что события последующих десятилетий оказались связаны с последствиями тех, впечатливших Фридриха событий драматического и даже трагического характера, которых мы уже кратко коснулись ранее. Судьба и будущность Грузии оказались столь же неустойчивыми, что и будущность всей Российской Империи, и разразившаяся вскоре, в 1914 году, мировая война эту уверенность Фридриха только укрепила и прояснила то обстоятельство, что, несмотря на приятный сердцу и всему строю мысли Фридриха неоплатонизм, как бы естественно присущий сознанию и мировосприятию грузин, ничто теперь не сможет обеспечить присутствие мира и гармонии в жизни этого народа и страны, ибо она, эта страна, судя по всему, должна была снова, как это уже случилось до присоединения к России, оказаться заложницей игры и противостояния внешних сил.

Впрочем, похоже было, что и Россия в своем развитии подошла к своего рода краю обрыва.

ГЛАВА 7

Каждый год, а порой и по несколько раз в году, наезжал Фридрих Оскарович в Москву и Петербург для встречи с детьми, родителями и родственниками, и в каждую свою поездку отмечал и заносил в свои дневники бросившиеся ему в глаза изменения в России и встреченных им людях. Он пытался сделать всё возможное для того, чтобы облегчить жизнь Агнессы и детей, и сумел обеспечить им достаточно безбедное существование.

Всё остальное, включая и отношения с его сыном Акселем, поддавалось регулированию с трудом, и если постепенно, казалось, отношения и улучшались, то происходило это весьма медленно, ибо Аксель считал себя и свою сестру Кристину несчастными детьми, преданными родителями, которые любили их явно недостаточно. К тому же он, в отличие от сестры, любил время от времени изображать полное и окончательное отчуждение как от отца, так и от матери.

Но время шло, дети взрослели, родственники старели, а там подошел и 14-й год; и после того, как летом между Россией и Германией началась война, ненависть к немцам, вспыхнувшая в

обществе и немедленно подхваченная прессой, вдруг выросла до небывалого накала и с тех пор продолжала только расти. Впрочем, в те первые годы войны мало кто мог представить, что пройдет еще несколько лет, отгремят битвы с миллионами погибших, рухнут империи, и дело дойдет до краха всего миропорядка, установленного на пространствах Европы и Азии...

Следует отметить, что ощущение тотального краха и катастрофы пришло позднее, а в первые годы войны, когда в сознании обывателей военные действия представали чередой успехов и неудач, чувства и оценки людей порой во многом зависели от того, насколько знакомо звучали названия мест и краев, затронутых войной. Надо ли говорить о том, какое впечатление произвели на Агнессу сообщения об оккупация германскими войсками Курляндии, эвакуации промышленности из латвийских городов, о разрушениях в Двинске и оккупации Риги, что привело к движению значительных масс людей из Латвии в Россию и в Сибирь. В ту пору ей даже пришла в голову безумная и совершенно нереальная – оттого что она хорошо знала Фридриха – мысль о перемене фамилии детей с Гаазе на фамилию ее второго мужа, довольно известного в Москве врача-ветеринара Александра Ильича Дубровского.

Знакомство Агнессы с будущим мужем возникло случайно, на почве общей увлеченности театром, а связано оказалось с тем, что вскоре после смерти А. П. Чехова руководитель одного из известных московских театров задумался о возможности инсценировки опубликованной на изломе века «Дамы с собачкой». Вскоре для предварительных консультаций, связанных с возможным участием в спектакле указанного в заглавии чеховской повести животного, в театр были приглашены хорошо известный москвичам ветеринар А. И. Дубровский и добрая знакомая режиссера Агнесса Балодис-Гаазе, согласившаяся предоставить своего шпица в распоряжение театра.

С годами Фридриху стало совершенно ясно, что несмотря на столь экзотическое начало знакомства между будущими супругами, само по себе общение с Александром Ильичом, представителем известной в Москве семьи, давшей городу немало врачей и ветеринаров, оказало на Акселя чрезвычайно серьезное и, пожалуй, благотворное влияние, ибо этот молодой человек как будто решил пойти по стопам отчима и непременно стать ветеринаром – еще одно дополнительное к отчужденности сына обстоятельство, которое заставляло Фридриха нервничать и даже переживать, но не мог же он, в конце-то концов, требовать от сына стать юристом, ведь это был еще и вопрос склонностей и способностей. Но это, пожалуй, было отнюдь не главное беспокоившее его обстоятельство. Правда, в душе его

жила надежда на то, что если дела в Москве пойдут совсем плохо, то он сможет убедить своих детей и их мать уехать из Москвы в какое-нибудь мирное, спокойное место на юге – ну, скажем, переехать в Сухум, где жили родители Агнессы, всегда готовые их принять и предоставить не только все необходимые условия для цивилизованной жизни, но еще и возможность жить в доме с прекрасным видом на море. К мысли о Сухуме как спокойном и упоительно прекрасном месте Фридрих пришел еще в чудесном и мирном 1910 году, на пути из Москвы в Тифлис, куда он в тот год решил вернуться через Батум, до которого собирался плыть морем, на пароходе из Одессы. Удостоверившись, что пароход «Цесаревич» действительно проведет на рейде сухумской бухты более шести часов, Фридрих нанял одну из подплывших к пароходу лодок с гребцами и направился на берег, где, оказавшись на Николаевской набережной, уселся в фаэтон и попросил отвезти его к дому доктора Балодиса на горе Самата.

ГЛАВА 8

Тут, очевидно, следует напомнить, что в свое время отец Агнессы, доктор Арвид Балодис, принял предложение своего учителя, профессора Остроумова, и вслед за ним переехал из Москвы в Сухум, небольшой город на берегу Черного моря. Его учитель и наставник, ординарный профессор Московского университета А. А. Остроумов переехал в Сухум в конце 1900 года, оставив службу в университете по состоянию здоровья. Профессор знал эти края уже много лет, консультировал в местных лечебных заведениях и на собственные средства и собранные пожертвования построил здесь больницу, родильный дом и центр по лечению и профилактике туберкулеза.

Жил профессор Остроумов в доме с мраморной парадной лестницей на склоне горы Трапеция, против Ботанического сада, разбитого еще при генерале Раевском в начале XIX века. Профессор полагал, что период с сентября по июнь – наилучшее время для жизни в Сухуме с климатолечебными целями. С соображениями профессора Остроумова о лечебных свойствах сухумского воздуха был солидарен и побывавший в этих краях в 1885 г. знаменитый немецкий клиницист и создатель клеточной теории Р. Вирхов, утверждавший, что посылал бы больных в Сухум вместо Ниццы.

В те времена Сухум, да и вся Абхазия, представляли собой новый, развиваемый с оглядкой на Ниццу и Юг Франции, регион Российской империи. Впервые посетивший Абхазию через десять лет после окончания войны с турками летом 1888 года А. П. Чехов писал: «...сегодня с утра сижу в Сухуме. Природа удивительная до бешен-

ства и отчаяния. Всё ново, сказочно, глупо и поэтично. Эвкалипты, чайные кусты, кипарисы, кедры, пальмы, ослы, лебеди, буйволы, сизые журавли, а главное – горы, горы и горы без конца и краю... Сижу я сейчас на балконе, а мимо лениво прохаживаются абхазцы... через дорогу бульвар с маслинами, кедрами и кипарисами, за бульваром темно-синее море...»

В Сухуме Чехов остановился в гостинице «Франция» на приморском бульваре. Он навестил профессора Остроумова, чьи лекции слушал в студенческие годы, и встретился с его коллегами. В повести «Дуэль», написанной через несколько лет после поездки в Абхазию, присутствует немало зарисовок местных персонажей и быта того времени, когда приплывавшие в Сухум пароходы ожидали своих пассажиров на рейде, ибо сухумский причал был построен лишь через несколько десятилетий.

Ко времени первого появления в городе доктора Балодиса и его супруги Марты Сухумский военный округ, пришедший на смену Абхазскому княжеству, упраздненному в 1864 г., существовал уже несколько десятилетий.

Что же до представителей коренного населения, то после окончания очередной Русско-турецкой войны 1877-78 гг. значительная часть абхазского населения, поддерживавшего в этой войне турок, вынуждена была покинуть родину и переселиться в Турцию. Не покинувшее «страну души», Апсны, абхазское население было объявлено «виновным» и на него был наложен запрет селиться на побережье, действовавший в течение около тридцати лет после окончания войны. На пустующие после войны земли начали стекаться не только поселенцы и колонисты – русские, греки, немцы, эстонцы, армяне и мингрельцы, – но и состоятельные, образованные и просвещенные люди из разных регионов империи. Приезжали в Абхазию в поисках утерянного рая и просто новых впечатлений и деятели русской культуры, музыканты, художники и поэты.

Дом доктора Балодиса на горе Самата, из окон которого открывался вид на сухумскую бухту, город и Николаевскую набережную, находился несколько выше двухэтажного строения Горской школы, по соседству с домом инженера Даля и довольно близко от дома известного местного краеведа В. И. Чернявского, члена Московского географического общества.

В прочитанных в Обществе и опубликованных в его «Трудах» докладах краевед сообщал о своих открытиях и находках, относящихся к античному периоду, когда за две с половиной тысячи лет до

начала XXI века милетские греки основали Диоскурию, античное поселение, ушедшее на дно моря после катастрофического сдвига земной коры. В 1892 году В. И. Чернявский нашел обломок плиты с надписью, подтвердившей пребывание в городе римского легата Флавия Арриана. Помимо этого Чернявский остался в памяти горожан благодаря раскопкам и на горе Самата, где он отыскал стоянки первобытного человека, и в устье реки Беседки, пробегающей между Саматой и горой Баграта, на вершине которой за четырьмя кипарисами высились поросшие дикой ежевикой стены средневековой крепости, воздвигнутой еще до эпохи царицы Тамар.

В начале двадцатого столетия Сухуму – а ко времени первого появления здесь Фридриха это был городок с населением около десяти тысяч жителей – уже несколько лет как был присвоен статус свободного города – porto franco – с правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров, что привело к оживлению экономической жизни в городе, где уже функционировали почта, индо-европейский телеграф и морской порт. Еще через несколько лет в городе были построены не только роскошные городские здания, но и табачные склады петербургской компании «Лаферм», открыты отделения банков и страховых компаний. Предлагали свои услуги и отели «Метрополь», «Сан-Ремо», «Ориенталь». Возведены были дома, виллы, дачи и шале. Медики и предприниматели создавали пансионаты и санатории для легочных больных. Возникли типографии и стали выходить газеты. Открыты были Горская школа и женская гимназия, реальное училище, работали театры и иллюзионы. Строения в стиле модерн органично вписались в ландшафты черноморского побережья Абхазии. Замок принца Ольденбургского в Гаграх, особняк купца Нинуа, дом баронессы Вильгельмины Дундер, особняк графини Толстой в Сухуме, альпийское шале Смецкого и здание построенного им в стиле французского шато санатория в Гульрипше – всё это вполне естественно сосуществовало с местными, непривычно роскошными для глаз обитателей России, пейзажами.

И, однако, всё это «прекрасное начало» и чудесные планы оказались прерваны и обращены в ничто событиями, разыгравшимися в Европе вслед за выстрелами Гаврилы Принципа в эрцгерцога Фердинанда и его спутницу, произведенными в Сараево 28 июня 1914 года.

Вступление России на стороне Антанты в войну с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией уже через два с небольшим года привело ее к фактическому поражению вследствие полного развала фронтов к началу 1917 года, к последовавшему отречению царя, к Февральской революции и Октябрьскому перевороту, свергнувшему недееспособное Временное правительство.

Разогнав Учредительное собрание и прикрывшись лозунгом «Вся власть Советам», большевики занялись решением проблемы удержания власти в условиях продолжавшейся войны и приняли условия Брестского мира, заключенного с германским военным командованием, – мира, покончившего с Российской Империей, бывшие колонии которой обрели независимость.

ГЛАВА 9

Иногда судьба является людям в донельзя персонифицированном виде, и именно оттого, наверное, они и не могут понять, что же по-настоящему произошло... В нашем же случае речь пойдет о человеке, позвонившем в дверь квартиры Дубровских в один из сентябрьских вечеров 1918 года.

Янсон появился в просторной квартире Дубровских через неделю с начала по всей стране режима *красного террора,* введенного для удержания власти после ее вооруженного захвата и означавшего на практике не что иное, как взятие большевиками заложников из числа дворян, буржуазии и интеллигенции и их последующие расстрелы без суда и следствия.

Известный в прошлом всей медицинской Москве специалист по точной механике и оптике, прошедший подготовку в Германии и в свое время занимавшийся ремонтом медицинского оборудования, Карл Антонович появился на пороге квартиры Дубровских в большом жилом доме, построенном акционерным обществом «Россия» на Чистых Прудах, после случайной встречи с Александром Ильичом в уличной московской суете тревожного сентября 18-го года.

Оглядываясь на всё то, что предшествовало появлению Янсона на пороге квартиры, где жила семья Агнессы, надо признать, что и тот сентябрьский день, и вечер, в который произошла встреча, трудно даже и при желании назвать прекрасными. В тот день, проезжая в открытом, черном, недавно отремонтированном авто марки «Фиат» с шофером и двумя сотрудниками «чрезвычайки» по вечерней улице летней, разморенной и липкой Москвы, Янсон заметил человека, пытавшегося отбиться от уличной шпаны, совсем уже обнаглевшей в последние дни. Фигура человека с тростью показалась ему знакомой. Янсон приказал тормозить и, вытащив свой браунинг, выстрелил в мощеную мостовую, в сторону кучки людей, прижавших к стене дома отбивавшегося палкой человека. Отрикошетившая пуля взвизгнула, раздался звон разбитого стекла, шпана бросилась врассыпную и, выскочив из остановившегося авто, Янсон узнал знакомого ветеринара, доктора Александра Ильича Дубровского, в клинику которо-

го он недавно обращался за содействием для излечения от чумки своей овчарки Урса. Узнав спасителя, Александр Ильич тут же на радостях пригласил его зайти в гости попить чайку. Янсон пообещал зайти и выполнил свое обещание в тот же вечер, но несколько позже.

Поначалу, еще не увидев его, а только в ожидании встречи, взволнованная рассказом мужа, вернувшегося после уличного инцидента домой, Агнесса мысленно наделила Карла Янсона разнообразными достоинствами, включая талант психиатра и медиума. К тому же в разговоре с ней появившийся Янсон изредка переходил на латышский язык, рассказывая какой-либо эпизод из своего проведенного на хуторе детства, цитируя пословицы и поговорки, что, безусловно, понравилось Агнессе. Он стал представляться ей живым оберегом, а наличие охранной грамоты или живого оберега было в те дни чем-то чрезвычайно важным и жизненно необходимым, в особенности для Агнессы, ввиду того воздействия, что оказали на нее неведомо откуда ставшие известными детали казни анархистки Фанни Каплан, стрелявшей в Ленина. Эту почти слепую женщину расстрелял комендант Кремля Мальков. Он же и сжег ее тело, предварительно облив бензином, в чадящей бочке из-под смолы, прямо под стеной Кремля.

Иногда Агнессе казалось, что смоляной чад из бочки с бензином и горящим человеческим мясом не дает ей дышать. И она начала носить с собой маленький флакончик с нашатырным спиртом, доставая его из сумочки всякий раз, когда знакомые рассказывали ей подробности о новых расстрелах где-то на улицах, у церковных оград и за стенами ЧК.

Постепенно Карл Антонович стал забегать на Чистые Пруды более или менее регулярно, обнаружив живую заинтересованность в человеческом общении, ибо жил Янсон, если не считать овчарку Урса, практически один, меж тем как семья его находилась то ли в Риге, то ли в Петрограде.

Спокойная и взвешенная манера общения Янсона со своими собеседниками произвела немалое впечатление на Акселя и остальных членов семьи доктора Дубровского. Склонная к драматизации Агнесса даже сказала как-то раз позднее, что черная кожаная куртка Янсона производила не только на нее, но и на других людей не менее сильное впечатление, чем черная сутана пастора в одной из пьес Г.Ибсена, скорее всего благодаря тому замечательному дару понимания людей и их поведения, которым Карл Янсон обладал.

Со временем Агнесса пришла к заключению, что способность и умение Карла Антоновича внимательно слушать и искренне стремиться понять и мысли, и мотивацию собеседника могли развиться у

него не только в силу его любви к театру, но и как результат долгого пребывания в одиночестве, которое обычно наделяет человека, его пережившего, большим, чем у других, талантом наблюдать и слышать, вернее сказать, обостряет проявления этого таланта. Кстати сказать, Янсон и не скрывал того, что ему доводилось находиться в заключении. Не скрывал он и что принимал участие в подавлении мятежа левых эсеров, случившегося 6 июля, и в последовавших допросах его участников.

Он был рассудителен и спокоен, и в ходе одного из разговоров за чаем у Дубровских он, после некоторого раздумья, согласился с тем, что Агнессе следовало бы позаботиться об оставшемся в одиночестве докторе Балодисе.

Многим, в том числе и Янсону, казалось, что в эти голодные и ужасные послереволюционные годы юг, куда устремились семьи из Петербурга, Москвы и других русских городов, сумеет то ли из-за удачных географических обстоятельств, то ли благодаря богатству природы избежать или, по крайней мере, легче пережить эти трагические и беззаконные времена и, более того, сумеет предоставить убежище беглецам с севера. Рассуждая при этом относительно будущего и судьбы всех этих замечательных теплых мест на юге, куда ныне уезжали русские люди из центральных районов и городов России, Янсон указывал на то, что речь здесь идет об исторических интересах России – государства, еще со времен Руси стремившегося «из варяг в греки» и потратившего миллионы жизней в ходе длившегося столетия завоевания и покорения Кавказа и Крыма. И такого рода явления, как, скажем, признание независимости Грузии и подписание договора 1920 года о мире и границах с этим государством, следовало, согласно Янсону, признать явлениями сугубо временного характера, связанными с преходящими обстоятельствами той борьбы, которую вела власть Советов на ряде фронтов.

– В революционной борьбе на международном фронте есть периоды приливов и отливов, – продолжал Янсон, – но в целом это процесс неостановимый и, поверьте, – заключил он, – Кавказ, весь, как он есть, станет красным с той же неизбежностью, с которой станут красными Персия, Индия и Афганистан...

И, пожалуй, думал Аксель, к словам Янсона стоило прислушаться, ибо он оказался одним из самых известных руководителей «латышских стрелков», которые стали «преторианской гвардией» возникшего в октябре 17-го года режима, составив костяк и основу его карательных, следственных и разведывательных учреждений и организаций.

– И будешь ты царицей мира, подруга вечная моя! – так, с необычным для него присутствием иронической нотки, прокомментировал однажды все эти заявления Александр Ильич, беседуя с Агнессой уже после того, как Карл Антонович покинул квартиру Дубровских вместе с заехавшим за ним сослуживцем. Слушая мужа, Агнесса вздохнула; она внезапно подумала о том, что ей никак не удавалось обрести и освоить ровную и неэкзальтированную манеру общения, которая устраивала бы Акселя, порой подозревавшего ее в неискренности и даже притворстве. Что же до Александра Ильича, отличавшегося добротой и достаточно размашистой и дружелюбной манерой общения, то его заявления и мнения Аксель всегда воспринимал безо всяких сомнений в их искренности.

При этом он, как мы уже говорили, ровно и с уважением относился к отчиму, признавая за ним право на свою достаточно своеобразную систему взглядов, в основу которых было положено признание трагической малокультурности и неразвитости российского общества. Иногда, впрочем, с удовольствием игравший на гитаре и аккомпанировавший себе Александр Ильич позволял и гротескные заявления, сообщая, к примеру, следующее:

– Дрессировать нас надо, как дуровских собачек. Это, господа, правда, и с этим я могу согласиться. Ну, а г-н Ульянов советует нам головы палками расшибать аки глиняные горшки, а вот это уже, батенька мой, – последнее дело.

Так, собственно, он выразился, комментируя сделанное в разговоре с писателем М. Горьким заявление вождя Октябрьского переворота, выздоравливавшего после покушения на его жизнь.

Александр Ильич считал этого политического деятеля, выросшего на Волге и с детства увлекавшегося игрой в «городки», крайне прагматичным, одержимым и жестоким человеком.

ГЛАВА 10

Следует признать, что беседы с Янсоном произвели определенное и даже весьма значительное влияние на Акселя, полностью перестроив его воззрения на действительность. В ту пору молодой человек состоял в любовной связи с дамой средних лет, увлекавшейся поэзией Игоря Северянина, а в университете изучал медицину, естественные науки и опыты с «животным электричеством». К окончанию срока обучения он стал вполне компетентным физиологом и ветеринарным врачом, отчасти, возможно, оттого, что его вдохновляла смутная идея мести отцу, скорее даже желание доказать ему собственную независимость и самостоятельность. Происходило всё это несмотря на

то, что Аксель понимал и осознавал достаточно ясно, что он не имеет права осуждать решения, касающиеся личной и семейной жизни другого человека, даже если этот человек его отец. И, как это обычно бывает, успехи на избранном поприще и продвижение в избранном направлении воодушевляли его, и, следуя перестройке своих воззрений, он сделал еще один шаг по тропе войны с «уходящим миром», превратившись в «сексота» – секретного сотрудника ЧК, подписывавшего свои отчеты и рапортички кличкой «Андрис».

Впрочем, делая этот решительный шаг, Аксель убедил себя, что принимаемое им решение никак не связано с не оставлявшими его вопросами, связанными с отношениями между ним и его отцом Фридрихом. Ведь именно это решение позволило ему остаться в Москве, избежав призыва в Красную Армию и продолжив работу в одной из лабораторий медицинского факультета и в ветеринарной клинике Александра Ильича.

Следует отметить и то, что часть соображений и слухов, зафиксированных в составленных «Андрисом» отчетах, основана была на рассказах дамы средних лет, чей муж погиб под трамваем за год до ее встречи с Акселем в ветеринарной клинике Александра Ильича. Содержание ее бесед с многочисленными знакомыми и родственниками, городские сплетни и слухи, – всё это, как оказалось, представляло собой интерес для его руководства, поскольку чекисты, как ему было сказано, обязаны были держать руку на пульсе того организма, который называется обществом.

Хочу добавить еще и то, что в ВЧК, эту молодую в то время и закрытую организацию, он попал после ряда долгих бесед с Карлом Янсоном, который, в отличие от такой, скажем, романтической фигуры, как лейтенант Шмидт, сопрягающейся в нашем воображении со светом и сиянием черноморской волны, должен быть отмечен, скорее всего, какой-то особой серьезностью и углубленностью, родственными естественному настроению балтийского неба и моря, почти всегда окрашенного серо-желтыми, с добавкой зеленого, тонами.

Идеи Янсона не являли из себя ничего нового; то был не более, чем пересказ экстракта сочинения Фридриха Энгельса, посвященного проблемам соотношения диалектики и научного познания, а также брошюры того же автора, посвященной вопросам происхождения семьи, частной собственности и государства. Беседуя с Акселем, Янсон не раз вспоминал и вклад Энгельса в военную науку, сожалея при этом лишь о том, что Энгельс ничего не писал о разведке и контрразведке, хотя и обсуждал вопросы, связанные с приобретением нового знания в написанной им Главе 4 третьего тома «Капитала». Ибо Янсон полагал разведку активностью, во многом схожей с

научными исследованиями; что же касается контрразведки и проблем государственной безопасности, то, рассуждая об этом направлении деятельности карательных органов, он ссылался на соображения необходимости защиты завоеваний «диктатуры пролетариата», почерпнутые из написанной Лениным книжки «Государство и революция». Кроме того, он предложил Акселю прочитать и продумать содержание написанной простым и ясным языком книги Н. И. Бухарина «Азбука коммунизма», содержавшей изложение принятой в 1919 году программы партии большевиков.

Беседы с Карлом Антоновичем, полуночные застольные рассуждения за чашкой полуостывшего чая о коммунизме и его азбуке, происходившие порой уже после того, как остальные члены семьи Александра Ильича отправлялись спать, привели к тому, что вскоре и сам Аксель стал ощущать себя одним из людей, принадлежащих к узкому кругу посвященных в подробнейшую, глубокую и, разумеется, тайную картину того, что на самом деле происходит и происходило в этом мире.

– Ибо рассказывать об этом всем людям неподготовленным было бы страшной и непростительной ошибкой, – утверждал Карл Антонович, – при том, что революция не сможет выжить и победить без наличия наделенных этими знаниями членов своеобразного «ордена меченосцев», – завершал он, указывая на вышеприведенную ситуацию как на еще один пример диалектики общественных отношений.

Подоспевшие знакомства Акселя с несколькими сотрудниками Карла Антоновича, людьми с обширным боевым опытом, интересовавшихся, среди прочего, современной поэзией, приложениями учения Дарвина об эволюции к общественной жизни, а также и поисками мифической Шамбалы, убедили Акселя в том, что, присоединившись к данной организации, он обнаружит себя в кругу интересных, необычных и близких ему по интересам людей.

– Профессия у тебя, Аксель, отличная, – сказал ему как-то раз Янсон уже после того, как Аксель завершил обучение в университете, – вот товарищ Орджоникидзе – он выходец из Грузии и сейчас занимается решением вопросов, связанных с кавказскими республиками, – он ведь тоже ветеринар по профессии. К тому же учти, люди подсознательно стараются расположить к себе ветеринаров, когда приводят к ним своих любимых животных. А стрелять... что же, в наше время это необходимо. Лошадей ведь тоже иногда пристреливают, об этом и Толстой писал в «Анне Карениной». А нам вот и в людей иногда стрелять приходится, – добавил он.

«Приходится», – мысленно повторил Аксель и про себя же усмех-

нулся, но на лице его продолжала оставаться маска почтительного внимания. К счастью, признался он позднее в разговоре с Annette, расстреливать людей ему не пришлось, хотя у него и было личное оружие, наткнувшись на которое, Annette и задала ему вопрос о расстрелах.

Прошло еще немного времени, и после участия в нескольких успешных операциях органов ЧК он был направлен на специальный факультет Военной Академии РККА, где изучал предметы, связанные с его будущей деятельностью. Среди прочего он научился читать карты и достиг хороших результатов в искусстве стрельбы из пистолета, даже несмотря на некоторую близорукость, из-за чего носил очки, заставлявшие подозревать в нем доктора или ветеринара, кем он, пожалуй, в конце концов и оставался.

ГЛАВА 11

Возвращаясь к мысли Фридриха о возможности и даже желательности переезда его бывшей жены Агнессы и детей на юг, в Абхазию, следует признать, что, в конечном счете, обстоятельства действительно сложились так, что Агнесса, Александр Ильич и Кристина переехали из Москвы в Сухум, но переехали на время, как они полагали в ту пору, когда, прихватив с собой несколько чемоданов с самыми необходимыми вещами, отправились на юг. Произошло это уже после смерти Марты, жены доктора Балодиса, осенью 1919 года. Немедленно после похорон жены доктор Балодис отправил в Москву письмо, в котором призвал свою дочь переехать к нему, где ученик и сподвижник профессора Остроумова доживал свой век в доме на склоне горы Самата по соседству с домом Алоизи, дачей инженера Даля, домом госпожи Арзамасовой, виллой полковника Аверкиева, виллой Чеми и домом братьев Ксандопуло. Сам профессор Остроумов умер вскоре после возвращения в Москву в 1908 году, но построенные им больница, родильный дом и другие медицинские учреждения Абхазии продолжали свою необходимую людям деятельность.

А между горой Самата и соседней горой Баграта с крепостной стеной за кипарисами на ее вершине пробегала текущая с гор река Беслети, писал доктор. Особенно же трогательным казалось Агнессе то обстоятельство, что находившийся выше по течению и сложенный из камней арочный мост был, как об этом сообщал в том же письме ее отец, переброшен через реку во времена царицы Тамар. Что же до Александра Ильича, то он, выслушав сие сообщение, задумчиво прошептал:

В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла.

Затем Александр Ильич умолк, а Агнессу посетило какое-то незнакомое ей дотоле чувство. Она взглянула на своего мужа, и в сознании ее промелькнули не произнесенные им вслух слова: «Боже, куда же мы собрались...»

Между тем, согласно картине, представленной Карлом Антоновичем своим слушателям на Чистых Прудах, события, происшедшие со времени начала войны с Германией и ее союзниками принесли свои радикальные и необратимые изменения даже в эти южные и, казалось бы, умиротворенные около полувека назад края, где в течение последних нескольких лет революционные комитеты, директории и комиссариаты сменяли друг друга, подобно набегавшим на берег волнам. Однако всё, казалось, начало успокаиваться, когда в конце мая 1918 года в Тифлисе, в Воронцовском дворце, была провозглашена независимость Грузии, а уже в июне грузинская армия вступила в Абхазию и восстановила подчинение этого края тифлисскому правительству, заключившему в 1920 г. мирный договор с Советской Россией. Что, по словам всё того же Карла Антоновича, означало наступление начала мирного и вполне благоприятного периода для переезда на юг, в Абхазию.

Однако уехать из замерзавшей Москвы в Сухум к старому доктору Балодису зимой 1920–1921 гг. решили только Агнесса, Кристина и Александр Ильич. Аксель уезжать не пожелал и решил остаться в заснеженной, зимней столице, где собирался совмещать работу в университетской ветеринарно-физиологической лаборатории с поисками своего места в жизни при активном содействии и под руководством Карла Антоновича, переселившегося в квартиру Дубровского на Чистых Прудах вскоре после отъезда Агнессы, Кристины и Александра Ильича.

Из Москвы наши путешественники добирались по железной дороге сначала до Киева, а уже оттуда до холодной, промерзавшей до костей Одессы, где благодаря специальному письму, выданному доктору Дубровскому Карлом Антоновичем, им удалось устроиться в гостинице «Лондонская» и раздобыть билеты на теплоход «Пестель».

Последний этап путешествия, измучивший Агнессу и Кристину, пролегал по неспокойному зимой Черному морю. Однако ближе к

концу морского путешествия на теплоходе погода исправилась, что несколько ободрило совсем уж было загрустившего Александра Ильича.

С рейда на берег пассажиров перевозили гребные лодки с лодочниками. Они легко управились с привычным делом удобного и безопасного размещения пассажиров и багажа, и лодки взяли курс к лодочному причалу в том месте набережной, где стояло светлое здание отеля «Франция».

На невысоком и шатком причале лодку, доставившую путешественников и их багаж с «Пестеля», встретил доктор Балодис в сопровождении одного из своих ассистентов. Прошло несколько минут приветствий, восклицаний, слез и объятий, и, наконец, прибывшие и встречающие оказались на всё еще не сменившей название Николаевской набережной зимнего Сухума с ее кружившим голову обилием света, солнца и непривычных южных ароматов. Вскоре они расселись в три фаэтона, и черные, с заплетенными в косички гривами лошади потащили коляски с пассажирами на гору, к домам на склоне Саматы, всё еще беззаботно зеленой, как и остальные ближние горы, в отличие от заснеженных вершин вдали, оставляя внизу и ботанический сад, разбитый лекарем Багриновским в 1838 году, и полуосушенное болото в центре города, против горы Трапеция.

Ехали фаэтоны не спеша, что позволяло путешественникам вслушиваться в пояснения доктора Балодиса и его ассистента, касавшиеся истории возникновения и развития этой части города, где селились приехавшие из России врачи, инженеры, коммерсанты и отставные военные с семьями. Наконец фаэтоны доехали до возвышавшегося на холме дома с башнями, башенками, переходами и лестницами в неорусско-мавританском стиле, ранее принадлежавшего подданному Франции купцу Иоахиму Алоизи, который построил когда-то и здание местного театра. У виллы Алоизи, следуя уже сложившейся с годами традиции, фаэтоны чуть замедлили свое неспешное движение – с тем, чтобы дать путешественникам возможность оценить самую красивую местную виллу, и только после того, как прозвучали все соответствующие случаю вздохи и восклицания, двинулись дальше, к стоявшему несколько особняком дому доктора Балодиса.

Дом этот, где доктор Балодис и его покойная жена прожили много лет, отличался от других окружавших его строений застекленной верандой второго этажа в форме буквы «П» и стоял в глубине сада.

– Сегодня я попросил накрыть стол на веранде, – сказал доктор Балодис своей дочери Агнессе по прибытии домой, – хотя обычно мы обедаем в столовой. На втором этаже у нас несколько свободных спа-

лен, так что, пожалуйста, выбирайте по вкусу... А потом приходите на веранду. Я буду там, – добавил он.

Со временем Агнесса, Кристина и Александр Ильич поняли, что зимняя веранда привлекала старого доктора Балодиса не только возможностью следить за тем, что происходит в трех сторонах света, но еще и удобными креслами, позволявшими наблюдать сияние зимних, оранжевых с золотом плодов хурмы на голых ломких ветвях деревьев, потерявших свою листву и уже не скрывавших голубое с легкой дымкой небо, нависшее над серым с фиолетовыми тенями морем.

ГЛАВА 12

Части Красной армии вступили а Абхазию в начале февраля 1921 года.

К началу марта, в период цветения мимозы, желтоватые облака которой покрывали окружающие город горы, бывший Сухумский округ обрел статус независимой социалистической республики. Этому последовало наступление 11-й армии на Грузию, которая не смогла защитить себя и к концу марта 1921 года сдала свой последний оплот – Батуми. Произошло это вскоре после того, как в окрестностях горного курорта и места летнего отдыха наместника в Коджори погибли четыреста курсантов военного училища, пытавшихся защитить дорогу на Тифлис от передовых частей 11-й армии.

Как и многие другие люди их круга, Фридрих, отец Акселя, его жена Саломе и дочь Нестан-Дареджан вместе с близкими родственниками покинули завоеванную Красной армией Грузию на борту итальянского теплохода, направлявшегося из Батуми в Марсель в сопровождении конвоя французских боевых кораблей. Рассказывая о своих последних днях на земле Грузии в опубликованных спустя более полутора десятилетий в парижском издательстве «Хеладзе» воспоминаниях, Фридрих Гаазе-Амирэджиби упоминает о том, что когда, уже отдав швартовы, итальянское судно медленно двигалось в акватории батумского порта в сторону открытого моря, на палубах его скопилось множество людей, навсегда покидавших свою родину. Голоса их звучали приглушенно, кое-откуда доносились сдерживаемые рыдания; и, глядя на всё расширявшуюся полосу воды между теплоходом и густой зеленой линией гор, Фридрих внезапно услышал – или, быть может, это ему почудилось – знакомую мелодию «Опоздавшие» из неоконченной и, увы, утерянной оперы «Маленький кахетинец», всеми забытый автор которой умер в 1919 году в возрасте сорока восьми лет.

– О, Боже, мой путь запутан, – прошептал Фридрих, – и не только путь, но и собственные мои следы... Кто я и кто пастырь мой?

Возможно, что подобного же рода чувства испытывал и стоявший неподалеку от него на палубе глава уезжавшего в эмиграцию правительства независимой Грузии старый социал-демократ Ной Жордания.

– Грузию вам оставляем. Берегите ее, – сказал он на прощание представителю грузинских большевиков.

«Теперь мы подобны стаду, и ведет нас пастух по имени Ной», – пронеслось в голове у Фридриха вместе с мыслью о Ноевом ковчеге, покидающем полузатопленные склоны горы Арарат.

Между тем итальянский пароход с беженцами в сопровождении французских крейсеров вышел из акватории батумского порта и направился в сторону открытого моря, покидая территориальные воды Грузии.

Пассажиры же оставались на палубе, наблюдая, как по мере удаления от берега горы сначала росли и всё более возвышались над прибрежной полосой, а потом постепенно начали уменьшаться, и когда пароход с беженцами, направлявшийся в Марсель, оказался, наконец, в открытом море, и вовсе исчезли за линией горизонта.

Часть четвертая

ГЛАВА 1

В декабре следующего 1922 года Аксель выехал из замерзающей и заснеженной Москвы в Германию с документами на имя уроженца Москвы, ветеринарного врача Александра Фридриховича Дубровского, члена семьи, давшей городу немало врачей и ветеринаров. Официальной целью его поездки было приобретение медицинского оборудования для лабораторий Московского университета.

Вскоре после прибытия в Берлин Аксель, или Александр, он же Алекс Дубровский, как его теперь называли, встретил женщину, которая позднее стала его женой. Annette была в ту пору владелицей салона мод «Esprit», основанного ею в начале 20-х годов при поддержке и на средства ее первого мужа. К увлечению современнной модой ее постепенно привели зародившийся еще в детстве интерес к рисованию и, возможно, даже унаследованные от далекого предка способности. Жан-Жак де Буассье (1736–1810) был ландшафтный живописец и гравер, прозванный за свое мастерство «французским Рембрандтом». Она с гордостью носила унаследованную от художника фамилию. К тому же Annette отличали хороший вкус, ясность суждений и авантюристи-

ческая жилка. И что особенно важно, она еще с юности не хотела провести всю свою жизнь в Лионе, где родилась и выросла.

Увлечение живописью привело ее в начале XX века в Париж, где она жила у своей тетки и посещала школу рисунка и живописи на rue Colbert, на Монпарнасе. Встреча с голубоглазым уроженцем Мюнхена по имени Франц привела ее в Баварию, где она обрела немало новых знакомых и друзей, среди которых было и несколько художников из России. Ее первым мужем стал некто А. И. Степанов-Сваровский, состоятельный торговец лесом из Сибири, человек не первой молодости, принадлежавший к русской диаспоре Висбадена и увлекавшийся идеями социализма. Он оказывал материальную поддержку русским революционерам в эмиграции, а также нескольким художникам, одним из них был Франц, и еще одному начинающему писателю. Мать Степанова-Сваровского происходила из семьи польского ссыльного и завещала сыну идею освобождения народов от гнета двуглавого орла, на воплощение в жизнь которой он готов был потратить определенную часть своих средств, хранившихся в одном из банков Базеля. Жить, однако, Степанов-Сваровский предпочитал в Германии, полагая жизнь в Швейцарии скучной и даже не очень понятной.

После окончания Первой мировой войны, которую и Степанов-Сваровский, и Annette провели в статусе гражданских военнопленных, они переехали из Висбадена в Берлин, и, когда жизнь в Веймарской Германии начала постепенно налаживаться, Степанов-Сваровский помог Annette осуществить ее идею создания Дома мод, выпускавшего журнал, посвященный обозрению мод, спортивных событий, светской и театральной жизни Берлина и вестям подобного же рода из других европейских столиц.

Следует, наверное, упомянуть и то, что Аксель, приехавший в Берлин из Москвы в конце 1922 года, был, согласно его созданной в ИНО ВЧК «легенде», связан отдаленными семейными узами с мужем Annette и нередко бывал в их берлинской квартире. Он прекрасно говорил по-немецки и был явно увлечен посещениями представлений в разнообразных кабаре того времени, знакомился с театральными спектаклями и другими доступными сторонами жизни ночного Берлина. Он открыл контору, которая сразу оформила несколько заказов на закупку медицинского оборудования. Сделки эти были профинансированы кредитом, предоставленным его берлинским родственником, и Алекс с большим прилежанием вникал в возможности постановки этого начинания на постоянные рельсы, то есть создания экспортно-импортной компании с перспективой не только закупок за твердую валюту, но и бартерных сделок между немецкими и российскими организациями. Помимо этого Аксель проводил немало време-

ни со Степановым-Сваровским; его командировка в Берлин имела главной целью оказание содействия мужу Annette в его неординарной и чрезвычайно важной деятельности, ибо в те годы именно Германия представлялась вождям Коминтерна страной, в которой следовало сосредоточить все возможные, легальные и нелегальные, усилия на поддержке революционного движения пролетариата.

Впрочем, начальный и сравнительно безоблачный период его работы со Степановым-Сваровским продлился недолго. Безвременная, совершенно неожиданная кончина мужа Annette, произошедшая, как говорили в ту пору, из-за «разрыва сердца», немедленно привела в Берлин Карла Янсона, хорошо знакомого с этим городом еще со времен, связанных с его обучением точной механике, оптике и ремонту медицинских инструментов.

Он прибыл в Берлин для проведения встреч с несколькими агентами, включая и Дубровского. В этом городе, отдельные кварталы и площади которого напоминали ему о родной Риге, Янсон чувствовал себя совершенно естественно, и мысль его, изложенная в ходе беседы с Алексом за свиными шницелями, капустой и пивом, была чрезвычайно проста. Происходила беседа за столиком в полутемном углу Schildkroete, аккуратного ресторана средней руки.

– Ее муж был нашей финансовой опорой, нашим, я бы сказал, кошельком в течение ряда лет, со времени его встречи с Дзержинским в Локарно, в 18-м году. Мы не можем осуществлять поставленные перед нами задачи без надлежащего финансирования. А финансирование требует дисциплины, наличия посредников и контроля. Мы не можем просто так переводить определенные суммы из Москвы на оплату деликатных поручений, тут должна быть организована определенная система с бухгалтерией, отчетностью и, самое главное, с взаимным доверием с обеих сторон. И в случае со Степановым-Сваровским такая система существовала... Мы не имеем права упустить такую возможность финансирования нашей деятельности в Европе... – тут он сделал паузу, отпил пива и внимательно посмотрел в глаза своего собеседника.

Затем он продолжил:

– Или ты считаешь, что мы должны переправлять деньги с курьерами и дипломатами? В чемоданах? Нет, Аксель, нам нужна простая, надежная и безупречная схема финансирования агентов. И, в то же время, схема невидимая и тайная, то есть теневая. А это легче всего организовать, когда у тебя есть легальные предприятия, легально заработанные деньги и бухгалтерия, которая покрывает проблемы списания средств и зарабатывания новых средств. Таковы, говоря кратко, основы экономики шпионажа. И вот теперь этот случай с Annette, – он несколько понизил голос, выдержал паузу и, заметив

некий интерес в глазах своего собеседника. продолжил: – В какой-то момент Сваровский, который финансировал ее журнал и Дом мод, посвятил ее в свои операции, и она с радостью поддержала его. Центр посчитал такое развитие вполне естественным: она ведь, в сущности, авантюристка, смелый человек, открытый любым новым идеям – будь то идеи новой живописи или нового социального порядка. И это только добавляет ей шарма как женщине, – усмехнулся Янсон, заметив внимательный, из-под тонких стекол очков, взгляд Акселя.

– Пока что она продолжает делать всё то, что ей доверял делать ее муж, – продолжал Янсон, – но со временем в ее жизни обязательно появится другой мужчина, и вот тогда-то и возникнет проблема. Нам, в Центре, трудно представить себе, что она сможет завербовать своего избранника. В любом случае, Аксель, ты должен понимать, что пустить эту ситуацию, как хлеб по водам, мы не можем. В то же время, если ты отнесешься к предлагаемому нами шагу рационально, то ты только выиграешь. Если ты женишься на Annette, то впереди у вас, надеюсь, будут долгие годы безбедной жизни в Европе. Но вот сумеешь ли ты увлечь ее в достаточной мере – так, чтобы она поверила в будущее вашего союза? – продолжал Янсон задумчиво. – Подумай. В конце концов, есть у нас и другие кандидаты. А ты с ней уже знаком и не раз бывал у них дома. Попробуй. И пойми: для нас, для нашей работы, которая будет только расширяться с годами, решение вопроса, связанного с Annette, является делом первостепенной важности.

– Да, я понимаю, – пробормотал Аксель.

– И вот еще что, Аксель, – добавил Янсон. – Когда-то давно, в Швейцарии, я встречался с Владимиром Ильичом в таком же скромном немецком ресторанчике. Заказали Würstchen mit Sauerkraut und Bier, а он попросил еще и Senf, горчицу. Обсуждали вопрос доставки «Искры». Ты понимаешь, о чем я?

– Не совсем, – признался Аксель.

– Тут надо о горчице подумать. Острой. Пикантной! Annette ведь женщина непростая. Теперь понимаешь? – хмыкнул Янсон и отпил пива.

Аксель отпил из кружки и задумался: следуя логике принятого когда-то обязательства, ему ничего не оставалось, как принять и это предложение руководства. В конце концов, ничего дурного, пожалуй, не происходит, полагал Аксель. Annette была хороша собой и нравилась ему, да к тому же осуждать ее было как бы не за что – несмотря на то, что она была частью той самой плоти буржуазного общества, которое так ненавидели и презирали большевики. Она, полагал Аксель, была его товарищем по борьбе, по крайней мере в настоящее время, однако ввиду некоей сложности, что привносила в жизнь сек-

суальность, пронизывающее влияние которой на жизнь людей и составленного из них общества так замечательно поняли и описали доктор Фрейд и его последователи, Акселю надлежало установить контроль не только над сексуальным поведением Annette, но и над всей ее сознательной социальной жизнью.

В сущности, пришло ему в голову, его руководство предлагало ему вступить во что-то, чрезвычайно напоминающее и на поверхности, и по существу дела, нормальный буржуазный брак; и это было не более чем естественно, так как и Аксель, и Annette в силу специфики своей деятельности в условиях буржуазной страны вели и должны были вести вполне буржуазную жизнь. Во всяком случае, так она, эта жизнь, должна была выглядеть. Не то что бы оба были пуритански настроены, но каждый дополнительный элемент свободы привносил и дополнительный элемент опасности в ткань их существования. И не только существования, но и в непростые вопросы, связанные с выполнением поставленных перед ними задач.

Что же касается вопроса о крушении семьи, в которой он вырос, то Аксель полагал, что во всем происшедшем ему следует винить отца, который, очевидно, не сумел обеспечить достаточный контроль за поведением матери, ибо, в сущности, как она говорила в свое оправдание, потерял к ней всякий интерес, отчего мать и увлеклась театром. Таким было сложившееся в его сознании и принятое им объяснение причин развала семьи, в которой он вырос. Из чего происходила совершенно ясная идея о необходимости контроля и установления определенного типа отношений между мужем и женой, казавшаяся Акселю разумной и надежной. Отдавая себе отчет в определенном – и даже достаточно сильном – патриархальном привкусе, присущем его модели брака, он, в то же время, не видел ей никакой альтернативы в обществе, где моногамия закреплена законом, полагая свою модель более или менее статистически оправданной и достаточно справедливой с точки зрения заповеди «плодитесь и размножайтесь», следование которой было, по-видимому, необходимо для выживания человечества как вида.

– А как там мои? Всё еще на юге? – спросил Аксель, который уже успел просмотреть письмо от матери, привезенное ему Янсоном.

– О, у них всё хорошо, – ответил Янсон. – Но тебе, наверное, нелегко представить себе, что такое жизнь в небольшом южном городе у моря. Я бы порекомендовал тебе прочесть «Дуэль». Была такая повесть у Чехова; написана она лет двадцать с небольшим назад. Сейчас, конечно, многое изменилось. Но городок у моря и горы остались. Прекрасное место. Совсем недавно, в январе, там отдыхал Троцкий. Он приехал туда из Тифлиса отдохнуть и поохотиться на уток, и в день похорон Ильича произнес речь с балкона гостиницы

«Сан-Ремо», обращаясь к толпе на набережной. Если бы он успел приехать на похороны Ильича в Москву, то не исключено, что многое пошло бы иначе, – продолжал Янсон, – но ему сообщили неправильную дату похорон, и он остался в Сухуме.

– И чья это работа? – осторожно осведомился Аксель, не надеясь услышать в ответ чье-либо имя.

Однако похоже было, что Карл Антонович ожидал этот вопрос; похоже было, что ему хотелось высказаться и вся окружавшая его обстановка здесь, в Берлине, в аккуратном ресторане средней руки «Schildkroete» («Черепаха»), за свиными шницелями, капустой и пивом, показалась ему вполне подходящей для того, чтобы поделиться с учеником и воспитанником некоторыми сокровенными мыслями. А надо сказать, Карл Антонович считал Акселя своим воспитанником и не скрывал этого от коллег. Происходила беседа за столиком в полутемном углу ресторана, и не исключено, что именно неяркий свет электрических лампочек в плафоне под потолком ресторанного зала сыграл роль в том, как именно сформулировал свои мысли Карл Антонович.

– Ты спрашиваешь, кто это сделал? Кто обманул Троцкого? Сталин. Его кличка на Кавказе была «Коба». Ты слышал, наверное, об ограблении банка в Тифлисе на Эриваньской площади, о нападение на карету с деньгами, историю со стрельбой и взрывами. Да и с побегами ему везло. Кое-кто из наших считал его провокатором, агентом полиции, таким же, как Малиновский и другие. Ходили разные слухи. Высказывались разные мнения, но никто ничего не смог доказать. Заметь, что летом 17-го года Коба считал, что Ленин должен не прятаться в шалаше, а явиться в суд и доказать, что он не немецкий шпион; а в октябре 17-го Коба не поддержал резолюцию о вооруженном восстании и захвате власти. А теперь он мстит Троцкому, который возглавил восстание, а потом выиграл Гражданскую войну. И использует всех остальных членов ЦК в своих интригах. Вот тут он большой талант.

Из чего следовало, как будто, что Карл Антонович не испытывает особых симпатий к Кобе, испытывая в то же время нечто вроде почтительного уважения к Троцкому. Впрочем, добавим мы, такого рода распределение симпатий было достаточно широко распространено в то время и, казалось, ничем и никому не угрожало.

Выслушав рассказ Карла Янсона о выступлении Троцкого, Аксель взглянул на привезенную Янсоном фотографию. На ней он увидел Агнессу, восседавшую в кресле с высокой спинкой у края веранды, стоящую рядом сестру Кристину, которая уже, пожалуй, превратилась в девушку на выданье, увидел пожилого, но всё еще бодрого, судя по выражению лица, Александра Ильича и его пристав-

ленную к креслу гитару с бантом на грифе – бант, должно быть, алый, отчего-то подумал он, увидел и удобно устроившегося в плетенном из соломы кресле седовласого доктора Балодиса в пенсне, – все они присутствовали на фотографии, привезенной вместе с письмом. Справа, на высоком тонконогом деревянном столике стояла куполообразная клетка для птиц, а за ней просматривалась небрежно раскинувшаяся шахматная доска с неубранными фигурами. Чуть дальше, за окнами веранды виднелся сад, а подальше и справа – край другого строения, возможно, соседского дома, что можно было понять из прилегавшей к светлой каменной стене жестяной водосточной трубы. Прямо под окном видны были веера пальм, и уже за ними, далеко внизу, лежало, простираясь до середины небесного свода, море.

Затем Аксель начал расспрашивать Янсона о членах семьи в отдельности и узнал, что доктор Дубровский стал членом комиссии по благоустройству города при горсовете и одним из руководителей ветеринарной службы.

– Мать пишет, что Кристина вышла замуж, но за кого она вышла, написать забыла, – сказал Аксель и с выражением легкого недоумения посмотрел на Карла Антоновича.

– Твоя сестра вышла замуж за доктора Гринфельда, он сотрудник больницы Остроумова, – сообщил Карл Антонович. – И, кажется, они счастливы.

– Это за какого же Гринфельда? Вы с ним знакомы? – встрепенулся Аксель.

– Его зовут Оскар Гринфельд. Учился в Москве, в университете.

– Оскар Гринфельд? Серьезно? Мы ведь учились в одно время, он моложе меня на два года, – пробормотал Аксель. – Но почему он не на фотографии?

– Да уж не знаю, как-то так получилось. Но, скорее всего, он сам и фотографировал. Я, видишь ли, был там несколько дней всего и заскочил к твоим буквально на полчаса.

– Так что ж она делает? Кристина? Чем занимается? – с интересом спросил Аксель.

– Преподает немецкий в школе, – ответил Карл Антонович, – и, похоже, весьма успешно.

– А мама?

– О, вокруг нее целый круг дам ее возраста. Соседки по горе Чернявского, по Чернявке, так они ее называют. У нее домработница, помогает по хозяйству.

– А что же с нашей московской квартирой? – поинтересовался Аксель.

– Квартира забронирована на твое имя и ждет твоего возвраще-

ния, – сообщил Карл Антонович, – хотя формально и перешла в собственность Моссовета. Ключи от нее у меня. Иногда я туда захожу, проверяю, всё ли в порядке. Иногда мы используем ее в своих целях. Видишь ли, после того, как семейство ваше решило остаться в Сухуме, мы с Александром Ильичом сделали всё, что было возможно, вывезли всё ценное на юг, целый вагон, всю мебель и библиотеку, рояль, посуду. Александр Ильич приезжал в Москву, и я отрядил ему двоих сотрудников в помощь, они же и сопровождали его на юг. И в Сухуме у них никто и ничего не отнимет. Дом у доктора Балодиса – вполне приличный, просторный, но не слишком большой. Так что разрешено оставить его во владении семьи. Ну, тут и Гринфельд помог. У него есть хороший друг в Тбилиси, зампредседателя закавказской ЧК, товарищ Берия. Они по Сухуму знакомы, оба учились в техническом училище, и поскольку Берия дружит с абхазским руководителем товарищем Лакобой, всё решилось быстро. А у города, кстати, большое будущее. Будем создавать там здравницы, места для отдыха партийного руководства и первых лиц государства. Ну а нам, конечно, следует обеспечить их безопасность.

Из дальнейшего разговора следовало, что Янсон в ходе инспекционной поездки посетил не только Сухум, но и Афон, а также Гагры, побывал в Мюссерах, на озере Рица и на вилле Смецкого, выстроенной в дендропарке на вершине одного из глядящих на сухумскую бухту холмов, куда его возил руководитель молодой республики Нестор Лакоба.

– Нестор – человек стройный и глуховатый. У него слуховой аппарат. В республике его называют Адагуа (Глухой). Прекрасный стрелок. Учился в Тбилисской семинарии. Очень популярен в Абхазии. Сталин считает его своим лучшим другом. Это человек с живым умом. И очень деловой. Любит свой край и женат на красавице-турчанке. Ездил в Турцию на переговоры с Ататюрком. Когда-нибудь ты с ним познакомишься, – сказал в завершение Янсон и добавил; – иногда он рассказывает гостям из России о своем предке, который пошел пешком в Петербург, чтобы пригласить кровного врага, кажется, князя Шервашидзе, к себе в Сухум на обед. Князь решил, что это конец кровной вражды, и принял приглашение. За свое легковерие он был убит, на обеде его отравили.

ГЛАВА 2

Annette вышла замуж за Акселя через два года после смерти Степанова-Сваровского. И если в первый раз она вышла замуж за человека, который помог ей выбраться из безнадежной ситуации, в которой она оказалась, связав свою жизнь с голубоглазым Францем, то на этот раз она вышла замуж за человека, который, как убедилась

Annette, был серьезен, щедр, остроумен и отлично изъяснялся на ее родном языке – что, возможно, оказало дополнительное влияние на Annette, дав ей возможность ощутить, что здесь, в Берлине, они совершенно естественным образом составляют пару – несмотря на то даже, что оказались людьми одного возраста.

Как-то раз она призналась мужу, что всегда чувствовала ненатуральность любовных признаний, сделанных на немецком, и то, что Александр совершенно естественно и легко изъяснялся на французском, создавало у нее в душе ощущение легкости и комфорта, более того, ощущение, что ее по-настоящему понимают. Вскоре после начала совместной с Annette жизни Александр открыл в Берлине ветеринарную клинику, использующую передовые методы лечения и лучшее по тем временам орудование.

Что же до героя нашего повествования, сына Акселя и Annette, то Рихард Дубровский появился на свет в 1926 году, и уже в 1934-м побывал вместе с матерью и отцом во Франции, посетив Париж и Лион, где жили родственники его матери, которым он чрезвычайно понравился. Мальчик легко и с удовольствием болтал по-французски, повторяя выражения и словечки, подхваченные из уст Annette, никак не желавшей, чтобы немецкий оказался родным языком сына, вопреки тому, что Рихарду предстояло посещать гимназию, где преподавание велось на немецком языке.

Гражданская война в Испании началась в июле 1936 года, и отец Рихарда внимательно следил за ее ходом, что не укрылось от внимания мальчика, обнаружившего к тому времени определенные способности к языкам. Через два года, поздней осенью 1938-го, когда Рихарду было уже двенадцать, в доме доктора Дубровского появился доктор Оскар Гринфельд. Гость прибыл из Москвы – так, во всяком случае, показалось Рихарду; что Оскар, возможно, направляется в Испанию, Рихард понял из имен, упоминавшихся собеседниками, при том, что беседа велась на русском языке. Глаза у гостя были темные, даже карие, тонкий нос с горбинкой. Когда гость снял шляпу, Рихард обратил внимание на его темные, с проседью, аккуратно подстриженные кудри.

К тому времени Рихард уже более или менее понимал, о чем шла беседа, когда люди говорили по-русски, в этом ему помогли не только занятия в русской воскресной школе при одной из берлинских православных церквей, но и то, что он всегда прислушивался к беседам отца с его знакомыми из русской диаспоры.

Судя по тому, что он услышал, гость собирался проследовать из Берлина в Париж, где, кстати говоря, весной, после операции аппендицита в больнице для русских эмигрантов, умер Лев Седов, сын

Троцкого, и вот это показалось Рихарду непонятным. Отчего это фамилия сына Троцкого была Седов? Впрочем, он вскоре позабыл об этом оставшемся без ответа вопросе.

Рихард решил не спрашивать у отца ответа на мучивший его вопрос, поскольку не хотел услышать хорошо знакомые слова: «А вот это, Рихард, совсем уже неважно. Ступай-ка ты лучше к себе...» Всё дело было в том, что в какой-то момент он начал понимать русский язык; ощущение это возникло у него почти незаметно для самого Рихарда, которого отец приучил к определенной системе вознаграждений за чтение книжек на русском – при том что призы менялись в зависимости от сложности текста и качества пересказа. Стоит отметить и то, что Рихарду нравилось декламировать стихи, так как за это полагались награды высшей категории. Ибо, согласно мнению его отца, декламация требовала не только заучивания, но и понимания текста, а это расширяло словарный запас и создавало у чтеца чувство уверенности в себе. Интересно и то, что Рихард иногда скрывал свое знание русского языка от посторонних, надеясь, по-видимому, что это сохраненное в тайне знание поможет ему найти ответы на некоторые беспокоившие его вопросы.

Очень многого, однако, в разговорах на русском Рихард не понимал. Смысл сказанного порой ускользал от него. Так, в услышанном разговоре отца с доктором Оскаром Гринфельдом он не понял каких-то тонкостей отношений между Троцким и его сыном от Натальи Седовой не только в силу возраста и неуверенного владения русским языком, но и в силу незнания кое-каких важных реалий. Более того, существовали еще и неизвестные Рихарду обстоятельства, те,что сближали собеседников и были связаны с годами обучения в Московском университете, ведь оказавшийся у них в доме доктор Оскар Гринфельд был знаком с доктором Александром Дубровским еще в те годы, когда отца Рихарда звали Аксель. Оба были студентами-естественниками, оба интересовались физиологией. Однако обстоятельства привели Акселя к занятиям ветеринарией, что же до Оскара, то он еще в молодости заинтересовался экспериментами профессора Сергея Воронова и планировал, следуя его примеру, посвять свою деятельность вопросам продления активной человеческой жизни...

В 18 лет, по окончании воронежского реального училища, Воронов эмигрировал во Францию, где изучал медицину и был учеником французского биолога и хирурга, лауреата Нобелевской премии Алексиса Карреля. Затем он работал ассистентом в лаборатории Ш. Броун-Секара, а в декабре 1893 года защитил диплом доктора медицины.

Опыты профессора Воронова по омоложению начались с того,

что в 1889 году он ввел себе под кожу экстракт перемолотых яичек собаки и морской свинки. Первые его эксперименты оказались успешными, и ученый начал эксперименты с использованием в качестве материала для пересадки щитовидных желез и тканей яичников обезьян. Профессор Воронов продолжал свою работу по проблемам омоложения человека до середины 30-х годов. Он руководил своим собственным медицинским центром в Ницце, где проводил операции и руководил множеством экспериментов, проведенных в обезьяньем питомнике при том же центре. Питомник под руководством циркового дрессировщика был открыт для того, чтобы обеспечить постоянно растущий спрос на материал для операций по омоложению для своих состоятельных пациентов, одним из которых был доживший до весьма преклонных лет писатель Сомерсет Моэм.

Единственный же обезьяний питомник Советской России был создан, согласно рассказу Оскара Гринфельда, в Сухуме, на горе Трапеция, в августе 1927 года, из-за близости сухумского климата к климату тропиков и обилия фруктов и овощей, необходимых для пропитания обезьян. Размещался питомник невдалеке от дома профессора Остроумова, на территории Института экспериментальной патологии и терапии, созданного по инициативе писателя Максима Горького. «Мы должны найти способы продлить жизни большевиков, делающих всё, что доступно человеку, для того, чтобы изменить жизнь в России и покончить с ее прошлым», – так сформулировал Горький свое видение проблемы долголетия в письме к Совнаркому, и правительство выделило огромную по тем временам сумму в 25000 долларов на приобретение обезьян.

Вслед за этим экспедиция во главе с тем самым профессором Ивановым, что еще в 1910 году предложил создать гибрид человека и обезьяны, отправилась в экваториальную Африку и приобрела пятнадцать животных, однако большая часть животных умерла по дороге в Сухум. Лишь две пары животных, пара анубисов и пара шимпанзе, доехали из Гвинеи до Батуми в клетках, размещенных в трюмах специально зафрахтованного парохода. Из Батуми в Сухум оставшихся в живых обезьян доставил пароход «Пестель».

Через некоторое время ученые под руководством профессора Иванова организовали следующую экспедицию в Африку и завезли в Сухум новую партию обезьян. До 1930 года в сухумский питомник прибыло более сотни обезьян, среди которых было пять орангутангов, тринадцать шимпанзе, два бабуина и тридцать девять гамадрилов. Однако смертность среди животных была чрезвычайно высока. Погибли все человекообразные обезьяны, но гамадрилы выжили и стали успешно размножаться.

После чего, наконец, начались эксперименты по скрещиванию обезьян и людей, в которых принимали участие сын профессора Иванова и добровольцы из окрестных деревень. Однако, несмотря на всю самоотверженность добровольцев и вовлеченных в эксперименты ученых, деятельность профессора Иванова. достигшего в свое время определенных успехов в скрещивании животных, закончилась полным провалом, что и было отмечено в отчете сотрудников НКВД, проводивших расследование дела о шпионаже и разбазаривании народных средств в особо крупных размерах. Вскоре профессора Иванова арестовали, осудили за шпионаж и сослали на пять лет в Казахстан, где он продолжал свои опыты по скрещиванию животных в лабораториях Алма-Атинского сельхозинститута вплоть до кончины от кровоизлияния в мозг в 1932 году.

В своем письме к вдове покойного академик И. П. Павлов писал: «Нельзя не скорбеть о преждевременной смерти такого деятеля науки и практики, как Илья Иванович».

Итак, мужчины сидели в кабинете отца и курили, а мать, не выносившая запаха немецких сигар Rechenschaft, послала Рихарда за отцом и гостем, приглашая их вернуться в столовую, где уже был сервирован кофе. На столе стояло блюдо с безе и эклерами, а негромкий голос, доносившийся из радиоприемника «Телефункен», только что произнес сакраментальную фразу: «Ici Paris Radio France...»

Эти два человека, отец и его гость, сидевшие в полутьме, разбавленной сигарным дымом, и распивавшие портвейн, показались Рихарду похожими; было в их облике и поведении нечто единое и даже подчеркнутое – тем, что говорили они на еще не так давно малопонятном Рихарду языке.

«Может быть, они братья? Нет. Скорее всего, нет, отец сказал бы нам об этом», – подумал мальчик. «Ведь брат – это родственник, – думал он, – а у нас нет никаких родственников, кроме тех, что живут во Франции.»

Между тем у всех соучеников Рихарда были родственники, и, раньше или позже, одноклассники о них вспоминали, рассказывая друг другу о днях рождений, на которых они побывали, о поездках на каникулы и походах в гости.

Потом прозвучал вопрос отца:

– А Кристина? Как она?

– Преподает в Пединституте, в Тбилиси.

– У вас есть дети?

– Пока нет, – сказал Оскар, – но мы надеемся.

– А моя мать? – спросил Дубровский.

– Она в Сухуми, с Александром Ильичом.

– Но раньше говорили «Сухум», не так ли?

– Видишь ли, – медленно, словно раздумывая, пояснил Гринфельд, – Абхазская республика стала теперь частью Грузинской республики и кое-что, включая и названия, изменилось...

ГЛАВА 3

К началу апреля 1939 года Испанская республика пала, а уже в мае доктор Александр Дубровский покинул Германию вместе с Рихардом и Annette. Шаг этот был предрешен рядом обстоятельств. В последние предшествовавшие отъезду недели принадлежавшие отцу и матери предприятия были проданы и перешли во владение заинтересованных в покупке лиц, найденных через надежных и проверенных посредников. Обе сделки были оформлены нотариально, а причитающиеся к оплате суммы переведены покупателями на указанные счета в Швейцарии и в парижское отделение Crédit Lyonnais. После завершения сделок, связанных с продажей принадлежавших семье Дома мод и ветеринарной клиники, продана была и берлинская квартира в доме на одной из пересекающихся с Ku'damm (Кудамм) улиц, в которой Annette жила со Степановым-Сваровским еще со времени переезда в Берлин из Висбадена.

Ей нравилась эта квартира, и в свое время она не хотела покидать ее и оттого сделала всё для того, чтобы к моменту переезда Акселя в эту квартиру в ней не осталось никаких видимых следов Степанова-Сваровского. К моменту ее и Акселя возвращения из свадебной поездки в Париж вся квартира была заново приведена в порядок и перекрашена согласно разработанным Annette эскизам; в ней появились новая, заказанная хозяйкой мебель, посуда и белье. А все предметы, связанные с памятью о Степанове-Сваровском, за исключением приобретенных им и Annette картин, исчезли – Annette передала их в благотворительные организации.

Теперь, полтора десятилетия спустя, картины, мебель, посуда, белье и библиотека были отправлены в Лион, во Францию.

Упоминаемой и выбранной для официального объяснения причиной предстоящего отъезда были семейные обстоятельства, требовавшие присутствия в Лионе Annette, которая сохранила свое французское гражданство. Что же до Акселя, то он к тому времени уже был зарегистрирован в германской полиции как обладатель «нансенского» паспорта.

Итак, поначалу Аксель и Annette собирались уехать во Францию, в Лион, родной город Annette. Однако, совершенно неожиданно для

Рихарда, всё изменилось, и вместо того, чтобы направиться во Францию, они отправились отдохнуть в Грецию. Причем произошло это еще до окончания учебного года в гимназии. Правда, предоставленная в школу и подписанная семейным врачом за день до этого справка указывала на то, что время перехода к лету является наилучшим для отдыха юноши, страдавшего бронхиальной астмой. Доктор Зиммель поддерживал решение семьи вывезти юношу на несколько недель в Грецию, где и горный, и морской воздух в сочетании с солнечными ваннами могли принести неоценимую пользу его здоровью.

До этого семья не раз выезжала на отдых во Францию, на побережье Средиземного моря, превратившееся к тому времени в самое интересное и элегантное место отдыха для европейцев, последовавших примеру русской знати, утерявшей побережья Крыма и Кавказа и открывшей в поисках «утраченного рая» Cote d'Azur, Лазурный Берег.

Именно там, в Ницце, основал в 20-х годах профессор Воронов свою клинику и собственный обезьяний питомник для того, чтобы обеспечить постоянно растущий спрос на материал для операций по омоложению. Однако полтора десятилетия спустя развитие медицины привело к тому, что современники профессора преисполнились скептизизма по отношению к его результатам и даже теории. Изменилось не только состояние медицинской науки, изменилась и сама Европа, и профессору Воронову, родившемуся в еврейской семье, проживавшей в Тамбовской губернии, пришлось уехать из Ниццы в Швейцарию, а Лазурный берег оказался полон беженцами и эмигрантами из Германии и других стран, надеявшимися попасть в Соединенные Штаты, страны Латинской Америки или уж в самом крайнем случае – в Австралию или Новую Зеландию.

В те годы – а речь идет о целом периоде после 1933 года, когда в Германии к власти пришла возглавляемая Адольфом Гитлером нацистская партия, – на летние каникулы Рихард с родителями ездил из Берлина в Италию. Обычно они прибывали в Рим, затем направлялись на юг, в Салерно, а уже оттуда добирались морем до Амальфи. Из Амальфи, где семейство год за годом останавливалось в одном и том же пансионе, они выезжали в Неаполь, Сорренто и на Капри, куда легко можно было добраться морем, обычно – на борту катера или парусника, перевозивших отдыхающих и туристов.

Выбор Италии как места для отдыха и страны для путешествий казался Annette естественным. В Берлине она скучала по солнцу и югу, по итальянской кухне, вину и даже по старой живописи в музеях, бродить по залам которых любили и ее муж, и она. Annette

утверждала, что любовь эта становится тем сильнее, чем больше связей она обнаруживает между итальянской погодой, кухней и живописью. «Современная немецкая живопись не слишком аппетитна», – утверждала она, не имея возможности избегать посещения модных выставок в Берлине, где в ту пору господствовал экспрессионизм. Кроме того, она достаточно быстро сумела овладеть разговорным итальянским. В принципе, ей легко давалось всё, чем ей хотелось овладеть. Надо сказать, что Аксель всегда был готов выслушать ее и последовать совету, если считал его разумным. Он доверял ей и ценил ее. Он всегда был готов быть нежным и терпеливым, и его жена ценила это его качество – Аксель был не первым мужчиной в ее жизни, и она ясно представляла, в чем нуждается, чтобы жизнь ее была полноценной и даже счастливой. При этом она понимала, какой опасности подвергает себя, сотрудничая с Акселем. Да, она, пожалуй, понимала, какой опасности подвергается, была в состоянии трезво оценить риски – полагая при этом, что риск, связанный с их теневой деятельностью, не так уж и высок. С ходом времени, однако, Annette стала задумываться над тем, кто же на самом деле опаснее – враги или так называемые «друзья из Центра», часть решений, требований и предложений которых казались ей попросту нелепыми и наглыми. Само же словосочетание «друзья из Центра» укоренилось в ее сознании благодаря неоднократно использованной Акселем фразе: «Друзья из Центра настоятельно советуют нам... ибо они полагают...» Иногда она говорила в ответ: «Да, это разумно... это естественно... Oui, c'est raisonnable... c'est naturel». А порой сообщала: «C'est un non-sens complet. L'absurdité… Это полная чепуха. Чушь».

Итак, весной 1939 года Аксель, Annette и юный Рихард проехали почти через всю Европу с севера на юг, направляясь поездом из Берлина в Афины через Будапешт, Белград и Салоники.

Проведя три дня, заполненные обычной для туристов рутиной, то есть разглядыванием открывающейся с балкона гостиницы панорамы греческой столицы, прогулками по городу, подъемом к Парфенону, посещением музеев и знакомством с греческой кухней и музыкой, они приступили к реализации намеченного ранее плана.

На четвертый день Аксель, Annette и Рихард позавтракали и сразу же после кофе направились в турецкое посольство, где после непродолжительной беседы с начальником визового отдела получили разрешение на посещение Турции. Затем семейство вернулось в гостиницу, где доктор Дубровский оплатил все четыре ранее оговоренных дня и ночи – да еще и оставил некоторую дополнительную сумму хозяину в благодарность за замечательный анисовый узо и

греческий кофе, эллинико, который тот варил сам для особо уважаемых клиентов. Затем доктор Дубровский и его семья покинули гостиницу и выехали к морю, в Пирей, на арендованном автомобиле «Мерседес» с пожилым водителем, отзывавшимся на имя Янис, прихватив из гостиницы весь свой багаж, состоявший, вопреки инструкциям Центра, из ряда чемоданов, включая большой с платьями Annette и не очень большой – с косметикой и туалетными принадлежностями, а также сундук с ее обувью. Причина, по которой инструкция Центра была нарушена, была проста: Annette не желала оставлять ничего из своих летних вещей ни в Германии, ни в афинской гостинице, ни перед посадкой на судно в порту Пирея, – она просто-напросто не желала расставаться с ними. Следует также признать, что именно ей принадлежал последний и решающий голос в любом обсуждении вопросов, связанных с безопасностью семейства. И не потому, что мать Рихарда была, по мнению Центра, несравненно более ценным агентом с точки зрения контактов с источниками важной информации, нежели ее муж, ибо ее салон часто посещали женщины, которые слышали от своих мужей немало интересного. И, несмотря на некую сбивчивость и элемент фантазийности, присутствовавший в добываемой ею информации, с этими источниками можно было работать еще и потому, что дамы посещали салон Annette несравненно чаще, чем владельцы собак – клинику доктора Алекса Дубровского. Дело, скорее всего, состояло в присущей Annette быстроте реакции и цепкости ума, унаследованных от нее Рихардом. К тому же ей было свойственно острое чувство независимости, которое отец Рихарда признавал и безусловно принимал.

И при том, что отец запечатлелся в его памяти как человек, совершенно не склонный к легкомыслию, Рихард запомнил и то, что отец его достаточно легко согласился с ясно выраженным пожеланием матери относительно ее багажа.

– Je m‘en fiche! Мне наплевать! – спокойно отозвалась Annette на напоминание отца о каких-то инструкциях, – а кстати, они не сообщили тебе, какого цвета трусы мне надеть? Если бы что-то было не так, нас задержали бы в Германии, не так ли? Saints imbéciles! Святые дураки!

Annette добавила еще пару немецких, не слишком часто употребляемых ею выражений, одно из них звучало как Verfluchter Idioten, после чего отец предупредил Annette и Рихарда о том, что им придется говорить со всеми встреченными людьми по-немецки, и попросил Annette не употреблять такие слова и выражения, как Idioten, так как по-русски они звучат чрезвычайно похожим образом. Затем отец засмеялся, прищурился и на лице его появилось характерное, дерзко-невинное выражение с тенью легкой, то появляющейся, то исчезаю-

щей улыбки. (Однажды отец рассказал Рихарду, что в детстве его часто именовали «мечтателем», при этом солнечный лучик скользнул по его профилю, немного задержался на носу и на шее, а затем исчез.)

В Пирее, городе, расположенном недалеко от Афин, они сделали круг по городу, затем приехали в порт, где Аксель приобрел билеты для себя, жены и сына в отдельной каюте первого класса до Стамбула на теплоходе «Петр Фомичев», после чего всё семейство прошло таможенный и пограничный контроль и, предъявив в очередной раз билеты, поднялось на борт стоявшего под парами теплохода, совершавшего рейс из Марселя в Одессу с остановками в Генуе, Пирее, Стамбуле и Батуми.

ГЛАВА 4

Построенный в начале века в Италии теплоход «Петр Фомичев» именовался когда-то «Цесаревич Константин» и был предметом гордости Черноморского пароходства. К услугам пассажиров было несколько ресторанов, бассейны, библиотеки, концертный зал и два зала для просмотра фильмов.

На борту теплохода они вскоре почувствовали, что оказались в иной стране, обнаружив себя среди совсем другой, незнакомой им до этого публики, состоявшей, в основном, из советских военных, военспецов, дипломатов, офицеров и их жен, возвращавшихся из Испании в СССР через Францию. Были среди пассажиров «Петра Фомичева» и испанцы, направлявшиеся в Россию по причинам самого различного свойства, как это предположил Аксель, беседуя с Annette. Следует отметить при этом, что Аксель вовсе не торопился вступать в контакт с кем-либо из пассажиров. Его жену эти люди интересовали столь же мало, как и его, а Рихарду было сказано разговаривать с родителями только по-немецки.

То, что мужчины, говорившие по-русски, были военными или сотрудниками органов, было видно по тому, как они держались, по их взглядам, по выправке, по тому, как они носили гражданские костюмы и, не в последней мере, по тому, как они разговаривали со своими по-щегольски, но вразнобой одетыми женами и как дружно смеялись, просматривая определенные сцены демонстрируемых на борту советских фильмов.

Весной 1939 года в просмотровых залах теплохода «Петр Фомичев» показывали советские фильмы «Волга-Волга», «Веселые ребята» и «Цирк» с Любовью Орловой, чьи руки ужаснули Annette:

– Это кошмар, – прошептала она на ухо Акселю, – несчастная женщина. Ей просто не повезло с руками. Лучше бы их просто не показывали.

Кроме того, они посмотрели «Огни большого города» с Шарло – так, на французский манер, называла его Annette, «Шанхайский экспресс» Джозефа фон Штернберга с Марлен Дитрих и «Даму с камелиями» с Гретой Гарбо и Робертом Тейлором. Все эти фильмы Рихард смотрел вместе с родителями и хорошо их запомнил. Ему нравились красивые женщины – и те, что были на экране, и те, что в сопровождении своих спутников прогуливались по палубе теплохода. Особенно сильное впечатление произвели на Рихарда вечерние и ночные, проведенные на палубах, часы. Дрожащее тело теплохода постепенно погружалось во тьму, море за бортом становилось огромной темно-синей массой, а за кормой во тьму убегал светлый шлейф от винта. Звезды висели высоко в небе, верхняя, открытая палуба была полуосвещена, и время от времени до юноши, сидевшего в шезлонге или стоявшего у борта, доносились чужие, невнятные голоса.

Когда, оставив позади голубые воды Эгейского моря и миновав Дарданеллы, «Петр Фомичев» вышел в Мраморное море и был уже на подходах к Стамбулу, помполит Кондратюк, загорелый и обритый наголо уроженец Феодосии, взял на себя роль всезнающего гида и, указав на оставшийся справа по борту живописный остров Бюйюкада с утопающими в средиземноморской зелени домами и виллами под красными черепичными крышами, сообщил Акселю, что Троцкий прожил четыре года на этом острове, снимая двухэтажную виллу, принадлежавшую когда-то до революции русскому посольству.

Аксель перевел взгляд с переносицы Кондратюка на ускользающий вправо остров: всё еще видны были и тенистая, с подступающими к воде деревьями набережная острова, и причалы, связывавшие его морскими путями со Стамбулом.

Из бесед со своими связными Аксель знал: то обстоятельство, что, оказавшись в Турции, Троцкий поселился на острове Бюйюкада, вполне устраивало руководство НКВД, так как после победы революции под руководством Кемаля Ататюрка турецкие власти не мешали агентам этой организации следить за высланным из России вождем революции.

Не забывали о Троцком его бывшие соратники в Москве, лишившие его в 1932 году советского гражданства.

В следующем, 1933 году, Троцкий и его спутники уехали во Францию.

В последний день своего пребывания на острове Троцкий сделал следующую запись в своем дневнике: «С тех пор, как мы здесь поселились, прошло 4,5 года. Странное дело: мне кажется, будто мои ноги немножко приросли за эти годы к почве Бюйюкада».

Решение об отъезде во Францию было принято после случившегося в доме пожара и покушения на жизнь Троцкого, организованных известным деятелем Белого движения генералом Антоном Туркулом.

– Да, у него там многое сгорело, – выдавил из себя Кондратюк и спустя мгновение добавил: – а я ведь раньше на теплоходе «Ильич» плавал. Весной 29-го года, в марте, когда Троцкого из Одессы вывозили, он был не один, а с женой, с сыном и с женою сына. Багаж они везли огромный, книги, архив. Он с ними не расставался, вез из самой Алма-Аты, да еще и собак охотничьих вез с собой.

Впрочем, и во Франции Троцкий задержался ненадолго. Следующей страной на его пути стала Норвегия, власти которой оказались не в восторге от неугодного Сталину иммигранта и угрожали выдать его обратно в Советский Союз. Озвученная Москвой угроза прекращения покупок норвежской трески оказалась действенной, и Троцкому, по пятам которого следовали агенты НКВД, пришлось покинуть Норвегию.

Наконец, в 1936 году Троцкий эмигрировал в далекую от политических баталий Мексику, где сначала поселился в доме своих друзей Диего Риверы и Фриды Кало. Именно там, в Мексике, он, вопреки ожиданиям Сталина, вновь начал много работать и объединил многочисленных левых по всему миру, недовольных политикой Сталина и Коминтерна.

Одним из европейских центров движения Троцкого был Париж, где находился его сын Лев Седов, скончавшийся после операции аппендицита весной 1938 года. Жившие в Париже русские эмигранты и деятели троцкистского движения были в числе главных целей разведывательных и карательных операций НКВД того времени во Франции, но Троцкий не верил, что смерть его сына может быть связана с их деятельностью.

Через несколько минут Аксель мысленно простился с островом Бюйюкада и его утопающими в зелени особняками с черепичными крышами, белыми виллами и тенистой набережной с причалами для катеров и яхт. Остров остался позади, и вскоре «Петр Фомичев» подошел к причалу в бухте Золотой Рог, на берегах которой лежал огромный и шумный Стамбул, получивший свое новое имя в 1930 году. Над множеством его крыш, серых и красных, ржавых и оцинкованных, высилась мечеть Сулеймание, выстроенная в середине XVI века, а с верхней палубы «Петра Фомичева» видны были и мечеть Айя-София, и голубая мечеть Султанахмет с шестью минаретами.

– За последние две с половиной тысячи лет этот город был столицей четырех ушедших в прошлое империй, – пояснил Аксель сыну.

На верхней палубе становилось жарко, и, казалось, сияющие голубизной небеса над городом поднимались всё выше.

Незадолго до того, как теплоход пришвартовался, к Акселю подошел помполит Кондратюк, уже принявший «для храбрости», как он говорил, и попросил у него паспорта и билеты:

– Собирайтесь, теплоход простоит здесь до вечера, а мы отправимся на прогулку по Стамбулу. Я буду вас сопровождать. Мы проведем в городе несколько часов. Пообедаем и вернемся на судно, – пояснил он, едва шевеля бледно-фиолетовыми губами, и вскоре спустился по трапу на турецкую землю во главе стайки пассажиров, проследовавших в сторону пограничного и таможенного контроля.

Осмотрев грандиозную Голубую мечеть, доктор Дубровский, его жена Annette, сын Рихард и помполит направились в Айя-Софию, в прошлом собор Св. Софии Константинопольской, что находится против Голубой мечети, а оттуда проследовали к султанскому дворцу Топкапы.

Помполит молчал, пока его подопечные пытались оглядеться и не утерять себя в грандиозных внутренних пространствах мечетей, ограниченных стенами, покрытыми турецкими орнаментами и оставшимися в Айя-София православными фресками и мозаиками, но по дороге к дворцу он вдруг, совершенно неожиданно для спутников, заговорил:

– Сейчас увидим, как жили султаны и их жены.Там есть много чего посмотреть. Сокровища, оружие и трон султанский. Золотой. Можно и в гареме побывать. А уже после дворца пойдем обедать.

Annette выслушала слова Кондратюка в переводе Акселя и спросила:

– А базар? Неужели мы не пойдем на базар? Я протестую, Аксель! Мы можем пообедать и на базаре. Пусть это будет что-то настоящее, турецкое.

Побродив по искушавшему глаза и ноздри базару, они, в конце концов, оказались в ресторанчике под названием «Мармара». Вход был довольно узок, неярко освещен и заполнен звуками монотонной музыки. Через мгновение неизвестно откуда возникший улыбающийся, с хорошо намеченным брюшком хозяин заведения с быстрыми греческими темными глазами, обменялся рукопожатием с помполитом, развел руками, издал несколько приветственных восклицаний, поклонился Annette и с выражением достоинства на лице провел гостей в отдельный кабинет с висящими на стенах коврами, по-европейски сервированным столом и двумя полками с медной посудой на стене. Обстановку комнаты завершали два просторных дивана с разноцветными подушками, глиняный горшок с красновато-фиолетовыми тюльпанами на столике с наргиле и мутноватое зеркало в серебряной оправе на стене.

– Тут всё будет хорошо, – пояснил Кондратюк, оказавшийся любителем и знатоком восточной кухни. Началось с вопросов о том, кто чего желает, но после некоторых сомнений и колебаний было решено предоставить право выбора Кондратюку.

Обед, меню которого было предложено довольно улыбавшимся помполитом, состоял из душистого белого хлеба, свежего, с чесночной кислинкой тцацики с ломтиками огурца, салата с оливками и свежими овощами, аджаб-сандала в глиняных горшках и кабабов из бараньего фарша с луком, посыпанных фиолетовой смесью молотого черного и красного перца, кружками нарезанного лука и мелко нарубленной петрушкой, а также толчеными в ступке зернами кориандра на зеленом ложе из молодых побегов сельдерея.

Затем в продолжение обеда были поданы шашлыки из баранины на сверкающих металлических шампурах, жареная до золотого блеска, огромная, как луна, рыба, желтоватый сыр, нарезанная на дольки-полумесяцы дыня и темный, густой турецкий кофе, появившийся на столе в сияющей медной джезве в сопровождении чашек, блюдец и отдельного блюдечка с наколотым белыми кубиками сахаром.

Сопровождалось сие пиршество распитием бутылки местной, изготовленной из винограда ракии с ароматом аниса, которую мужчины запивали водой. Правда, Annette попросила вина, ей хватило одной рюмки ракии. После некоторой суеты и переговоров Кондратюка с хозяином на столе появилась бутылка итальянского Ruffino из Орвьето. Аксель налил вина в два бокала и пододвинул один из них Рихарду.

– Пей, но не увлекайся, – сказал он и добавил с легкой усмешкою: – «Стамбул отвык от поту битвы / И пьет вино в часы молитвы...» – это Пушкин, – пояснил он, взглянув на сына.

Аксель старался внимательно слушать Кондратюка и время от времени пересказывал содержание его историй Annette, которая старалась быть внимательной и любезной и перепробовала все без исключения блюда на столе. Особенно понравились ей золотая рыба, сыр и дыня. Понравилось ей и золотистое, как она сказала, на просвет и на вкус вино.

Кофе оказался густой и крепкий, с оседающей на зубах кофейной взвесью.

– Oh Mon Dieu quelle grandeur barbare! Боже, какое варварское великолепие! – воскликнула она.

Обед, проходивший под аккомпанемент игравшей за стеной музыки, занял немалое время, часть из которого была посвящена рассказам помполита, то и дело наполнявшего ракией маленькие стеклянные стаканчики.

Оплатив счет и оставив официанту чаевые, Аксель поблагодарил

помполита за незабываемый день, добавив при этом, что такой эффектный тур по этой восточной столице мог организовать только человек опытный и знающий Восток, каким он и полагает Кондратюка.

В ответ расчувствовавшийся и захмелевший помполит неожиданно начал читать Есенина: «Никогда я не был на Босфоре, / Ты меня не спрашивай о нем. / Я в твоих глазах увидел море, / Полыхающее голубым огнем».

Annette скользнула по нему взглядом и с выражением некоторого недоумения на лице посмотрела на Акселя, но тот лишь шепнул ей:

– Alors, ne l'interrompez pas. Потом, не стоит прерывать его.

ГЛАВА 5

– У них везде свои люди, – сказал доктор Дубровский своей жене Annette позднее, уже после того, как помполит Кондратюк провел их на теплоход и вручил Акселю документы с отметками турецкой погранслужбы, после чего приложил руку к козырьку и удалился, сияя как сливочное мороженое на солнце. – Я наблюдал, как он говорил с турецким пограничником, когда те ставили штампы. Он знает язык и, похоже, говорит по-турецки совершенно свободно, возможно, его мать турчанка или татарка, он ведь говорил, что родом из Крыма.

Кривая улыбка, скорее даже усмешка, помполита не давала покоя Акселю. Хотелось знать, чему он улыбался? Тому ли, что, оставив позади Стамбул, доктор Дубровский и его семья снова находились на борту «Петра Фомичева», следовавшего в Батуми, где их должны были встретить друзья? Или недруги? Этого Аксель не знал, но надеялся на лучшее, ибо все послания Гринфельда, содержавшие инструкции и указания относительно возвращения в СССР, были зашифрованы его, Гринфельда, личным ключом.

Да, Аксель доверял Гринфельду, и ему хотелось верить, что всё будет хорошо, но, спрашивал он себя, сколько людей чувствовали себя точно так же и отправлялись именно с этими ожиданиями домой, через границу, в Москву? Он вспомнил о Блюмкине. Когда-то, после убийства немецкого посла графа Мирбаха в июле 18-го года, за несколько дней до мятежа левых эсеров, Троцкий спас Блюмкина от расстрела и назвал «молодым любовником Революции». Аксель сталкивался с этим «одесским биндюжником» на курсах в Академии Генштаба и запомнил его как человека, водившего дружбу с Есениным и Мариенгофом. Слышал он и о пощечине, отвешенной тщедушным поэтом Осипом Мандельштамом быковатому Блюмкину в кафе «Бом», где Блюмкин, сидя за столиком, рассказывал окружающим о людях, чьи расстрельные ордера он просматривал и подписывал.

В 1929 году, возвращаясь в Москву из Палестины, где он создал агентурную сеть, Блюмкин побывал на острове Бюйюкада, у Троцкого. Последний вручил ему письмо для передачи Радеку, но, получив письмо, Карл Бернгардович испугался и передал письмо Сталину, а тот потребовал немедленно арестовать и судить Блюмкина. К несчастью для Блюмкина, его предала еще и любовница, сотрудница ОГПУ Лиза Розенцвейг, известная также как Лиза Горская. Она, со своей стороны, немедленно оповестила руководство о намерении Блюмкина бежать из Москвы после того, как он узнал, что письмо попало к Сталину.

В конце концов «молодой любовник Революции» был арестован после погони со стрельбой по центру Москвы и расстрелян за несанкционированную его руководством деятельность – несмотря на то, что руководивший в то время разведкой Трилиссер был против этого. Вскоре Трилиссер был смещен со своего поста, переведен в органы инспекции, а в 1938 году арестован в ходе «большой чистки».

А другие? Другие, коллеги, имена которых не знал почти никто, и люди, чьи имена были известны всему миру. Аксель мог, не задумываясь, назвать несколько десятков имен, о которых теперь не следовало вспоминать. Взять хотя бы «любимца партии» Николая Бухарина, в феврале 1936 года ездившего в Париж выкупать архив Маркса у немецких социал-демократов, вывезших его из Германии. Он ведь тоже вернулся из Парижа домой, в Москву, где и был расстрелян в марте 1938 после окончания процесса по делу бухаринско-троцкистского блока. Аксель припомнил строку из стихотворения поэта, застрелившегося еще весной 30-го года: «...Подступай к глазам, разлуки жижа, сердце мне сантиментальностью расквась! Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли – Москва». Строчки эти волновали Акселя. Время от времени он по своим делам ездил в Париж, где жил его отец, и по какой-то неясной для него причине, может быть, даже оттого, что никогда не встречался с отцом, полагал, что стихи эти не совсем понятным образом написаны и о нем, о его чувствах и переживаниях. Возможно, тут имеет место *филиация идей*, подумал он. «...Но и Бухарин не смог остаться в Париже. А ведь он находился в Париже не один, а с молодой женой, ожидавшей ребенка. И общался с самыми разными людьми... мог бы и остаться... У него был этот шанс. Но он всегда подчинялся решениям партии, в отличие от Троцкого... В общем, всё как в плохих, хотя и размашистых стихах Маяковского, – внезапно пришло на ум Акселю. – Да и сам поэт был хорош: вернулся из Парижа домой, в Москву, и застрелился из подаренного друзьями из ЧК пистолета. Уроженец села Багдади, поблизости от Кутаиси. Знал грузинский язык. Ну, а Бухарин,

очевидно, полагал, что его не тронут. Не посмеют тронуть... А Каменев и Зиновьев? А другие, имя которым легион? Хотя всё, пожалуй, началось с выдворения Троцкого... После этого всех остальных можно было *при необходимости* смело объявлять троцкистами. Возможно, Бухарин опасался, что, не вернувшись, поставит под удар множество связанных с ним людей», – думал Аксель. Он был в состоянии представить, какого рода сеть образуют десятки или даже сотни имен, связанных с Бухариным людей в высших эшелонах, с каким количеством тысяч и даже десятков тысяч имен в средних звеньях они связаны. Аксель побоялся даже представить себе, к какому результату можно придти, продолжая эти вычисления, если и далее рассуждать рационально и последовательно, чему его обучали в годы его учебы на медицинском факультете. Но возвращение Бухарина не отменило ни «московские процессы», ни страшный вал репрессий. Может быть, даже наоборот. Получалось, Бухарин был неправ.

Через мгновение Аксель вспомнил о том, что в марте 1928 года газета «Revue l'universelle» опубликовала перевод письма Николая Ивановича на французский язык под броским заголовком «Boukharine: Un document sur le Bolchevisme» («Бухарин: Документ о большевизме»). Об этом рассказала ему Annette. Вернее, она протянула ему выпуск газеты, сказав:

– Посмотри, Аксель, что пишет Бухарин, c'est pas mal (это неплохо), мне говорили, он увлекается поэзией и живописью...

Основная мысль Бухарина состояла в следующем: мы, большевики, проводим эксперимент над народом, точно так же, как студент-медик экспериментирует над трупом, купленным в анатомическом театре.

Но это было давно, за десять лет до наших дней. С тех пор всё изменилось.Теперь эксперимент проводился, похоже, не только над народом, но и над большевиками. А Бухарин сам склонил голову и поднялся на эшафот.

Еще через два часа «Петр Фомичев» медленно отошел от причала и, подав протяжный гудок, направился в сторону Мраморного моря.

Вскоре остались позади бухта Золотой Рог и построенный в XIX веке Галатский мост, прибрежные холмы, сады и лужайки, розовые и желтые дома, башенки, колонны и балконы, мечети и минареты столицы огромной империи, возникшей на развалинах Византии в середине XV века. И, наконец, заполнив небеса над Стамбулом протяжным прощальным гудком, «Петр Фомичев» развернулся в сторону Босфора, на правом берегу которого засыпала та часть Стамбула, с которой начина-

лась Азия. А далее, за оставшимися позади крепостными строениями на берегу голубого пролива, за акведуком, за стоянками яхт, причалами, минаретами и тремя кипарисами открылась, наконец, часа через два сине-голубая даль Черного моря.

– Аксель, я вижу, ты напряжен, – сказала Annette, стоя у поручней верхней палубы, чуть подрагивавшей в такт работе сердца теплохода, – ты чего-то боишься? Ты боишься своих друзей, не так ли? Но ведь пока всё идет так, как об этом писал тебе Гринфельд. Не так ли? Никто не режет курицу, если она несет золотые яйца. Нас бессмыслено убивать, Аксель.

– Хотелось бы, чтобы всё было именно так, Annette.

– А что же остается? Мы перестанем быть им нужны только тогда, когда отменят деньги. Ну а пока... И, в конце концов, ты ведь не Рейсс и не Кривицкий? Не перебежчик. Не предатель? Не так ли? У тебя жена и сын, у тебя семья, Аксель. Просто думай о нас, Аксель. И всё будет хорошо.

– Да-да, дорогая. Но ведь нас зачем-то вызвали? Не так ли? Значит, мы нужны?

– Мы им нужны, и они хотят нас сохранить, милый. Они такие же буржуа, как и все остальные. И потом, ты же доверяешь Гринфельду? Ты сказал мне, что письмо зашифровано его личным ключом... И что они не имеют о нем понятия...

– Да, с точки зрения любого, кто знает или сумеет разгадать шифр, это абсолютно осмысленное письмо. Но есть еще один ключ, еще одна последовательность, которую человек непосвященный никогда не заметит, и наличие этой последовательности подтверждает, что письму можно верить. Да, ты права, всё именно так, как должно быть, всё так, как и было договорено еще в Берлине.

ГЛАВА 6

Когда теплоход «Петр Фомичев» вошел в батумскую бухту, солнце уже склонялось к отрогам зеленоватых с голубой опушкой гор. Здешние горы подходили к берегу ближе, чем в Пирее, а струившийся сквозь легкие облака свет отражался от бортов и труб пароходов и катеров, наполняя бухту вечерним, мягким с лиловым оттенком сиянием. Густая и темная листва магнолий на берегу сплеталась с красными флагами, транспарантами и портретами, висящими на флагштоках и проводах. Чуть глубже, за деревьями, видны были светлые парадные фасады и колоннады набережной, а далее просматривались открытые и сверкающие остеклением веранды двухэтажных домов. Их глухие стены были обиты ржавеющими листами жести, от дождей. С берега

доносилась приглушенная дробь барабанов и голос требовательной зурны, соревновавшейся с печальным и влажным голосом флейты.

Им пришлось несколько задержаться на борту, ожидая выгрузки небольшой группы пассажиров, следовавших из Марселя. Состояла группа, в основном, из испанцев и членов их семей, спустившихся на берег вместе с несколькими пассажирами с военной выправкой и их женами. На берегу их встречал оркестр, толпа людей с транспарантами и пионеры с цветами.

Прошло около часа и в дверь каюты постучали.

Аксель подошел к двери и отворил ее. За дверью стояли Кондратюк и вахтенный матрос, пришедшие, чтобы оказать помощь с переноской больших и тяжелых чемоданов. Когда они, наконец, вышли к трапу, на причале уже не было ни испанцев, ни их сопровождения, ни представителей трудящихся, ни оркестра с транспарантами. Причал был почти пуст, а трап был поднят.

– Вот же уроды! – выругался Кондратюк, за этим последовала суета, отрывистая команда, и через минуту-другую недавно выкрашенный трап коснулся причала, и Аксель с семьей налегке спустились по позвякивающему трапу вниз. Позади следовали Кондратюк и вахтенный матрос с чемоданами.

На причале их ожидал тот самый господин, которого Аксель именовал Оскаром во время их встречи в Берлине. Спутники же называли его «батоно Оскар» (господин Оскар). Он был по-прежнему строен, с легкой сединой на висках, черные туфли его сверкали; ему шел серый двубортный костюм, скорее всего приобретенный в Берлине. На голове была мягкая серая с черной лентой шляпа. Глаза – карие с темными точечками, усы аккуратно подстрижены.

– Oh oui c’est Borsalino! О, да это Борсалино! – заметила Annette, повернув голову к Акселю, уже заметившему новую стрижку и аккуратно подстриженные усы, позволявшие ощутить во внешности Оскара Гринфельда присутствие определенного кавказского акцента.

Итак, Гринфельд встретил их на причале. Позади него стояли несколько мужчин из сопровождения в обыкновенных двубортных штатских костюмах из темной ткани в полоску, при галстуках, в поблескивающих черных туфлях. Кроме них на причале никого не было. Мужчины, скорее всего согласно инструкции, – в темных, низко надвинутых шляпах.

Annette была в одном из своих нарядов от Баленсиаги, увенчанном великолепной белой шляпой с двумя полосами на полях – красной и желтой, призванными символизировать кровь и песок.

И в тот момент, как Аксель и Annette сделали шаг навстречу Гринфельду, у того в руках появился пышный букет протянутых

откуда-то сзади цветов, которые он немедленно передал по назначению – Annette, после чего Кондратюк и вахтенный исчезли.

Далее последовал эпизод, несколько напомнивший Акселю то, что произошло в Стамбуле: батоно Оскар взял у Акселя паспорта и направился в таможню, оставив прибывшую на борту «Петра Фомичева» семью в окружении своих словно как по команде замолчавших сотрудников, и Акселя посетило ощущение внезапно остановившегося театрального представления, зрителем которого он оказался. Впрочем, через две минуты молчание было прервано – батоно Оскар вернулся и передал Акселю документы, в которых, как убедился Аксель позднее, не оказалось каких-либо новых пометок – так, словно никакого пересечения границы в Батуми и не было; присутствовали лишь прихваченные к обложкам паспортов скрепками бумажные вкладыши с набором загадочных комбинаций цифр и букв.

За то время, что Рихард не видел его, Оскар, или батоно Оскар, как его называли, почти не изменился: правда, он выглядел несколько плотнее в своем темном костюме, темных туфлях и серой, с черною лентой шляпе. И еще нечто, подмеченное Рихардом: Оскар отдал несколько распоряжений кому-то из своего окружения на грузинском языке; мальчик не различил кому именно, но ответ прозвучал на русском:

– Всё сделаем, Григорьевич!– донесся ответ из-под одной из темных шляп людей сопровождения – черноволосых, со сверкающими, чуть маслянистыми глазами (мальчик обратил внимание на курчавые волосы у некоторых встречавших).

– Il est vrai Sudistes (Это настоящие южане), – бегло отметила Annette.

– Wir sind im Land von Colchis (Мы на земле Колхиды), – пояснил отец, с интересом оглядывавший людей вокруг.

Тут же, на причале, стояли два длинных черных автомобиля с откидывающимся верхом марки «Мерседес-Бенц», в которых чуть позднее разместились Алекс, Оскар, Annette и Рихард, а также люди сопровождения, чемоданы и множество цветов.

Впечатления нескольких последующих дней, проведенных в путешествии в сторону Тбилиси, остались в памяти Рихарда, как череда ярких и красочных пятен, созданных движением авто, овеваемого летним ветром, с остановками на пикники и обеды, с замечательно вкусной и острой, с зернами граната, орехами, зеленью и сливовыми приправами, светло-зеленой и темно-фиолетовой, с едой, запиваемой охлажденным кислым, иногда с тяжелым привкусом земли, вином – его с удовольствием пили взрослые, ему же за время обеда разрешалось выпить половину стакана; причем пили все, за исключением

водителей. Затем они снова отправлялись в дорогу, останавливаясь на ночлег в Кобулети, в санатории, у ленивого, беззаботного моря, а затем в Кутаиси, где посетили Гелатский монастырь, он запомнил его камни.

В Гелати его поразила лежащая в воротах могильная плита царя Давида, основавшего сей монастырь, – это случилось почти за тысячу лет до наших дней, сказал ему отец, и Рихард прошел по ней, как и все остальные посещавшие монастырь люди, а вдали, за предгорьями, возвышалась горная гряда с покрытыми снегом вершинами.

Они побывали на курорте Цхалтубо, а затем заехали в Гори с его строениями, сгрудившимися под горийской крепостью, и посетили домик сапожника и вождя (именно так запомнил это посещение Рихард), а затем направились в древнюю столицу Мцхета с огромным храмом Светицховели, сложенным из желтовато-серого камня, и рельефом с изображением руки, держащей угольник, под одной из арок фасада. Надпись под рельефом гласила: «Рука раба Божьего Арсукидзе. Помяните».

Рельеф под аркой показал им Гринфельд, он же и перевел надпись.

– Константин Арсукидзе был зодчий, архитектор, – пояснил Гринфельд. – Строительство храма велось с 1010 по 1029 год.

Они стояли в церковном дворе. Пожелтевшая трава была выкошена, дул легкий ветерок. Высокие каменные стены стояли, защищая со всех сторон громаду церкви.

– Но почему? – воскликнул Рихард.

– Что почему? – не понял Гринфельд.

– Почему отрубили руку? – спросил Рихард; на мгновение он представил себе, что это была его рука, – почему ее отрубили?

– Руку зодчего отсекли по приказу царя, дабы он никогда не смог построить ничего подобного этому храму.

– И что с ним стало? Без руки? – не мог понять Рихард.

– Скорее всего, он умер, – ответил ему отец.

После чего они покинули Светицховели. Переехали через реку и вскоре поднялись по петляющей дороге на высокий холм, где стоял монастырь Джвари, «Крестовый».

– Помнишь? – спросил Оскар, обращаясь к Акселю, и зачитал: «Там, где, сливаяся, шумят, / Обнявшись, будто две сестры, / Струи Арагвы и Куры, / Был монастырь...» Вот оно, это место, монастырь воздвигнут в V веке.

Внизу, за слиянием рек, лежал старый город Мцхета, его дома, храмы и монастыри. Арагви уходила направо, в сторону гор. Кура, она же Мтквари, убегала за спину, в сторону Тбилиси.

Наконец, они оказались в городе, чей возраст склонялся к полу-

тора тысячам лет, об этом рассказал сам батоно Оскар. Они прибыли в Тбилиси – ранее его называли Тифлис, – город с крепостными стенами на горе, под которой дымились серные бани, и рекой, словно прорубившей себе путь между скалами и старыми соборами, садами и красными черепичными крышами; город, вполне обозреваемый с вершины святой горы Мтацминда, куда их привез трамвайчик фуникулера, медленно поднимавшийся по рельсам на ее вершину... Два человека из сопровождения поехали вместе с ними, остальные поднялись наверх другим путем, по петляющей по склонам гор дороге. По пути они сделали остановку у Пантеона, где были погребены великие люди этой страны – писатели, поэты и артисты.

На одном из надгробий лежал букет свежих красных гвоздик.

– Два года назад здесь была похоронена мать нашего вождя, – пояснил Гринфельд.

Позднее, припоминая эту поездку, всё это путешествие, Рихард понял: оно осталось в его памяти словно длинный фильм с проплывавшими по бесконечному экрану горами, долинами, виноградниками, деревнями, церквами старинной архитектуры, каменными мостами над серыми водами бурных рек, деревнями и городами... И всё, что он видел в дороге, оставалось позади и прерывалось остановками в живописных местах с обедами на берегах рек и озер, у стен крепостей; с живой, не выгоревшей еще зеленой травой за окнами гостиничных номеров, где они спали; с темным ночным небом и щедро рассыпанными по нему звездами.

Наконец, завершив долгое автомобильное путешествие, кортеж прибыл в большой и просторный дом в горах.

– Ну вот мы и приехали, – сказал Оскар, – мы в Коджори; дом этот в вашем распоряжении, а вот там, во флигеле, живет Маро, будет помогать вам по хозяйству. Муж ее, Николоз, присмотрит за всем остальным. Он – старый революционер, побывал на каторге в Сибири, по-русски говорит не очень хорошо, но вы разберетесь. Человек он неплохой и понимает толк в вине. Когда он придет, пригласи его посидеть, попробуй поговорить с ним. Расспроси о его революционнной молодости. Тут, кстати, всё уже для вас приготовлено, включая и вино. Маро – прекрасный повар. Она, кстати, может обучить Annette готовить блюда грузинской кухни, если твоя жена того пожелает. Ну, женщины, я думаю, сами разберутся. И запомни, Аксель, для Маро и ее мужа ты – немецкий журналист и писатель. Ты приехал сюда с женой и сыном из Германии и собираешься написать книгу о Грузии. Называйте друг друга по имени. Здесь, я думаю, вы сможете спокойно провести летние жаркие месяцы. Хотел взять вас в Сухуми, но раз

мальчик кашляет, подумал, что лучше будет отвезти вас для начала сюда, в Коджори. Да и спокойнее здесь. А осенью поедем на море, в Сухуми. В Коджори, кстати, находилась когда-то дача наместника.

– Спасибо, Оскар, – ответил Дубровский, – этот дом нам нравится.

– Завтра проснешься, увидишь деревья, услышишь птиц и поймешь: во всем Коджори нет места лучше! – продолжил Оскар. – А дом этот принадлежал до 21-го года известному тбилисскому адвокату Фридриху Гаазе-Амирэджиби. Всё осталось так, как было при нем. Библиотека чудесная, кабинет, курительная комната, музыкальный салон, ну и всё остальное.

– Как он? – спросил Дубровский после паузы.

– Жив и довольно бодр для своих преклонных лет, – ответил Гринфельд, – живет вместе со своей женой Саломе в одном из предместий Парижа, название точно не помню, но у меня записано, дочь их Нестан-Дареджан довольно давно уже вышла замуж за одного из молодых Эристави. Свою юридическую консультацию он уже закрыл, по-прежнему увлекается музыкой, я видел его издали, мельком, вскоре после нашей встречи в Берлине. Конечно, им всем приходится нелегко. Красавицы, такие как Мери Шервашидзе, работают в салонах мод, а генерал Квинитадзе разработал рецепт йогурта...

Наутро Рихард узнал от отца, что здесь, на высоте в полторы тысячи метров над уровнем моря, за пределами поселка с незапамятных времен стоял лес.

– В лесу есть небольшие речки и водопады, – сообщил Аксель сыну.

Вскоре Annette приготовила завтрак из найденных на кухне припасов, включавших свежий грузинский хлеб, мацони, масло, яйца, огурцы и грузинский сыр. После завтрака Рихард выпил чашку какао, приготовленного из порошка марки «Золотой ярлык», найденного в буфете, а родители – по чашке турецкого кофе, сваренного Annette в вычищенной до блеска медной джезве, после чего она предложила Рихарду и Акселю пойти на первую прогулку без нее.

Ей, так она сказала, хотелось отдохнуть и прийти в себя после длинного и захватывающего путешествия в автомобиле. К тому же во второй половине дня в Коджори должен был подъехать Оскар, и Annette собиралась приготовить обед из найденных в американском холодильнике на кухне продуктов. Оскар собирался приехать вместе со своей женой Кристиной, сестрой Акселя, которая понравилась Annette сразу, еще во время первой встречи в Тбилиси, по дороге в Коджори.

Проходившая неподалеку от дома пешеходная тропа вела к раз-

валинам построенной на горе крепости Кер-оглы, где в то же утро побывали Рихард и Аксель. С крепости открывался вид на поросшие лесом окрестности, петляющую дорогу и горы на горизонте. Примерно на полпути к развалинам они услышали звуки текущей воды, и вскоре вышли к щедрому прозрачному роднику, пробегавшему в тени у изгиба лесной тропы, что привела Рихарда и Акселя к старинной церкви на вершине холма.

От церкви открывался вид на лежащее ниже село Цхнети. Название этого села Рихард и Аксель узнали от Оскара и Кристины, с которыми отправились на прогулку перед обедом. На этот раз к ним присоединилась и Annette. Оскар рассказал, что, согласно легенде, стоящую на вершине холма церковь Удзо возвел мужчина, вознесший молитву Богу о ниспослании сына. Мольба его была услышана, и с тех самых пор к церкви стали приходить бездетные супруги, дабы помолиться Св. Георгию. Там же, у церкви, они привязывали свои подношения и послания к ветвям одного из деревьев, которое и по сей день называют древом желаний.

ГЛАВА 7

– Послушай, Оскар, – продолжал Аксель, – объясни мне, я слышал разговоры о «латышской оппозиции». Я привык к тому, что бывает «левая» или «правая» оппозиция. Но такого еще не было. Объясни мне, как это всё понимать.

– Видишь ли, – сказал Оскар, – если говорить просто, то оказалось, что вытравить национальные чувства практически невозможно, и в каждой республике остались свои поэты, интеллигенты, художники, музыканты. И они, как мы полагаем, должны создавать новую, социалистическую культуру, проникнутую духом интернационализма. И в этом смысле латыши мало чем отличаются от грузин. А в национализме можно обвинить кого угодно, а практически всех. Здесь, в Грузии, всё это проходило очень тяжело. В 21-м году Сталин и Орджоникидзе форсировали процесс свержения меньшевистского правительства Грузии. Большевики подняли на территории Грузии восстание и привели сюда 11-ю армию; она вошла в Тбилиси со стороны Баку. Правительство меньшевиков и сочувствующие бежали из Батуми. Потом были, конечно, восстания против новой власти, но она выстояла. Но даже среди партийцев возникли разногласия. Как быть с национальными особенностями? Какую линию следует принять? Чьи интересы поставить во главу угла? Ну, кое-кого из старых партийцев посадили и выслали – грузин, мингрелов, осетин, абхазцев. Кое-кто из поэтов покончил с собой, кого-то расстреляли, кто-то начал стучать, то

есть сотрудничать с партией и органами. В общем, идет чистка. Смена поколений. Не забывай, с октября 17-го прошло более двадцати лет, и надо понять, кто наш враг – внутри страны. Буржуазия ликвидирована, кулаки уничтожены, но враги остались. Теперь борьба идет внутри самой партии. И кое-кому совершенно ясно, что эти враги – троцкисты. Везде идут длинные многочасовые собрания, где людей – тех самых, что отправляют на заклание, сначала уничтожают и подавляют морально, требуют от них раскаяться, разоружиться и сообщить о тех, кто их поддерживал. Их травят в газетах. Их требуют осудить. Казнить, расстрелять, как бешеных псов. И это происходит везде, в каждом городе, в каждой республике и, наконец, в Москве. Где, собственно, и начинается каждая новая волна террора и репрессий. Составляются списки, утверждаются разнарядки, а затем это катится по всей стране. Ну, а что до национального вопроса... Латвия и Польша – буржуазные страны. Но в прошлом они были частью Российской империи. И если латышские и польские большевики не сумели привести свои страны к победе революции, то что-то здесь не так, что-то неправильно. Ведь можно рассуждать и так... Латышей уже вычистили из органов. Многих расстреляли, кое-кто покончил с собой. Янсон был на Дальнем Востоке в командировке и погиб на охоте... Вычистили поляков. Кто следующие? Не знаю... Из тех, кого расстреляли, почти все крупнейшие оппозиционеры – Зиновьев, Каменев, Радек, Сокольников, – евреи и, согласно официальной версии, были связаны с Троцким. Почему? Потому что они были евреи? Об этом прямо не говорят, но догадываться еще никто не запретил... Правда, погибшие вместе с ними Бухарин, Рыков и Томский, Уралов – русские, но и они связаны с Троцким! Так что всё идет под лозунгом борьбы с троцкизмом. Ибо Троцкий для нас – воплощение зла. Что касается русских, то их расстреливают без счета, просто для выполнения плана. За происхождение, за косой взгляд, нелестное высказывание, да за что угодно! Чтобы поддержать баланс, спускаются планы и разнарядки. Есть такая шутка: Ленину повезло – он лежит под стеклом, его чистить не надо. Словом, пока что вопросы решаются прагматически, с точки зрения политической целесообразности.

– Какой целесообразности?

– Какой? Той, что выгодна Сосо.

– Сосо?

– Сосо. В Грузии принята такая домашняя версия имени Иосиф.

– Но что это значит?

– Думаю, ты постепенно поймешь, войдешь в курс дела. Сначала вычищали вредителей и оппозиционеров. И не только внутри страны, чистили агентуру в Европе и на Востоке... Шаг за шагом... И, разуме-

ется, наломали дров... Ко мне в ГОКС постоянно приходят запросы, что стало с этим поэтом? А он покончил с собой. Не стал стучать... С другим? А его расстреляли... Третий написал предсмертное письмо Сталину. Просил защитить семью. А потом застрелился сам... И так далее... И что? Мы отвечаем, как-то изворачиваемся, лжем, кто-то от нас отворачивается, кто-то отходит в сторону. А кто-то считает, что это просто временные трудности... Что фашизм страшнее, и оттого надо поддерживать Сталина и нашу борьбу на международном фронте... Тут много чего можно рассказать... Но сначала скажи мне, почему вы собрались в Лион?

– Мы больше не могли оставаться в Германии... Пойми, Оскар: после Мюнхена, несмотря на все заверения Чемберлена, стало ясно, что войны не избежать, а у Annette – французский паспорт. Затем – Kristallnacht, и Annette лишилась значительной части своей клиентуры и связей. Работа наша практически заморожена, так как готовится мир с Германией. И нам стало ясно: будет мир России с Германией, начнется война с Францией, и у нас немедленно начнутся неприятности, нас могут арестовать на следующий же день. Мы начали готовиться к отъезду. В Лионе у Annette родные, дом, всё вполне буржуазно, никаких подозрений... Там можно было бы осмотреться, подумать... Но я не хотел, чтобы в Центре меня считали «невозвращенцем»... И я не хотел навлечь какие-либо неприятности на тебя... Мы решили оповестить об этом Центр. И, поверь, мне было совсем не просто убедить Annette изменить наши планы...

– Послушай, Аксель, – медленно начал Гринфельд, – мне пришлось молчать, я был вынужден молчать какое-то время. Я ждал подходящего момента... Попытайся представить себе ситуацию в целом... Чистка в разведке началась в 36-м году и продолжалась весь 37-й год. И не только в разведке, но и в руководстве РККА. Людей из разведки, предполагаемых троцкистов, отзывали из-за границы и расстреливали. И люди начали бежать... Самые известные беглецы 1937 года – Рейсс и Кривицкий. В 1938 году, летом, Орлов бежал из Испании, где, с одной стороны, шла гражданская война и мы помогали республиканцам, а с другой, мы боролись с троцкистами, которые тоже были на стороне республиканцев... Итак, бежал генерал Орлов, руководитель нашей испанской резидентуры, бежал после того, как отправил всё испанское золото в СССР... И всё началось сначала... А что это значит, ты понимаешь – что это значит?! А это значит, что меняются игроки, и новые игроки приходят на смену старым. Руководство меняется, меняются и подчиненные. И вот тут вопросы личных связей и отношений между людьми решают всё, и если не всё, то многое. И в том числе то, кто на кого успеет настучать. В итоге в Москву идет непрерывный поток

доносов. Центр их рассматривает и отзывает резидентов и многих других, не только резидентов, для проверки. Большинство отозванных арестованы, остальные проходят проверку. Многих уже расстреляли. Ведь надо объяснять провалы. Отчего у нас так много перебежчиков? Отчего у наших сотрудников налицо такое дикое отсутствие профессионализма, любительщина и наглость? Мы ликвидируем своих перебежчиков. Тем, на той стороне, в сущности, более или менее наплевать на них. До какой-то степени мы им помогаем. Меньше проблем. Но иногда зарубежная пресса, особенно во Франции, поднимает шум: вот, на территории нашей страны, «прекрасной Франции», кричат газеты, «убийцы, посланные из России, безнаказанно уничтожают людей, которые поверили обещаниям наших властей и хотели начать новую жизнь! Где же наш гуманизм? Чего стоит наше слово и взятые на себя обязательства противостоять злу?» И так далее... И вот, приходится что-то делать в ответ. Возникают международные скандалы. Отозванные Центром разведчики сидят на дачах в Болшево, пишут отчеты и ждут, когда за ними придут. Вскоре после побега Люшкова на Дальнем Востоке – а он бежал к японцам после того, как его вызвали в Москву, – сняли Ежова, на его место был назначен Берия и, когда я вернулся из поездки в Европу, я сказал Лаврентию о вас: «Эти люди хорошо работают. Я знаю Акселя со студенческих лет, более того, он мой родственник. Таких людей надо беречь». «Хорошо, – ответил он, – посмотрим на их поведение.» И я откладывал ваш вызов в Москву сколько мог. Вы были нужны в Берлине, и отлично делали то, что должны были делать. А теперь, после вашего сообщения об отъезде в Лион, решили привезти вас сюда. «Да, можешь привезти их в Грузию, – сказал он, – они способные люди и могут пригодиться нам для другого... Хорошее вино надо хранить в сухом подвале...» По-моему, он имел в виду сырость и крыс... Крысятничество. Вот что он имел в виду... Ты, конечно, представишь подробнейший отчет о работе, своей и Annette, и учти, к вам у нас нет никаких претензий. И оттого нет никакой необходимости ехать в Москву. Берия, – тут Гринфельд мотнул головой как-то вбок, – мне доверяет, поскольку мы – земляки, знакомы сто лет в обед, вместе учились в техническом училище... Потом он уехал в Баку, а я в Москву... Но старая память работает... Во всяком случае – пока... Хотя он и взлетел на немыслимую высоту... Ты хочешь спросить, как я попал туда? Он сделал мне предложение, и я, естественно, не мог отказаться. Но об этом позднее... Ему нужны свои люди, те, кому он доверяет, те, кто от него зависит, и те, кого он не боится и собирается использовать. А тех, кого он боится, он собирается ликвидировать. Он боялся Реденса, мужа свояченицы Сталина, и сумел подставить его так, что Реденса убрали с Кавказа.

А ведь Реденс – старый член партии, поляк, фанатик, человек Дзержинского. Его отправили в Казахстан. Туда, откуда прибыл Ежов в свое время. Посмотрим, что будет дальше. Скорее всего, Реденсу конец. В Казахстане его арестуют. Привезут в Москву, на Лубянку, будут допрашивать. Шантажировать судьбой семьи. Снова допрашивать. Да там же и шлепнут в коридоре после 10-минутного заседания коллегии. Вот что происходит с людьми, которые не по душе Сталину. А такой человек, как Лаврентий, его вполне устраивает. Пока. Оба – кавказцы, а у этих людей мозги работают иначе, чем, скажем, у прибалтов или поляков, совершенно иная ментальность. Совершенно иные ценности, другое отношение ко всему; совсем другая, особая смесь из лицемерия, себялюбия и двоемыслия... даже, быть может, троемыслия. И темперамент, конечно, темперамент совсем иной... Я, кстати, рассказал ему, что, судя по всему, кое-кто в Москве, отправляя меня в Берлин и далее, очень не хотел, чтобы я добрался до Парижа, и они пытались подсунуть мне уже проваленную берлинскую явку, которая всё еще числилась как действующая. И если бы не ты, то неизвестно еще, чем всё бы кончилось. А я просто решил изменить порядок встреч, и это ведь чистое везение, что я увиделся с тобой еще до всех остальных встреч. Тебя-то ведь я знаю не первый день. А когда я вернулся в Москву, то, естественно, нашлись люди, которые утверждали, что ты вел двойную игру. Мотивируя это тем, что ты не мог и не должен был знать о том, что эта явка, на которую меня направили, провалена. И требовали отозвать тебя, с тем, чтобы создать повод для подозрений и очернить меня.

Слова его прервал тихий смех Акселя. Через несколько секунд смех умолк, и Аксель сказал:

– Знаешь, Оскар, они были правы, о провале Зауэра и Ленца первой узнала Annette через свои каналы. И что? Она должна была ждать приказа из Центра о том, что делать? Но ведь она не могла допустить, чтобы меня взяли на этой явке, если бы в силу какой-то случайности я там оказался? Не так ли?

– Все правильно, Аксель. Именно поэтому ты здесь, а не там, где остальные. После вашего сообщения о переезде в Лион вы с Annette, ввиду сложившейся ситуации, переведены в резерв. Ты провел за кордоном около пятнадцати лет, не так ли? Естественно, вам нужно отдохнуть, и у вас будет несколько месяцев для этого. И я покажу вам всю Грузию. Но я не думаю, что стоит ехать в Москву. Там могут произойти какие-то ненужные встречи. Даже случайные. Ты понимаешь меня?

– Ну да, – ответил Аксель, – это более чем ясно.

– А потом вы снова уедете. Для вас уже есть новое задание. У него, – Оскар поднял палец к потолку, – есть кое-какие соображения,

но вся эта программа требует подготовки. Поэтому вам придется пока пожить здесь, на даче ГОКСа, Грузинского общества культурных связей с заграницей. Я, кстати говоря, – заместитель председателя правления общества. Отдохнете здесь, в Коджори, пару недель, придете в себя и начнем вашу подготовку к новой жизни. Спокойно, не спеша, совмещая всё это с отдыхом. Это что касается жизни здесь, в Грузии. Осенью, ближе к зиме, вы уедете, а Рихард останется с нами, будет учиться в школе. В школьном журнале он будет записан как Рихард Александрович Дубровский, мой и Кристины племянник. Место рождения – Берлин. А легенда такова: в нашу страну через батумский порт въехала семья, отец – Александр Александрович Дубровский, ветеринарный врач из Москвы, гражданин СССР, мать – Annette Boissier, гражданка Франции, и их сын Рихард Дубровский, без подданства. Дубровский вернулся из длительной научной командировки в ведущие медико-биологические центры Германии и Франции, вернулся вместе с женой и сыном. Далее, пробыв на родине некоторое время, он покинет страну, направившись вместе с женой по заданию советского правительства во Францию, где подготовит всё необходимое медицинское оборудование и медикаменты для поездки в Монголию, где ему предстоит возглавить борьбу с эпидемией сибирской чумы, тифа и сифилиса. Уезжая, – продолжал Гринфельд, – супруги оставляют своего сына у родственников, то есть у нас, в СССР, для того, чтобы тот закончил школу на родине отца и получил советское гражданство. Надеюсь, ты понимаешь, что всё это решено наверху?

– Конечно. Но объясни мне, пожалуйста, Оскар, следующее: если мы уезжаем с каким-то заданием, то как нами будут руководить, если наши карточки будут храниться в архиве?

– Тут есть одна деталь. Важная. Да, ваши карточки будут находиться в архиве. По существу, вас переводят из активно действующих агентов в глубокий резерв. И поверь, никакого противоречия здесь нет. Так, чтобы ни у кого не возникло искушение заткнуть вами какую-либо дыру или использовать вас, как расходный материал. На самом же деле вы будете подчиняться только полученным от меня инструкциям.

– ...А теперь давай поговорим о том, как вы будете добираться к новому месту назначения. В ваших паспортах – отметки турецких властей о въезде в Турцию и выезде из этой страны в тот же день, так? Никаких отметок о прибытии в Батуми в самих паспортах нет, паспорта чисты, есть только специально предусмотренные для подобных случаев вкладыши. Так вот, когда подойдет время отъезда, мы доставим тебя и Annette в Батуми и отправим на «Петре Фомичеве» с тем же помполитом Кондратюком, но в Стамбуле вы сходить на берег не будете и прибудете во Францию со слегка подправленной в паспортах

датой на штампе о выезде из Турции. Так что получится, что лето вы провели в Турции, путешествуя по стране.

– Да, но такое изменение написанной чернилами даты можно будет легко обнаружить, – сказал доктор Дубровский, – ибо присутствие химикатов...

– Никаких химикатов, Аксель, – заверил его Гринфельд, – просто на то, что написано чернилами и должно исчезнуть, наносится тончайший слой меда, а затем на мед выпускают муравьев... съедая мед, они убирают и лежащий под ним слой чернил или туши. Этим займутся здесь, есть у нас в ГОКСе один специалист. Остается чистая поверхность бумаги, на которую затем наносятся требуемые буквы или цифры... точно те же, что у выезжающих из Турции пассажиров «Петра Фомичева»... Этой последней частью займется Кондратюк со своим помощником уже после того, как судно покинет Стамбул. Так что по документам всё будет выглядеть так, словно вы провели лето в Турции. А с необходимыми сведениями о вашей жизни в Стамбуле мы ознакомим вас здесь, но об этом немного позднее... Надеюсь, ты правильно меня понял, – понизив голос, продолжал Гринфельд, и на лице его появилось специфическое выражение, означавшее одновременно множество различных утверждений, от «таковы правила игры, и не нам их менять...» до «от меня тут ничего не зависит...»

– Да-да, мне всё понятно, – сказал Аксель, – это всё как будто ясно. Но вот представь себе, мы прибываем куда-то и там случайно встречаем кого-то из старых знакомых, кого-то из тех, кто может сообщить о встрече с нами в Центр? Что тогда?

– Ну что ж, – сказал Гринфельд, – жизнь есть жизнь, всё может случиться, но мы отправляем вас довольно далеко, в Южную Америку, и шансы на то, что вы встретите там кого-то из старых знакомых, ничтожны... Да к тому же – допустим, кто-то вас встретил или даже увидел, и что? Как говорит старая грузинская поговорка, где имение, а где – наводнение? Вы ведь не провалились, не сгорели, а просто уехали из Германии, где жили раньше в силу оперативной необходимости. То есть вы – эмигранты. Жили в Германии, эмигрировали в одну из стран Латинской Америки. Таких людей сейчас довольно много. И это самые разные люди. И, поверь мне, далеко не все из них – святые. И если даже кто-то сообщит о вас, что вы, возможно, занимались чем-то сомнительным раньше, то что из этого? Вы ведь не совершали преступлений, направленных на подрыв того государства, которое предоставило вам убежище. А ему вы, возможно, еще пригодитесь. Вам предоставляют убежище, вот и всё. Вы ведь не агенты-нелегалы, вы – нечто иное. Вы живете под своими именами, которые, конечно, можно изменить, если это потребуется. Ну а что до записей в архивах, то дей-

ствующие агенты обычно ничего об архивах не знают. К тому же, уже по прибытии в страну всегда можно натурализоваться по прошествии определенного срока и даже получить новые документы в случае необходимости... Сохранив при этом заверенные копии старых документов, необходимых для работы с банками... Потому что вы будете продолжать делать ту же работу, но с иными людьми и в новых условиях. Чисто финансовые операции. А сами будете вести тот образ жизни, что вам покажется разумным и безопасным.

– Ну, тогда последний вопрос, Оскар, – продолжал Алекс: – Почему мы перестанем фигурировать в центральной картотеке, а уйдем в архив? В чем смысл?

– Это *его* идея, – сказал Гринфельд, – не один Центр, а несколько. Так, он считает, будет надежнее. У военных – своя разведка, у дипломатов – другая, у политического руководства – третья... Так почему бы и нам не ввести дополнительные независимые подразделения? Чем больше независимых источников информации, тем полнее суммарная картина. И так далее... Надеюсь, всё это ясно, – сказал, заканчивая разговор, Оскар Гринфельд.

– Мне кажется, всё это неспроста, – признался Аксель в разговоре с Annette.

– Что именно? – рассеянно поинтересовалась она.

– Быть может, я – сумасшедший, но у него, по-моему, весьма далеко идущие планы, – сказал Аксель.

– О ком ты говоришь, Аксель? – переспросила Annette. – О Гринфельде?

– Нет, не о Гринфельде. Я говорю о человеке, которому подчиняется Гринфельд. Троцкий нашел убежище в Мексике. Но там ведь немало государств. Это огромный континент. И любому, кто захочет там скрыться, потребуется помощь и содействие, не говоря уже о деньгах.

– Ты думаешь, всё может дойти до этого? – в голосе Annette прозвучала новая нотка, нотка настороженного удивления.

– А кто может гарантировать свою безопасность в этой чехарде? Здесь идет бесконечная борьба за власть. И никто ничего не знает наверняка, даже хозяин Оскара. Всё, что должно произойти с нами, – это его идея. Но кто знает, чего он хочет? Может быть, и ему потребуется убежище...

– Un abri? Quand? Убежище? Когда?

– Dans le futur... – В будущем...

– Tu es sûr de ça?Ты уверен в этом?

– J’ai demandé à Oscar... Я спрашивал у Оскара...

– Et c’est quoi? И что он?

– В ответ он сказал, что его дядя, старый Иона Гринфельд, кото-

рый его вырастил, говорил ему когда-то, что не следует лезть к черту на рога, если только он сам тебя не позовет, да и тут надо хорошенько подумать, как домой возвращаться будешь.

– Как это понимать, Аксель? Скажи как есть.

– Мне кажется, Гринфельд попросил меня не задавать ему лишние вопросы. Он считает, что так будет спокойнее для всех.

Через несколько дней Гринфельд рассказал Акселю, что в Тбилиси осело какое-то число испанских республиканцев.

– Мы отобрали несколько человек, наиболее образованных. Устроим для вас курсы испанского языка. Овладение основами. К тому же какие-то исторические и культурные сведения об Испании и ее колониях. У тебя будет возможность понаблюдать за ними и определить, с кем из них ты предпочел бы работать. А в сентябре вы уедете за кордон.

– Но ты говорил о конце осени. Не так ли?

– Обстоятельства изменились.

– А Рихард? Можем мы взять его с собой? – спросил Дубровский.

– Пока всё остается по-прежнему. Рихард останется здесь. Под моим присмотром, – быстро сообщил Оскар. – Так будет лучше, в том числе и для мальчика. В смысле получения образования и безопасности. Учебный год он проведет здесь, у нас, в Тбилиси, будет жить вместе со мной и Кристиной. Летом они будут жить в Сухуми. А когда вы вернетесь...

– Вернемся? И когда же это будет?

– Поработаете на новом месте, выйдете на пенсию и вернетесь сюда. Или останетесь жить за кордоном, учитывая гражданство Annette. Так было договорено в свое время.

– А Рихард? Что будет с Рихардом? – спросил Аксель.

– Мы переправим его к вам, но не сейчас, а когда вы выйдете на пенсию и все дела будут закончены.

– Это указание сверху? – спросил Дубровский.

– Считай, что да, – ответил Гринфельд.

– Значит, играем в долгую, – произнес Дубровский.

– А как ты думаешь? – ответил Гринфельд и добавил: – здесь только так и играют. Здесь и играют, и мстят именно так.

– Мне это не совсем ясно. Поясни, если можешь, – попросил Дубровский.

– Хорошо, вот тебе пример... Авель Енукидзе... Старая гвардия, – начал Оскар, – революционер. Член ЦК. Крестный отец Надежды Аллилуевой, жены Сталина. К тому же, как оказалось позднее, развратник и растлитель малолетних. Когда-то Авель подарил Надежде

пистолет. Тут, кстати, все небожители дарят друг другу пистолеты. Есть такая мода. В 1932 году Надежда Аллилуева застрелилась. А вот Авеля расстреляли в конце 37-го за шпионаж. Произошло это, когда Каин взялся за чистку своего окружения. Ибо Каин всегда считал, что Авель подарил его жене пистолет для того, чтобы она застрелила его, Каина. А кое-кто считает, что Каин сам ее застрелил из подаренного Авелем пистолета.

– А ты не боишься мне это рассказывать? – поинтересовался Дубровский.

– Боюсь, конечно, боюсь, но я хочу, чтобы ты знал, как всё устроено на самом деле. И отчего убежал Орлов. Но не у всех это выходит. Остается всего лишь один выход: ждать и надеяться. Вот я и жду, и надеюсь, что успею застрелиться, если за мной придут, – добавил он, усмехнувшись. – Держу пистолет под подушкой, но, Аксель, я хочу, чтобы ты знал: я к пыткам и расстрелам отношения не имею. Этим занимаются другие люди. А я – одна из деталей фасада и, в то же время, нечто вроде глаза. Кое за чем присматриваю...

– Хорошо, – сказал Аксель, – ситуация более или менее прояснилась. Представляю теперь примерно и то, чем занимаешься ты. Но давай говорить прямо. Рихард остается здесь в качестве заложника, так ведь? А мы едем в Южную Америку и там натурализуемся, но зачем? Какова наша стратегическая цель? Чего мы хотим достигнуть?

– Цель? – Гринфельд усмехнулся. – Помочь движению рабочего класса, его коммунистическим партиям в их борьбе, ну а главная для них опасность на данном этапе – это, как показала испанская война, – Троцкий и троцкизм.

– Но почему? Разве нет противников поважнее?

– Троцкий и его сторонники не признают верховенства Москвы. Тем самым они подрывают авторитет Сталина.

– Но ведь практически Сталин уже выиграл? И Троцкий десять лет как выехал из Союза, – недоумевал Аксель. – Или это тоже месть? Холодное блюдо? – но Гринфельд не спешил отвечать на этот вопрос.

Гринфельд помолчал, а затем усмехнулся и сказал:

– Послушай, Аксель, тут вот что происходит. Рассуждая о характере Хозяина, Троцкий говорил о противоречии между крайней властностью его натуры и недостатком интеллектуальных ресурсов. Вот и решай, месть это или нет?

После паузы Гринфельд продолжил:

– Сталин требует ликвидации Троцкого, а Лаврентий предвидит, что за очередной попыткой ликвидации Троцкого последует новая волна арестов в Мексике и, вообще, в Америке. И, следовательно, нам надо готовиться к тяжелым временам в этом регионе. Пойми,

подготовка к операции по ликвидации Троцкого уже поглотила немалые суммы. У Лаврентия есть мнение, что большая часть этих денег разворована. Есть такая категория людей – растратчики. Они есть везде. Особенно много их в разведке, где можно списывать массу расходов на разного рода недокументируемые события, и реальные, и воображаемые. Иногда, украв много денег, люди становятся перебежчиками и заявляют о каких-то политических мотивах и смене убеждений. Как бы то ни было, кто-то, находясь там, на месте, должен контролировать расходы и всевозможные затраты. Да, страна готова вкладывать деньги, но ведь и результаты нужны. Похоже на то, что вы снова будете осуществлять финансовый контроль. Ну а дальше, как подсказывает опыт, после выполнения той задачи, что поставлена перед нами сегодня, возникнет новая очередная и абсолютно неотложная задача, которая снова потребует напряжения всех наших сил, – продолжал Гринфельд, используя самые что ни на есть затертые обороты речи. Затем он внезапно сменил тональность и, имитируя речь провинциального еврейского мудреца, добавил: – Но кто знает, мой дорогой Аксель, что случится и что может случиться? И кто может с уверенностью сказать, что всё будет так, а не иначе? Ты знаешь, о чем рассказывал мне Иона?..

ГЛАВА 8

Однажды старый Иона Гринфельд рассказал своему племяннику Оскару, что был когда-то знаком с отцом Троцкого.

В то время Иона был владельцем нескольких маслобоек и жил в Одессе, куда юный Лейба Бронштейн попал на учебу в 1889 году, в возрасте 10 лет. Он был принят в училище Св. Павла по квоте для еврейских семей и вскоре стал лучшим учеником по всем дисциплинам. Его отец, проживавший вместе с семьей в Полтавской губернии, попросил своего хорошего знакомого, одесского коммерсанта Иону Гринфельда, присматривать за сыном.

– Я хочу, чтобы он заходил к вам иногда. Рассказывал о своей жизни, обедал. Если ему понадобятся дополнительные деньги, поддержите его. И я рассчитаюсь с вами при встрече, – добавил он.

В первые годы учебы юный Лейба увлекался рисованием, стихами и литературой. Но на последних курсах 17-летний Бронштейн присоединился к кружку социалистов и оказался вовлечен в пропаганду идей революции. Высокий и стройный юноша с густой темной шевелюрой, большим лбом и пронзительным взглядом темных, близко посаженных глаз увлекся изучением трудов Карла Маркса. Именно в тот период в нем начали проявляться острый ум, прирож-

денное стремление быть лидером и умение вести полемику. Он умел притягивать внимание, его слушали, и ему удалось организовать «Южно-русский рабочий союз». В 1898 году он впервые попал в тюрьму, где ему пришлось провести два года. Этому последовали еще два года сибирской ссылки, откуда он сбежал за границу с фальшивым паспортом на фамилию Троцкого.

Однажды, накануне революции 1905 года, отец Троцкого сказал встреченному им на одесском Привозе Ионе Гринфельду, что Леве можно доверить всю Россию, но свою маслобойку он бы ему не доверил.

Но кому и что можно было доверить в то время? Пришел 1905 год – митинги, шествия, казаки, перестрелки, погромы, еврейские отряды самообороны, Манифест 17 октября... и Иона Гринфельд задумался, стоит ли ему и его семье и дальше оставаться в Одессе. Кто-то выправлял паспорта и уезжал в далекую Аргентину, какие-то смельчаки уезжали в Америку, некоторые задумывались о переезде в Палестину.

Иона Гринфельд переехал из Одессы в Абхазию вскоре после того, как Сухум получил статус порто-франко, и ему стали ясны возможности, открывшиеся в связи с возникавшей на глазах торговлей абхазским табаком. О существовании этого города ему рассказал некий Адольф Зайдшер из Тульчина, собиравшийся открыть в городе новую типографию.

– Иона? Чем он занимался? – продолжал Гринфельд, отвечая на вопрос Дубровского. – Он торговал табаком. В Абхазию табак завезли понтийские греки и амшенские армяне. Они отлично знали культуру возделывания табака, самыми лучшими и ходовыми сортами которого оказались «Трапезунд» и «Самсун». И после того, как абхазский табак появился на рынке, прежние монопольные поставщики табака – Македония, Турция и Египет – не могли не признать несравненных качеств нового конкурента. Тончайшие сорта, выпускаемые прославленными фабриками Каира, Александрии и Лондона, приобретали особенную ценность, если к ним подмешивался табак из Абхазии.

Качество абхазского табака очень быстро покорило весь мир, а Иона Гринфельд стал владельцем обширного двухэтажного дома с холлом, широкой внутренней лестницей и боковой башней в три этажа, строения с открытыми верандами, балконами, полукруглыми окнами и тонкими колоннами, возведенного в глубине сада на склоне горы Самата, откуда прекрасно просматривался лежащий внизу город и дуга Николаевской набережной, пробегающей от устья реки Беслети до развалин выстроенной еще античными греками крепости.

Осенней порой он любил сидеть на большой веранде второго этажа, поглядывая время от времени в бинокль и ожидая появления турецких фелюг на горизонте. Веранда заменяла ему сад, на ней было много горшков с цветами, кактусами, китайскими лимонами – я всё это помню как сейчас. И хотя после «советизации» в 21-м году часть дома пришлось отдать, верхний этаж с верандой остался за ним.

Фелюги приходили каждую осень и останавливались на рейде. Затем турецкие купцы отправлялись на берег, где в одной из зал городского муниципального управления начинались переговоры, сопровождавшиеся питьем неимоверного количества темно-красного турецкого чая из прозрачных и тонких стеклянных с талией стаканов.

После завершения длительных, с перерывами для вознесения молитв, переговоров грузчики перевозили мешки с просушенным табаком с табачных складов на гребные лодки и везли мешки на фелюги. В эти дни запах табака с просторных складов, построенных рядом со стенами возведенной еще в эпоху аргонавтов крепости, постепенно заполнял всё пространство над набережной, а воздух над морем, где стояли фелюги, приобретал золотистый или просто рыжий оттенок.

Несколько раз я сопровождал Иону в его поездках по складам. – продолжал Гринфельд. – Мы объезжали табачные склады и входили на каждый через огромные, выкрашенные суриком железные ворота. Ты входил в помещение склада, и запах табака заполнял всё вокруг, изменяя вкус самой жизни и придавая ему густой, до хрипотцы в горле и слезящихся глаз, оттенок. Высокие стены табачных складов выкрашены были розовой краской. Табак сушился на деревянных полках, а от зимних дождей складские помещения укрыты были железными крышами, выкрашенными всё тем же корабельным суриком.

Расплачивались турецкие купцы валютой. В течение довольно долгого времени уже после установления новой власти значительная часть торговли по-прежнему осуществлялась через Иону Гринфельда, ведь именно он первым установил прямые связи с турецкими торговцами табаком в Палестине, торговавшими египетским табаком. И, надо сказать, старый Иона Гринфельд добивался удобной цены. Ибо он умел вести торговые переговоры так, как никто другой.

Когда в 1921 году власть в Абхазии перешла к большевикам, молодая республика сохранила за собой право самостоятельно торговать и вести валютные операции. Участвовал во внешнеторговых операциях республики и старый Иона Гринфельд. «Он нужен нашей республике», – сказал об Ионе председатель местного ЦИКа товарищ Нестор Лакоба.

Турецкие негоцианты привозили с собой валюту, которая переправлялась в сейфы республиканского банка, а Иона Гринфельд

получал в рублях свою, заработанную честным трудом зарплату. Еще одна часть его доходов, но уже не в советских рублях, а в валюте, поступала на известный ему и туркам счет в центральном отделении банка Леуми в Тель-Авиве, который он посетил во время своей поездки на Ближний Восток в 1907 году в поисках новых партнеров для продажи табака из Абхазии. Банк этот был основан в Яффо 27 февраля 1902 года в качестве подразделения лондонского «Jewish Colonial Trust» под названием «Англо-Палестинская Компания». Все переводы денег на счет Ионы были подтверждены соответствующими банковскими документами. Каждый год турецкие купцы привозили их в Сухум и вручали старому Ионе Гринфельду еще до начала переговоров.

– Ты спросишь, – продолжал Оскар, – почему старый Иона Гринфельд вкладывал свои деньги в яффское подразделение «Jewish Colonial Trust»? Причиной этого была неотвратимо приближавшаяся старость, и на склоне лет Иона собирался уехать из Сухуми в Иерусалим. Отпустить его туда обещал сам глава Абхазии Нестор Лакоба, большевик с 1912 года, связанный узами дружбы с товарищем Сталиным.

– Хороший табак, кофе, коньяк и чай – всё это любил старый Гринфельд. Любил он и местные сорта винограда, «качич» и «изабеллу», их безумный, лиловый, пьянящий аромат, любил закусить глоток коньяка истекающим соком инжиром. Так, собственно, я и запомнил его: на веранде второго этажа с открытыми окнами. Веранду свою он превратил в сад: собрание горшков с кактусами, китайскими лимонами и серебристым «денежным деревом» Crassula argenta постепенно, в зависимости от сезона, пополнялось горшками с цветами и вазами со срезанными розами, тюльпанами и гвоздиками. Помню высокие бледно-лимонные расписные вазы с георгинами – их любила Дора, жена Ионы. Дети его ко времени моего приезда в Сухум выросли и разъехались, кое-кто оказался даже в Америке, – помню как сейчас дни, когда приходила почта с письмами от его детей.

– Мой отец, младший брат Ионы, надеялся со временем переехать в Сухум, но туберкулез доконал его, несмотря на швейцарский курорт и оплаченное старым Ионой лечение у лучших швейцарских врачей. Ну а я провел в доме у Ионы и Доры немало лет, начиная с 1910 года, когда мои отец и мать уехали в Швейцарию. После окончания университета я вернулся в Сухум и начал работать в лабаратории доктора Балодиса. Вскоре я познакомился с Кристиной... Но я вижу, тебя интересует, отчего Иона собирался покинуть Абхазию?

По мнению Оскара, одной из причин желания старика покинуть этот край было убеждение, зародившееся у него еще во времена

ограбления теплохода «Цесаревич Георгий», перевозившего крупную сумму денег, предназначенных для оплаты работ строителей и гидрологов в устье реки Кодор осенью 1906 года. Вскоре после ограбления стало известно, что средства, попавшие в распоряжение боевиков, говоривших по-русски с сильным грузинским акцентом, были использованы на финансирование борьбы с царским режимом. Убежден же был старый Иона Гринфельд в том, что все крупные политические события будущего на Кавказе приведут к небывалому размаху грабежей, и победу в них сумеют одержать только те силы, что сумеют найти идеологическое оправдание этим грабежам, являющимся продолжением древнейшей исторической традиции этого региона. Убеждение это только крепло с годами. Несмотря на все опасения и дурные предчувствия, Иона съездил на Ближний Восток в поисках торговых партнеров, справедливо полагая, что неизбежное будущее наступит не сразу... Так оно и произошло, но уже в 31-м году прямая торговля с Турцией прекратилась, ибо статус Абхазии изменился. Теперь она стала автономной республикой в составе Грузии, во главе которой стоял в то время уроженец Абхазии Лаврентий Берия, который еще в октябре 1929-го отправил своему старшему другу Нестору Лакобе, возглавлявшему ЦИК Абхазии, пистолет, сопроводив подарок запиской: «Дорогой Нестор! Посылаю тебе свой револьвер и двести пятьдесят шт. патрон. Внешний его вид пусть тебя не смущает – револьвер призовой. С приветом, твой Лаврентий».

Нестор Лакоба стоял у истоков карьерного роста Лаврентия Берии. Именно он способствовал переходу Берии на работу из органов безопасности в партийные органы Грузии. В ту пору Берия много читал и внимательно изучал биографию Жозефа Фуше. Что же до Иосифа Сталина, с которым Берия мечтал познакомиться, то он, как известно, внимательно изучал главный труд Макиавелли «Государь». Однажды Лакоба предствил Берию приехавшему на отдых в Абхазию Сталину, но тот как будто не обратил на него внимания, несмотря на все усилия Нестора.

Стремительный карьерный рост Лаврентия Берии насторожил Иону Гринфельда, всегда интересовавшегося происхождением человека, а также его семейными или родовыми традициями.

– Ведь он мингрел, – говорил Гринфельд, – а мингрелы – дети дьявола. Это потомки древних колхов, а живут они южнее Абхазии, за Кодором. Некоторая их часть переселилась в Абхазию после окончания войны русских войск с турками, когда множество абхазов покинули свою родину и уплыли в Турцию, а Абхазия опустела.

Так вот, как утверждал Иона, мингрелы – единственное в Грузии племя, которое продавало в рабство и в гаремы своих же соплеменни-

ков. Еще Мериме писал, что «Мингрелия – это страна, где всякий негодяй, у которого под началом находится десяток других негодяев, называется князем». Они похищали юношей и девушек и продавали их в рабство в Турцию. Девушек – в гаремы. а юношей – в мамелюки. Был у них, правда, княжеский род Дадиани. На одной из княжон, Саломее – а она была женщиной редкой красоты, – женился Ашиль Мюрат, внук маршала Мюрата. Он занимался виноделием, и Merlot, которое он привез в Мингрелию, превратилось в известное всем «Оджалеши». А привезенную Мюратом посмертную маску Наполеона и его шпагу счастливая пара хранила во дворце Дадиани, превращенном в музей после прихода большевиков. Там эти раритеты и находятся по сей день. Но никаких князей теперь, как известно, нет, осталась одна чернь. А ожидать чего-либо хорошего от черни, утверждал Иона, просто глупо.

– Иона, кстати говоря, – продолжал Оскар, – собрал отличную даже по строгим меркам библиотеку, и как только торговые дела его завершались – а обычно этот период наступал в конце осени, – усаживался в плетеное соломенное кресло на веранде и начинал читать или просматривать книги из числа новых поступлений, а порой листал и старые, полюбившиеся ему книги. Ведь в Сухуми – а город в 30-х годах стали называть на грузинский манер, добавив *и* в окончание, – долгая, дождливая и даже промозглая зима. Не зря же склоны горы Чернявского облысели к началу века. Люди вырубали чудные леса на ее склонах для того, чтобы отапливать свои дома.

– Лучшая часть моей юности прошла в доме Ионы. Позднее, когда я вернулся в Сухум из Москвы, я продолжал жить у него в доме. «Теперь у меня есть с кем словом перемолвиться», – говорил Иона, обращаясь ко мне. Когда я познакомился с Кристиной и мы поженились, она согласилась переехать в дом Ионы.

– Похоже, дом оживает, – сказал мне Иона вскоре после появления Кристины в доме. Особенно приятно ему было то, что Кристина любила цветы и растения, любила возиться с рассадой и всегда была ровна и спокойна. Этим она выгодно отличалась от уроженок Юга, которые в большинстве своем не могут, не умеют и не любят молчать.

Готовила в доме приходившая ежедневно повариха, так повелось после смерти жены Ионы. Повариху привозил кучер, который позднее, с появлением автомобилей, превратился в шофера Ионы. После смерти Доры, жены Ионы, оба сына его, застрявшие во время Первой мировой войны в Германии, завершили свое образование в Швейцарии, в Базеле, где старший стал агрономом, а младший – преподавателем математики, после чего оба уехали в Южную Америку. Изредка к нам приходили их письма со штемпелем Буэнос-Айреса, отправленные младшим сыном, который преподавал в тамошнем

университете. Обычно в конверте было два письма – одно от младшего сына и второе от старшего, который жил на ферме в одной из провинций, где-то в *сельве*, откуда ему по каким-то причинам не хотелось отправлять письма за границу. Поэтому он отправлял письма, обращенные к Ионе, своему младшему брату, а тот отправлял их одному из деловых партнеров Ионы в Турции. Откуда письма тем или иным образом попадали в наш маленький город. Но в середине 30-х годов обстановка в стране стала такой, что Иона решил не отсылать свои письма сыновьям по почте, а передавать их только с оказией, что, естественно, привело к тому, что прибытие писем стало редким событием. Но тут я забегаю вперед...

– Итак, мы с Кристиной составляли компанию Ионе, и он был этому рад.

– Представляешь, – сказал он мне однажды, – некоторые друзья, эти «пикейные жилеты», – он говорил о тех своих знакомых в городе, с кем часто пил кофе, – эти старые дураки советуют мне завести новую жену, они просто безумцы...

В общем, Иона вел жизнь пожилого состоятельного человека, пользующегося в силу определенных исторических заслуг своего рода иммунитетом от всяких неприятных событий, происходящих в окружающем его мире. У него, однако, были свои определенные опасения по поводу вопросов, как он говорил, *материального* характера.

– Ну, кое-что на «черный день» иметь все-таки надо, – не раз говорил он мне, – и я надеюсь, что если что-то нехорошее вдруг произойдет, то я смогу уехать в Иерусалим. Но ведь пока не вечер, а? – добавлял он неизменно.

Светлое время дня он обычно проводил на веранде, а вечером в доме разжигали камин и печи, и Иона погружался в темное кожаное кресло у камина, попивал коньяк и, закусывая каждый глоток его сушеной хурмой и турецкими финиками, читал.

Электрический свет проник в наш портовый город в 1909 году. Но мощности в полтысячи лошадиных сил не очень-то хватало на освещение в зимнюю пору. И оттого свет в лампочках накаливания всегда был неярким и желтым.

– В 1930 году я начал работать в новом, созданном на склонах Трапеции Институте экспериментальной патологии, при котором был создан обезьяний питомник. Туда мы съездим позднее. Постепенно наш научный центр стал привлекать внимание ученых из-за рубежа, мы приглашали их приезжать и знакомиться с нашей работой, и в Институт прислали пару чекистов из Тбилиси для осуществления надлежащего контроля за ними и за нами. В конце концов, в Тбилиси вызвали и меня, и вот тут я впервые попал в ЦК и встретился с Берия

через много лет после того, как мы сидели за соседними партами. Однажды только он помог по моей просьбе перерегистрировать дом доктора Балодиса как достояние семьи доктора, не подлежащее переходу во владение горсовета, что, в общем-то, для него было в то время совсем несложно. В эту нашу встречу он интересовался всем, что происходит в Абхазии и в нашем институте, подписал мне несколько бумаг и сказал, что возлагает на меня большие надежды. И поскольку я числился военнообязанным, мне было присвоено звание майора.

В 36-м году, через несколько дней после возвращения Нестора Лакобы в Сухум из Москвы, Берия пригласил руководителя Абхазии в Тбилиси. После заседания партактива, где они разругались, мать Берии в знак примирения пригласила Лакобу к себе на обед, после чего они с Берией побывали в Оперном театре на балетном спектакле, на котором Лакобе стало плохо. Наутро было объявлено, что Нестор Лакоба умер от сердечного приступа.

После церемонии официального прощания с покойным в Тбилиси было устроено прощание и государственные похороны в Сухуми. В то время по городу ходили разные слухи. Некоторые утверждали, что отравил Лакобу сам Берия на обеде в Тбилиси, отравил его по приказу или, по крайней мере, с согласия Сталина, который не прислал телеграмму с выражением соболезнования в связи со смертью своего ближайшего друга.

Считается, что скорее всего поводом к смерти Нестора Лакобы был его отказ занять место Ежова, которое предложил ему Сталин.

Через некоторое время Лакоба был объявлен троцкистом, который помог своему другу Троцкому, дважды приезжавшему в Абхазию, в 1924-м и в 1925-м, бежать из Сухума в Турцию. Вслед за этим Абхазию накрыла волна жесточайших репрессий, затронувшая в первую очередь семью и близких Лакобы, его последователей и сторонников. За этим последовали активные меры по заселению отдельных районов Абхазии и ее столицы переселенцами из Западной Грузии.

– Берия приехал в Сухуми через некоторое время после похорон Лакобы. Однажды он проходил вместе со своими спутниками по набережной и остановил меня возле кафе «Причал моряка». Он сразу же начал расспрашивать меня об обезьянах, наших экспериментах и о том, хорошо ли организована жизнь ученых, подчеркнув, что перед нами стоят большие научные задачи, которые никто не отменял. Я чувствовал себя не очень удобно, он был не один, а с толпой сопровождавших его. Все смотрели на меня и пытались понять, что всё это значит. Берия и его спутники направлялись на строительную площадку гостиницы «Абхазия». Ее возводили вместо двух старых гостиниц, «Метрополис» и «Франция», которые уже снесли к тому времени.

А потом, как говорят, Берия узнал о том, что Ежов собирается его арестовать. Берия примчался в Москву и добился встречи со Сталиным. После многочасовой беседы Сталин сказал Ежову: «Ты устал. Тебе нужно отдохнуть».

– Вскоре после этого я оказался в Москве, где принимал участие в работе Всесоюзного медицинского совещания. На второй день совещания Берия вызвал меня к себе на Лубянку, тогда он уже занимал пост заместителя Ежова, отправленного в расход несколько позднее, и при встрече с глазу на глаз спросил, не смогу ли я отправиться в научную командировку в Европу и параллельно выполнить кое-какие его личные задания.

– У тебя ясные мозги, Гринфельд, – сказал он, – ты – ученый, и ты сможешь просто и без прикрас описать то, что ты увидишь там, куда я пошлю тебя. Согласен?

– Естественно, я согласился. Вот тогда-то мы и встретились с тобой в Берлине. Он знал об этой встрече и, как я убедился, не забыл о ней. «Я верю в силу семейных связей, и я хочу дать шанс твоим родственникам», – объяснил он. Позднее он как-то раз сказал мне:

– Ты – еврей, Гринфельд, и оттого должен понимать быстрее, чем остальные, откуда ветер дует. Вот Троцкий не понял и поплатился. Но он никогда не жил на Кавказе, да, Оскар? – тут он тихо засмеялся, даже захихикал и, водрузив свое пенсне на нос, стал меня разглядывать.

– После смерти Лакобы старый Иона Гринфельд больше никогда не говорил об отъезде в Палестину. Время, когда это было возможно, как будто ушло. Однажды я все-таки обратился к Лаврентию с просьбой оказать содействие моему дяде, и он сказал мне в ответ:

– А ты подумал, что с нами случится, если мы, ты и я, отпустим этого пожилого еврея молиться в Иерусалим? Нас будут допрашивать и пытать, требуя, чтобы мы сдали всё то золото, которым Иона расплатился с нами. С нас будут требовать колоссальные суммы денег, а потом нас пустят в расход. Передай Ионе, что я ему сочувствую, но ничего сделать для него не могу. Разве ему плохо в Сухуми? Я сам собираюсь переехать в этот город на пенсию, если, конечно, доживу. Ни на что лучшее я пока рассчитывать не могу, – и он снова захихикал.

– Короче говоря, Аксель, – продолжал Оскар, – мы все оказались в одной лодке... И все мы – заложники...

– А как Иона? Он жив? – поинтересовался Аксель.

– Год почти как умер, – ответил Оскар, – и я на днях съезжу в Сухуми на установку надгробия. Ему было восемьдесят восемь лет, когда он умер. Абсолютно внезапно.

(*окончание в следующем номере*)

Андрей Грицман

* * *

Неважно, куда ты идешь по лабиринтам мозга этого города.
Неважно, чьи эти встречи, чьи эти проводы.
Идешь до вершины пристанища дальнего облака.
И сам не упомнишь своего настоящего облика.

Но всё же, но всё же, пока ты несешь то безумие,
Значит ты тот же, ты свой, но вокруг одни мумии.
В дороге встречаешь в тумане знакомую
душу родную живую в полях беззакония.

Вот и идешь с ней в пределы, пока неизвестные.
Черта где-то рядом, мы слышим, там слышимость чистая.
Какие-то знаки, сигналы и вести прошедшие.
Но это неважно. Кто знает весь смысл происшедшего?

Мы с ней посидим в кафе Данте, в Корнелии под деревом
среди грустных теней, расположенных веером,
В дали переулка, где нет ни реки, ни отвесного озера,
что-то маячит, луна и ночное молозиво.

И я говорю ей: ничего не осталось другого нам,
лишь только сидеть здесь, вдвоем, наблюдая как парами
уходят чужие за горизонт на восток безымянные.
Лишь кофе допьем, и потом разойдемся, пора и нам.

* * *

Долгий бессмысленный дождь.
Грусть по долинам-взгорьям.
Скажешь себе: ну и что ж?
Может доедем до моря.

Там, где заветный маяк
Дальним лучом освещает
Путь до слияния рек,
Где горизонт обещает

Контуры стран без имен,
Стран безграничных за картой.
Резкий пронзающий звон!
Я просыпаюсь за партой.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ

Когда-нибудь вернешься и увидишь старый дом,
висячие цветы и полки с книжной пылью,
полуоткрытое окно, осенний дым, застывший в воздухе:
взгляд на иную жизнь.

Лежат на дне его листки, забытые давно.
Портреты на стене, их странный дальний взгляд,
Когда печаль неявна.
Вселенная семейной их судьбы.
Сто звездочек мерцающей надежды.

Так мягкой поступью кошачьей жизнь
обходит тихий дом, по-прежнему хранящий их следы,
попытку выжить, орех и дуб каркаса того быта,
который погасал годами.
Так и вышло, как с тысячью других.

Но, раз вернувшись, ты увидишь вновь:
он у камина с мертвой сигаретой,
смирившись с невозможностью иного,
она – ступает вниз легко, тень в ореоле тающего света,
прозрачная рука простерта, как Млечный Путь
над сумрачной планетой.
В ней неоткрытое письмо.

* * *

Остановка в пустыне на семьдесят лет.
Осыпается быт, потускнели
черно-белые фото и горстка монет
и стоят безучастные ели.

Заметает поземка в пургу, на восток
и на запад летят самолеты.
На Вест-Сайде – и Броды и Белосток,
по вокзалам прощается кто-то.

И колеблется пламя субботних свечей,
тлеют молча в подвалах мундиры.
Этот город родной оказался ничей.
Проститутки, барыги да воры.

Позовут на посадку – последний полет.
Он всегда до скончанья последний.
Он, простите, давно уже тут не живет,
он уехал, ничей не наследник.

И в местах тех давно уже нет ничего.
Только ждет он себя и поныне
там, где справки дают, – там «переучет».
Лет на сто – остановка в пустыне.

* * *

Потемнело. Нахохлились птицы.
Всю дорогу во сне замело.
Всё равно я живу за границей.
И в окне помутнело стекло.

Ну и что? Остается отрада:
те последние книжки листать.
Заросла постепенно ограда
и не видно в тумане моста.

Заходи же ко мне на подмогу,
если ты еще где-то жива.
Нет границ, и открыта дорога,
а к утру облетела листва.

Впрочем, это мы все ожидали:
ранний вечер, ночной натюрморт.
Но, глядишь – никого не осталось
и во мраке пропал поворот.

* * *

Ткань расползается тянет течет.
Чет или нечет?
Все там в зачет.
То есть, если меченый ты или нет?
Лучше бы так как пошло,
но темный ответ.
Бездомная ноша.
Наши ребята в футбол
или пиво в обед.
Тень твоя медленно тает в пороше.

Вот порожняк простучал в никуда.
В роще осинной назрела беда.

Нет, не беда, так, обычное дело.
В ночь улетает небесное тело,
в тьму бессловесную.
Но вот послышалось:
речь, бормотанье, шепоты нищего.
Я там живу и нечего более,
пью незаметно струю алкоголя.
Ты, моя милая, не сомневайся.
Жду там, где должен:
за стенами рая.
Так что, поверь, там темная дверь.
Спит за ней странный невидимый зверь.
Вместе сопим словно знак подаем.
Время беру у него я в заем.

НА ВЫСТАВКЕ

Лицо на темном полотне
подвержено случайным взглядам
на жизнь глубинную извне,
непоправимо, мимолетно.

Но надпись тусклая ясна:
родился, жил, развелся, выжил.
И не вселенская тоска,
но и не вечная весна
в чертах неуловимых дышит.

Взглянув, скучая, на портрет,
пройдет искусствовед воскресный.
Потусторонний донный свет
ему вослед дохнет из бездны.

* * *

Мы одни в этом райском саду,
ни людей, ни слонов, ни рептилий.
Никогда от тебя не уйду
из любимой постели.

Всё что нужно – пусть будет как есть:
наш Отец задремал в своем кресле.
Змей готовит коварную месть.
У меня не повязаны чресла.

Я и ем с тобой яблочный джем.
Пахнет чаем, корицей и медом.
Что на ужин сготовишь – я съем
несмотря на смущенье народов.

Потому как живу я в раю,
прошлых жизней не помню и всуе
змей пытается в час, когда сплю,
мне подкладывать Еву другую.

ГУРЗУФ

Гурзуф маслянисто отваливается
замшелым телом
открыткой глянцевой
по волне пены.

Я стою на палубе, с набережной крики.
Тот момент мимолетный,
незабвенный миг.

Ситец, пижамы, белье на балконах,
козы на взгорье, дымок шашлычный.

Всё же, наверное, жизнь – не горе,
а просто разлука с делом личным.

Берег всё дальше и лица близких
плывут по сумеркам за Карадагом, Форосом.
Звук летит до Феодосии над волнами, низко,
тающим голосом,
греческим островом,

невидимым, нелюдимым, дымным,
почти забытым на расстоянии.

Чего уж таить: полвека были,
полвека истории заржавленным остовом,

как подбитый танкер в чаще кораллов,
и эхо неба как гул из раковины.

Едва слышны голоса, но довольно слабо,
уже всё глуше, еще не сдавленно.

* * *

Е. Е.

Оставляя опивки прошлого,
переходишь к другому столу.
Там застыли все тени пришлые,
Но потом уходят во тьму.

Я и сам выхожу на ветер,
и пытаясь найти себя,
набираю ее весь вечер.
Но ответа не находя,

всё же знаю – есть жизнь за гранью
быта, чертова бытия.
И за болью, за расставаньем –
есть наш дом, там, где ты и я.

Нью-Йорк

Ирина Машинская

ДЕНЬ, КОГДА ПРИВЕЗЛИ РОЯЛЬ

Ты помнишь, на рояль квадратный
легла оранжево жара,
под лупою десятикратной
его дымилась кожура

облупленная, и прогреты
из окон охрою густой,
перекосились, как портреты,
квадраты света над тахтой.

Так жизнь текла, без перебоев,
едва на стыках сократив
как будто бы чужих обоев
всё повторявшийся мотив.

Но ромбы светлые, квадраты
уже скользнули на узор,
и звякающие караты
из кухни вынесли во двор.

По-детски дачная рутина
свободой показалась мне:
тарелка с бледным Буратино,
укроп щекочущий на дне.

Ты умер в тот июньский, длинный,
не уходивший, как гудок,
а мне остался наклонённый
зари лимонный ободок.

НА ВОСХОДЕ

петельки струй аккуратно крючком зацепляя
цапля стоит удивленная и молодая
и пораженно глядит на цепочки вьюнков и воронок
как покидают ее как по стрежню скользят спозаранок
вниз по теченью арабские цифры и точки
четки царапины солнечных ядер цепочки

тигли и стебли и все запятые колечки
как разливаясь по телу лимонной слюдою
первого света как утро идет золотое
как оно щурится солнце встающее ради
этой вот меченой пестро-стремительной глади

как догоняют плоты из слоистого сланца
трех мудрецов в лепестке одного померанца
как застывают в затонах стоят над водою
как застревают над мелочью медной любою
струги осиновых горсток хитон махаона
как близоруко и медленно дочь фараона
ива склоняется в скользких сандальях из глины
над колыбелью ореха пустой скорлупой окарины
ловит летящие вниз карусели-кувшинки
в желтых корзинах лежит по младенцу в корзинке
как их уносят на юг ледники слюдяные
плоть водяная бессольные копи стальные
магма слоистая черно-лиловые сколы
круглые мускулы смуглые берега скулы
ах как сверкнет плавунца то макушка то голень
остов жука в гамаке ему памятник камень

одновременная цапля над быстрым потоком
прѝводом одноременным от устья к истокам
запад в востоке затока в нагретом затылке
марка в конверте початый конвертик в бутылке
быстротекущим бессмертьем тугие восьмерки
стеблей веревки и медных колен водомерки
ломкие скобки
пускай же она молодая
пусть говорю всем теченьем ее огибая
над золотистой лесóю еще постоит Амадея
цапля волхвица ловица лучей
молоточек
то что осталось
течет огибая не точит

СТИХИ ДОЧЕРИ

Смотрю на эти книжицы, вещицы –
как будет тебе больно
брать их в руки.

Так как же быть?
Как жить мне, ничего не оставляя,
чтоб не обжечь потом твоей руки?
Как сделать так, чтоб сниться – и не сниться?

Как, думаю, ты будешь думать, что́
себе оставить, что́ – моим друзьям:
той ручку, той пенал, тому плетеный синий,
наполненный до верха записными
под крышей пенсильванскою сундук –
в надежде, что большие разберутся.

Какой ты будешь сильной –
какой сейчас тебе не нужно быть.

Все мои дни, все жизни запасные
пусть улетают враз, не воплотясь.
Мне всей посмертной внеземной работы,
посмертных тех сизифовых камней
в оставленной рабочей жизнью Зоне –
важнее ты и твой покой земной.

А хочешь, прилечу и стану – дочь?

ПЬЕСА

Ручей, впадающий в прохладный узкий пруд,
хвощи, вьюнки в подслеповатой чаще,
косящий берег, стебелек торчащий –
когда вы развернулись на восток?
Я не заметила, как длинный день истек
и вытек в океан, слегка горчащий.

Вы, папоротники, вы, хвощи и пни,
заждавшиеся моего прихода.
Как долго были без меня, одни!
Но вот я здесь, и стали вы «природа»,
и тянется счастливая подвода,
и я гляжу на вас, несчитанные дни.

Как долго длится третий акт! – и тут
не твердь перевернется кверху днищем –
блеснет и треснет,

дуб исторгнет «Брут!»,
грозою рассечен до корневища.
Запаздывая, гром приводит тыщи,
но главные герои все умрут.

А я гляжу, но больше не дивлюсь.
На озере намедни птицы дрались.
И я – качаюсь, и к тебе клонюсь,
осока узкогрудая vulgaris.
И на меня те хляби низвергались.
День удлиняется, я с тенью удлинюсь.

Все в униформе, гуси полетят,
я поднимусь за четкими полками,
с такими же, как лапки, сапогами,
или рябиной – встану в чётный ряд
– рябиною, с плодами невпопад –
и погребу неловкими руками.

ПЕЧЬ

Быть одному – великое искусство,
особо к ночи,
с лампой и вином –
держать свой день до точки,
не ронять,
не падать, не склоняться к детективу,
а если и склониться – то пресечь,
не досмотреть, не дочитать,
очнуться
и посмотреть в запретное окно
на озеро замерзшее – и встать
к печи, давно погасшей, как к ребенку,
присесть пред ней на корточки (как он,
гремя заслонкой, так же заглянуть)
и гнутый
еще горячий
вытащить поддон –
он полон звезд
и палочек, торчащих
из пепельной Помпеи до краёв –

и медленно, с золой – еще живой,
чуть шевелящейся от моего дыханья –
нажать коленом и толкнуть бедром
дверь на крыльцо,
живущее отдельно,
и вынести на колотый мороз
пылящий и мерцающий, дрожащий,
дымящийся, как плод, квадрат
его золы,

запорошенной лестничкой
вслепую
в глазурь луны
нашаривая наледь,
становясь
двумя на каждой,
с ним в руках
к земле спуститься в снег,

но, шага не дойдя
до выхваченного, как из кинобудки,
оврага,
вдруг не удержать...
и вывалить на снег
к себе под ноги в тапочках домашних
горячий вмиг погасший темный круг,
что стал землей и лег поверх сугроба.

Быть одному
и, опустив поддон
с забившимся в углы
остатком тусклым с набежавшей искрой,
задрать пустое плоское лицо –
пустой луны январской отраженье –
навстречу разбегающейся, хвойной
набитой светом тьме,

стоять в снегу, высокой ели ровня,
стоять, как равный, звездам отвечая –
один солдат
в своем лесном окопе.

Нью-Йорк

Владимир Ханан

ОБУХОВО

Обухово, на кладбищах твоих
Я буду ждать суда, покоя, мира.

Кресты и звезды, точно души мертвых,
Разделены дорожным полотном,
И в небе правит полукровка ворон –
Два гноя в нем текут, он сыт и пьян.

В чужих гробах лежит моя душа
И сквозь гнилые доски прорастает.
Ее глаза – кресты, березы, липы,
Простой цветок и драгоценный мрамор –
Безмолвный или с надписью короткой
На клинописном языке иврит.

Два кладбища лежат в душе моей,
Уже не разделенные дорогой.
И нет уже «направо» и «налево»,
Не существует чисел, направлений,
А только почва... Почва и судьба.

Как просто жить на свете фаталистам,
Как в самом деле просто, Боже мой!
Сойти вот так однажды с электрички
И, пристально взглянув по сторонам,
Вдруг осознать – легко и беспощадно –
Что ничего другого не осталось,
Как только ждать суда, покоя, мира,
Обухово, на кладбищах твоих.

* * *

Какая твердая вода!
Какая мрачная погода!
Ты помнишь – в прежние года
Была приветливей природа.

На сине-белые снега
Слетает воздух безучастный.

Когда-то слишком дорога,
Прощай, мой первенец напрасный!

Живи легко. А мне в пути
Меж той и этой немотою
Свою отверженность нести
Как одиночество простое.

И на площадке без перил
В знобящем мире без названья
Жечь смоляные фонари
Раскаянья и упованья.

КАЛЯЕВА, 6*

Нас в камере сидело восемь рыл,
Из них я был единственным евреем,
Цигарки самодельные курил, да, курил
И бормотал то ямбом, то хореем.

Там близко хулиган не ночевал,
Их всех сдавали жены после пьянки.
Один я только был из подпевал, да, подпевал
Враждебных голосов и подлых янки.

Я бодро называл свою статью,
Вставая поутру на перекличку,
Позоря этим самым и семью, да, и семью,
И школу, и училку-историчку.

Я посещал истфак семь лет подряд,
И знал про рабский труд, что он напрасен,
И весь наш многочисленный отряд, да, весь отряд
Работал, как один примат из басен.

По жизни процветал у нас соцарт
(Еврей на сутках, как в снегу мокрица),
И на меня ходили, как в театр, да, как в театр,
Работницы и даже кладовщица.

Обман ментов я не считал за грех,
И между башмаками и носками

Я в камеру носил табак на всех, да, на всех,
За что был уважаем мужиками.

Хоть не считал я суток и минут,
Хоть не спала ментовская охрана,
Я твердо верил, что за мной придут, да, придут
Большие корабли из океана.

Я их дождался через много лет,
Но вспоминаю с нежной ностальгией
Баланду с кислым хлебом на обед, да, на обед,
Который там едят теперь другие.

27.01.1973 – 12.02.1974

---

* На улице Каляева, 6 (филиал Большого Дома – ленинградский аналог московской Лубянки) содержались административно осужденные на 5, 10 и 15 суток. Среди последних был и я. (*Авт.*)

ДОМСКИЙ СОБОР. НОЧЬ. РИГА

...а музыка была темна,
Как ночь над крышами собора,
Как те, глухие, времена,
Которых много видел город,
Куда, отвержен и гоним,
Стекался люд со всех окраин
Страны.
Но был необитаем
Ночной собор. И вместе с ним,
Таким торжественно бессонным,
Томилась ночь. И, как дурман,
Светился где-то над колонной
Свечой и музыкой орган.
И эта тройственная сила,
Что прямо в душу мне текла,
О чем-то важном говорила
И убеждала и звала.
И понял я в минуты эти
Сквозь ночь, и музыку, и свет,
Что нет отчаянья на свете.

Но и надежды тоже нет.

* * *

Неспокойные, вечно «на взводе»,
С хамоватой ухмылкой у рта,
Посмотри – это молодость, вроде,
Непростая ее простота.

Оттого ли борзые, крутые,
Что учеба им не по уму?
Им дубинку б в эпоху Батыя
Иль оглоблю в эпоху Муму.

Ради них, что ли, дед в Сталинграде
И Керенский на белом коне?
У прогресса не то, чтобы сзади, –
Черта-с-два! – вообще в стороне.

Ребятишки мои дорогие –
Мы и сами бузили подчас...
Почему они нынче такие,
Не похожи нисколько на нас?

Ни походкой, ни словом, ни взглядом,
Им избить и убить – баловство.
Отчего же так близко, так рядом?
И агрессия их – отчего?

Зависть – штука, что точит и точится.
Колесо – не задержишь его...
Как им хочется, хочется, хочется,
Очень хочется – сразу – всего.

Понимаем ли, что происходит?
А пока – в ожиданье даров
Стаи злобные нелюдей бродят
В гулких омутах наших дворов.

* * *

В том месте снов и тишины,
Где я болтался горстью чёток
В тени костела, и в холодный
Любил смотреться монастырь,
И католическим старухам
Дарил копейки от души –
Грибами пахло и чужбиной.

Но приезжали в гости к нам
Высокие и свадебные гости,
И я летел за ними на коленях
По скользкому от близкой крови полу,
И непонятных звуков языка
Ловил стихи и радовался жизни.

Как я был счастлив в этом октябре! –
В прозрачном холоде над Неманом серьезным,
И у хозяйки доброй на дворе,
Где яблоки росли, и ночью звездной
Кричал петух, и жук звучал в коре.

Где звонкие я складывал дрова
Для пасти однотрубного органа
С окаменевшей глиною на швах,
Где у соседки древнее сопрано
Светлело, как лучина в головах.

Где я два дня Вергилия читал,
И пас быков, и птичье слушал пенье,
И узнавал счастливое уменье
Лесную тишину читать с листа.
Где я забыл, что значит пустота.

Где я обрел и вынянчил терпенье
Для зоркости, для доли, для судьбы
Страдать и петь с тростинкой у губы,
Которой вкус труда и смерти равно впору,
Где я слова по-новому чертил,

А монастырь густел, венчая гору,
И серп луны меж избами всходил.

* * *

На семейном старом фото
Улыбающийся кто-то –
Щеки видно со спины.

Видно, был фотограф мастер,
Был он спец по этой части,
Просто не было цены.

Всё бурчал он: «Тише едем...»,
И меня с моим медведем
Папа на колени взял.

Сколько лжи во взрослом мире!
И разинув рот пошире,
Я напрасно птичку ждал.

Дни идут, года мелькают,
Птичка всё не вылетает,
Мне, должно быть, на беду.

Простучат по крышке комья...
До сих пор с открытым ртом я
Птичку – сволочь эту – жду.

Иерусалим

Геннадий Кацов

ШАБАТ

в пятницу вечером улица пуста
на перекрестках – одни светофоры
солнце заходит в свой час неспроста
место главе уступив из Торы

тишь да огонь ветхозаветный, квартал
крыт медью – осень подбирает краски
к входу ажурному в парк, словно к вратам
града небесного с видом райским

нет никого, супермаркет закрыт
нет одинокого странника, нет шествий
и неподвижные облака, будто с поры
когда мир пребывал в своем совершенстве

* * *

В день рождения Е. Г.

осень, летит перелетная бабочка,
к створке трюмо прилипая картинкой, –
смотрит в него моя старая бабушка,
сквозь многолетний узор-паутинку,
губы раскрасит привычно помадою
на ночь, пока дед читает в постели,
что бы еще? и попудриться надо бы,
и нанести обязательно тени,
не позабыть бы про веки с ресницами,
ибо, она говорила мне часто:
мало ли кто этой ночью приснится?
знай, с кем во сне суждено повстречаться?

тьму снов спустя – на звезде, на комете ли,
сам это видел, теряя дар речи:
не позабыв об эффектной косметике,
бабушка шла, в нашем сне, мне навстречу

* * *

стакан наполовину пуст
к зиме готовы сани полоз
блестит и от избытка чувств
стакан наполовину полон

судить берусь не по поре
осенней в предвкушенье снега
а по лучу что поправей
того который летом слева

фасадам дождь еще лакать
не больше месяца осталось
уже твердеют облака
приобретая цвет металла

уже бездомный иудей
подъехал к городским воротам
чтоб долгим днем прощать людей
в веках не упустив кого-то

* * *

человек сам себя мелет
и нередко в муку
человек сам себе мелет
не всегда чепуху

никогда не считал мелочь
что в кармане лежит
час за часом прошел – мелочь
а в итоге вся жизнь

твой еще различим мелос
ты еще на пути
но вдали кто-то ждет – мелом
контур твой очертить

и уже на стене *МЕНЕ*
хотя ты не просил
и зажглись за вторым *МЕНЕ –*
ТЕКЕЛ, УПАРСИН

К ПЕРВОМУ ДЕКАБРЯ

дни скучны, как сухие лианы, провисшие в тропиках;
в декабре дни морозны, что следствие той мизантропии,
слой за слоем накопленной в срезах знакомых пейзажей
с их смертельной настойкой из корня квадратного с травами,
в этих странных ландшафтах с недобро глядящими странами,
по ночам кем-то сверху посыпанных пеплом и сажей

снег не выпавший солоноват, как в пустыне фантазия,
миражи, где агент цру, эм-ай-сикс или штази я
мир джеймсбондно спасаю от завтрашнего снегопада:
сквер еще не готов, в ожидании ветра он истово
вверх наивно глядит – и взлетает осенними листьями,
как всегда по сезону, ко времени полураспада

в белый рис мякоть солнца закрутит японскими роллами,
завтра рано завьюжит, по мнению метеорологов,
и уляжется город на белое круглое блюдо,
соберутся вокруг облака с ветряными воронками,
мелкой солью начнут посыпать, потрясая солонками…
и, подставив ладонь, кто-то скажет застенчиво: «Чудо!»

* * *

фонограммы в пластинке из пластика,
дивный запах ванили в виниле –
помнишь: юность, звериная пластика,
мы ни в чем никого не винили

вместе с Weather Report жили с музами,
величали амброзией пойло,
и, казалось, собрав звуки музыки,
без труда перешли б свое поле

долгий вечер в Chicago с подружкою,
долгий секс под T.Rex, Френка Заппу –
нам сам Боуи пел над подушкою,
когда мы отлетали на Запад

и Led Zeppelin – в трип вместе с нами, и
Doors скрипел, как петлей, бас-гитарой...
ты ведь слышишь: иголка в динамике
всё шипит и шипит. видно, старая

Катя Капович

* * *

«Пишет вам Маша, российская школьница
из Подмосковья, шестнадцати лет,
я бы хотела спросить вас про творчество,
и как живет за границей поэт.»

Милая Машенька из Подмосковья,
солнце заходит и солнце встает,
жизнь за границей совсем нехеровая,
творчество сильным ключом у нас бьет.

Только заря запылает пожарищем,
пашет наш Фордов конвейер в обгон,
творчество бьет по затылочку гаечным
на восемнадцать рожковым ключом.

Маша, есть в наших широтах традиция
ставить дары золотому тельцу:
за нехеровую жизнь за границею
и за еврейскую нашу мацу.

С этой традицией мы поднимаемся
на героический, пламенный труд,
с этой традицией жаримся, паримся,
лично – кто как, только я уже труп.

Милая Машенька, всё утирается!
За перекуром, за бледным лучом,
жизнь в лучшем виде навек повторяется,
вечность по стеночке вьется плющом.

И вот когда затихают окрестности,
в белую кухню спокойно иду,
и про историю русской словесности
лекцию на ночь читаю коту.

РУССКИЙ СКРЭБЛ

Памяти Д. Новикова

Мы, конечно, уйдем, но уйдем, доиграв,
и до самого дна дочерпав алфавит,
но из короба-скрэбла все буквы добрав,
как велел этой долгой игры алгоритм.

Но достав тридцать три – хочешь, пересчитай,
пока там, за дверьми, шел-гремел маскарад,
там построили мир, удивительный май,
там построили рай, говорят.

Там такую придумали, слышишь, страну,
и такое повесили небо над ней,
а у нас только первые буквы в длину
принесли слово «сон», слово «снег».

А у нас по реке под названьем Коцит
одиноко скользнула ладья беглеца,
и закапал слезой голубой «сталактит»,
очень много очков игроку принеся.

Из какой чепухи, из квадратиков дней
мы сложили его и подбили очки,
он, конечно, бы мог быть длинней и полней,
но так буквы легли, так сложились они.

Это будет давно, над рекою проснись
и услышь, как водичку черпает весло,
и дарёной игрушке с названием «жизнь» –
улыбнись не в слезах, а легко и светло.

* * *

С трудом будет дюжина тут человек
на чтении в русской Америке,
но лучше в грузинском купить чебурек
и сесть в вечереющем скверике.

Пусть будет рябиновой жаркий глоток
под старыми серыми липами,
пускай голубого Гудзона приток
молчит голубыми изгибами.

Соседу сосед говорит во хмелю:
«Ну вот мы, дружище, и выпили».
Пусть парусник белый уходит в зарю
углом треугольного вымпела.

ПЕРЛ ХАРБОР

От городского Кембриджского сада
вдоль невысоких каменных домов
идет в ночи патрульная бригада –
вдоль запертых парадных и дворов.

Всех впереди трубач трубу возводит
к декабрьским невысоким небесам,
где кучевые тучи колобродят
подобные тяжелым парусам.

За ним шагает старый капитан
военного полночного дозора,
постукивает глухо барабан
у каменного банка городского.

С карниза зданья полночью вразлет
при каждом сапогов соударенье
линялый флаг отмашку им дает
в честь этого простого воскресенья.

Они ушли из первых на войну
и первыми легли в могилы вместе,
но в час, когда беда пришла в страну,
они зашевелились и воскресли.

И встали все в мундирах, в орденах,
в простреленных шинелях мешковатых.
В такую пору, чем лежать гробах,
важней ходить по-новому в солдатах.

А улица пуста и холодна,
и нечего им делать в мире снова,
но, если мертвецов зовет страна,
они встают по первому же зову.

И в декабре во мраке голубом
в ноль-ноль часов с шестого на седьмое
идут дозором спящим городком
вослед за одинокою трубою.

* * *

Пусть сызнова начнется жизнь моя,
я буду заводить тогда архивы
и рукописи прятать от дождя,
и письма от отца хранить счастливо.

Я буду слово данное беречь,
записывать дневник, в простую книжку
подробности полуслучайных встреч
и делать фотографии со вспышкой.

Из-за границы напишу стихи
и посвящу своим друзьям заметы,
а потому что очень неплохи
мои друзья – пьянчуги и поэты.

Пожар пожрет квартиру в темноте,
сгорит и пол, и крыша в старом доме,
альбом открою, вспомню лица те –
вот здесь мы сорок лет в одном альбоме.

* * *

Как их повесили, так и висят
посередине двора
свитер с прищепками через шпагат,
отзвуки топора.

Среди осенних вечерних дворов,
средь голубой пустоты,
будь ты мне, знаешь что? – Будь мне здоров!
Попросту, без ерунды.

Мой дорогой человек, к вечерам,
где всё висят сквозь окно
старенький свитер, дрова пополам
где-то недавно-давно.

* * *

Бушует ветер на земле,
смерзается в грязи дорога,
температура на нуле,
ученики читают Блока.

В долине университет,
где, я, профессор на полставки,
преподаю смешной предмет,
с лицом заезжей иностранки.

На подоконник я сажусь
с лицом такого человека,
которому достался груз
всего Серебряного века.

Здесь мучаю учеников
произведеньями поэтов,
когда сгорали от стихов,
от черных пуль в стране Советов.

А мне достался блеск Дворца,
гуденье в гаснущем камине,
жизнь без начала и конца,
и университет в долине.

* * *

В снегу тропинка замурована,
легко поскрипывает наст,
и, странным стилем очарована,
читаю «Подвиг» в пятый раз.

Страницы вскользь переворачиваю
до синей лунной полыньи
и всё надежды не утрачиваю,
что будут счастливы они.

К такому счастье это сводится
бессмысленному пустяку,
студент из Англии воротится,
в дверях склонится к косяку.

Она глаза поднимет наскоро,
пройдут отчаянье и мрак,
и не понадобятся автору
Россия, полночь и овраг.

Бостон

Леонид Ржевский

Человек, которому было всё равно

О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРОМУ БЫЛО НЕ ВСЁ РАВНО

«Леонид Ржевский жил в четырех взаимоисключающих друг друга мирах: старая Россия, в которой прошло детство <…>, Советский Союз − его годы учебы и начало педагогической деятельности, военное время − для него это фронт, лагерь, госпиталь, и, наконец, современный Запад − Европа и Америка», − писала о Л. Д. Ржевском поэт и критик Валентина Синкевич. Оба они представляли послевоенную волну русской эмиграции в США; они были друзьями и творческими единомышленниками, хотя Ржевский принадлежал к старшему поколению второй волны, а Синкевич была из «остовцев». О таких судьбах поэт второй волны Николай Моршен, друг Ржевского, сказал: «Он прожил мало: только сорок лет. / В таких словах ни слова правды нет. / Он прожил две войны. Переворот, / Три голода, четыре смены власти, / Шесть государств, две настоящих страсти. / Считать на годы – будет лет пятьсот».

Леонид Денисович Ржевский (1903/05−1986) принадлежал к известному аристократическому роду Суражевских (якобы состоящих по матери в родстве с Людовиком XVI, семье Роберти-Лацерда, о чем писатель упоминал с теплой иронией). Он был внучатым племянником писательницы Л. Нелидовой, приятельницы И. Тургенева. После революции Леонид окончил МГПИ, преподавал русский язык и литературу в Туле, Орехово-Зуево, Ленинграде; с началом войны был призван в Красную армию, попал в окружение, раненным был взят в плен; в плену – почти умер (туберкулез легких, горловая чахотка и язва желудка. Его чудом нашла поэтесса Агния Сергеевна Шишкова, ставшая его женой, и буквально вырвала из лап смерти. Ее образ в художественном преломлении не раз встречается в произведениях Ржевского). После войны Суражевский отказался вернуться в Советский Союз по политическим мотивам, получил статус Ди-Пи и в пятидесятых годах оказался в США. Как большинство эмигрантов второй волны, опасаясь насильственной репатриации в СССР, Суражевский изменил биографию и стал Ржевским. Преподавал историю русской литературы в Оклахомском университете, потом возглавил кафедру славянских литератур в университете Нью-Йорка (NYU); учил американских аспирантов в прославленной Русской летней школе Норвича (Вермонт) − в ней побывали, пожалуй, все известные эмигранты-литераторы от Гуля, Ржевского, Чиннова и Иваска до Солженицына,

Коржавина, Аксенова, Соколова и др. Занимался исследованием русской литературы, писал о романах Булгакова, Пастернака, Солженицына, о поэтах и прозаиках русской эмиграции, книги по теории литературы.

О литературе второй волны эмиграции говорят как о несостоявшейся, «второго ряда». Правильнее же признать, что литература эта не известна до сих пор, не изучена – и не изучается, − но она полна имен, коих достаточно, чтобы заговорить о «феномене второй волны», о целой странице в истории русской литературы XX века, без которой мы в принципе не имеем права выстраивать линию развития отечественной культуры в прошедшем веке (опасаюсь, что в России XXI века тема «второй» − чуть приоткрытая в 1990-е – вновь под семью замками). Да, им не повезло, вечно «закрытым» по политическим мотивам, − хотя из них мало кто был политически, в действительности, ангажирован. Просто литература второй волны оформлялась в тяжелейших условиях сознательного замалчивания со стороны Советского Союза (теперь – РФ как его наследницы) и общего равнодушия к этнической литературе со стороны западных читателей и исследователей. Горький парадокс, но и сегодня в мире советскую литературу знают лучше, чем литературу эмиграции, − хотя существование последней и ее достижения заставляют задуматься над тем, не стоит ли переписать всю историю русской литературы XX века, расставив в ней, наконец, правильные приоритеты?..

На прозу Ржевского, известного профессора-слависта, при жизни появилась лишь одна рецензия по-английски – исследователя Joachim Baer «Some Observation on the Prose of Leonid Rzhevsky» (1984), в которой автор сразу сравнил писателя с Иваном Буниным. Признаюсь, что несомненные бунинские ноты слышу и я в предлагаемой сегодня читателям НЖ повести. Знатоки творчества Ржевского-прозаика (а был еще и блистательный Ржеский-литературовед) смогут назвать и другие его тексты, наполненные «легким дыханием» бунинских героинь (что отмечал еще Г. Адамович), пограничным эротизмом чувств – даже, я бы сказала, «элегантным фрейдизмом», – и жесточайшими красками в описании общества. Среди своих современников Ржевский прославился, скорее, исследованием трагедии Ди-Пи, обнаженной почти до натурализма. Его роман «Между двух звезд» стал знаковым для второй половины XX века в Зарубежной России. Образ звезд – «звездного неба над головой» и красной звезды на погонах сталинских палачей – стал определяющим в литературе той эмиграции.

Этот ряд его произведений – биографичен (что вообще характерно для литературы второй волны). Однако от жанра «физиологического очерка» Ржевскому удалось уйти. Его исповедь связана не столько с реальной биографией, сколько с писательским исследованием «обыденности греха» и греха как понятия религиозного; с обращением к метафизике человеческой природы, с признанием нравственно-очищающего значения творчества. Ржевский настаивает на «тайнописи» художественного произведения:

«Тайнописна апология человеческой души и права ее на обращенность к Небу и творческое самовыражение». О реализме прозы Ржевского следует говорить как о «высшем реализме» (Достоевский). «Грех Пилата – структурный фокус авторской тайнописной темы, – пишет Ржевский в своей известной статье о Булгакове. – Тяжкий грех предательства, попустительства Злу из трусости, в страхе за личное благополучие. Две тысячи лет тому назад в древнем Ершалаиме был совершен этот грех, вдохновленный царем тьмы, в вечной и неисповедимой борьбе тьмы со светом. Две тысячи лет спустя грех этот повторился воплощением в другом, уже современном, огромном городе. И привел с собою страшное хозяйничание зла среди людей: истребление совести, насилие, кровь и ложь. Спасение – в раскаянии, в преодолении страха произнести преступлению 'нет!', в обращении к Небу, в защите каждым всех и всеми – каждого...» Здесь Ржевский ставит многоточие. Поставим его и мы. С хрупкой надеждой, что когда-нибудь литература второй волны вернется к читателю...

Марина Адамович

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ БЫЛО ВСЁ РАВНО

Не знаю, вычислил ли кто-нибудь быстроту, с которой иной раз взрываются в нашей памяти воспоминания, складываясь в цепочку, стремительную, как кинофильм? Вычислил ли, как вычисляют разные прочие скорости? Не знаю, но вот, например, финал этой моей повести вспомнился мне буквально в какие-то осколки секунд, когда пастор, похожий на Державина, но приехавший хоронить на мотоцикле, стряхивал с длинной черной лопаточки в яму первый комок земли. Он был липкий, жирный, этот комок, похожий на шоколадную пасху, и никак не хотел отрываться, – пастору пришлось понукнуть его, рывком, как понукают возжами лошадь. Тогда он отлип и скатился вниз с едва внятным мокрым чмоком, слышным только в той почти мистической тишине, когда, затаив дыхание, окружающие ждут этого первого глухого шлепка о крышку гроба. Да и вся эта история, которую теперь записываю (вот уже второй месяц записываю!), возникла у меня в памяти всего в несколько взрывных минут – от выезда нашей скудной процессии с гробом за черепичную околицу и – покуда забрасывали могилу.

Околица была в ветре и листе – звонком, желтом, широколопастном – с каштанов, и мелкоузорчатом – от какой- то повители по стенам, похожей цветом на пенки с вишневого варенья. Всё это крутилось, шуршало, взлетало, поддуваемое с поля, за которым холодел лес, и по плывучему облачку чертила невидимую линию белая, как мелок, островерхая колокольня.

Два немецких битюга, с крупами, емкими, как цистерна, словно бы с недоумением тащили широкий, как тротуар, грузовой полог, на котором узенький (ничтожно узенький, если смотреть сзади) гроб казался почти анекдотической случайностью. Лениво вскидывались назад волосатые, в тяжелых подковищах копыта, похожие с изнанки на скальпы. Кремнистая дорога под ними похрустывала, скрипела и брызгала искрами.

Осеннее – везде одинаково. И трудно было мне не вспомнить другую осень, подмосковную, ту самую, когда в первый раз встретился я с героем этой повести, Батулиным. Говоря «подмосковная», имею я в виду один недалекий дачный пригород по Брянской. По живописности это не столь уж и взрачные места: много глины по обрывам, рябиновая кое-где рябь и мелкие на опушках осинки. Но кто бывал и бродил там осенью, тот помнит до смерти, где бы ни жил, какое сквозит между этими осинками небо и какой от них вокруг шелест и горьковатый воздух, словно бы с наркотиками, и как от всего этого хочется вдруг самому себе в чем-то исповедаться, или написать нового «Мцыри», или просто заплакать.

Помню, приехал я туда в такое же осеннее листокружение, в ветреный красный закат. За фиолетовыми перелесками вдали бледно золотел купол Храма Христа Спасителя (вот как давно это было!). Подле полустанка, между тощими аллейками и мелкими желтыми прудами торчало несколько утлых, как спичечные коробки, дачек – летний лагерь одного из многочисленных тогда, в первый период послеоктябрьской беспризорности, детдомов. Заведующая этим детдомом, давняя приятельница нашей семьи, и пригласила меня на свои пруды. «Приезжайте в субботу. У нас пионерский праздник. Будут Дима и Шура, а главное – Рыжик поставил вашу пьесу, и все хотят познакомиться с автором.» Дима был ее племянник, актер средней известности, а Шура – сын, тогда писавший еще только эпиграммы, а позже сделавшийся одним из крупнейших наших драматургов. Но меня, конечно, тянуло прежде всего увидеть на сцене собственное творение. Пьеса была моя первая, от которой и посейчас краснею, вдобавок революционная, в стихах, с «ура – пора!» и тому подобное. Но – первая, и этим сказано всё.

Всех троих я застал на скрипучей терраске, за чаем. Узнал, что праздник перенесли на воскресенье, потому что в воскресенье должна была прибыть сюда сестра Ильича. А потом шмыгоносая воспитанница из «адъютанток» (дом был девичий) провела меня к Батулину – «Рыжику». Кстати, был он вовсе не рыжий, а скорее желтый, как вода в пруде, около которого я его нашел. Он стоял спиной ко мне, длинный и волосатый (без рубахи), на небольшой площадке вроде крокетной. С

дюжину девочек в майках и трусиках шароварчиками, расставленные в шахматном порядке, выделывали под его счет пластические движения. Очевидно, репетировали один из завтрашних номеров. Строго говоря, было это не так уж красиво, и помню, что некоторые из гимнасток показались мне чересчур коренастыми, и уж больно трудились, кажется, даже и пóтом доносило от них, несмотря на вольный воздух. Но в общем эти дружные взлеты рук-ног на фоне притемнившегося уже неба и еще раз неба – в янтарном пруду – были довольно эффектны.

– И раз, и два, и три, и четыре... – считал Батулин, распевно и сочно, и иногда, не останавливая счета, поправлял крепким обжимом пальцев чью-нибудь ошибшуюся смуглую ногу или плечо. Этот голос, густой и мягкий, с гибкими, как бы актерскими интонациями, был моим первым «сквозным» впечатлением от нового знакомства и, помнится, поразил меня странным несоответствием обстановке: такой осанки голос – и в детском приюте! Здесь обычно командовали кружками какая-нибудь визгливая «тетя Катя», воспитательница, или «затейница» из пионервожатых, выкрикивающая звонко вместе с ладошами и подпрыгивающими на лбу вихрами: «Два притопа, два прихлопа! Начали!»...

Постояв рядом с минуту, я заметил, что добрая половина этих физкультурных девочек были весьма даже великовозрастны, некоторые притом вовсе не так уж неуклюжи, как показалось мне по первопутку. Еще заметил я (или уж это теперь мне кажется, что заметил, после более поздних объяснений и очевидностей), что иные из них, когда он до них дотрагивался, вспыхивали и замирали, словно захлебнувшись собственным дыханием. Помню, мне сделалось почему-то неловко стоять так и глазеть, да и кусались комары (физкультурницы в шароварчиках тоже звонко ошлепывались в паузах). Несколько пар глаз поочередно чиркнули по мне, потом стали уж задерживаться откровенно и с любопытством. Тогда Батулин сказал в последний раз: «...и четыре», – руки-ноги мелькнули книзу, и он обернулся.

Ему было за тридцать, т. е. лет на десять больше моего, что мне тогда, помню, очень импонировало. Лицо, пожалуй, тоже несколько актерское и с чрезвычайно подвижными бровями, выражавшими самым незначительным движением заинтересованность, безразличие или насмешку. Они словно подменяли собою игру глаз, которые у него не смеялись, были как-то особенно холодны в уголках, словно кто-то там стерег и тушил каждое их возможное оживление. Брови были моим вторым «сквозным» впечатлением от Батулина. «Всё!» – сказал он, подняв вверх руку, и окружившая его было живописная пирамидка, с перехватом в середке и загорелым живым ажуром по краям, разлиплась. Мы познакомились. Не помню, расспрашивал ли я его о чем-

нибудь, или он сам говорил, угадывая мои вопросы. – «Да, это самые крупнокалиберные здесь», – кивнул он на разбегающиеся майки. – «Дом, собственно говоря, для переростков, кое-кому уже по шестнадцати, хотя точно трудно установить – не помнят сами-то. Что? Физкультурник? Нет, я здесь на амплуа так называемого клубного работника. Кружки веду – хоровой, драматизации, гимнастический вот. Не только в этом зверинце, но и во всём лагере – здесь ведь собрано с полдюжины детдомов. Так вот и хожу по дворам, как перепатетики»... – Он ухмыльнулся бровями: улыбка как бы застревала у него где-то в углах губ, не пошевелив их. Мне очень хотелось узнать, как попал он сюда, на эту работу, по тогдашним моим представлениям – не мужскую и не солидную. Но что-то мешало спросить. «А живу я здесь, – показал он на одну из фанерных дач. – И ночуете вы у меня, уже велел для вас койку втиснуть. Прошу! Или вы сначала – к начальству?»...

Так я и не спросил у него ничего. А спросил у начальства, немного спустя, за чаем, на жидкой терраске, где над керосиновой лампой обжигались ночные мохнатые мотыльки, попадая потом, опаленные, в черносмородиновое варенье. Дима и Шура в ответ на мой вопрос как-то многозначительно произнесли «гм!», а хозяйка сдержанно сказала что-то про обстоятельства, которые, мол, заставляют иных в наше время выбирать такие незаметные даже и для «вооруженного глаза» занятия.

* * *

Ночевал я в дачке Батулина, где помещалось, кроме него, с десяток шмыгоносых девчушек, «эмбрионов» – как сказал он мне, раздеваясь и потягиваясь. Говорил он в тот вечер довольно много, гудя полушопотом, – говорил со смаком и с такой ловкой чеканкой мысли, что я не переставал удивляться: как и зачем он здесь? Говорил о чем-то отвлеченном, в том числе, между прочим, о каких-то будто бы сходных чертах у Ницше и, кажется, Лермонтова, – не помню сейчас. Когда лежали уже в кроватях, в какую-то разговорную паузу коптилка на столе качнула пламенный фитилек, и в дверь, точнее в расселину между косяком и простыней, которая дверь заменяла, просунулась девичья фигурка в халатике; кажется, это была одна из двенадцати там, на площадке, очень стройненькая, как оказалось теперь, и глазастая, настоящая Сандрильона! Не берусь описывать ее лицо, очень, помнится, миловидное, со вскинутой кверху губкой, но вот выражение этого лица, когда она к нам заглянула, запомнил надолго – потому, должно быть, что было это выражение не для меня и что такого же для себя мне, кажется, так и не случилось в жизни встретить. Это выражение, когда глаза ее встретились с моими и сладчайший свет в

них потух, сменилось сразу студеным испугом; у Батулина же – я посмотрел на него сбоку – сломилась вдруг и поползла кверху одна бровь, распространяя по комнате такое вопросительно-ледяное недоумение, что фигурка мгновенно растаяла в занавеске.

– Тоня. Дежурная, – сказал Батулин, опуская бровь на место.

Вот и следующий день, точнее вечер, запомнился мне, главным образом, зрительно, хотя в разговорах недостатка и не было. Праздник устроили при плошках и факелах в одном из бывших имений, неподалеку от наших дач и полустанка. Тоже с прудами. От барского дома остались, правда, только внушительные развалины, несколько прудов вытекло, но один, небольшой, в очень старом, настоящем парке, уцелел. Перед ним, на лужке, поставили скамьи и соорудили эстраду. Приехала сестра Ильича и какой-то еще высший свет. Ребячьих же голов в темноте, сзади меня, бездыханных или, напротив, сопевших от восхищения, набралось до полутысячи. Мы –Дима, Шура и я – сидели во втором почетном ряду и единогласно поставили пятерку Батулину, который это зрелище организовал: было всё очень, даже до нереальности, красиво, особенно – плошки, плескавшие оранжево-красные вихры пламени на еловые лапы, так что откуда-то уже сладко, как от костра, тянуло запахом жженой хвои. И за эстрадой, где-то глубоко в лабиринте стволов, полыхая сизым дымком, горели плошки, а если закинуть голову вверх – спокойно глядели на всю эту феерию и вам в лицо частые осенние звезды и стекал лесной холодок.

Батулин удостоился похвал не только за декорацию, – он, как трансформатор, выступал то суфлером и выпускающим (это в моей пьесе), то физкультурным постановщиком (это в уже знакомых мне пластических упражнениях), то дирижером хора или очень тогда излюбленной «коллективной декламации». Последняя удалась. «Туда, где над площадью нож гильотины» (это «Мятеж» Верхарна, весьма модный в то время) прочли превосходно, тоже и «Зеленый шум», хоть был и не по сезону. В заключение читали еще какую-то «ура-ораторию», из которой до сих пор запомнил слова:

За камнем камень, снова, снова
Крепим и строим наш маяк.
И в нем восстанья мирового
Храним непобедимый стяг.

– запомнил, потому что, как выяснилось, автором этой оратории был сам Батулин. В качестве героя дня позвали его к высоким гостям, а через минуту потребовали и меня, и сестра Ильича, морщась от начадившей на сцене плошки, сказала мне что-то любезное по поводу пьески, – в несколько старомодных, помнится, выражениях.

Возвращались мы к дачкам очень громко. В сотни ног разбегался по лесу хруст, взлетали песни, по нескольку сразу, перебивая друг друга, отдалялись и глохли, утекая в ночь. Я должен был снова ночевать у Батулина, и уже чувствовал под собой колко-душистый сенник, специально для меня набитый вчера, но всё кончилось иным нежданным, но хорошо подытожившим мое знакомство с этим человеком многоточием. С кем-то заговорившись, пришел я в спичечную дачку позже хозяев. Плотная тень Батулина с чуть срезанной притолокою макушкой стояла на дверной простыне-занавеске, розово освещенной изнутри коптилкой. И еще бродили по ней расплывчатые какие-то пятна, и шуршало сено: кто-то, вероятно, готовил мне на ночь постель. Я остановился в коридорчике, чтобы не мешать. А потом невнятные пятна подплыли поближе и сгустились в знакомый уже щупленький силуэт вчерашней девочки с задорной губкой, теперь особенно задорной – на экране. Силуэт метнулся было к выходу, но рука, отделившаяся от большой серой тени, тронула его за плечо, притянула к себе и скользнула вниз, уродливо оттопырив острую маленькую пазушку. Я повернулся, стараясь не скрипнуть половицей, еще раньше, чем тени разъединились, и вышел на улицу. Кажется, были за мной чьи-то поспешные шаги, но тотчас же я перестал слышать что-нибудь, кроме шороха листьев под ногами. Вскоре откуда-то, будто из-под низких звезд, зарокотал, подкатываясь, глухой, с попутным лесным эхо, шум: последний пригородный поезд на Москву, – и я заспешил к полустанку.

* * *

Шорох под ногами и наплывающий грохот поезда слышал я и сейчас, оторвавшись от воспоминаний: наша жидкая процессия подползла к железнодорожному переезду. На подступах к нему, по обе стороны, стояли каштаны, уже стряхнувшие под ноги всё свое лиственное богатство, – оно грудилось в кюветах сугробами, пузырящимися на ветру, как желтая пена. За железнодорожной будкой, совсем уже недалеко, синела кромка леса и перед ней – белый палец колокольни в красно-бурой браслетке кладбищенской изгороди. Шлагбаум был опущен, у подъемной его рукоятки разглядывал нас сторож-баварец с трубкой во рту и двойным розовым зобом на сторону. Над шлагбаумом, вдоль и через рельсы, со свистом носились стрижи. Битюги, отчаянно качнув гроб, остановились рывком у самой полосатой поперечины, хлябнув подковами. Слева подгрохатывал поезд...

2

Моя вторая встреча с Батулиным произошла лет восемнадцать спустя, в феврале, кажется, 43-го года. Немцы выпустили меня из

военнопленного лагеря под Смоленском – читать педагогические лекции наспех собранным в одном захолустье учителям. Путь в это захолустье был неблизкий, морозный, в полуоткрытом грузовике я совсем закоченел, и мы вытряхнулись на ночлег в небольшом овражном городишке. «Здесь живут ваши земляки, устройтесь у них!» – сказал провожатый ефрейтор и отворил передо мною заиндевелую чью-то дверь. Дверь с изнанки была теплая, как щека, и таким за нею полыхнуло сладким печным духом, что я от счастья зажмурился. А когда открыл глаза, увидел на кровати длинного человека в полунемецкой-полурусской солдатской одежде, а на подушке – густые подвижные брови; брови эти, как показалось мне, поползли вверх по серой наволочке – и я уже знал, кого встретил.

– Сразу узнал! – сказал Батулин, спуская ноги на пол. – Трам-пополам! А ведь сколько это прошло лет? Пятнадцать? Нет, семнадцать, пожалуй, если не больше. Семнадцать лет, трам-пополам! – продолжал он (свои реплики я выбрасываю). – Не удивляйтесь, что у меня этим «трам-пополам» весь разговор завшивлен, – нарочно придумал, чтобы не крыть по-площадному на каждом повороте. Разоблачайтесь немедленно, а я сейчас слетаю за согревательным.

«Раздушистый самогон» был одним из видов спиртной утехи, которой я не терпел. Но когда Батулин, воротившись почти мгновенно, вытащил из пивной, с пузырчатым тавром, бутылки кляклую бумажную пробку и в воздухе поплыл сладковато-пригорелый душок, – меня вдруг даже и потянуло выпить. Всё тут было: и первое после двух лет незапроволочное тепло, на котором так приятно было оттаивать спину, и ноющее за лопатками нездоровье, и предвкушение этого, иногда несравненного, удовольствия – слушать.

– Думал кончить с ней на сегодня, – басил Батулин, разливая самогонку в два стаканчика для бритья. – Но вот явились вы – и не выпить было бы уродством, уродств же у нас и без того невпроворот. Итак, со свиданьицем.

Он сильно постарел, брови были всё такие же акробатические, и, должно быть поэтому, на лоб нагнало морщин. Волосы посветлели, стали теперь не желтого, а бледнопалевого цвета, а на висках бесцветными совсем. Еще появились над губой усики-кавычки, под Гитлера...

– Закусывать, увы, можно только вот этой дрянью, – сказал Батулин, вывертывая из бумаги что-то гутаперчево-зеленое, истекающее пронзительным запахом, – из гостеприимства только не говорю, на что этот сыр похож. Впрочем, есть вот хлеб. А не пить нельзя! – усмехнулся он бровями, наливая по второму. – Я не алкоголик, нет. Но обстановочка у нас... – я тут по зрелищной части, при местном Управлении, – обстановочка такова, что если пребывать в трезвости

и давать волю всяким там условным рефлексам, так, пожалуй, заскочишь и в партизаны. А поскольку я в защиту гнусного режима, трам его пополам, пальцем пошевелить не хочу, то рюмка пока что – единственная отдушина. А вы передергиваете! Да, отдушина! Отдушины, как знаете, наш рок: все нормальные народы и поколения дышат свободной грудью, а наш дых – только в отдушины. Пейте же...

Скоро он перестал следить за моим стаканчиком, допил бутылку сам и всё продолжал говорить, перескакивая с одной темы на соседнюю.

– Да, насчет режима. Презираю, конечно, хотя... Не знаю, приходило вам когда-нибудь в голову, что, собственно, режим этот – мы? Не приходило? Ну да, вы, я вижу, даже и недоумеваете... А логика простая, ничуть не головоломная. Что, вообще говоря, они изобрели гениального? Одну только планетарной подлости мысль, что для того, чтобы загнать в щель миллионы, нужно повыветрить, а то и вовсе отменить, совесть. И тогда официальных подручных, застрельщиков раболепства, достаточно всего одного на тысячу. Потому что тотчас же объявятся добровольцы. Легион. Одни из рабьей трусости. Другие – в погоне за боярской шапкой. Добровольцы эти – мы. Ну, скажем: в числе их и мы... Если не в качестве самых ярых любителей ползать на брюхе (хотя ведь и ползанье на брюхе можно как-то перетолковать), то в качестве кланяющихся. Да... Я лично за боярской шапкой не погнался. Не из благородства, а больше из отвращения к пошлости. Но кланяться начал уже давно. Помните это мое, тогда, на дачках, на празднике: ««За камнем камень, снова, снова Крепим и строим наш маяк. / И в нем восстанья мирового / Храним непобедимый стяг», – и так далее... Ну, восстанье не состоялось, а маяк, боюсь, выдюжает. Так о чем бишь я? Да, о себе... Писал я раньше и даже печатал. Одна книжонка моя «Панегирики телу» прошла не без аплодисментов, не читали, верно?.. (Как раз читал! еще гимназистом, из-под полы; но автор, помнится, назывался иначе). – Да, под псевдонимом, – кивнул он, прочтя на моем лице то, что я поместил тут в скобках. – Так вот, после катастрофы писать, конечно, не мог. То есть писать, выражая себя. Но стал писать, кланяясь. Добровольцем пера. Дрянь, разумеется, писал, профсоюзные разные вирши, а чаще – эстрадное, водевильчики, мелкие пьески. Не для перестраховки только или денег, это само собой, но больше для девок, особая была цель, о чем после... – Он нагнулся подшвырнуть в печку чурок и выпрямился не сразу, качнувшись. – Разобрало меня, и это очень хорошо, язык развязывает... И знаете, мне нравится, как вы слушаете, и что не задаете вопросов. Из деликатности, верно? Я эту вашу деликатность еще с первой встречи запомнил. Ведь как вам тогда хотелось расспросить, откуда и почему попал я в

тот детский зверинец, к тетям-мотям в подмастерья. Ведь хотелось? А?

Я кивнул.

– Трам-пополам! не мог же я тогда выложить вам, что за год до этого один из моих бывших друзей, принявших боярскую шапку, но совесть полностью не утерявший еще, посоветовал мне исчезнуть на годик-другой с московского столичного полигона. Я ведь побывал у Врангеля. Так-то!.. Трудно было исчезнуть. Подумывал уже, не исчезнуть ли начисто. И вдруг – дачки эти, кружки разные, девки...

На слове на этом «девки» мигнул и вытек из электрической лампочки с дрожащей спиралькой свет.

– Как угадал погаснуть!– сказал Батулин, открывая печную дверку, и в плеснувшем оттуда оранжевом отблеске видно было, как поползла у него кверху бровь. – Знает, что вам в потемках внимать этой теме удобнее. Так о чем я? Да, девки. То есть любвями живал я и до этого. Донжуанский мой список длиннее, пожалуй, чем у Пушкина. Кстати, какое это чудо – пушкинские дневники и письма! какой бриллиант – по языку, по страстной своей и простой человечности. Особенно – письма. Но как лирик был он слабее Лермонтова. И как философ слабее, особенно если принять во внимание разницу возрастов. «Демон», например. Ведь это сверхгениально! Это поистине самосознание человечества! Но простите, я сделал зигзаг... Мы ведь – про девок. Да, так вот открыл я их впервые в таком изобилии в том самом инкубаторе, где с вами встретились. Какое это было идиотство сгребать в такие кучи великовозрастных девиц! Ну, конечно же, они в меня повлюблялись. До неприличия. Когда бывало трогал их, ну, знаете, на этих физкультурных гимнастиках, талию там или бедро, они... Но оставляю натурализм. А то как бы не спугнуть вас, золотого слушателя. Помню ведь, как вы тогда, на даче, – поворот от ворот. Я ведь слыхал, как скрипели шаги. Побежал было за вами я, и обласканная мною Тоня, Тоня первая – по списку, помните ее? – со вздернутой такой губкой, похожа была на ангелочка под Сикстинской мадонной, левого – правый у Рафаэля какой-то перестарок. Да, так вот и задышалось мне внезапно привольно в этом девичьем питомнике. Не подумайте, что в очень уж подлом каком смысле. Нет, дело не в том, что легко было соблазнить, обмануть, не в истреблении невинностей, а в окружении, когда отовсюду на тебя – этакие инфра-пронзительные лучи от мелькающих вокруг тел, крутых и нежненьких. И сам всегда в накале, на который они – как мотыльки на свечку. И были ведь красавицы... Тоня, например, или, как вы ее, кажется, назвали тогда... – Сандрильона. Я не знал тела более нежного. Эх, да разве теперь расскажешь! Попробуйте рассказать радугу или запах цветка. Помните

верхнюю ее губку? Задор какой-то особенно трогательный и чистоту? Вот и у обнаженной у нее во всём теле, в каждой выпуклости, в каждой... ах ты, Боже мой, а «впуклости» сказать нельзя?.. в каждой складочке такой же сиял задор и чистота. Каждая линия была гармонией. А кожа... Я, помню, был как запойный. Я не мог уже ни на секунду быть с ней наедине, чтобы не видеть... не трогать ее руками. Как тогда, за занавесью, когда вы смылись... Я ненавидел гнусные тряпки, которые скрывали ее от меня. Знаете ли вы у Ренуара «Габриэлла с расстегнутой блузкой» – эскиз с любимой его натурщицы в кофточке с голой щелью от самого горла до живота. Как понятен мне этот порыв художника распахнуть, выдать, как чудо, это теплое, лепное, смуглое; раскрыть непременно на ширине сосков, в карминной их матовой сочности, от которой у зрителя сами собой начинают шевелиться губы. Но, между прочим, эта, ренуаровская, перед моей Тоней – обыкновенный мопс. Ее, Тоню, тоже тянуло ко мне, как кошку на валерьянку. Но было редко осуществимо. Чаще она приходила ко мне с Веркой, подругой, годом помладше, кажется, и тоже прекрасной конструкции. Так обеих и пускал под одеяло. Вы знаете, что голенькие они пахнут сотами...

Делаю здесь купюру в своей записи из сдержанности перед читателем, хотя и не уверен, что так действительно нужно: уж очень был Батулин в этом монологе – не без пластической силы – сам для себя типичен. К тому же не появлялось у него никаких таких карамазовских причмокиваний и восторгов, – рассказывалось всё прехладнокровно, даже сухо, и, помнится, именно эта суховатость рассказа вызывала во мне отталкивание. Он, видимо, почувствовал это, и в голосе его зазвучала, всё усиливаясь, какая-то полемическая, даже раздраженная нотка.

– Разумеется, ханжи и холуи духа понять этого не в состоянии. Но подлинно высокая, до непостижимости, красота – она, конечно, нерукотворна, она не в музеях, а рядом, в жизни, и прежде всего – в гармонически изваянном теле... Всё это знал я, конечно, и раньше, но открыл, как открывают прииски, только там, на этих дачках. И воспользовался открытием в меру тогдашнего своего озлобления и тоски и рекомендованного эпохой отказа от некоторых «прэнсипов»... Вы всё молчите? – заметил он вдруг, после небольшой паузы, весьма недружелюбно. – Голову дам на отрез, что, как и тогда, 17 лет назад, держите за пазухой вопросики. Давайте, чего же... теперь бояться друг друга нечего!

Почему-то, когда я оттаял у печки, стало меня вдруг знобить. Говорить не хотелось, и я ничего ему не ответил.

– Хотите, я сам назову вам эти ваши вопросы? Первый, вполне практический: как это удавалось мне там развлекаться безнаказанно? – Ну как, очень просто – был сдержан и имел подход. Девок нужно знать.

Это ведь вздор, будто чуть что – и разболтают подругам. Иную на части режь, не расскажет ни слова, такие есть характеры. Но, между прочим, скандальчик вышел, хоть и без всякой прямой моей вины. Была в моем физкультурном гареме одна великовозрастная, полудурок. Лицом бы и ничего, но коротконогая, приземистая, как шифоньерка, и вся проросла в бюст. За что, сам не знаю, но органически ее не терпел и даже пальцем никогда не прикоснулся. Она же, представьте, от чувственности съехала с глузду и сама себе примыслила разные прикосновения и прочее с моей стороны. Сначала это было тихое, так сказать, помешательство: заметит, либо только предположит меня в радиусе видимости, – сейчас же, как мне рассказывали, сама не своя, волнуется, пудрится, переживает... Потом начинает напевать – песню сложила, мне передавали, – совершенно идиотские слова и мотив, что-то вроде:

Это ты, мой мильтон,
Это рыцарь, мой друг,
Приходи, я шаги твои знаю...

Интересовало меня тогда, какого «мильтона» эта кретинка имела в виду, – писателя, или у нас ведь вы знаете, милиционеров так называют... Ну вот, а потом всё перешло в буйную стадию. Делались припадки какие-то, и в припадках стала выкликать, что я-де пылко ее люблю, тогда-то и то-то с ней проделывал, – подробности, представьте, богатейшей сексуальной фантазии, – да, проделывал, мол, но интриги мешают нам объединиться навеки. Конфуз вышел громкий, назначили даже комиссию. Ну, я был чист, вся моя шароварная гвардия стала за меня горой, эту бедную дефективную чуть что не линчевали, а моя педагогическая репутация вышла без сучка без задоринки... Но из ведомства этого, немного погодя, я все-таки ушел... – Он поднял с полу бутылку, поболтал у уха и, убедившись, что пуста, швырнул на кровать. – Так. Это был первый вопрос. Начинать ли второй? А? – спросил он с совершенно уже пьяными интонациями. – Потому что второй вопрос, как я понимаю, будет у нас «мирового масштаба», насчет добровольных поклонов и отказа от «прэнсипов» вообще. Хотел проиллюстрировать, с какой неизбежностью и для себя даже самих незаметно отказываются от этих «прэнсипов» иные весьма бла-а-родные их носители. Кстати, припоминаю, что ваша тогдашняя отроческая, так сказать, пьеска там, на прудиках, была тоже не без реверансов. Тоже кланялись, а? Или, может, отложим дискуссию на следующий раз? уже поздно. Как вы думаете?.. Ба! да вас колотит! Что это с вами? Малярия? Чахотка? (как ведь угадал! сам я об этой своей болезни узнал уже много позднее). – Тогда немедленно же укладываемся.

Сейчас я притащу сенник... Увы, придется на полу, если вы не боитесь крыс – они тут у нас ходят «вольно», ибо рядом цейхауз. Впрочем, что ж это я! Ведь – хозяин! На полу устроюсь я сам, а вы на моей кровати. Пожалуйста. Диспута по этому вопросу открывать не станем...

* * *

Эта вторая «экспозиция» Батулина, припомнившаяся мне, покуда ждали у шлагбаума, и от нетерпеливо прядавших битюжьих голов вздрагивал на пологе гроб, – эта вторая «экспозиция» имела еще два довольно красочных продолжения.

В середине августа я, как говорят зощенковские герои, «обратно» выбрался в овражный городок и «обратно» же заночевал у Батулина. Он был снова вполпьяна и мрачно сидел за какими-то газетными вырезками, весь в окурках, в рубахе, расхлестнутой на шерстистой груди. Впрочем, он тут же надел куртку, застегнув до крючка на воротнике.

– Это не для вас, не испытывайте, пожалуйста, раскаяния, – шевельнул он бровью, – а потому что всё равно придется лезть в убежище. Взялись каждый вечер бомбить, трам-пополам! Кидают целую ночь – и всё в овраг да огороды, без всяких последствий, но бывают и жертвы – свои, понятно, у немцев убежища и дисциплина бетонные. Значит, какой уж здесь, в хате, разговор, когда начнется...

Началось, в самом деле, тотчас же, и мы пошли в бункер, про который Батулин уверял, что сделал его собственноручно. Там была одна широкая лавка, вроде нар, с матрацем, узкий проходик и нишка для коптилки. Сверху – накат из огрызков рельс и каких-то чугунных балок, торчащих наружу из-за засыпи. Под нарами оказалась всё та же, видно, дежурная, бутылка с самогоном и те же бритвенные стаканчики.

– Вот и хлопнем под зенитки, тут недавно фугаску одну прямо у нужника нашего воткнули. Пейте, покуда девки не пришли, чтобы им не давать. Не люблю: ненатурально пьют и сразу дуреют...

– Девки? И тут тоже?

– Рядом живут. Не всех же повывезли. Остались некоторые, хотя, как правило, второй сорт. Увидите – у них убежище в затылок нашему, на огороде, сидеть скучно, вот и заходят. Одна довольно импозантная, фламандской школы. И еще одна... Вы пейте. И третья придет, моя. Спасительница... Что? Да мне тут, знаете, в середине лета так подперло, сам не знаю, почему. Просто стало невмоготу, хоть в петлю! Голодно, жарища проклятая. Я бы вообще лето и зиму отменил, одни демисезоны оставил. Но дело, конечно, не в жаре, а как-то всё обрыдло. Клял и презенс, и будущее, и вообще всё кругом... И вдруг – влюбился! Да пейте же!.. Она славная и – как фарфоровая. Вот увидите. Тоня вторая. Пока, то есть, еще не совсем вторая, но я надеюсь... Мать

у нее дошлая, всюду с ней таскается в качестве этакого радикального средства по предупреждению беременности...

Всё это общество – три девушки и полустарушка с очень недоверчивыми глазами и вострым носиком – действительно втиснулось к нам в одну из бомбежных пауз, – и как только разместились! Было, впрочем, довольно весело. Батулин ожил и сыпал рассказами, не помню о чем, но не без занимательности. Девицы же, вдохновляющие его, были преобыденные на вид – и флегматичная «фламандка», работавшая где-то переводчицей (год спустя узнал, что была партизанкой-подпольщицей, бурной активности), и другая, постарше, иссиня черная, и, наконец, «Тоня вторая», у которой в самом деле было фарфоровое, кукольной свежести личико, и на нем большие, слегка на выкате глуповатые глаза. Отбой дали неожиданно скоро, и гости, подождав четверть часа для верности, законфузились вдруг и ушли; Батулин же огорчился и, допивая бутылку, стал огрызаться на мои реплики, как хорек. «Как? не одобряете? Ну, вы не разобрали в потемках... Что? Эта, постарше, лучше? Терпеть не могу брюнеток, так и кажется, что должны пачкаться. И потом – она такая же девушка, как я – бабушка. А? Да, моей только семнадцать лет. Что ж, поэтому и ‘табу’? Не понимаю! Я не людоед, я этих невинных созданий никогда злостно не обманывал и не оскорблял. Но ведь я не могу ставить этакую козу на одну с собой доску. Им ведь только кажется, что они нивесть с какого обрыва прыгают. А что они теряют на самом-то деле? А мне – отдушина...»

Снаружи, над накатом, снова вдруг взмыла в ночь сирена, и тотчас же поплыл над головой грозно-унылый рокот. Где-то рванула бомба.

– Проклятие! Опять начали... Придется, видно, здесь и заночевать. Тут еще есть немного в бутылке, хотите? Напрасно, полезно, если озноб. Тогда допью сам... Про что мы? Да, про девок и про отдушины. Ими и жил, обогащался, они же меня и опустошали... Что ж, свободу отняли, но оставили красоту, ее близнеца... Обладая ими, я чувствовал себя иной раз свободнее любого восточного деспота. И для этого обладания, каюсь, точнее – имею мужество признаться, – поступился многими кое-какими «прэнсипами» по смежности... И чем, спрашивается, можно было дышать еще? Мне было нечем. Преподавал я литературу, и вот, представьте себе, среди жмурых разных гляделок, на вас уставленных с парт, вдруг – глаза, которые одни вы только и начинаете видеть в конце концов. И сила в вас от них течет, и вдохновение, и даже вирши Лебедева-Кумача, если вы их этим глазам читаете, звучат как бы и на самом деле поэзия... Этим и жил. Они, знаете, чутьем каким-то угадывали во мне знатока. И льнули. Я не злоупотреблял... Старался даже сделать что-нибудь из каждой. Из одной, например, вышла актриса, теперь даже и заслуженная. Я развил, разре... развернул...

Он сильно опьянел и начинал уже иной раз спотыкаться на слове.

– Эка бомбят! Главное, чтобы не угодили в хату, не люблю перебираться, да и полок себе там наделал для книг... Да, развернул. Не вижу, но угадываю, как у вас лезет угол губы кверху. Породисто этак, как у таксы... Что ж, цинизм нам задан самой «великой» эпохой, провинциальной, конечно, и временной, но из нее не выпрыгнешь же. Судьбу решает всего один вопрос: согласен или не согласен ты пресмыкаться. «Нет» – говорят только единицы, герои какие-нибудь отчаянные или висельники. Остальные отвечают «да» и, значит, уже в какой-то мере, хотя бы и самой ничтожной, проституируют. Я тоже сказал «да», хоть и клял вымогателей на чем свет стоит «маленьким языком». За это мне позволили закончить вуз и загнали в полесское тартарары, в комары и болота. Я хотел видеть весь мир, вобрать в себя, так сказать, Рафаэля и Монмартр, а от меня требовали процентов успеваемости, этих идиотских процентов, которые целое поколение сделали неграмотным. Мечтал творить, размышлять над роковыми проблемами, изречь свое, «новое», – а должен был воевать с клопами, проклятыми коммунальными клопами, неистребимыми, как пропаганда. Бр-р! до сих пор помню гнуснейшую вонь этого клопомора, которым их поливал, и вообще всю эту пытку пошлостью, когда живешь не как человек, а как мышь под веником, когда пропадают все большие мысли, остаются тольке самые мелкие, ничтожные, радиусом из одной комнаты в другую, и становится постепенно всё равно... Да, всё равно. Ухватиться же не за что. Да и надо ли? ведь если добровольно-принудительно отказался от одной ценности, самой, может, значительной, к чему цепляться за другие? Если от одной – почему бы не от всех? «Всё равно» выходит вроде как бы логичнее. И даже дирижирует...

– Всё летают, сукины дети! – прервал он сам себя, прислушиваясь. – Слышите: бомба сорвалась, летит... а-а-а-ах! одна!.. А-а-а-ах! – другая! Занимательно, не правда ли, говорить под такой акомпанимент – начнешь «Отче наш...», а «иже еси» и далее уж и не поспеешь договорить. Ну а мне хочется непременно рассказать про «всё равно» и как это захватывает... Вот вам эпизодик, автобиографический, из тридцатых годов. Была у меня одна десятиклассница. Гм... не хочу называть имени – красивое имя одной красивой реки, и сама красавица – с силой красота, с характером, один постав головы чего стоил, посмотрели бы вы... Знал, что любопытна ко мне, даже неравнодушна, но горда и в школе, бывало, ни-ни... Да и покуда я оборачивал в свою пользу учительский свой авторитет, она уж успела и кончить. Главное то, что был знаком с ее родителями, бывал в доме, то есть в комнатушке, в которой жили они все втроем. Чудесная была семья – дружная, воспитанная. Из аристократов, чуть ли не королевской

какой-то крови, он в прошлом – лейб-гвардии полковник, а жена давала уроки музыки... Я сказал: был знаком: нет, даже приятельские были отношения, домашние, привязанность питал и к матери, и к отцу, хотя, помню, в последнее время и злило втайне, что моего чувства к дочке не замечают, или, как я догадывался, не хотят замечать... Разговоры мы вели, убедившись предварительно, что не подслушивают, самые преоткровенные. Ну, как и следовало ожидать, взяли все-таки его. И – без следа, без никаких справок, хоть я избегался весь. Уж потом, лет пять спустя, дошло до меня, будто использовали его при похищении какого-то генерала из эмиграции, а потом пустили в расход. Да... За драматические эти дни, после ареста, еще ближе я стал к этим двум бедняжкам, оставшимся. Не в любовном каком смысле, разумеется, – девочка была вся в горе, – а так, утешал... А потом вдруг повесткой, через дворника, вызвали и меня. Следователь – уж в сединах, холеный, шипром, как сейчас помню, продушен весь, сам, видно, из «бывших» и первоклассной психологической выучки. Альтернатива: «Подпишите, говорит, вот документик насчет этой контрреволюционной семейки, что видели, что слышали, общаясь... Или...» Заглянул я в «документик» – трам-пополам! чего только там не было наворочено – вплоть до вооруженного заговора, и явно – к расстрелу всех... – Ну, а если не подпишу? – спрашиваю. – Что тогда? – Меньше пяти лет, говорит, вам не обещаю. Подпишете – можете снова гулять. И заметьте, говорит, что отказом никого не спасете: обеих женщин всё равно сегодня же заберем. Посидите, говорит, посоображайте на досуге пока... – и встал. – Нет, отвечаю, простите, соображаю я довольно быстро, а лучше мы сразу договорим до конца. Он снова уселся и ждет, а я перед ним – как на кол посаженный. Представляю себе, что вот отнимут у меня ее, и значит ни сегодня, ни завтра, никогда больше не увижу, – и пот по лбу бисером. Именно эта одна мысль и корчит, одна из всех обуявших... А девочку, спрашиваю, не можете оставить? Тут он в свой черед замолчал, и молчал минут десять. Что десять! – часы, как мне тогда показалось. Посмотрит на мой лоб и потом – на свои ногти. Опять на меня и – на ногти. И так несть конца. Сердце у меня будто чечетку выколачивает, даже рукой прихватил. Что скажет? Предаю, конечно, стариков, но ведь не из корысти какой или низости, ведь всё равно не поможешь, а хоть бы ее спасти, хоть бы ее одну! При этом «одну» сообразил, помню, – нет не сообразил, а ощутил, понимаете ли, живо, как щекотку, что ведь, если пощадят, останусь единственным ее утешителем, сердце вдруг, как на шарнире, загребало в сторону, а потом – медленно так и сладко – назад, и в глазах темно, смотрю на следователя, но ничего не вижу. Как в бреду, жду, что ответит, что насчет нее ответит, а до

всего прочего во всей ситуации стало мне совершенно всё равно... – Хорошо, – сказал он, и поднялся. – Оставим девочку. Подписывайте!

– И я подписал... Вы слушаете? – спросил он после паузы, почти раздраженно. – Темно, не различаю вас, не спите ли? Вопросами на этот раз не интересуюсь, но – чтобы не напрасно рассказывал.

– Нет, я слушаю, – сказал я. – А эпилог?

– Это к делу уж и не относится, но можно досказать. Они мне ее оставили. Три месяца, которые я с ней прожил, были, как я полагаю теперь, самыми сладостными в моей жизни. Сошелся, конечно, сразу же – бедняжка была совсем сломлена после ареста матери, и всё произошло само собой... А через три месяца взяли всё-таки ее. Даже в ЗАГС не успел с нею, не мог – был связан. Впрочем, не помогло бы и это. Когда взяли – чуть не спятил с ума. Но ничего, ничего не удалось предпринять... Узнал, что сослали в один из полярных лагерей. Еще узнал, это уже позже, что взял ее себе один из лагерных вельмож и потом заразил сифилисом. Это, если хотите, эпилог... Да... А резюме из всего сделайте сами. Главное – отметьте типичность. «Всё равно» – это многих славных путь. Что? – Ладно, пусть не «славных», но путь... А чтобы сопротивляться ему, нужен воздух! Не всякий может... И непротивление не в крови ли русского человека? «Всё равно», «однова живем», «ничего». Это наше знаменитое «ничего» – оно ведь только одной ногой в пресловутом российском добродушии, а другой, пожалуй, в цинизме. Не за то ли и мучимся? А? – Башка трещит! – сказал он, зевнув, и опустил на сенник голову. – В общем, швыряйте в меня каменьями, если без греха, – мне всё равно... Я, кажется, засну... Влепят в сонного бомбу – тоже всё равно. Вы ведь, я знаю, пописываете часом... Можете вывести меня в повестушке или в очерке. Так и озаглавьте: «Человек, которому было всё равно»...

Он и заснул. А я, под его храп и грохот снаружи, долго еще сидел в бункере, дожидаясь отбоя. Трясся в ознобе и думал о разном. Об одном только, разумеется, подумать не мог: что лет тринадцать спустя действительно запишу это всё о нем, и даже заголовок возьму, им придуманный...

3

И последняя из наших «военных» встреч с Батулиным; сентябрьский дымный вечер, почти ночь. Разбитый вокзал, нелепые в этих развалинах высокие хребты платформ с черными руслами путей внизу. Длинный-длинный, мистически мрачный, хвостом и началом в потемках, товарный состав. Вдоль него суетливое шарканье ног отъезжающих и реже – солдатский кованый топ. В воздухе – тяжелая кирпичная пыль взрываемых зданий, стрекот пропеллеров и мало кого уж

пугающий немецкий гортанный окрик. От всего хотелось как можно скорее в вагон, зарыться в какой-нибудь угол, в солому. Мы с Наташей, моей женой, уже вкарабкались в одну из теплушек, но вынесла все-таки какая-то тяга разлуки назад, на перрон: не найдем ли знакомых? И тут же наткнулись на Батулина. Он первый меня разглядел, я б его не узнал: шел он, согнувшись вверху, как газовый фонарь, с огромным узлом на загорбке, и рядом с ним, замотанная в платок, семенила совсем лилипутная фигурка, похожая тоже на узел, только с ногами. – «Перекочевываем в классный! – сказал Батулин, сплавляя одной рукой на землю узел, а другой вытирая лоб. – Хотите с нами? У жандармского фельдфебеля получил одобрение занимать. Вагон для немцев, но они боятся партизан и предпочитают товарные, ну а нам... Двух смертей не бывать. По крайней мере поедем не по-свински...»

«Двух смертей не бывать», верно. Перебрались и мы. Это был третьеклассный многостворчатый немецкий вагон с одной общей подножкой и особой дверью в каждое отделение. Мы заняли целое вчетвером, мы с женой – на единственной узкой скамейке (другая мебель была выломана), а Батулин с внезапной готовностью – на полу. «Ни черта! как-нибудь. Расстелем одеяло.» Вообще, судя по голосу (ничего ведь не видно), был он весьма оживлен, даже суетлив непривычно. Что ж удивительного в этой горячке и горечи бегства своих от своих! Я, признаться, и не обратил сначала внимания на его как бы вдохновенные интонации, но вот когда сели и пока еще не склеился общий разговор, интонации эти, где-то в углу, превратились прямо в воркующие. Раздалась, наконец, и ответная речь, совсем глухо сперва, а потом всё яснее: живой узел, повидимому, разматывался. Каюсь, симулировав какие-то поиски, я засветил фонарик: узел, распеленываясь, как кокон, тощал на глазах, и, когда отмоталась последняя складка, я увидел большие, выпуклые, чуть бараньи глаза на фарфорово-розовом фоне: Тоня вторая!

– Тоня! – сказал Батулин, проследив за моей иллюминацией. – Встречались с ней в бункере, помните? Насилу вот уломал. Ну куда ж оставаться чудачке. Служила в рабочем бюро у немцев, и значит – немедленно вздернут или сошлют, предварительно изнасиловав. А упиралась! Правда, своих пришлось вот оставить, братишку и мать. Переживает, бедняжка...

Большие глаза и впрямь при этих словах влажно блеснули в углах, и я выключил батарейку.

– И представьте, меня даже подозревает, будто это я так схлопотал, что маму не взяли... Глупенькая! Маме – что? – продолжал Батулин, сперва так же громко, а потом всё потише, переходя понемногу в пианиссимо для двоих, – маме нет никакого расчета покидать насиженное

гнездышко, если, конечно, не сожгут, – она с немцами не зналась, к ней не придраться. А мы... – Дальше стало уже не разобрать, и я встал, подошел к окошку. Теперь были понятны именинные интонации Батулина и безразличие ко всему, что происходило за вагонной стеной.

Что происходило? На перроне было уже совсем черно и тихо – погрузка, верно, закончилась. Вдали, над рваными контурами каких-то зданий и выше, разливался красновато-оранжевый свет: город горел. И вдруг совсем почти незаметно, впору экспрессу, вагон наш тронулся. Под первый еще разминающийся стук колес, похожий на перебои сердца, поплыли мимо замазанные синькой зрачки стрелок, кувыркаясь одна за другой в темноту. Лбом прижимаясь к стеклу, старался я уследить за ними, до последнего мелькания, будто это не стрелочные чужие фонарики, а что-то мое, близкое, убегало от меня кувырком, растворяясь во мраке, густейшем и тяжком, – мраке родной земли, которую оставляешь навсегда...

Потом начался обычный тряский грохот, попытки уснуть в жестком углу, разнообразя всяческие несонные позы, какие-то все-таки удавшиеся паузы сна, шумные остановки, когда кто-то ломился в двери (мы замотали их веревками), стуча прикладами и чертыхаясь по-немецки, и остановки тихие, когда чернота снаружи была молчалива, как склеп, и только из противоположного угла, с одеяла долетал иногда шорох и два шопота – один гулкий, ровный, другой – почти беззвучный и придыхательный. В одну из таких остановок, под утро уже, разбудила меня Наташина взволнованная рука, теребя мои пальцы, – разбудила и тут же словно приказывала молчать, только слушать. Я прислушался. В затихшем теперь, без шороха уже, противоположном углу Тоня вторая тоненько, едва разобрать, плакала...

* * *

Прострочил мимо, уже не в воспоминаниях, а на самом деле, ухая пустышками платформ, длинный товарный порожняк. Битюги, взболтнув бляшками, выгнули шеи, и окантованный жестью край полога с узкой трапецийкой гроба поплыл вперед. А когда перевалили переезд – с белой колокольни у леса сорвался и притек жалостный медный удар. И другой, и третий... Нас встречали. Ох, этот звон. Есть ли на свете другое, более властное над человеком «мементо мори», чем этот звон среди такой вот просторной тишины поля, дальнего леса, чуть слышно поддуваемого желтого листа и стрижей – поперек!

Навстречу ему, этому звону, припомнились мне и последние эпизоды моего знакомства с Батулиным – послевоенные. Наташа привела его в лазаретный парк, где я висел целыми днями в гамаке, зацепленном за два шелушистых сосновых ствола, привела, кажется, в июне.

К сожалению, чувствую, нужно сделать одно биографическое отступление. В начале этого, 1945-го, года моя биография вообще едва не кончилась, привезли меня в лазарет в чахотке, которая кинулась уж и на горло, так что не мог говорить. Как узнал потом, даже и поместили в одиночку для умирающих, и сестра-монашка в белоснежном чепце удивительной пластической конструкции приносила мне на обед фрукты, что также положено только смертникам в услаждение последних часов земного бытия или для чего уж – не знаю. Но «суждено было иное», и к июню, к встрече с Батулиным, в моем «активе» были Наташа, чудом разыскавшая меня здесь, кило прибавленного веса и весьма дерзкие надежды, а к осени стали доступны и вылазки, вроде вот этой, на похороны.

Помню, только что свалил зной и в каленый смолистый воздух проникли вместе с тенями влажные, мшистые запахи. Солнце сползло на стволы, и всё вокруг сквозило розоватой сепией, когда я рассматривал его, Батулина, лицо. – Оно показалось мне чуть помягчевшим, брови, что ли, двигались не так уверенно, и словно опал рот, – нельзя было проверить, потому что он, как и прежде, не улыбался, но мне показалось, что зубов под верхней губой не было, не было и усов-кавычек. Я выкарабкался из гамака, и мы перешли в аллею, на скамью. Не передаю здесь рассказа его о себе, потому что для литературного повествования то, что случилось с ним, очень уж неправдоподобно, а для документального – очень уж похоже на десятки других, столь же невероятных одиссей, пережитых многими в страшное время конца войны.

– Где же вы будете жить? – спросил я его в заключение, узнав, что он собирается остаться в здешнем предместье. – Девушки пустили! – сказал он (опять-таки без былой самоуверенности, – прежде, например, он непременно сказал бы «девки», а не «девушки»). – К себе, в лесную домушку, знаете? Буду у них вроде кухонного мужика...

И опять должен я сделать отступление и объяснить и про девушек, и про дом в лесу, чтобы снова вывести мой рассказ на дорогу за гробом, навстречу жалобному колоколу, где, собственно, и пришли ко мне воспоминания, здесь записанные. Итак: девушки были Тамарка и Ася, которых мы с Батулиным знали еще в годы окупации. Обе собой недурны, хотя и совсем разные: Тамарка – всегда в движении, как ртуть на ладони, в веснушках и темпераменте, растрачиваемом денно и нощно, несть конца; Ася же вся в себе, в комочке, как ежик. Я знал, что она была сирота, что пела с красивыми низами («прежде; теперь силой нотки не выколотишь!» – жаловалась Тамарка), что многие вокруг нее околачивались до отчаяния, она же оставалась равнодушна. Что еще – про нее? – На смуглом мелком лице ярче всего были глаза, потом – губы, довольно крупные, чуть с вывертом, как бы и капризные, кото-

рые, когда она улыбалась, складывались удивительно рисунчато и хорошо. Но улыбалась она редко, и в задумчивости губы поджимались и блекли, делая ее похожей на монашенку. Встретил я обеих весной победного года при весьма необычных обстоятельствах: к нам в лазарет в поисках душ, уклонявшихся от возвращения на родину, приехали на джипе два советских лейтенанта. Помню, Наташа, прыгающими пальцами держась за подоконник, заглядывала сбоку в окно, за подъездной фасад, и вдруг заметила внизу, на газоне, за стрижеными кустами какого-то кустарника, две девичьи фигурки на корточках, прятавшихся, как в «палочку-выручалочку» (мы узнали потом, что за ними как раз и приезжали). Это и были Тамара с Асей, которые, оказывается, работали судомойками на нашей лазаретной кухне, а жили в «домушке» – бывшем охотничьем доме за парком, в лесу, не больше четверти часа от нас ходу (я потом расскажу)...

Поселившись у девушек, Батулин целыми днями пропадал в городе. Возвращался к сумеркам и, если видел, бредя вдоль парка, что я еще в гамаке, пролезал ко мне через дырку в ограде. Часто были с ним, кроме консервных банок, и какие-то претолстые книги, но почему-то никогда не показывал. Говорил же охотно и много. Про город, про встречи... «Провинциальная, конечно, но всё же столица. Хоть и искарежили, но чувствуется этакая королевская величественность, не лотошный стиль. Хотя, знаете, сам я как-то не понимаю и не люблю старины. Противно думать, что вещи тебя переживают. Этакая дурь старинная, баба какая-нибудь на дельфине верхом. И еще пятьсот лет проскачет, а из тебя уже и черви выползут... Что? Видел ли эмигрантов? Видел, но разочаровался. Может, в двадцатых годах они и представительствовали на Западе русскую культуру, а теперь... Покрупнее кого почти что и нету, а так, пустоцвет... Разумеется, считают нас, новых, ненастоящими. Настоящие, мол, после Первой Мировой выехали, и что же без них могло остаться на родине настоящего! Перелистывал их теперешние писания. Много кудреватых слов и как бы трехсмысленно. Ссылки, цитаты какие-то заклинательные. Фамилии – Самбо, Турамбо, которых ни один чорт не знает; термины, которых не сыщешь ни в одном словаре, а если соскоблить со всего этого чистую, так сказать, словесность, так ведь ничего не останется, ни одной здравой мыслишки. И везде, конечно, – «Мы! да когда мы! да если б мы... да у нас!..», «Как хороши, как свежи были розы» и тому подобное. Газетки их кое-какие смотрел – со второй же страницы идут панихиды. Панихидная эмиграция!

Помнится, я заметил ему насчет этих его суждений, что, вероятно, несправедливы и через край.

– Ах, полноте! Вот как-нибудь увидите сами... Представили меня

одному из них, повиднее. Барственный такой, с животом обтекаемой формы и брадатый. Разговорились с ним о житье-бытье, а как только перешли к идеологии, сразу же повернул он на «Протоколы сионских мудрецов» и прочее юдофобское. – Простите, говорю, не сочувствую. Я не жидоед. – «Не может быть!» – Верно, говорю. Стыдно русскому бояться жида. Единственный, мол, мой упрек Достоевскому. В основе жидоедства, говорю, чаще всего комплекс неполноценности, паралич воли. Лежит Богом одаренный русак на печи, а еврей – как белка в колесе: способности растит, связи... В день на копейку, в год – на три рубля. А потом сценарий напишет или в концерте выступит – и звезда. А у русака уже пролежни на спине и мировая тоска. Размочит ее в рюмочке и кричит, что жиды задавили... Вскипел старик. – «Это, говорит, у вас оттого, что мы здесь двадцать лет с коммунизмом боролись, а вы там к нему приспосабливались.» А сам только всего минуту назад рассказывал, что все свои эмигрантские годы на птицеферме провел. Ну, я не упустил спросить осторожненько, с каких это пор щупанье кур означает политическую борьбу. – Разобиделся старик вдребезги и ушел. И кстати – в кофе мне наплевал, в чашку, через стол, когда объяснялся, – так и не пришлось отхлебнуть, хоть и хотелось...

В этом месте воспоминаний, по дороге к кладбищу, помню, поймал я у себя улыбку, с которой шел уже несколько шагов. Прогнав улыбку, еще несколько шагов смотрел на узкую спинку гроба, полированную под дуб, – в нижнем углу ее, около четырехгранной ножки, плывуче темнел овал спиленного сука (сосновое, верно, было дерево). Краешек овала повыщербился, и к щелке прильнули две крупные свинцовые мухи. Саркастические цитаты из Батулина тотчас же сменились другими. Впрочем, должен сказать, что в эти последние встречи их, саркастических, почти у него и не было. Я вообще замечал (правда, это уже много позже, после долгих зарубежных впечатлений), что многие из земляков «оттуда», пересаженные на вольную почву, совсем новые пускают иногда ростки, даже новое обретают цветение. Так вот и Батулин: я уже упоминал, что он как бы помягчал весь – злое, самоуверенное сменилось беспокойством каким-то, словно бы поисками и надрывом. Даже прежнее «трам-пополам» исчезло...

Надрыв особенно стал заметен, когда, как мы выяснили, Батулин воспылал к Асе страстью самою неистовою. Выяснили мы это не сразу: ничего особенного не было по нем видно, да и не стремился я наблюдать, занятый собственным «быть – не быть» и «не потерял ли в весе». Выболтала всё Тамарка перед своим отъездом за океан, куда умыкал ее какой-то американский сержант. Выболтала взахлеб, во всю силу своего темперамента и долго сдерживаемой тайны. «И что ж это будет, ребятки? Ведь может получиться дельная др-рама, ей-

Богу... И хоть она малочувственная, как холодильник, но... как же они теперь вдвоем... Пускай съезжает!»

После этого разоблачения мы, так сказать, уже вооруженным глазом увидели, что Батулин в самом деле не свой. Угрозу «пусть съезжает» он, должно быть, переживал отчаянно. И совсем перестал заходить ко мне. Я иной раз видел из своего гамака, как мелькали за дрекольным забором вдоль парка его длинные ноги, а над забором – светлопалевая седина волос – нарочно отворачивался, должно быть, чтобы не заметить, – спешил домой!

– Ну а как Ася? – допрашивал я Наташу: они часто встречались вечером и ели в каком-то трактирчике тоскливый капустно-картофельный «штамм».

– Никак... Всё задумывается, теперь даже чаще прежнего. А когда о нем заговоришь – подожмет губы (Наташа показала – как) и такой монашкой так и просидит до конца, ни одной улыбки не выцарапаешь. И знаешь: они с Батулиным каждое воскресенье в церковь вместе ездят. В город...

Про Асю я знал, что очень религиозна, а у Батулина это была новая черта. Теперь, как раз вот при виде присосавшихся к гробу свинцовых мух, вспомнился мне следующий эпизод, случившийся вскоре после тамаркиного отбытия. Батулин (он так и не съехал из домика) пришел ко мне в парк в мертвый час, после обеда. Наташи не было, и хорошо, что не было, потому что она непременно увела бы меня в палату: шел дождь, редкий, теплый, и я перетащился из гамака под подол здоровенной елки, в этакую натуральную нишу с общипанными белкой шишками у корней, живыми бисеринками муравьев и смолой, за что ни схватишься. Сюда же ко мне, на корни, пролез и Батулин, и долго отдышивался.

– Какое это проклятие, старость! – сказал он, смахивая дождевые капли с лица и волос. – Непереносима эта постоянная утрата простейших возможностей и умений, одного за другим, – то вот бегать уже не можешь, то мускулы, глядишь, раздрябли, то другое что... «Он смертным дал забвенье смерти»... Не дал. Нам, русским, не дал, мне кажется, в особенности. У нас это неизменное «помни» – всюду. В песне, в буйстве, в мечтательности... Ну, а когда уж за плечами околеванец, так совсем тяжело. И, казалось бы: смирись, для чего пыжиться? Зачем? Пусть... Вчера на эту тему, о смерти и бессмертии, с одной замечательной личностью разговаривал. До ночи, чуть поезд не прозевал. Чудесный человечек. Архимандрит один. Глаза ласковые такие, и умница. Я вот крыл вам как-то старых эмигрантов и перехватил, думаю. То есть, конечно, в отношении ихних разных политиков, оно и верно – почти все одержимые, у каждого своя навязчивая идея, запол-

няет всё чердачное помещение, без никаких сквозняков, и им кажется от этого, что они мудрецы. В этом смысле и наши, позднейшие, нисколько не лучше. Разве что полукавее – этакий, знаете, рязанский ум, который уверен, что всех раз на всю жизнь перехитрил... Да. Но попадаются у них, у старых, и такие вот, вроде этого монаха, из ученых, кажется, в прошлом. Этим, может быть, и есть что сказать. Что ж, в конце концев у нас с вами там не было ни времени, ни обстановки, чтобы думать. А эти ведь думали... В церкви с ним познакомился – добавил он не без заминки и, помнится, искоса посмотрел на меня.

– А вы разве верите? – спросил я (то есть вышепнул: голоса у меня тогда не было. Поэтому иные, разговаривая со мной, тоже начинали шептать – не знаю, от неожиданности ли, или от психологического какого-то шока. Случилось это в тот раз и с Ватулиным. Вполголоса, гудящим топотом произнес он почти весь свой последующий монолог. Может быть, по необычайности этого шопота под хвойной крышей, в шорохе сыпкого летнего дождя, и врезался он мне так в память).

– Верите? – переспросил Батулин и помотал головой.

Пуд соли надобно съесть, чтобы на этот вопрос ответить. «Како веруеши?» – вот вопрос правильнее. Нет, по-церковному, бездумному, наверно, по самому душеспасительному, – не верю, конечно, нет. Тут было у меня даже какое-то отталкивание до последнего времени. Может быть, и по привычке: я ведь в «воинствующих безбожниках» состоял, Демьяна Бедного инсценировал. Весной вот только в первый раз, это после четвертьвекового, должно быть, перерыва, забрел в церковь. Сразу как бы даже и умилился: бутафорское такое сооружение, в бараке. Лубочно, но трогательно. И удивило, помню, что не какие-нибудь одни стоптанные старушки – нет, тоже и цветущий возраст. Наших, из пленных или остовцев, много было. Ну, эти, видать, привыкали еще только, робели проявлять усердие. Помню одного: тугой такой парень, крестится всё больше петитом подмышкой и на соседей косится. Я зачастил. Пошел даже к исповеди, но батюшка не понравился – в крахмальном воротничке (он у них князь, не то граф) и липкий какой-то. Пристал: в загробную жизнь веруете? ну и прочее... Не знаю, по мне православный поп уж лучше бы – в смазных сапогах, волосы чтобы в деревянном масле, и табаком чтоб от него, и медком... А тут как бы дисгармония. В общем, про что я? – Да, загробная жизнь, бессмертие души, Царствие небесное... Не могу ведь верить! Ну зачем иному Сидорову душа? Как можно примыслить ему душу, да еще бессмертную? Представляете вы себе бессмертие этих вот шишек? – Он пнул круглоносым ботинком с раздрябшими от дождя сыромятными шнурками одну хрусткую шишку, другую, и черные бисеринки муравьев испуганно заметались под ногами. – Вот они,

вызрели, просыпались для потомства, накормили белок и – сопреют. Где, в каком тлене станете вы искать их загробную душу? Какому Абсолюту, в нарушение всякой гармонии, могла бы понадобиться для шишек вторая жизнь? Сравнение, конечно, крайнее, но разве не ясно, что мы выдумали себе потустороннее бессмертие из гордыни и страха? А я не хочу – из страха... Я верю в бессмертие, так сказать, практическое – то, которое сам человек соорудит на земле. Не глядите на меня так: вовсе не так уж банально, как кажется... Оно и будет, будет непременно – это самоутверждение бессмертия на земле. К этому идет – возьмите хотя бы статистику преодоления болезней, от которых прежде мерли тучами. Но всё это побочно пока, в наш кризисный и антигуманистический век. Побочно и бездуховно. Эта так называемая цивилизация, машины, политика подменяют дух вещностью, мешают людям чувствовать, что действительно прекрасно, желать, что действительно хорошо и спасительно, или – как это говорил Платон... Великая задача победить смерть разменивается на грошевые победы над избирательной урной и усовершенствованной моделью холодильника, а человек продолжает умирать в сорок пять лет от рака или разрыва сердца. Но это только пока. Необходимо и неизбежно произойдет новое Возрождение, и все силы духа сосредоточатся на одном. В том числе и те, грандиозные, как тяга земная, которые тратил человек здесь, на земле, на пустышку загробного своего существования. Земное бессмертие станет искомой и найденной Истиной, Открове-нием, которое всё поставит на место, всё осмыслит... Прошлое, настоящее... Ведь если я знаю, что мой пра-пра... в энной степени, словом, что какой-то отдаленнейший мой отпрыск действительно будет бессмертен здесь, на земле, так ведь это и для меня самого действительное бессмертие. А?

Он закурил, пыхнул, и дым повис над нашими головами этаким свернутым парусом, зацепившись за хвою, пыхнул еще раз – и в нашей раковине стало сизо. Я заметил ему что-то о материалистичности этой теории и потом, помню, сильно закашлялся. Тогда он раздавил папироску подошвой – запахло костром – и стал нетерпеливыми рывками выгонять накуренное на дождик.

– Нет, совсем не материалистично и не безблагодатно! – продолжал он резко, справившись с дымом и одышкой. – Совсем не материалистично, и в этом-то и есть новое. Проблема бессмертия будет решена с Высшего благоволения. Человек победит старость, а потом и смерть, без никаких воскресений из мертвых, но – по Высшей воле, не по своему, но по Божьему замыслу. Совершенно ощущаю, что воля Господня отнюдь не в том, чтобы я на земле, прекрасной земле, только дрожал и молился, готовя себя к Страшному суду. Бог – любовь, а не возмездие, и дал человеку свободную волю для бесстрашия, а не для поклонов, и

совсем малую толику чудес. Последнее знаменательно! Крестный подвиг Христа был тоже отрицанием чуда, как и при искушениях. И указанием нам самостоятельного пути... Нет, победа человека над смертью будет победой Божественного замысла – такой гармонии не мог же желать дьявол. Только тогда и осуществится подлинное возвеличение Бога. А главное – всё станет на свое место, всё будет оправдано. Эта, как она называется по-богословски, проблема теодицеи, что ли, исчезнет, потому что всё осмысленно – все жертвы, гекатомбы трупов, водометы слез и крови, – всё искуплено, понимаете, – всё, если будет побеждена смерть. И заметьте, каждая отдельная жизнь осмыслена, каждое дыхание, каждая маленькая польза. Ведь и до сих пор человек только потому и не отчаивался, что где-то в подсознании верил, что победит смерть. И не на этом ли вообще строится инерция веры в прогресс? Да, жизнь, человеческая жизнь, станет священная, ибо смерти не будет. Любовь станет органична, как дыханье, и органична свобода: живи, как хочешь, но лучше, если будешь любить... Тогда совершится и возрождение Церкви, и пастыри ее из капралов благочиния превратятся в бережных опекунов человеческого духа, во что-нибудь вроде наших старцев – лучшее, что дало православие... Всё это мое... вся эта сегодняшняя моя вера, заметьте, совершенно совпадает с Евангелием, начиная с «Царство Божие внутри нас» и...

Тут пришла Наташа – разыскала нас по батулинскому голосу из-под елки: последнюю часть монолога он уже давно не шептал, а, стараясь почему-то говорить тише, как-то гудел. Пришла Наташа, и, кажется, в первый раз я пожалел, что она не позже пришла – хотелось, чтобы он выложил эту свою теперешнюю фразу до конца. Мы условились, что перенесем разговор на завтра. Но он не пришел на следующий день, ни после: надвигалась кульминация этой невеселой истории, и ему было не до того...

* * *

Мы подошли к кладбищу, и над головами застыли последние судорожно-жалобные удары. Кто-то встречал нас с черными ручными дрожками. Во много рук с подрагивающего от лошадиных всхрапов полога перетянули на них гроб. Повезли вдоль гранитно-цветочного фронта могил по белой дорожке из дробных камешков. Эти камешки, ювелирного блеску и чистоты, с хрустом раздавались под острым колесом и потом, как по команде, кувыркались на место, будто стремясь как можно скорее заровнять колею, – так что и в самом деле оставалась после только совсем невнятная матовая вмятина. Помню, не в первый уже раз, подумал я об этой разительной несхожести здешних кладбищ, где так бойко, резьбою и клумбами,

как бы на вечность подрумянена смерть, – с нашими, в откровенно забвенной крапиве, тлене и ржавчине.

«Pfarrer ist noch nicht da!» – сказал чей-то голос, и все стали смотреть на дорогу, откуда, видно, ждали пастора. Я тоже взглянул на эту ярко-извилистую, по жнивью дорогу между железнодорожной насыпью и лесом. Вдалеке тушила ее наплывающая через насыпь длинная лесная тень. Ничего не видно было на этой дороге, только навстречу ей бежал по рельсам, сквозя колесами, будто игрушечный поезд, и стеклянная лента вагонных окошек то взблескивала зеркально, поймав низкое солнце, то гасла в синем языке тени. Пейзаж не оригинальный, но почему-то всегда тревожащий и въедливый...

Да, философский диалог о бессмертии так и остался без продолжения. Целую неделю спустя мы с Наташей не видали Батулина, но по некоторым мелочам и по особенному молчанию Аси догадывались, что в охотничьем домике зреет некий конфликт. Он и вызрел-таки. В один непрекрасный день Наташа не пришла ко мне после обеда, а уж почти перед самым ужином, прямо в палату и в необычайно взволнованном виде. – «Ты не мог бы сейчас... Или, может, это тебе повредит? – начала она, сбивчиво и хмурясь (признак чрезвычайной важности разговора), – не могли бы мы пойти сейчас вместе туда, в домик, к Асе с Батулиным? То есть Ася, собственно, у меня, но она хотела... то есть это я хотела, чтобы ты с ним поговорил. В общем, пусть он съезжает или пусть ведет себя... в общем...»

«В общем» я уже понял приблизительно из этого вступления, в чем дело. Чтобы не терять времени и не волновать бдительности сестер-монашек, – так и вышел, не переодеваясь, из лазарета в полосатом сине-белом костюме, за который здешних больных звали «зебрами». Мы вылезли через прогал в заборе на дорогу вдоль парка, и тут Наташа, забегая на шаг вперед и толкая меня плечом, изложила подробности происшествия, пополам с самыми ожесточенными комментариями. Комментировать, собственно, было почти что и нечего: происшествие состояло в том, что Батулин этой ночью, под утро, проник из своей кухоньки («у него там тюфяк такой, прямо на полу, ну, соломенный...») в Асину комнатушку и Асю, спящую, поцеловал («куда-то в тело, она, верно, раскрылась во сне»...) – в ногу, видимо, судя по наташиному пальцу, скользнувшему к коленке. А потом начал какие-то матримониальные объяснения. – «Она, конечно, вытурила его, и он мигом смылся, но всё-таки... На что это похоже! Ты должен воздействовать на него, – я знаю, он тебя стесняется»... Возмущений хватило ей до конца парка, а за ним началась вырубка, поросшая матово-зелеными, цепучими ползунами ежевики, и через вырубку мы пробирались уже молча: Наташа – всё еще прихмуриваясь и отводя

глаза от ягод, так и кидавшихся под ноги, я – в не очень приятном раздумьи по поводу предстоящей миссии.

– Ах, да! – хватилась вдруг она за сумочку. – Тут у меня стихотворение, которое он написал ей вчера вечером. Мы читали вместе... Бред какой-то безумный. Посмотри-ка...

Я сел на попутный пенек, обрадовавшись втайне передышке, и развернул «бред безумного», четко написанный чернильным карандашом на синеклетчатой четвертушке бумаги. И прочел:

АСЕ

Есть с чего голове закружиться!
Снова чаша вина полна.
Снова кличет синяя птица
И прильнуть, и допить до дна.

Чаша выточена из агата,
И вино в ней – ярче, чем кровь.
Безрассуден я, как когда-то,
Опьянен, одурманен вновь...

Не допить до дна? отказаться?
Отвернуться от света в ночь?
Ах, любимая, не терзаться
Только ты можешь мне помочь.

Дай к губам моим чашу ближе,
Чтоб скрипел о зубы агат.
На агатовом дне увижу
Мой не найденный в жизни клад.

Иль возьми чашу прочь! Пусть брызнет,
Пусть прольется вино. И тогда
Я уйду из недожитой жизни
В невозвратное никуда.

Вот какие были стишки! Конечно, не высший сорт, но, если отвлечься от качества, то вовсе даже не «бред», а, напротив, очень целеустремленные. Мне еще больше захотелось вернуться, но – что поделаешь! – пошли по инерции дальше, через ветреное выпуклое жнивье, на другом краю которого начиналась опушка леса. Оттуда, из-за редких сосен, и засквозил уже издали этот самый охотничий домик, весьма, надо сказать, идиллической внешности, обшитый мелкими крашеными в тон стволов досками, с вьюнком над окошком, скамейкой и полузатоптанными клумбами около. Было, помню,

странно тихо в лесу, когда подошли, – только над головой, по хвойным вершинам, с легким свистом перекатывался ветер, и падали шишки. Ничего сперва не могли разглядеть, войдя за крохотную, без окна, кухню с каким-то вроде камина кирпичным очагом. Потом разглядели Батулина: он лежал у другой стенки, не на тюфяке, а вдоль, прямо на полу, с раскрытым ртом, похожий на длинного вытащенного на берег линя. Помню, нас испугал было этот открытый рот (не припадок ли какой?), но он тотчас же зашевелился, сомкнул рот и сел на полу, с коленями к самому подбородку. – «Она меня отвергла...» – сказал он, глядя не на нас, а на прикрытую в смежную комнату дверь, – сказал так, будто мы с ним уже полчаса как беседовали. Потом поднялся, пошатываясь, и я заметил, что от него пахнет спиртным, хотя и не видно было в окрестностях бутылки, верной спутницы наших прежних встреч. – «Я похожу тут около, в малиннике, – заторопилась Наташа. – А вы поговорите. Полчаса, не больше, нам нужно к ужину...»

– Вылезем на воздух из этой дыры, – проворчал Батулин и, когда мы уселись на скамейке, посмотрел на меня сбоку, подняв одну бровь. – Вы, как я понимаю, по стороннему наущению явились наорать на меня и наставить, так сказать, на путь истинный. Ну, не наорать, – поправился он, заметив мою усмешку, – орать сейчас не по вашим возможностям, и вообще не пойму, какого черта вас, чахоточного, сюда притащили. Ладно, пусть... Но слово беру я сам. Коротко и без обиняков: этот нелепый инцидент, сегодняшнее ночное приключение, больше никогда не повторится. Понятно? Лично для себя я считаю его исчерпанным. Между прочим, уже смахал в лавчонку, купил здоровенный дверной крюк и приделал, можете убедиться. Крюк, конечно, не для меня, я не слабоволен и сдержу... Но – пусть она запирается. Вот и всё – о том, что вас, вероятно, интересовало. И точка! – Он привстал было, но, даже и не выпрямившись еще, качнулся, сел опять и как-то словно обмяк. Я видел теперь, что он пьян, грузно пьян, этим, конечно, и объяснялся запал последующего его излияния и даже пафос, которого прежде у него не замечал...

– Да, вот сказал «инцидент»... Это для вас – инцидент, для меня же – рок. То есть всё это громадное, что вдруг навалилось и сплющило... У-у! – скрипнул он зубами, – даже при одной мысли душит меня бешенство, что кто-нибудь скажет: блажь, мол, очередное увлечение. Не увлечение, а это у последней черты. Дальше или перерождение, немыслимая вторая жизнь, или – конец!.. Почему «немыслимая»? Почему Господь, пославший мне на закате лет это, настоящее, не захочет отдать его мне всё, всё... дать пронести до конца? Она меня жалеет и – только... Неужто не может, не сможет полюбить? Я молю... Я два часа сегодня утром на коленях перед нею стоял, чтобы улыбнулась...

Да, я сам себя не узнаю, словно вывернули меня наизнанку и всё мое перемешали с чьим-то другим и, вероятно, лучшим. И всё кругом кажется мне теперь лучшим. Умилен... Как это: «Готов я с небом примириться / Готов любить, готов молиться, / Готов я веровать добру...»

– Нет, стихи ни к чему, потому что не выражают... Тут свои слова надо, взрывного действия, чтобы швырнуть, как гранату, в разных скептических соглядатаев, вроде вот вас... Впрочем, простите. Да, я молюсь, молюсь. Все молитвы вспомнил и еще свои сочинил, особые, потому что больше не могу, не вынесу... Я, понимаете ли, всегда любил как гастроном, а теперь хочу любить без... чтобы быть самому покоренным, понимаете, не для себя, а...

Тут, кажется, он всхлипнул, или, может быть, свело ему горло спазмой. В паузу показалась на опушке Наташа, делая мне знаки: и правда, я рисковал неприятностями, пропустив ужин. Но разве можно было от него, такого, уйти. Было в нем всегда что-то притягательное, несмотря ни на что, хоть я и не мог никогда решить, что именно это было, – оно только угадывалось сквозь позу и парадоксы; но теперь звучало совсем почти без наигрыша, очень из души и подкупающе.

– Да, – продолжал Батулин, упершись в острые колени ладонями и глядя под ноги, – из-за нее я почти перестал ненавидеть. Земляков, например, в первую очередь... А может я их и прежде не презирал вовсе, как мне казалось, а любил? Русаков наших, этих талантливых иванушек-дурачков, богобоязненных разбойников, мечтательных циников, восторженных болтунов и фанатиков? Или вот вас, скажем... И занятно: всегда было мне с высокого дерева наплевать, какого обо мне все прочие мнения. А теперь нет, теперь, черт подери, мне почему-то не всё равно, что вот вы, например, обо мне сейчас думаете. А? Что думаете? Сейчас вот, сию минуту? Может, тоже считаете просто юбочником-сластолюбцем, который снова вот рассиропился при виде очередной жамки? Может, даже примысливаете какую-нибудь гнусную на меня пародию? Бывают ведь такие живые на нас пародии в жизни, из знакомого окружения. Были и у меня, и я люто их ненавидел. Помню одного такого, двухмерного бабника и пошляка... таскался ко мне часто и откровенничал, хотя я и презирал его бесконечно. Всю жизнь прогонял за юбками, и почему-то нравился, распоясывался вовсю... Ну а потом поседел, обрюзг, – постойте: сколько же это ему было перед войной? черт возьми! сколько и мне, пятьдесят с гаком! Словом, перестал привлекать всякую, даже и неказистую, добычу. Но не оставил. Стал действовать лукавством: где обманет, где поддарит «душки-гребешки», по его же подлому выражению. Приходил ко мне и признавался сквозь слюни, что только, мол, тогда и дышит, когда пружинит у него под пальцами... ну и так далее. Похабнейшим образом

переживал эту свою собачью старость. Всё примерял себя к разным литературным персонажам. По возрасту. «Дворянское гнездо» не любил, потому что там про Лаврецкого, которому нет и сорока, говорят: «он старик», – и еще за эпилог, за то, что герой уступает молодежи. В эпилоге ведь, помните, в горелки играют, и Лаврецкий – в стороне. А этому прохвосту как бы удержаться! – «Тут, говорит, какая сама на тебя прямо грудью налетит, облапишь и извиняться не надо»... Никогда прежде не интересовался книгами или жизнью великих, а тут, бывало, развернет у меня историю литературы и вычитывает: «Веневитинов помер двадцати двух лет... Сумароков... – скажи, пожалуйста! отчего же Сумароков так мало?.. Лермонтов? – этот почти мальчишкой. Ох и плохо же в русской литературе, я, выходит, всех пережил?» – и так дальше в таком же духе. И вот к такому, представьте, пришла нелепейшая удача. Полюбила одна... Чем прельстил, непонятно. Рассказывать мог только самую банальщину, и пакостно. Но прельстил. Разжег, а сам ничего или почти ничего не может. Она убежала ко мне... Впрочем, к чему я вам всё это рассказываю? Ах, да... Пример пародии. Так как же всё-таки... Что и как вы обо мне думаете? А?

Он приставал с пьяной настойчивостью. Не помню сейчас, что я ответил. Кажется, напомнил ему кое-что о девушках в качестве «отдушин» – из его же рассказов.

– Ах, мало ли что я... Не всякое лыко в строку. «Отдушины!» Слово, может быть, и узковато, хотя сколько величайших творческих свершений вдохновлены были как раз такими отдушинами. Нет, я любил полным и долгим дыханием. Именно девушек, женщин редко. Женщины – не то. Красота расцветает в них потом изумительная, тонкая и пышнейшая, даже инфернальная, но таинственного-то нет. Таинственного, которое, знаете, как фонарик изнутри, свет. Это – в девушках. Девушка – всегда неведомое. Она бредет, эта настоящая девушка, по жизни, как тайна искомая и, конечно, ищущая, и потому, если натуральна, не искажена ничем, – всегда прекрасна. И я это знал, и они чувствовали, что знаю, и потому, должно быть, и любили меня... «Девушка!» – слово-то какое чудесное! Какой-то кретин, не помню, говорил или писал, будто банально. Ерунда! В нем что-то душистое, или – как, знаете, стоишь у водопада, скажем, и на лицо попадает тончайшая такая водяная пыль, а вокруг непременно чем-нибудь пахнет смолистым, или... Да! А сухарей этих, очерствевших душою, конечно, тьма, большинство. Любуются причесанными пейзажами, бездарными Шишкиными или Айвазовскими, мозаикой, заплесневелыми орнаментами и говорят: вот какая красота! А прекрасное прежде всего нерукотворно. И все необъятные и таинственные возможности чудотворицы-природы, всё воплотилось в девичьей гармонической наготе. И недаром

подражатели на раскрытие этой гармонии убивают все силы духа и мысли, страстей, талантов и вдохновения, никогда не достигая совершенства. И вашу Венеру Милосскую нужно было бы, по совести, закутывать в простыню. Шедевры – в живой жизни. Рядом! И все это чувствуют, несмотря на искусственные уродства и искажения, – взять хотя бы эту модную теперь спекуляцию на каждом сантиметре голого женского тела. И она, эта спекуляция, – разве только на похоти? Если бы так, то торговцы репродукциями с разных там «купальщиц» имели бы в качестве клиентов только лысых импотентов и юнцов-головастиков. А тут все, глядя на девичье совершенное тело с непорочной кожей, чувствуют, как заходится у них в груди, стараются не прерывать дыхания, то есть чувствуют эту красоту, обжигающую, как кипяток. Не без преступности, правда, чувствуют, потому что представляет каждый: так можно оголить на всеобщее общупывание глазами, слюни и похоть – его возлюбленную, его сестру, дочь... То есть чувствуют святотатство почти, потому что – тайна и красота, то есть святыня... Я, кажется, заговариваюсь? Вы не думаете сейчас, что я просто сладострастник, пережевывающий перед своим концом все виденные когда-то девичьи ноги, груди, объятия, как корова жвачку?..

У него в самом деле получалось местами бессвязно, но он говорил, говорил, говорил... Прямо перед нами, за выпуклым жнивьем, садилось солнце, и он то и дело спохватывался, словно бы невзначай, смотрел из-под руки в ту сторону – ждал, должно быть, Асю. Потом солнце село, а вместо Аси подошла Наташа, вся растревоженная прозеванным ужином, тем, что после захода солнца будто бы гибельно для здоровья, и чуть ли не за руку утащила меня домой...

4

С потемневшей дороги притекла глухая строчка выхлопов; окрепнув и уже рокоча, подкатилась к кладбищенским воротам, взорвалась и заглохла. Приехал пастор, и мы пошли к могиле. Ее вырыли в задней, почти еще не заселенной части кладбища, рукой подать до мощной гряды леса, с кабанами и оленями, как говорили мне, начинавшегося почти сразу за низкой стеной. Вырыли очень удачно: под лиственницей, большой и сквозистой, в частом пунктире мелких шишек. И вся нетоптанная, в холодной росе трава вокруг усыпана была этими круглыми шишками, а на рыжей глине, вперемежку с булыжниками, выброшенной из ямы, тоже лежало уже две-три... Помню, за чуждой невнятицей молитв и всей этой незнакомой мне обрядностью следил я вполне бездумно. И только когда пастор черной лопаткой стал стряхивать вниз, на гроб, первый липкий комок земли, – пробежала у меня в памяти развязка этой истории.

Перед обедом (это было несколько дней спустя после моего путешествия к Батулину) принесла мне наша коридорная сестра-монашка, круглая и благодушная, похожая на просвирню незапамятных времен, записочку от Наташи: «Она согласилась!! Мы пошли сейчас вместе к портнихе, так что я приду к тебе только позже, к ужину». Я повертел записку, надеясь найти продолжение, – знал, что Наташа начинала иногда свои письма прямо с постскриптума, но понял всё и без продолжения. Неужто Ася вправду решила выйти за Батулина замуж?

– Да, представь себе. Вправду! – подтвердила Наташа вечером. – Подумать только! И у них уже всё, оказывается, договорено со священником, так что завтра и венчанье. Мы бегали по портнихам – переделывать ей платье. И я тоже пойду завтра в церковь. Ух, устала, и болит немножко здесь, от без-очков... – она дотронулась кончиком пальца до переносицы. – И знаешь, что? Не сходим ли мы сейчас к ним? На этот раз чтобы нипочем не опоздать к ужину. Только на минуточку... – поздравить! Мне кажется, они были бы рады. Особенно он – он как будто немножко стесняется тебя, у меня такое впечатление, – не знает, как ты к этому относишься.

Относился я к этому без восторга, совсем даже без всякого восторга, если не сказать больше. Но от меня всё это никак не зависело, а тем, что моя первая дальняя вылазка прошла благополучно, и вот снова зовут, то есть, значит, не считают уже умирающим, – я был, помню, весьма горд. Мы отправились.

Теперь по дороге через вырубку Наташа уж не пренебрегала ежевикой – нагибалась, кололась, вскрикивала и то и дело подсовывала мне две-три вороненых ягоды на узкой ладони в лиловых кляксах и капельках.

Как и в прошлый раз, опушка и домик были в позднем оранжевом солнце. Мы нашли Батулина на скамеечке, и перед ним на ребре, загораживая его почти до плеч, стоял широченный пружинный матрац с распоротым посредине нутром. Сквозь прореху в мешковине виднелись серые кишечки пружин, видимо, только что подтянутых свежим желтоватым шпагатом. Сейчас он кончил уже работу, натягивая и загибая через край брезентовую обивку, пристукивая ее не без ловкости мелкими сизо-черными, как коринка, гвоздиками. Когда гвоздь впивался в складку до шляпки, из-под обушка топорика, которым Батулин действовал, взлетали в солнечный воздух легкие гейзерчики пыли.

– Вот, оборудую свадебное ложе... – поднял он на нас лицо, осветленное какой-то уютно-домашней торжественностью. Да, кажется, бродило на этом лице что-то вроде конфуза, а может быть, это он просто щурился слегка от солнца. – Садитесь. Ася там, в горенке, с тряпками, наводит парад.

– Нет, нет, мы только на секундочку буквально, и сейчас же назад! – сказала Наташа и побежала в домик. А я протиснулся на скамеечку, сел, и мы промолчали минуты две-три, покуда Батулин свернул себе самокрутку и курил, – промолчали, не глядя друг на друга, и тоже в какой-то натянутой торжественности, словно в ожидании тоста или именинного пирога. Потом вышла Наташа, одна, без Аси («стесняется тебя, пойдем!»), и мы стали прощаться.

– Пока! – сказал Батулин, поднявшись и придерживая обеими руками качнувшийся матрац. – До завтра! – добавил он уже вдогонку нам, и что-то необычное послышалось мне в его голосе, так что я обернулся.

Он улыбался, широко, всем лицом, в первый раз за всё время нашего с ним знакомства. Смеялись и глаза с Бог весть откуда взявшимися вокруг них мелкими и подвижными на солнце морщинками. Он улыбался, и теперь было видно, что у него действительно нет нескольких передних зубов, и от этого в лице сквозит что-то наивное, детское. Но тронуло меня не это, а выражение какой-то обреченности, которого не удалось стереть этой счастливой улыбке, чего-то недоверчивого, бесконечно тоскливого и жалкого. Словом, в ответ на его «до завтра» махнул я ему рукой и отвернулся вряд ли с сухими глазами. Пряча от Наташи эту свою неожиданную растроганность, вспомнил, что, пожалуй, только однажды в своей жизни видел другую такую же раздирающую улыбку. Не уверен, что удастся рассказать, но всё же попробую. Это была девочка, беловолосая и голубоглазая, лет шести-семи, приемыш в избе одного хуторянина, к которому попал я случайно, проездом. Было это во времена давние, – позже таких хуторян изничтожали под псевдонимом кулаков, но я должен признаться, что этот, о котором речь, и в самом деле был вовсе непривлекательный. Мы ели за столом яишенку, не то драчены, а девочка эта в одной облезлой рубашонке притулилась у печки на полу, с бабками, которые она чрезвычайно робко и с оглядками на нас то укладывала ниц, то расставляла стоймя. Потом в избу вошел крупный хозяйский мальчишка в полушубке, звонко шлепнул ее по затылку (она не посмела всхлипнуть и только втянула голову в плечи) и отнял бабки. Хозяин, верно, заметил, что я всё на нее смотрю, и, когда мы выходили, остановился осанисто у печки. «Сирота! – сказал он, – терпим вот»... и, пригнувшись, провел рукой по белым ее волосам, – совершенно уверен, что в первый и единственный раз. Тогда девочка подняла на нас грязное личико и улыбнулась. И было в этой улыбке, помню, что-то такое пронзительное, такой неописуемый диссонанс детской радости и совсем недетской тоскливо-покорной обреченности, что вот на долгие годы застряла у меня эта девочка в памяти. Очень похоже, с той же обреченностью, улыбнулся сейчас Батулин. Так и нес эту улыбку вместе с его «до завтра» до самого дома.

А ночью он умер.

Ася прибежала к Наташе чуть свет, с третьими петухами, сказала это: «он умер» – и больше не говорила ни слова. Не отвечала она даже полицейским; впрочем, они от нее отстали, когда местный врач установил с несомненностью разрыв сердца. Наташа же ее не расспрашивала – не до того: бегала, хлопотала по похоронам и сама была в нервном трансе, особенно после «жуткого», как она говорила, посещения домика, где в сумеречной еще асиной комнатушке длинный-длинный, под натянутой простыней, лежал Батулин, – лежал на том самом «свадебном» матраце, который чинил накануне. Как всё-таки он умер? Под эти такие звучные в безмолвии стуки и шорохи засыпаемой могилы я смотрел на Асин маленький профиль с сжатыми губами и окаменевшим подбородком и понимал безнадежность да и немыслимость вопросов. Но больше, помнится, смотрел тогда вниз, как, заравниваясь, мельчала и вспухала вверх могильная яма, и видел четыре ножки в черных чулках на желтом комкастом засыпавшем траву грунте. Две – в черных же туфлях, Наташины, – очень живые, у одной всё время беспокойно и словно бы вопросительно приподнимается каблучек. Другие две – в туфлях коричневых, новых (не к свадьбе ли купленых?), и словно впаяли их во влажную глину, не дрогнут, как изваяние...

* * *

Ася продолжала молчать – о самом главном – и после. Потом однажды поехала в город, почти что и не попрощавшись, не сказав, что насовсем. Оказалось – насовсем. Наташа сбилась с ног, наводя справки по лагерям, даже и в официальных учреждениях, – никакого следа! Наконец, уж много-много позже, выяснилось, что Ася уехала за океан по какому-то контракту, еще раньше заключенному, в одну из южноамериканских ананасных республик. Загадочное со смертью Батулина так и осталось непроясненным. Что эта была за смерть? Можно ли ее, эту смерть, эту предсвадебную (или свадебную?) ночь реконструировать в духе мистической романтики из любимого Батулиным «Демона» – герои при этом меняются ролями, и смертоносной победительницей оказывается чистота? Или всё было проще, совсем прозаически, могло бы обернуться и иначе, если бы не сердце? Могло ли? Могла в самом деле эта грустная девочка помочь этому старому человеку?

У самой у нее не спросишь: ни письма, ни адреса, – все сожгла за собою мосты. И откликнется ли когда-нибудь на нашу о ней память, даст ли весть о себе?

Не знаю. Не думаю...

«Новый Журнал», № 45, 1956

Владимир Яськов

Следы соляных столпов

СИГУЛДА.1984

винтовая лестница стремглав
убегала в небо из подвала
и сырая каменная мгла
снизу чем-то жутким поддувала

но покуда, тяжело дыша
тело совершало восхожденье
вечная отступница, душа
начала попятное движенье –

потому что вопреки всему
словно возвращение к началу
это погружение во тьму
главному
чему-то
отвечало

FIS-MOLL

лучший ключ к сердцам – скрипичный
что ни говори
сонный город черепичный –
словно попурри

из затейливых каденций
маршей визави
так умеют только немцы:
страстно без любви

там холмы в зеленой шубе
в клавишах рука
услаждает ухо шуберт
плещется река

там гуляет по карманам
ветер налегке
подшофе под фортепьяно
с веером в руке...

...может, я того не стою
но звучит с тех пор
навсегда для нас с тобою
фа диез минор

СКВОЗЬ СОН

привычную спичку нашарив
о чиркни, невидимый мой...
в каком-то застывшем кошмаре
какой-то забытой зимой
звонком телефонным из душа
я истину был извлечен
услышать – как будто подслушать
пустой разговор ни о чем

наверно, я жил как не надо,
обманывал, плакал во сне
следил, как у Летнего сада
спускается на воду снег
я многих напрасно обидел
не веря, не зная, что есть
твоя ледяная обитель
твоя леденящая весть

я мучил и сам был измучен
и духом вконец обнищал
давай меня снова научим
простым обиходным вещам
цветенью травы по откосам
гудению рельсов в ночи
бессмысленным детским вопросам
огню в деревенской печи…

...огню, подступавшему с тыла
покамест беспечность моя

в неведенье жарком застыла
не чуя, как тлеют края
всего, что мой сон окружало
пока в непослушной горсти
я смерти горючее жало
пытался от нас отвести

...WITH LOVE AND SQUALOR

ни на что не годятся действительность, явь, бытие
получить нагоняй, лицемерить во имя твое
да и то раз в году по заказу
прилагаю к сему объективный спортивный отчет
темно-красное время сквозь нас инстинктивно течет
вытекая по капле сквозь фразу

прилагая усилия, можно в конце одолеть
но кому это нужно? хотел бы на них поглядеть
пофорсил, поматросил – и нету
человек человеку – никулин, румянцев, шуйдин
и во рту, говорившем, курившем, кричавшем «уйди»
привкус, как от минета

потому-то в конце-то, в начале-то, в корне всего
торжество безразличья, бессмысленных слов торжество
но, жуя эту жвачку
в камыше междометий, в осоке резвящихся фраз
можно плыть, не заметив порезов и язв напоказ
кровью губ не испачкав

FIN

обратимся лицом к востоку
или к западу, – всё равно
где он, к черту, исток восторга?!
там, где парки веретено

выше, выше летят качели
тише, тише течет вода
сумрак музыкою канчели
разговляется навсегда

чей там финиш не за горами –
сладкий финик, ванильный торт?
кто-то дельный потом обрамит
этот разовый натюрморт

кто-то дунет, как ветер с юга
в область всё повидавших вьюг
и разорвется тоски дерюга
там, где все мы найдем приют

я, который любил не чаще
в этой жизни, чем раза два,
что-то высмотрю в предстоящей
и найду наконец слова

P. S.

терция квинта горация флакка
звук прозвучал в звучине
шла по дороге молчала собака
проговорилась во мне

я не ступаю ногой на дорогу
я по траве не хожу
но понемногу немногу не в ногу
что-то собачье скажу

бродят кругом безъязыки собаки
смотрят громадами глаз
мира безбожного божные знаки
знаки прощения нас

Харьков

Виталий Амурский

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВОЙНОВИЧА

Встречал и я службистов в шапках пыжиковых,
Порой обрюзглых, вроде старых баб, –
Прожженных циников, при разных чистках выживших,
Хозяев жизни с виду, но имевших метку: раб.

И европейцев видел снисходительных
По поводу нам выпавшей судьбы,
Уверенных, что, мол, родиться б нам
Поближе к ним – иными были б мы.

Я полагал: бывало рабство в Азии
Не только в кандалах, но и в мехах,
А Пугачева дух и волю Разина
Всерьез с Европой не связать никак.

О, сколько было их, столь увлеченных
Россией, как объектом НЛО,
От всей души смеявшихся над Чонкиным,
Но хоть бы раз всплакнувших за него.

ОДНИ И ДРУГИЕ

Вспоминая начало 70-х в Москве

Одни на пишущих машинках
Стучали самиздата строки,
Порою делая ошибки,
Не соблюдая правил строгих.

Другие строки те читали,
И мелочей не замечали,
И те бывали, что едва ли
Касались сути, но – стучали.

А с виду было незаметно,
В какую кто впрягался лямку,
Служа ль свободе беззаветно
Или корпея на Лубянку.

Ах, время! – нет уже державы
С той пресловутою бутылкой,
Что на троих соображали
Под черный хлеб с соленой килькой.

Со стройками, где «майна – вира»
Крановщикам кричали снизу,
А нам гэбэшницы в ОВИРе,
Глумясь, отказывали в визах.

О, те, кто побывал в отказе,
Мне говорить ли вам про эти
Психологические казни
И анонимные наветы!

Но всё ж одним во снах – березы
Приходят, падающий снег...
Другим же – ЗИЛы («членовозы»),
Не знающие красный свет.

А у меня всё вперемешку:
И это помнится, и то –
Не на орла и не на решку,
Упал медяк мой на ребро.

В МОСКВУ. НЕЗНАКОМОМУ ЛИЧНО

Летучая мышь на нашивке
Да ровно два слога: спецназ.
Однажды ты скажешь: – Ошибся, –
Добавив: – имел, мол, приказ.

Однажды ты скажешь: – Простите,
Я был рядовым, только вот
При этом никак не растлитель
Ни чьих-либо душ, ни свобод.

Про Крым ты забудешь, конечно,
Но сможешь ли, глядя в глаза,
Ответить – за что на Манежной
Швырял земляков в автозак?

За что же, в столице уставшей
От власти, что лжет, и хапуг,
Студента по имени Саша
Ты бил (он, замечу, – мой внук).

Подсобник сегодняшней дряни,
– Не помню, – сказав, не соврешь,
Народ ведь и впрямь – безымянен,
Хватает в нем Саш и Серёж.

Похожих – моложе и старше,
Но главное, что наравне
Стоявших за жизнь не в отставшей
И не в обнищавшей стране.

Хотел бы ты тоже, чтобы краше
В ней было и лучше жилось?
Возможно, но стал ведь на страже
Того, что прогнило насквозь.

В шеренге безликих атлетов,
Вблизи полицейских машин,
Пока ты не ищешь ответов
За то, что уже совершил.

Пока! Но позднее же, право,
А это бывает всегда –
Не скроет твоя балаклава
Лица, что боится стыда.

Еще за твоими плечами
Февральские стужа и мрак,
Но верю – там хмарь обвенчалась
С просветами месяца март.

2019-20

КАРАНТИН 1830 ГОДА

И снова Пушкин, Болдино, холера,
Да и к Москве зараза подползла,
Но на балах лихие кавалеры
Там кружат дам, как прежде, допоздна.

А он в глуши то пишет, то, ладони
К вискам приставив, в думах о себе,
О Натали, о будущем их доме,
О полной неизвестности судьбе.

Иль, оседлав коня, летит куда-то, –
Не в гости по соседству, просто прочь,
И гулко бьют копыта листьев злато,
Что ветром намело из ближних рощ.

Потом отчеты скучные листает,
Смолкает, слыша слово «карантин»,
Не думая, что это время станет
Прекраснейшим из прожитого им.

Как, впрочем, знать, из Рая или Ада
Выглядывают звезды по ночам,
Случайно ль рядом с ним и «Илиада»,
И книжка со стихами англичан*.

О, щедрая на столько красок осень –
Мозаика разрозненных картин!..
Но задаюсь я лишь одним вопросом:
Что, если б не тогдашний карантин?..

Париж

---

* В то время в Болдино у поэта среди личных вещей были книги: «Илиада» Гомера в переводе Н. Гнедича, сборник английских поэтов-романтиков Мильмана, Боулса, Вильсона и Барри Корнуолла, выпущенный в 1829 году парижским издательством A.&W. Galignani. Принято считать, что включенная в него драма Вильсона «Город чумы» вдохновила Пушкина на создание «Пира во время чумы». (*Авт.*)

Евгений Коган

ХАРМС

В комнате с занавешенными наглухо окнами
Под слоем осыпавшейся еще вчера штукатурки
Человек голодает мерзнет скоро сдохнет и
Останется только дым из плохо закрытой печурки

В комнату через щели заходит с улицы холод
И больше сюда уже давно никто не заходит
Человек еще позавчера был высок и молод
А теперь он стар и пурга на улице хороводит

Мимо окон на санках куда-то едут мертвые дети
Неживые взрослые елозят в снегу руками
Человек их не видит человек сидит на кровати
Но он слышит как кто-то колотит в дверь сапогами

Человек встает мечется но не умеет скрыться
Человека уводят остается лишь дым из печки
Человек крестится его папа учил креститься
Человека ведут к машине незнакомые человечки

Они видят бабу с ведром ведро как всегда пустое
Человечки не верят в приметы они как всегда на службе
Человек представляет число оно как всегда простое
Он садится сзади он мягок сгорблен простужен

Потом еще будет время и люди в белых халатах
Скрипит кровать и сквозняк открывает двери
Человек не знает кто живет в соседних палатах
Но ночами они плачут почти как дикие звери

А потом человек исчезает врачи говорят от голода
Его длинное тело бросают куда-то в яму но
Его кто-то видел вчера в табачной лавке за городом
Значит жизнь победила смерть неизвестным науке способом

* * *

Две мыши грызут рогожу
И копошатся в прихожей
Обеих почти не видно
Лишь хвостик мелькает тенью
Да в форточку задувает
Спешащий куда-то ветер
Который несет тревогу
И звуки ночной прохлады
И крики озерной птицы
А так в это время тихо
Лишь ветер колышет травы
И куст за окном кивает
Усталыми за день ветвями
И где-то шумит дорога
А здесь только ночь и мыши
Шуршат за стеной чуть слышно
Голодные серые звери
Короткие серые жизни
Всё время в поисках пищи
Всё время в бегстве от страха
Они ничего не просят
Не ведают не умеют
Лишь тихо грызут рогожу
Стараясь чуть слышно выжить
В шуршащем шепоте ночи
Среди теней и тревоги
Среди забот и волнений
Они копошатся в прихожей
У правой лицо Мандельштама
У левой ершится шерстка
И тихо скрипят половицы
В уснувшей прохладе ночи

* * *

Сдается квартира без боя часов
Все двери закрыты давно на засов
Все звери ушли и жильцов уже нет
И стены молчания дали обет
Они не расскажут ни ночью ни днем
О том как квартиру пытали огнем
О том как за окнами в зимнюю ночь

Стараясь холодной пурги превозмочь
Дыханье
Тащились куда-то по льду
Голодные тени в голодном бреду
Как ночь приносила лишь ужас и страх
Как жизнь замирала на черных устах
Как с неба спускались смертельные дни
Как крыши домов оставались одни
И мертвые строились в сизом дыму
По трое по двое и по одному
Здесь стены молчат они дали обет
Хранят замурованный в камне секрет

Сдается квартира
На грязном полу
Обрывки бумаги
А в дальнем углу
Раскрытая книга без пары страниц
Чуть слышное эхо исчезнувших птиц
Застывшее время уснувших часов
Старинный комод
Да на двери засов
Ночные кошмары
Теней хоровод
И писк комариный с остывших болот

Сдается квартира
Удобна вполне
Герань распускается в ней по весне
Звенит под окном полуночный трамвай.

Давай эту снимем квартиру, давай?

* * *

Памяти Олега Григорьева

На исходе века
У истока рек
Как-то человека
Встретил человек

Выпили по чашке
Вспомнили дела
Ползали букашки
Рыба-сом плыла

Зеленели елки
Горбились сычи
В отдаленьи волки
А вблизи грачи

Разошлись под вечер
Каждый кто куда
Оба рады встрече
Горе не беда

Больше не видались
У истока рек
Одинок по жизни
Всякий человек

* * *

Один счастливый человек
Ходил туда-сюда
Вокруг дурил двадцатый век
Текла к себе вода
Шел дождь шел снег шел гололед
Сады в садах цвели
Шел человек назад-вперед
Туман вставал вдали
Шел человек стоял лежал
Без отдыха и сна
В одной руке песок держал
В другой ведро без дна
Он не боялся мглы ночей
Зверей и рыб и птиц
Он был родной он был ничей
От пяток до ресниц
Он прятал взгляд во тьме волос
Улыбку в тишине
Не замечал жару мороз
И тени на стене
Мелькала жизнь вокруг него
Дурил двадцатый век

Ведь непонятно кто кого
И был ли человек?

Тель-Авив

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

К 150-летию И. А. Бунина

Современники о присуждении Нобелевской премии Ивану Бунину

Александр Яблоновский

ПРАЗДНИК НА ЭМИГРАНТСКОЙ УЛИЦЕ

Очень огорчил Иван Бунин французских коммунистов.

До зубовного скрежета.

Газета «Юманите» даже ругается: «Нобелевская премия по литературе, – пишет она, – присуждена Ивану Бунину, белому русскому эмигранту. – Буржуазия венчает своих. Но есть что-то и смешное, и в то же время наглое в присуждении Нобелевской премии обломку старого мира, выметенному вон пролетарской революцией... И это в то время, когда в СССР русская литература, спрыснутая живой водой революции и социалистического строительства, достигла всем известного успеха».

Надо полагать, что французские коммунисты имели среди русских писателей своих кандидатов из людей, взысканных доверием Коминтерна, и что «белый эмигрант» Бунин застрял у них, как кость, поперек горла.

Но ругаться и говорить о наглости стокгольмского жюри всё-таки, на мой взгляд, не приходится. И не приходится, во-первых, потому что зубовный скрежет в таких случаях только подчеркивает «гибель надежд», а во-вторых, перед свершившимся фактом даже самая комсомольская словесность не дает облегчения душе.

Спору нет, это должно быть чертовски неприятно, когда «обломки», выметенные, как сор, пролетарской метлой, пользуются мировым вниманием и большим международным почетом.

Но неудачи надо переносить с достоинством, и в особенности надо помнить правило:

– При соискании лавровых венков строго воспрещается ругаться. Ни последними, ни предпоследними словами…

Да, на эмигрантской улице это большой праздник. Праздник на той улице, где люди вообще не знают праздников, где бывают только серые, трудные, мучительные будни.

Можно сказать, единственная национальная удача за долгие беспросветные годы изгнания и тоски.

И, конечно, мы это помним и ценим. Даже малознакомые русские люди поздравляют друг друга, и хмурые и серые лица озаряются радостной улыбкой.

Моя семья, например, узнала о радостном случае рано утром, до газет. Узнала в русской лавочке, где продают молоко и хлеб. Узнала от русского лавочника, который возбужденно говорил:

– Бунин, Бунин... Ах, молодчага!

Без сомнения, это в эмиграции праздник общенародный. Он тем и дорог, что обрадовал всех, и все получили право сказать:

– Первый русский писатель, удостоенный Нобелевской премии, был эмигрант, был «обломок», выметенный за ненадобностью, как сор, из пролетарского отечества.

Согласитесь, что звучит гордо и приятно.

Русские люди долго ждали этого радостного дня. Странно сказать, что Нобелевская премия не была присуждена даже Толстому (говорят, впрочем, что он сам отказался). Только два русских ученых, И.П. Павлов и И. И. Мечников, были лауреатами. Но писателей до Бунина не было ни единого. И это было несправедливо, потому что русские люди писали не хуже, чем португальцы, испанцы и печальные «пасынки природы» далеких земель.

Но хорошо всё, что хорошо кончается. Теперь Бунин перешел непроходимый для русских Рубикон, и сами собой должны будут смолкнуть неприятные разговоры о том, что Нобелевская премия не присуждалась русским из-за революции.

Вы, конечно, помните эти досадные разговоры: дескать, русская литература, как и вся Россия, раскололась пополам, и присуждение премии одной половине могло быть понято как несочувствие другой половине. А жюри в Стокгольме хотело бы избежать всякой политической демонстрации.

Но это, конечно, сущий вздор. Все мы знаем, что премия выдается не за политическое направление, а за литературные заслуги. Если бы премия была присуждена Горькому, никто не смотрел бы на это как на торжество революции. До сих пор ни один из Нобелевских лауреатов не оценивался с точки зрения политических убеждений, и было бы смешно, если бы кандидаты разделялись на «левых» и «правых».

– Не сердитесь, товарищи. Но ваш кандидат не оправдал ваших надежд. На этот провал не стоит смотреть как на осиновый кол, приготовленный для вашего кандидата.

Статья впервые напечатана в газете «Возрождение» в ноябре 1933 года.

«ЭКО ДЕ ПАРИ» ОБ УВЕНЧАНИИ БУНИНА

«Эко де Пари» печатает интереснейшую корреспонденцию из Стокгольма от известного французского журналиста Сержа де Шессена.

– Присуждение Нобелевской премии знаменитому русскому писателю Бунину, – пишет де Шессен, – событие истинно сенсационное. Впервые Шведская академия увенчала литературу страны, которая дала Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского и Толстого. Как известно, в 1901 году, когда премия была присуждена французскому поэту Сюлли Прюдому, шведские студенты устроили бурную манифестацию протеста, дабы выразить свое негодование, что не был увенчан Лев Толстой. Но и в последующие годы русская литература оставалась совершенно неизвестной шведскому ареопагу. Таким образом, ныне исправлена истинная несправедливость, и жест Шведской академии заслуживает самых горячих поздравлений.

Нужно отметить, что после прихода большевиков к власти в России положение восемнадцати членов Шведской академии стало особенно деликатным. Действительно, присуждение премии «белому» русскому могло быть истолковано как политический акт. В течение многих лет большевики вели усиленную пропаганду в пользу Максима Горького. Однако Шведская академия не желала увенчать писателя, имя и деятельность которого неразрывно связаны с одиозным строем. Но одновременно она опасалась по мотивам дипломатическим присудить премию писателю, стоящему по другую сторону баррикады. Как обычно в таких случаях, Шведская академия избирала до сих пор средний путь, она продолжала игнорировать русскую литературу.

Увенчание Бунина, таким образом, не только акт справедливости, но и проявление смелости. Коммунистическая печать неистовствует ныне от возмущения. Стокгольмские коммунисты не скрывают своей ярости. Крайние левые газеты произвели по этому поводу анкеты, и некоторые, никому неведомые писатели не поколебались заявить представителям этих газет, что Бунин – писатель вовсе неизвестный.

Неудача Горького произвела на большевиков огромное впечатление. Но независимо от вопросов политики, Шведская академия не могла присудить премию Максиму Горькому, не изменив самым коренным образом воли Альфреда Нобеля. Действительно, в завещании Нобеля говорится, что премии могут удостоиться лишь писатели «идеалистических устремлений». Максим Горький, проповедник и выразитель марксистского материализма, естественно, должен быть исключен из числа тех, которые могут надеяться получить эту пре-

мию. Более того, большевики должны признать, что советской литературе, которая, согласно их воле, должна быть материалистичной, следует отказаться от буржуазных премий.

Самые тонкие шведские литературные критики Эстерлинг и Фогелькист посвятили великолепные статьи Ивану Бунину**.** Они указывают, что как возвышенностью мысли, так и кристальной чистотой формы, и классическими традициями, которыми преисполнено его творчество, Иван Бунин как раз сочетает все условия, требуемые для получения Нобелевской премии. Большевики должны пенять на самих себя, что такой писатель, как Бунин, вынужден быть эмигрантом, и что в иссушающей атмосфере «научного марксизма» невозможно написать «Митину любовь» и «Жизнь Арсеньева».

Статья была впервые напечатана в газете «Возрождение» в ноябре 1933 года.

Надежда Городецкая

И. А. БУНИН В «ВОЗРОЖДЕНИИ»

Усталого, еле приехавшего в Париж И. А. Бунина рвут на части, но вчера он, по собственному его выражению, «вырвался повидать друзей» и зашел в «Возрождение». Многих сотрудников не оказалось на месте, пришлось за ними спешно посылать. В редакции А. И. Куприн правил корректуру. Была его супруга.

Куприна-то первого и встретил Бунин. Обнялись.

– Милый, – взволнованно сказал Иван Алексеевич. – Я не виноват. Прости. Счастье... Почему я, а не ты? Я уже и иностранцам говорил – есть достойнейший.

– Я за тебя рад, – говорил Куприн. – Помнишь, как мы с тобой встретились, как познакомились?

– Ну, еще бы! На море. Оба вылезали из воды, по волосам капли стекают. «Вы Куприн?» – «А вы Бунин?» А тут море зеленое, и всё прочее.

Несколько минут два писателя стояли волнуясь, не находя слов.

– Побелел! – сказал Иван Алексеевич. – И ты беленький стал, и я.

Оторвавшись от начатых статей, пришли из дальних комнат редакции остальные сотрудники. Подъехал Б. К. Зайцев с супругой, В. Ф. Ходасевич; Н. А. Тэффи, к сожалению, не могла приехать, и только по телефону сказала, что «присоединяется всем сердцем». В

который раз повторил Иван Алексеевич рассказ о знаменитом дне присуждения премии. Невольно зашла речь и о советских писателях.

– А помнишь?.. А помните?..

И снова разговор о долгой литературной жизни. Один из сотрудников «Возрождения», тогда еще молодой журналист, первый поздравлял Бунина с присуждением Пушкинской премии.

– Да-да, тогда всё было иное. Иначе воспринималось. Когда меня избрали академиком, помню, ехал ночью в поезде, не сомкнул глаз, пил, – и холодная дрожь. А теперь спокоен.

А. И. Куприн прерывает: «А как мы на Иматру ездили?» – «Да. Помнишь закуски на станции Антреа? – воодушевляется И. А. Бунин. – Мы еще втроем путешествовали, ты, я да Федоров. Ночью он всё свет зажигал. А то, говорит, образы его осаждают. А я спать при свете не могу.»

Кто-то спросил о том, как встречали Бунина в редакциях в молодые его годы. Он засмеялся, вскочил, изобразил в лицах.

– Пришел я в «Русскую мысль». Жду. Вылетает на меня какой-то человек, вихрастый, в очках, рука поднята и в ней занесено перо, точно копье. Прямо па меня. «Наверное, стихи принесли? У нас стихов на девять лет вперед запас». – «Покорнейше благодарю», – сказал – и вон. Не бывать мне, думаю, в «Русской мысли»! На девять лет. И почему именно на девять?

Вполне понятно, что и приветственные речи, произнесенные за стаканом вина, носили тоже характер простоты и сердечности.

Ю. Ф. Семенов ограничился кратким сердечным приветствием. А. О. Гукасов, поблагодарив дорогого гостя за посещение, сказал, что поздравляет его не только как русского писателя, но и приветствует личные достижения Ивана Алексеевича. Радуется как читатель. Тем более, что успех Бунина заставляет сейчас весь мир обратить взоры к русской литературе. А наша литература – одна из тех основ жизни, без которой нельзя существовать и благодаря которой мы уже преодолели многие политические невзгоды и надеемся победить.

И. А. Бунин ответил на это анекдотом: «Это правильно... Идет старик по селу и приговаривает: ‘Кума Вавилу пережил, дядю Власа пережил, тетку Хавронью... так ее... – тоже переживу’. Так и мы».

– Позвольте и мне коротенькое слово, – попросил А. И. Куприн. – Конечно, у всех праздник. А мне не то дорого, что праздник, а то дорого, что мой Вася – именинник.

Кстати, прозвища «Васи» и «Сережи» – давние взаимные клички двух писателей.

Чрезвычайно тепло и дружественно встретился «именинник» с В. Ф. Ходасевичем. Благодарил за мудрую статью и заметил: «Вы

правы, что писательство – труд. Я этого нисколько не отрицаю. И вся моя жизнь – это труд, труд усердный и каторжный».

Когда кто-то попробовал заикнуться о большой мировой славе Бунина, тот возразил с присущим ему юмором: «Ну, славы еще мало, а вот пошлость пошла, пошлости хоть отбавляй».

После шума, пожимания рук тем, кто пришел позже, перекрестных разговоров, потому что – по словам Тэффи – русские никогда не разговаривают со своими соседями, а всегда по диагонали, – И. А. поднялся в кабинет издателя.

Там он просидел с полчаса в обществе А. О. Гукасова, Ю. Ф. Семенова, М. В. Бернацкого, А. И. Куприна, Б. К. Зайцева, В. Ф. Ходасевича, П. П. Муратова, А. А. Плещеева, И. С. Лукаша и других сотрудников.

Внизу И. А. долго и беспомощно искал на вешалке пальто – свое, пока еще – «не Нобелевское». По пути говорил:

– Велят из Стокгольма не забыть фрак. Как это «не забыть»? Откуда его взять, фрак? Приехал портной, снял с меня мерку, как с покойника. Неловко как-то... Грудь белая, хвосты. Но нельзя иначе, король будет принимать.

– А кто же вас представит?

– Меня, как прожившего тринадцать лет во Франции, возьмет под свое покровительство французский посол.

И. А. уходит. Вряд ли удастся ему отдохнуть. Его сейчас подхватят французские журналисты. А вечером, как вчера, он, вероятно, ища покоя, станет воевать с многочисленными лампами.

– Хочу погасить свет, – рассказывает он, – хожу из комнаты в комнату, ткну в одну кнопку – горит, в другую – опять горит. Еще одна лампа. Да когда же они потухнут? Вот тебе и гордый человек, простой лампе и то не хозяин.

Статья была впервые напечатана в ноябрьском номере газеты «Возрождение» за 1933 год.

Николай Рощин

У БУНИНА

Не весьма умело, но всё же с довольно большим приближением к натуре сделанный акварелью рисунок этот висит у меня на стене. Лет пять назад, уезжая в Париж, зарисовал я старый провансальский дом и много раз за эти годы, проснувшись желтым парижским утром и посмотрев на картинку, с тоской думал:

– А ведь там солнце, сад, зелень и море вдали ломко постреливает серебром, и по-весеннему высоко голубое небо.

Двухэтажный желтостенный дом с пятью окнами по второму этажу, большая перед ним площадка, широковетвистая пальма, бельведерская пальма, кажется, самая большая и пышная во всем Грассе, видная снизу отовсюду; мандариновые деревья в саду, три площадки за домом, где цветочные клумбы перемежаются с грядками огорода, представляющего немалую статью в бюджете дома картофелем, салатом и особенно крупными веселыми помидорами. И – совершенно удивительный вид на двадцать верст по радиусу в три стороны, – широчайшая долина внизу и далекие склоны суровых Мор, и занявшее весь горизонт море.

Это – Бельведер, маленькая русская усадьба, до сих пор известная, кажется, только русским писателям, а ныне, волею судьбы, ставшая центром мирового внимания. Бельведер – дача И. А. Бунина.

* * *

Последние восемь лет, каждый год, только с одним перерывом, уезжал я из Парижа по доброму приглашению бельведерских хозяев – отдохнуть, пожить в деревне. Уезжал на месяц, на два, а засиживался иной год и на пять. Бунин – гостеприимный хозяин, без хлебосольно-русской широты, которая почти всегда стоит на нервности и ревности, но приветливый, необыкновенно милый в общежитии и добрый. Пожалуй, и не вспомнить всех, кто побывал под широкой пальмой за чайным и обеденным столом. Мережковские, Тэффи, Зайцев, Алданов, Ходасевич, Рахманинов, М. И. Ростовцев, покойный В. Н. Ладыженский и многие, очень многие другие поднимались по каменистой тропинке к даче на денек, два, а то и на месяц и больше. И, конечно, для каждого в милом радушии Бельведера самым большим подарком всегда бывал он сам – академик, с репутацией холодного и даже надменного олимпийца, в мнениях многих, особенно левых, суровый и жесткий (Боже, как ложно, поверхностно и легкомысленно складывались наши российские репутации) – на самом же деле человек исключительно добрый, в глубине сдержанного сердца редкостно нежный и деликатный, разнообразнейше одаренный, необыкновенно интересный собеседник, темпераментный, горячий, как-то вакхически неукротимый в веселье.

Бунин необыкновенно многолик. Иногда на каком-нибудь официальном собрании, на торжественном банкете глядишь на это очень породистое, несколько усталое лицо («лицо римлянина-патриция» – по выражению одного иностранного писателя), слушая медленную, изящную речь, думаешь, что за необыкновенное превращение! Да

ведь еще вчера вечером этот надменный римлянин изображал цыгана на ярмарке, пел деревенские частушки, танцевал камаринского, передразнивал грустно-милого местного дурачка-музыканта Жозефа и представлял кого-нибудь из знакомых с таким необыкновенным искусством, с такой меткостью, что все валились с ног от смеха.

Помню, как-то летним вечером я слонялся по саду. В доме никого не было, ушли на прогулку. Вечер был тих, почему-то вспомнилась юность, гимназия, военное училище и гимнастический зал – а я был когда-то недурным прыгуном. И вот, очертив на песке расстояние, попробовал я проверить себя, разбежался и прыгнул по-строевому. Вышло. Я еще и еще. И вдруг чувствую на себе чьи-то сердитые глаза.

– Ишь, распрыгался!

Я поднял голову. В окне – хозяин.

– А вы попробуйте-ка так.

– А что же, не прыгну?

– Попробуйте!

Нас разогнала уже в темноте, через час, вернувшаяся с прогулки Вера Николаевна, жена. Последний прыжок мы взяли почти одинаково. Совершенно уверен, что мой суровый взводный поставил бы академику отличную отметку за гимнастику.

* * *

Б. К. Зайцев как-то напечатал, что в Грассе нельзя не писать. В самом деле, от этого необыкновенного воздушного простора, от моря вдали, от вида гор и высокого неба охватывает человека некая преизбыточность в чувствах, почти невозможность остаться в одиночестве, в замкнутости – каждого потянет за работу по склонностям и способностям его.

Здесь, на Бельведере, созданы «Митина любовь» и последняя книга стихов, и еще – недописанная, стоящая сейчас в центре всеобщего внимания и принесшая мировую славу автору «Жизнь Арсеньева» – книга изумительная, необыкновенная.

Здесь же, на «Монфлери», стоящем чуть ниже, где жили Бунины до Бельведера, написал свое «Солнце мертвых» Шмелев. Писал здесь и Зайцев.

Бунин исключительно скромен в работе. Никакого культа, никакого хождения на цыпочках. Кабинет внизу, в первом этаже. Широкий круглый стол, очень свободный, старенькое кресло и склоненная над столом фигура человека во фланелевой куртке или старом шелковом, чуть ли не от дедов, халате.

А этажом выше скрипит перышком и шелестит страницами

большого дневника В. Н. Бунина (урожденная Муромцева, племянница председателя Государственной Думы), уже рассказавшая в печати много интересного об ушедшей «большой» Москве, встречах, воспоминаниях.

Бунины бездетны. И уже много лет живут на Бельведере талантливые молодые писатели – Галина Кузнецова и Л. Ф. Зуров. В их комнатках тоже тишина, шелест бумаги, скрип перьев. Кузнецова и Зуров – как бы приемные, но почти кровные – свои. Отношение же ко мне – как к непутевому племяннику.

С утра до полудня, до обеда, тишина. Все за работой.

В Париже смеются – «монастырь муз».

* * *

Как хорош, долог и мирен был грасский день!

Подъем ранний, когда еще косо стоит по саду солнце, в тени – резкий холодок, поблескивают глянцевитые листья. В этот ранний час и первая встреча у двух соседних кранов в саду. (И. А. до поздних холодов, до зимы, умывался на воздухе.) Шутливые замечания, смех, шалости, у Бунина есть привычка мило, с шуткой дразнить «своих». Там – кофе и – «по камерам». В одиннадцать обыкновенно поднимается снизу почтальон. Письма, газеты, иногда деньги. Тут – разговор шепотом, первые новости – ведь жизнь идет на сутки позже, чем в Париже, газеты приходят только на другой день. За завтраком гласное чтение писем, обсуждение новостей, домашних неожиданных горестей и радостей. Там – отдых, и опять за работу, до чая, а то куда-нибудь на прогулку, вниз, в долину, или наверх, по широкой новой дороге, через террасу, площадку принцессы Полины, сестры Наполеона, жившей когда-то в Грассе, или в сторону, по узкой тропинке, над каналом, на другой скат горы, откуда совсем волшебный открывается вид на побережье, Антиб, Ниццу, к синеве итальянской, где вечером совершенно околдовывает тебя игра маяков по берегу, россыпи огней, раздуваемые влажным морским ветром кучи тлеющего угля.

Прелестны были вечера в Бельведере, «вечера на хуторе». Всё население дома – у хозяина. Свет, горит печечка (нет в доме центрального отопления), сидят – кто на диване, кто просто на кровати. Читает вслух по-русски или по-французски сам Бунин, чаще всего – Мопассана, любимца. Чтец он удивительный. Так, вместе, вечерами «прошли» Толстого, Гоголя. Вечера эти для меня незабываемы своей семейной милой старопомещичьей прелестью, почти повсюду ушедшей.

А в одиннадцать – спать. И только я – полуворовски, с укоризненного разрешения В. Н. – на ночь утаскиваю чашку кофе.

* * *

«Олимпиец». Да, ни нытья, ни жалоб, ни бесплодной слезливости. Но внутренне, сердцем, скрыто переживал он с горькой болью, пронзительно, и общее горе, и бесправие эмигрантское, и бедность друзей, и свою невозможность помочь им.

Помню, умер И. Савин, исключительно талантливый (правда, без шлифовки парижского Парнаса) молодой поэт, белый воин. Умер от туберкулеза, в результате ранений[1]. На третий день пришло письмо от старика-отца – простое, сдержанное, несмелое. Писал, что сообщает о смерти сына, потому что мечтою ушедшего было встретиться когда-нибудь с Буниным[2]. У старика умер последний сын – два других убиты в Гражданскую войну, третий расстрелян при переходе через советскую границу[3].

Мохнатый листок дешевой бумаги, горькие нескладные строки. Бунин не дочитал письма – разрыдался[4].

* * *

Старый провансальский дом принадлежит мэру города г. Рукье. Иногда, лежа под необъятной фигой, видел я молчаливую его фигуру – расхаживал по саду, осматривал, нет ли где-нибудь ущерба. Отношение к жильцам было доброжелательное, но сдержанное.

Могу представить сейчас, как взволнован г. Рукье, мэр, и местный почтмейстер, лично знающий чудаковатого иностранца, совсем растерявшийся от этой лавины хлынувших со всех концов мира телеграмм, писем, телефонных вызовов за десятки тысяч километров; и местный богач, мсье Лантельм, лавочник, оказывавший кредит Бельведеру, и мсье Бонен, наверное, улыбающийся сходству имен, виноторговец, не берущий с давнего заказчика залога за посуду, – как взволнован и потрясен весь этот маленький городок свалившейся на него мировой славой! Делегации, вереницы автомобилей, сотни корреспондентов и любопытных, расспрашивающих о скромной даче на всех перекрестках, – наверное, уж и специальные таблицы стоят на перекрестках с указанием Бельведера.

Город готовится достойно отпраздновать победу своего согражданина. Какое волнение, какая гордость! Почтенный г. Рукье, наверное, просит этих датских, шведских, американских, испанских журналистов отметить – он наш, он гражданин нашего Грасса!

Милое, мирное, чем-то гоголевское место, ставшее в центре мирового внимания. Что же, поделимся с тихим провансальским городком нашей российской славой!

Статья была впервые напечатана в газете «Возрождение» в ноябре 1933 г.

1. Здесь автор статьи ошибается – Иван Савин умер от заражения крови после операции аппендицита.
2. Одно из своих лучших стихотворений «У последней черты» Савин в 1925 году посвятил И. Бунину.
3. Два старших брата Ивана Савина, михайловские артиллеристы, были расстреляны в Крыму, в Симферополе в ноябре 1920 года. Коля, пятнадцатилетний мальчик, служивший в синих кирасирах, погиб в бою. Борис был зарублен под Каховкой красными. Две сестры умерли от голода.
4. На смерть Савина Иван Бунин писал: «После долгой и тяжелой болезни скончался в Гельсингфорсе молодой поэт и молодой воин – Иван Савин... То, что он оставил после себя, навсегда обеспечило ему незабвенную страницу в русской литературе; во-первых, по причине полной своеобразности стихов и их пафоса; во-вторых, по той красоте и силе, которыми звучит их общий тон, некоторые же вещи и строфы – особенно» («Возрождение». 4 авг. 1927 г.).

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О БУНИНЕ

Вышедшие вчера в Париже французские газеты откликнулись на предоставление премии Нобеля И. А. Бунину**.** Во многих газетах имеются статьи с биографическими данными и литературной оценкой нашего знаменитого писателя.

«Тан» поместила жизнеописание Бунина, оканчивающееся следующими словами: «Воздание должного дарованию Ивана Бунина падает отраженным светом на русскую литературу в изгнании. Сегодня (10 ноября) русские газеты, издающиеся в Париже, преисполнены ликования. Они говорят: ‘Это великий день не только для самого Ивана Бунина, но и для всей эмиграции’».

«Пари Суар» помещает особую корреспонденцию, полученную по телефону из Канн, следующего содержания: «На столе нет водки, но стоят рюмки с коньяком для посетителей, чередующихся на вилле Бельведер. Мы – в Грассе. Великолепное осеннее утро, какое только можно себе представить. Из кабинета писателя видны холмы, спускающиеся к морю. Новый лауреат Нобелевской литературной премии одет в пиджак с красной подкладкой, который делает его похожим немного на цыгана. Тонкое лицо с кротким выражением, голубые глаза, немного бледные, но молодые и ясные.

Иван Бунин говорит медленно на прекрасном французском языке. Он получил столько уже телефонных запросов, что без всяких с моей стороны вопросов дает нужные указания, его касающиеся. ‘Я родился, – сказал писатель, – в 1870 г. в Воронеже. Меня всегда притягивал к себе народ и земля. Я был один из двенадцати русских академиков перед революцией’.

Потом Бунин показывает мне брошюрку, написанную им в 1921 году по-французски. Он указывает фразу, которую я переписываю: ‘Я приветствую ваше благородное, великодушное отечество, оказавшее мне приют в изгнании’. Я задаю банальный вопрос:

– Какого французского писателя вы предпочитаете?

Бунин отвечает с энтузиазмом:

– Франсуа Мориака.

– Каким искусством вы больше всего интересуетесь вне литературы?

Бунин думает:

– Я любил кино, когда оно еще было немым».

«Энтрансижан» отмечает, что впервые Нобелевская премия предоставлена русскому романисту и что Бунин в свое время в России получил Пушкинскую премию. Газета указывает ряд произведений Бунина: «Господин из Сан-Франциско», «Деревня», «Суходол», «Жизнь Арсеньева», причем упоминает, что некоторые произведения переведены на французский язык.

«Ордр». Газета после телеграммы о присуждении премии Бунину из Стокгольма от 9 ноября поместила на первой странице большую статью, посвященную этому событию. В статье заключается разбор литературного творчества Бунина, причем автор статьи Филипп Амигэ обращает внимание на художественную правдивость народных образов, созданных Буниным. Его русские мужики не подсахарены. Он снял условный городской лак с мужика и представил его таким, как он есть в действительности. Заканчивается статья следующими словами: «Сегодня Бунина знают повсюду. Должным образом оцениваются мощь его таланта, сила описаний, правда наблюдений. Страницы Бунина излучают чувства человечности – человечности славянской, столь неопределимой, столь сложной для нас, западных людей».

«Кельнише Цейтунг», перечислив некоторые произведения И.А. Бунина, пишет: «Этого писателя считают единственным бесспорным, подлинно национальным писателем среди оторванной от родины и задыхающейся в этом отрыве русской литературы. В том, что выбор жюри пал на этого консервативного писателя, живущего в изгнании, имеется некая духовная справедливость».

«Таймс» сопровождает сообщение о присуждении И. А. Бунину Нобелевской премии кратким комментарием, в котором указывается, что творения Бунина являются обличением современной цивилизации («Господин из Сан-Франциско»). В других своих произведениях он рисует русских людей без прикрас, изображает русскую душу, с ее особой сложностью, с ее глубинами, и темными, и светлыми, но почти всегда трагическими.

«Дэйли Телеграф» ограничивается фактическими сведениями. Она пишет, что И. А. Бунин достиг высокой литературной оценки еще в довоенной России и что он был издателем «контрреволюционной газеты на Украине во время Гражданской войны»[1].

Статья была впервые напечатана в газете «Возрождение» в ноябре 1933 года.

1. Речь идет, по-видимому, об истории несостоявшегося утверждения И. А. Бунина в должности второго редактора контрреволюционной одесской ежедневной общественно-политической и литературной газеты «Южное обозрение», владельцем которой был Н. П. Цакни. Бунин был вхож в дом Цакни и, влюбившись в его 19-летнюю красавицу-дочь Анну, сделал ей предложение. Цакни порекомендовал будущего зятя на должность редактора «Южного обозрения», но предложение его не было принято властями. Однако, несмотря на отказ утвердить его в звании второго редактора «Южного обозрения», Бунин продолжал печататься в газете и следить за ее судьбой до весны 1900 г., т. е. до развода с Анной.

Публикация – Е. Дубровина

Список упомянутых имен

БЕРНАЦКИЙ Михаил Владимирович (1876, Киев, – 1943, Париж), магистр политической экономии, публицист, педагог. Окончил юридический факультет Киевского университета. Профессор С.-Петербургского Политехнического института. В составе Временного правительства был министром финансов. В Гражданскую войну начальник Управления финансов Вооруженных сил Юга России (1919–1920). В 1920 эмигрировал в Константинополь, в том же году переехал во Францию. Читал финансовое право на русском отделении юридического факультета Парижского университета, в Русском коммерческом институте, Русском высшем техническом институте. Публиковал статьи в газете «Возрождение». Сотрудничал в русской и французской периодической печати (1929–1939). Автор работ о финансовой политике России, денежном обращении и т. д. Во время оккупации Парижа немцами был арестован, затем освобожден по состоянию здоровья (1942).

ГОРОДЕЦКАЯ Надежда Даниловна (1901, Москва, – 1985, Витни, под Оксфордом, Англия), писатель, философ, журналист. В 1919 через Константинополь эмигрировала в Югославию. Училась в Загребском университете. В 1924 переехала во Францию. Занималась литературой и журналистикой. Выпустила в Париже романы «Несквозная нить» (1924), «Пара» (1931), «L‘exil des enfants» (1936). Один из организаторов Франко-русской студии (1929–1930). Член Союза молодых поэтов и писателей.

Публиковалась в парижских журналах «Иллюстрированная Россия», «Сатирикон», «Казачий журнал», газетах «Возрождение», «Россия и славянство» и др. В 1934 поселилась в Англии. Прослушала курс богословия в College of Ascension в Бирмингеме. Участвовала в работе Содружества мученика Албания и преп. Сергия, читала лекции. Защитила диссертацию по богословию в Оксфорде. Доктор философии (1944). Профессор Ливерпульского университета (1956–1968).

ГУКАСОВ Абрам Осипович (наст. фам: Гукасянц, 1872, Кавказ, – 1969, Париж), нефтепромышленник, меценат, издатель. Окончил в Москве Лазаревский институт восточных языков. Учился на физико-математическом факультете Новороссийского университета в Одессе. С 1894 гпродолжил образование в Лейпциге, получил степень доктора естественных наук (геология) и доктора философии. В 1899 поселился в Лондоне, представлял в Европе нефтяное дело своей семьи. Вернулся в Россию. Председатель правления Нефтепромышленного и разведочного общества. После революции эмигрировал во Францию. В 1924 основал в Париже судостроительное общество «Les Pétroles d‘Outre-Mer». Занимался домостроительством в Париже, Каннах, Нейи (под Парижем). В Париже основал газету «Возрождение» (1925–1940, с 1949 – журнал того же названия), исполнял обязанности администратора. Основал типографию «Наварр», где печатались русские книги и периодические издания. Председатель правления Российского национального объединения. Возглавлял Фонд имени братьев Гукасовых, основанный с целью охраны языка и культурных ценностей армянского народа. Передал в дар Общекадетскому объединению во Франции библиотеку журнала «Возрождение» (свыше 3000 томов). Член Особого комитета по организации чествования Анри Труайя по случаю избрания его членом Французской Академии (1960).

ЛАДЫЖЕНСКИЙ Владимир Николаевич (1859, Саратовская губерния, – 1932, Ницца), поэт, прозаик, общественный деятель. В 1917 году его имение подверглось разорению, В. Н. Ладыженский уехал в Москву, где возглавлял Общество просвещения. В 1919 эмигрировал во Францию. Жил в Бордо, затем под Парижем – в Медоне, Шавиле (Жавиле), в последние годы жизни – на юге Франции. Трудился на птицеферме, занимался педагогической деятельностью, был воспитателем. В 1926 участвовал в издании газеты «Русскому мальчику». Состоял членом Союза русских писателей и журналистов, Общества русских студентов по изучению славянской культуры. Публиковал рассказы из быта эмигрантов, воспоминания о Лескове, Плещееве, Найденове, Лаврове. В журнале «Перезвоны» (Рига) публиковал литературно-критические статьи о творчестве Б. К. Зайцева, Е. Н. Чирикова, рецензии на книги Бунина, Шмелева и др.

ЛУКАШ Иван Созонтович (1892, С.-Петербург, – 1940, Блиньи, под Парижем), прозаик, поэт, драматург, литературный критик, публицист.

Окончил юридический факультет С.-Петербургского университета. Первая книга стихов в прозе «Цветы ядовитые» вышла в 1910 году. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1920 эмигрировал в Константинополь. Затем жил в Турции, Болгарии, Австрии, Чехословакии. В 1922 поселился в Берлине. Сотрудничал в газете «Руль», журнале «Русская мысль». Член правления Союза русских журналистов и литераторов в Берлине. Опубликовал несколько книг. Печатался также под псевдонимом Ив. Сазонов. В 1925 переехал в Ригу. Сотрудничал в газетах «Слово» и «Сегодня», журнале «Перезвоны». В 1928 приехал во Францию, жил в Медоне (под Парижем). Публиковался в журналах «Иллюстрированная Россия», «Мир и искусство», «Числа», «Часовой», «Avenir, Mercure de France», «Je suis partout», «Candide»; в газетах «Возрождение», «Русский инвалид» и др. В Париже издал сборник рассказов «Дворцовые гренадеры» (1928) и ряд романов.

МОРИАК Франсуа (фр. François Mauriac, 1885–1970), французский писатель; член Французской академии наук, лауреат Нобелевской премии в области литературы (1952); награжден Большим крестом ордена Почетного легиона (1958). Один из самых крупных католических писателей XX века.

МУРАТОВ Павел Павлович (1881, Бобров Воронежской губ., – 1950, Уайтчерч-Хаус, Ирландия) – инженер путей сообщения, артиллерийский офицер, писатель, искусствовед, переводчик, публицист. Окончил Первый кадетский корпус в Москве, Институт путей сообщения в С.-Петербурге. С 1906 служил в Румянцевском музее хранителем отдела изящных искусств и классических древностей. Как художественный критик печатался во многих периодических изданиях. В 1911 вместе с женой совершил по поручению Румянцевского музея поездку в Италию и Францию. В 1911–1912 гг. в Москве издал книгу «Образы Италии» (в 2-х тт.). В 1913 вошел в Комитет первой выставки древнерусского искусства в Москве. Участник Первой мировой войны. Один из учредителей Книжной лавки писателей в Москве. В 1918–1922 гг. занимал ряд экспертных постов при Народном комиссариате просвещения. В 1921 вошел в состав Комитета помощи голодающим в России. В 1922 выехал в заграничную командировку, в Россию не вернулся. Жил в Берлине. Один из основателей берлинского Клуба писателей. В Берлине издал окончательную редакцию «Образов Италии», дополненную 3-м томом. В 1923 поселился в Риме. В 1927 приехал в Париж. Сотрудничал в газете «Возрождение», вел рубрику «Каждый день». Публиковался в журналах «Современные записки», «Воля России». В Париже издал ряд книг на русском и французском языках. Перед началом Второй мировой войны переехал в Лондон. В соавторстве с У. Алленом издал книгу об участии русских во Второй мировой войне. Незадолго до смерти переселился в Ирландию. Бунин очень ценил его статьи на политические темы, напечатанные в газете «Возрождение».

ПЛЕЩЕЕВ Александр Алексеевич (1858, С.-Петербург, – 1944, Париж) –

писатель, драматург, мемуарист, театральный и литературный критик, историк балета, артист. Сын поэта А. Н. Плещеева. Как драматический артист выступал на сценах Малого театра и Александринского, в театрах провинции. Редактор журнала «Театральный мирок» (1884–1885), газеты «Петербургский дневник театрала» (1903-1905), соредактор «Биржевых ведомостей» (1908–1909) и др. Печатал стихи в московских и петербургских газетах. Член Совета Государственного Литературно-театрального музея Академии наук. В 1919 эмигрировал на Мальту, переехал в Италию. С 1920 во Франции, жил в Ницце, в Париже. Член Союза русских писателей и журналистов в Париже, член Союза деятелей русского искусства. Автор более сорока пьес. В Париже выпустил ряд книг о театре и балете. Сотрудник «Последних новостей», «Возрождения», «Сегодня» и др. Последние годы провел в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа.

ПРЮДОМ Сюлли (Sully Prudhomme, 1839–1907), французский поэт и эссеист, член группы «Парнас», в 1901 году стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе.

РОСТОВЦЕВ Михаил Иванович (1870, Киев, – 1952, Нью-Хевен, США), русский и американский историк античности, двоюродный брат Луначарского. Сын филолога-классика, действительного тайного советника И. Я. Ростовцева. По окончании гимназии поступил на историко-филологический факультет Киевского университета, где стал специализироваться по классической древности. Перевелся в Императорский С.-Петербургский университет, курс окончил на историко-филологическом факультете в 1892 году. Сотрудничал в журналах «Мир Божий», «Русская мысль» и «Вестник Европы», много публиковался в зарубежных (прежде всего, немецких) научных журналах. С 1905 был активным деятелем Кадетской партии. Эмигрировал в 1918, жил в Англии и США. В эмиграции опубликовал на английском языке труды, принесшие ему мировую известность: «Социальная и экономическая история Римской империи», «Социальная и экономическая история эллинистического мира» и др.

РОЩИН Николай Яковлевич (наст. фам. Федоров, 1892, Смоленск, – 1956, Москва) – прозаик, журналист, литературный критик. Участвовал в Первой мировой войне, в годы Гражданской войны воевал в армии генерала А. И. Деникина. В 1919 эвакуировался с госпиталем в Югославию. Окончил философский факультет Белградского университета. В 1924 переехал во Францию. Работал на вагоноремонтном заводе. С 1925 – литературный сотрудник газеты «Возрождение». С середины 1920-х по 1940-е жил в доме Буниных (Париж, Грасс). Выпустил в Париже сборник рассказов «Горное солнце» (1928), роман «Белая сирень» (1937) и др. С 1938 сотрудничал с советскими службами. Участник движения Сопротивления во Франции. В 1944 вступил во Французскую коммунистическую партию. Член Союза советских патриотов. Печатался в ж. «Иллюстрированная Россия», «Современные записки»,

«Сатирикон», «Станица»; в газетах «Возрождение», «Последние новости», «Дни», «Россия», «Русские новости», «Русский патриот», «Советский патриот» и др. В 1946 г. был выслан из Франции в СССР как советский агент.

СЕМЕНОВ Юлий Федорович (1873, Тифлис, – 1947, Париж) – журналист, мемуарист, общественно-политический деятель, масон. Учился на физико-математическом факультете Московского университета, продолжил образование в Сорбонне. Доктор физики Парижского университета (1904). Член партии кадетов. Воевал в Первой мировой войне, служил радистом в воздушной эскадрильи. В 1917 депутат Закавказского сейма, председатель областного комитета Партии народной свободы. В 1919 был командирован правительством А. И. Деникина в Париж. В Россию не вернулся. В 1920 в Париже – один из создателей Русской Академической группы. Сотрудничал в газетах «Общее дело», «Возрождение», в журналах «Иллюстрированная Россия», «Часовой». В 1927 сменил П. Б. Струве на посту главного редактора газеты «Возрождение», оставался на посту до 1940 года.

САВИН Иван Иванович (Саволáйнен, до эмиграции Саволаин, 1899, Одесса, – 1927, Хельсинки), поэт, прозаик, журналист. Участник Белого движения, деятель русской эмиграции в Финляндии. С началом Гражданской войны семья Савиных встала на сторону Белого движения и почти вся была истреблена. В ноябре 1920 в Крыму Савин, больной тифом, попал в плен к красным и чудом избежал расстрела (все это он потом описал в автобиографической повести «Плен»). Пройдя через тюрьмы и отделы ЧК, в 1921 Савин перебрался в Петроград и оттуда вместе с отцом эмигрировать в Финляндию весной 1922 года. Работал на сахарном заводе, занимался литературной деятельностью. В 1926 в Белграде вышел его единственный прижизненный сборник стихов «Ладонка», изданный Главным правлением Галлиполийского общества. Иван Савин скончался 12 июля 1927 от заражения крови после неудачной операции.

ШЕССЕН Серж де (Сергей Борисович Шершевский, Serge de Chessin; 1880–1942), журналист, писатель, сотрудник французского посольства в Стокгольме, работал атташе французской прессы в Швеции, член Ассоциации иностранной прессы Швеции (Foreign Press Association of Sweden), шведский издатель Бунина. Большинство писем Шессена, сохранившихся в архиве Бунина, посвящено организации его Нобелевских дней, которые отчасти планировал Шессен. В 1931 напечатал интервью с Буниным. Из письма Бунина к Шессену: «Вчера вечером сидели у меня И.И. Бунаков-Фондаминский и Г. П. Федотов. Много говорили о Вашей замечательной книге и решили: всякий русский – да и не русский – должен Вам за нее в пол поклониться!» (1931). Автор книг о русском коммунизме (на фр. языке): «В стране красного слабоумия. Русская революция (1917–1918)» и «Русский апокалипсис. Большевистская революция. 1918–1921», нескольких романов. Он написал две книги о Швеции (1930, 1935).

ЭСТЕРЛИНГ Андерс (Anders Osterling, 1884–1981), писатель, литературный критик. В 1919 году, в возрасте 35 лет, был избран членом Шведской академии (самый молодой в то время член Академии, в которой состоял в течение 62 лет).

ЯБЛОНОВСКИЙ Александр Александрович (Снадзский, 1870, Херсонская губ.,– 1934, Париж) – журналист, прозаик, фельетонист. Окончил юридический факультет С.-Петербургского университета. Участник Гражданской войны на юге России. В 1920 эмигрировал в Египет, затем переехал в Париж. В 1921 был избран в правление Союза русских литераторов и журналистов. Постоянный сотрудник газеты «Возрождение». Один из редакторов однодневной газеты «День русской культуры» (Париж, 1927). Публиковался в газетах «Общее дело», «Руль», «Сегодня» (Рига), в «Иллюстрированной России», в журнале для детей «Зеленая палочка» и др. Автор многочисленных книг для детей. В 1928 на Первом съезде русских писателей в Белграде был избран председателем Совета объединенного Зарубежного союза русских писателей и журналистов. Был награжден Югославским орденом Св. Саввы 3-й степени.

Юрий Мандельштам

Статьи об Иване Бунине

БУНИН[1]

Бунин – единственный русский писатель, получивший Нобелевскую премию (в 1933 г.). Одно это вводит его «exofficio»[2] в ряд самых известных, даже знаменитых наших писателей. Подумать только, в той самой чести, которой удостоила его Стокгольмская Королевская Академия, было в свое время отказано Льву Толстому. Не стоит останавливаться, однако, на печальной ошибке шведских академиков и выводить из нее, что выбор этих судей всегда ошибочен. Среди наших современников Бунина отметить, несомненно, стоит. Жаль только, что судьи не сочли нужным заметить и кое-каких других русских писателей. Как бы то ни было, странно и парадоксально было бы утверждать, что Бунина не оценили по-настоящему.

Тем не менее, такое парадоксальное мнение вполне может быть обосновано. Понятие оценки подразумевает обзор и суд. Мне лично не привелось, однако, прочесть ни одного вполне серьезного критического разбора творчества Бунина – даже в дни его «торжества». Получается так, что когда его превозносили, то не понимали, за что его превозносят, а когда отвергали – то тоже не отдавали себе отчета, почему отвергают. Пожалуй, Бунина, в конце концов, просто не знают, так что наш нобелевский лауреат стал чем-то вроде «неизвестной знаменитости».

За границей, до присуждения награды, он и впрямь был почти неизвестен. После 1933 года его имя стало знакомо всем интересующимся литературой. Но большей частью знакомство именем и ограничивалось. Редкий случай: произведения нобелевского лауреата подлинного успеха не имели. Дело не в увлечении широкой публики. Характерно то, что только у двух европейских писателей встретил я сколько-нибудь обоснованные суждения о Бунине. И то строки, посвященные ему Андре Жидом в его дневнике, больше относятся к человеку, чем к писателю. Что же касается записи Катрин Мансфилд[3], то она сводится к импрессионистскому суждению о блестящей манере повестей Бунина и неприятной личности, сквозь эту манеру просвечивающей. В конце концов, и это утверждение дает нам не так уж много.

В России и в эмиграции на Бунина, конечно, обращали внимание куда более пристальное – и до, и после его награждения. Мнения о нем, однако, почти всегда были искажены некоторыми недоразумениями. По произведениям сравнительно раннего периода творчества Бунина его причисляли к писателям «бытового», «народнического» склада. Последнее определение особенно курьезно, принимая во внимание ту поистине жестокую объективность, те мрачные тона, которыми отмечены описания крестьянской жизни в «Суходоле», в «Деревне» и ряде других повестей Бунина. Существенно то, что пессимизм Бунина не смягчен сожалением или жалостью и касается не только «быта», но и «бытия», – не только условий жизни мужика, но и некой ее сути. «Народник» Бунин народ явно не любит. С пристрастием к быту, к «описательству» дело обстоит сложнее. Бунин в быт действительно всматривается упорно, тщательно изучая его. Но как из чистого «бытописания» могло родиться творчество второго периода Бунина – «Господин из Сан-Франциско», «Митина любовь», «Солнечный удар», «Жизнь Арсеньева», «Лика» – произведения несравненно более глубокие и совершенные, чем молодые книги Бунина («Лика», конечно, – его шедевр во всех смыслах), и не имеющие к быту почти никого отношения? О «Господине из Сан-Франциско» принято говорить как о коренном переломе в творчестве Бунина – но бывают ли такие «переломы», ничем не подготовленные в предыдущих писаниях?

Во всяком случае, именно как «бытовика» оценили Бунина в кругах «Знания», и репутации «реалиста» был он обязан своим успехом. С другой стороны, как «описателя» отвергли его символисты, кажется, именно о Бунине пустившие свои «крылатые словечки»: «он не подозревает» и «не кончил консерватории». Впоследствии им – или их преемникам – пришлось признать, что Бунин «подозревает» о гораздо бóльшем, чем многие из его соратников, и «консерваторию» он вполне окончил, хотя, может быть, не ту, через которую они прошли сами. И всё же кличка «описателя» к Бунину применяется нередко, что при разборе его книг эмигрантского периода уже совершенно смешивает все понятия и критерии.

Чтобы вывернуться из создавшейся путаницы, стали настаивать на некоторых, почти противоположных, сторонах произведений Бунина – например, на психологии его героев, для Бунина отнюдь не характерной. Достаточно прочесть хотя бы портрет Лики в день бала, чтобы понять, что Бунин психологией сознательно пренебрегает, нарочито уделяя переживаниям героя лишь одну заключительную фразу отрывка. Тем не менее, Бунина стали судить даже в свете «психологизма» – особенно «Митину любовь». Нужно ли говорить, что

для понимания сущности бунинского творчества такие разборы почти совершенно бесполезны?

После присуждения Бунину премии стали превозносить его мастерство – причем часто в ущерб тематике и эмоциональной ткани его произведений. Таким образом, начало создаваться впечатление, что это мастерство – лишь блестящая формальная виртуозность, скрывающая сюжетную, а то и душевную, пустоту. Забывая, что подлинное мастерство органически рождается из темы писателя и сливает форму и содержание в одно благодаря личной манере автора, а не разделяет их. Бунина стали разбирать с чисто формальной точки зрения, связывая его стиль и построение его книг с традиционными канонами и не учитывая как раз то, что он внес в эти каноны своего. Похвалы эти – вероятно, помимо воли хваливших – нередко оборачивались упреками и осуждениями.

Разрушить все эти недоразумения не так легко. Я все-таки постараюсь наметить некоторые отличительные черты Бунина, некоторые основные аспекты его тематики, может быть разрушающие мнимый ореол «безоговорочного признания», но зато обнаруживающий действительное своеобразие и ценность его писаний.

* * *

Бунин начал со стихов. Это – путь многих крупнейших прозаиков, впоследствии от стихов совсем отошедших и даже иногда в своем прозаическом творчестве далеких от поэтических приемов – если не от самой поэзии. Вспомним Гоголя, Анатоля Франса, в особенности – Мопассана. Но Бунин работал над стихами не как «новичок», ищущий своей манеры, и уже, во всяком случае, не как любитель. Да он и никогда не порвал со своей стихотворной линией. В сравнительно поздние свои сборники включал он, наряду с рассказами, и стихи – и уже в эмиграции издал свои «Избранные стихотворения».

Есть сомнения, что стихи – отнюдь не характерная и самая слабая часть творчества Бунина, несмотря на своеобразное мастерство, им достигнутое (одна его поэма – стихотворный перевод, вернее, творческое воспроизведение «Песни о Гайавате» Лонгфелло, представляет собою даже своего рода шедевр). Но мастерство это, отнюдь не будучи одним лишь внешним умением, всё же не до конца органично. В стихах Бунина, за редким исключением, чувствуется некая вялость, отсутствие подлинной музыкальности, не восполняемой, а только еще больше уничтожаемой образным богатством и красочностью, – пожалуй, даже отсутствие поэзии. Бунин явно пытался создать нечто вроде русского «Парнассизма»[4] – попытка в век символизма почти неосуществимая, не удавшаяся даже столь прирожденному

поэту, как Гумилев, предавшему во имя поэзии свои «акмеистские» теории. В начале века, как бы впитав в себя все подпочвенные виды поэзии, «Парнасцам» не хватало той словесной ритмической крепости, которая помогла Теофилю Готье или Леконту де Лилю создать свой зрительный, живописно-скульптурный поэтический опус. Брюсову в его «парнасских» начинаниях пришлось заменить мрамор и бронзу разрисованным картоном[5]. Бунин же «лепил» свои стихи из материала более подлинного, но рассыпающегося песком и мелким щебнем. Вместо «парнасской» линии он предложил антологическую традицию «poëtae minōres»* Маяковского типа. Конечно, с прозой Бунина его стихи нельзя даже сравнить.

И всё же его пристрастие к ним симптоматично и помогает уяснить кое-что и в его повестях и романах. Сквозь зримый мир, при посредстве этого своего живописного видения, Бунин стремится к некой поэзии, разлитой вокруг нас. Может быть, чувствуя себя бессильным воплотить ее в стихах, он стал осуществлять то же задание и теми же методами в прозе. Вот откуда красочность и образность его стиля, его любовь к описаниям, к внешнему миру, к природе как к живописному элементу и к быту как к «жанровой картине». Сквозь «жанр» и сквозь «пейзаж» Бунин стремится к постижению и утверждению задевшей его крылом поэзии, онтологически для него достоверной, но отражаемой «тенью птицы» в его мнимо-романтическом искусстве. Это создает даже в «Суходоле» и «Деревне» ощущение парения над описываемой Буниным реальностью того «воздуха», которого так трагически недостает большинству наших «бытовиков», в частности, почти всегда – Горькому. В позднейших же своих произведениях Бунин как бы прорывает «бытовую» пленку, поэзия врывается со всей силой в живописный мир, и парение превращается в полдневное знойное сияние. Описания Бунина коренным образом меняются, становятся неким онтологическим центром его повестей, не менее существенным, чем портреты, и более существенным, чем фабула. Вспомним описание Петербурга в «Петлистых ушах», северной ночи в «Цикадах»[6], Красного моря в «Водах многих», вспомним в особенности описание малороссийского полдня и ночного пробега в санях в «Лике». Поэзия, проникшая в живопись, властно торжествует над ней, поистине преображает ее.

* * *

Архитектоническое мастерство Бунина также связано теснейшим образом с этой его поэтической направленностью. Обычные про-

---

*младшие поэты (*лат.*)

заические законы Бунина не удовлетворяют, некое пренебрежение к фабуле мешает ему создать роман в традиционном смысле слова. Ни «Суходол», ни «Деревня», конечно, не следуют романическим канонам, это, скорее, живописные полотна, чем «истории». Если же «Жизнь Арсеньева» и впрямь удалась Бунину как роман, то тоже вследствие известного расширения рамок, включения в интригу живописных и поэтических элементов. Ускоренный же конец романа, разбивая его органическое течение и как бы приближая его к новелле, вносит личный, бунинский, новый элемент в построение книги. Своеобразие это достигнуто, однако, неким насилием над романической тканью. Что касается «Лики», то в ней это ритмическое насилие еще заметнее – и, может быть именно оно, превращая в новеллу произведение в двести страниц, делает его всецело в своем роде единственным и неповторимым.

Конечно, форма новеллы Бунину от природы ближе всего, ибо как «новеллист» он вошел в русскую литературу. Искусство внезапных завязок, стремительных ритмов повествования и неустанных разрешений, умение лаконически, всего в нескольких страничках передать не только сюжет, но и тон рассказа, доведены Буниным до предельного совершенства. Тургеневская и чеховская манера использованы им по-своему, изменены ввиду новой бунинской цели. Короткие новеллы из «Солнечного удара» и «Божьего дерева» (некоторые из них занимают всего полстраницы) – дело рук мастера и значительного писателя.

* * *

Поэзия проникает в произведения Бунина сквозь зрительный материал и торжествует над ним. Но зрительный мир, всё же остающийся в них отдельным, этому проникновению сопротивляется. То, что привело к срыву Бунина в стихах, побеждено им в прозе благодаря его органическому мастерству. Но побеждено не до конца. Насилие, как я уже отмечал, продолжает чувствоваться, и порою в бунинском блеске ощущается какой-то тайный пробел, провал. Вероятно, это ощущение и стало поводом к упрекам в том, что Бунин «не подозревает» – хотя он как раз это неблагополучие в своем мире болезненно переживает и хотя именно оно придает порой его тону своеобразный пафос.

* * *

Зримый мир форм и красок, мир природы, мир плоти поэзии сопротивляется. Но вместе с тем только через него, только через плоть Бунин может воспринимать поэзию. Бытие мира и человека в

плоть заключено и ею ограничено. Душевного начала, лиризма Бунин вокруг себя и в себе не видит – или не хочет видеть, не доверяя ему. Дух для него облекся непосредственно плотью, без соединительного звена души. Это-то и создает в бытии трагический разрыв. Дух проявляется через начало, ему враждебное, – и может восторжествовать, только победив и разрушив его. Но телесное начало, как и природа, тем самым, что они скрывают в себе дух, в какой-то мере праведны и прелестны. Их разрушение – смерть – есть, таким образом, явление трагическое даже для духа, хотя и необходимое для его торжества. Это – страшное таинство, смысл которого Бунин допускает, но не постигает, от которого в ужасе отворачивает свое лицо, хотя невольно к нему влечется. Отсюда – та безысходность, та безнадежность, которыми проникнуто всё творчество Бунина. Смерть таится в самой жизни – в ее обыденном течении, т. е. в бытии, как в ее самых высших и самых ярких проявлениях, даже в любви.

Вот почему и дореволюционная русская жизнь представляется Бунину враждебной, губительной. Весь его деревенский мир выражается в том старике, который видел еще нашествие Наполеона, но, занятый мыслями о смерти, ничего не запомнил, всё забыл. Весь его городской мир – в петербургской ночи «Пятнистых ушей». Смерть подкарауливает человека повсюду – в «Господине из Сан-Франциско» она впервые схватывает свою жертву. В каждом последующем произведении Бунина всё крепче вцепляется она в жизнь. Гимн разрушению, которым явилась революция, со страшной убедительностью передан Буниным в «Цикадах» – в жуткой ночной тишине, нарушаемой вместо соловьиного пения смертельным треском крыл насекомых. И как ни борется с этим ужасом красота природы («Воды многие»), пафос человеческого чувства («Солнечный удар»), человеческое творчество («Жизнь Арсеньева»), – бессмысленная гибель стережет за каждым поворотом и вдруг набрасывается на человека. Смерть самого Арсеньева, Писарева, – вероятно, одна из самых мрачных картин, существующих в литературе.

И самое страшное крушение – крушение любви. Но для Бунина любовь таит в самой себе зерно смерти. История любви есть история умирания. Неслучайно «Митина любовь» начинается фразой о последнем счастливом дне и логически разрешается самоубийством. Строго говоря, губит Митю не любовь, а чувственность, но Бунин ставит почти знак равенства между этими двумя понятиями, что отнюдь не принижает его восприятия любви, ибо телесное желание для него свято и блаженно, ибо плоть освящена духом, который она ведет к смерти и, может быть, через смерть – к торжеству.

Бунин на редкость эротичен, он почти не уступает в этом

Флоберу и Толстому. Как и для них, для Бунина женщина – центр вселенной. Всюду ее незримое присутствие оживляет мир. Вспомним хотя бы описание крестьянок, волнующих героя «Лики»,– описание чисто толстовское. Но у Толстого, как и у Флобера, эрос – лиричен. Он, прежде всего, «сочетание двух душ» и, как следствие этого, – сочетание тел. Для Бунина всё таинство эроса – в слиянии плоти, в жажде страстного обладания, страстного мучения и страстного мучительства. «Долго, блаженно истязались» – определяет он встречу любовников. Образ Лики, резюмирующий как бы всех женщин, остается образом прелестно плотским. Лика – вообще женщина, лишенная каких бы то ни было индивидуальных черт, лишенная, пожалуй, души. Она – безлика, и именно потому – согласно Бунину – предельно женственна. Вот почему герой повести бежит от нее – и почему все женщины говорят ему о той же Лике, к которой он неизбежно возвращается. И вот почему любовь для него почти исключительно – поединок, кончающийся смертью (в этот раз героини). Но смерть плоти, может быть, – путь к торжеству духа. И кончает Бунин свою книгу словами: «Сдается тело душевное, восстает духовное».

Самая сила и глубина эротизма Бунина не допускают упрека в поверхностном восприятии. Всё же отсутствие душевного элемента – пробел трагический. Не тот же ли пробел, который ощущается у Бунина повсюду. Повторяю, Бунин сам его чувствует. Трагизм дышит в его произведениях постоянно. Однако сама уверенность в существовании онтологической цели, знания о ней по ее тени в мире тварном, память о «духовном теле», не дают бунинской безысходности стать отчаяньем и, тем более, унынием. Выражение «трагический мажор» применимо к Бунину больше, чем к кому бы то ни было другому. Сухой полдневный блеск и жар его писаний (конечно, показавшиеся неприятными Катрин Мансфилд) испепеляет, но и преображает.

---

1. Статья из архива Мари Стравинской (1933).

2. По должности (*фр.*)

3. Жид Андре (André Paul Guillaume Gide, 1869–1951), французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1947 года. Мансфилд Катрин (Kathleen Mansfield Murry, née Beauchamp; 1888–1923), новозеландская поэтесса и писательница. С 1903 г. жила в Лондоне. Умерла от туберкулеза.

4. «Парнасская школа», или «парнассизм», была создана французским поэтом Леконт де Лилем (1818–1894). Юрий Терапиано и Юрий Мандельштам обсуждали идею создать русскую «парнасскую» группу, но вскоре от нее отказались, так как наступил период разочарования в этих поэтах, «много сделавших в свое время для поднятия поэтического уровня, но слишком внешних, лишенных метафизики» (Ю. Терапиано).

5. Здесь Ю.М. перефразирует слова Марины Цветаевой о Брюсове: «Материалом его был мрамор, а не картон».
6. Полное название – «Ночные цикады».

КНИГА О БУНИНЕ[1]

Получение И. А. Буниным Нобелевской премии по литературе, естественно, должно было вызвать появление книги, освещающей бунинское творчество в целом, подводящей в каком-то смысле его итоги (насколько это возможно, пока писатель продолжает творить)[2]. Сейчас такая книга и появилась[3]. Автор ее, К. Зайцев, задался целью проследить писательский путь Бунина с первых его стихов до «Жизни Арсеньева», но взятый не отдельно, а в тесной связи с путем жизненным. Поэтому он не предпосылает биографию изучению произведений, а рассматривает параллельно жизнь и творчество Бунина. По той же причине он не ограничился в плане биографическом чисто фактическими материалами (кстати, подобранными им очень тщательно), а пользуется также указаниями, разбросанными в бунинских повестях и рассказах. Метод этот, несомненно, оживляет само повествование. Но его всё же следует признать очень опасным – и опасности его К. Зайцев не избег. Дело в том, что если произведения Бунина могут дать немало сведений о его жизни, то объяснять биографией его творчество, как и творчество любого писателя, можно лишь в очень малой степени. Всякая подлинная литература возникает, конечно, не столько из событий внешних, сколько из сокровенной внутренней жизни писателя, которая фактическому учету почти не поддается. Единственный способ разобраться в ней– это проследить основную тему, проходящую через все книги писателя, ее постепенное развитие или внезапное преображение.

К. Зайцев захотел слить фактическое жизнеописание с такой «духовной» биографией, и цельность его книги от этого значительно пострадала. Коренной темы Бунина, руководящей нити его творчества он почти не отметил, ограничившись тем, что разбил все его произведения на несколько тематических (и даже, вернее, сюжетных) групп: путешествия, деревенский быт, любовь и т. д. Деление это настолько условно, что сам Зайцев принужден говорить о некоторых рассказах Бунина по поводу двух разных «групп». Особенно условным является этот подход именно по отношению к Бунину, которого Зайцев совершенно справедливо характеризует как писателя бесфабульного. Настоящее содержание его произведений от сюжета, в сущности, не зависит. Гораздо более проявляется оно в самой манере Бунина, которой Зайцев отвел сравнительно мало места. Наконец,

спорно место, отводимое Зайцевым поэзии Бунина, который для нас остается в первую очередь автором «Митиной любви» и «Жизни Арсеньева».

Всё же Зайцев высказал в своей книге много интересных мыслей и метких суждений. Очень правильно его замечание о встречном стремлении стихотворной и прозаической манеры Бунина, приведшем к тому, что именно в прозе Бунин стал поэтом. «Проза Бунина всё более и более обретает музыкальный характер. В ней появляется свой собственный внутренний ритм и своя собственная музыкальная логика». Правильно отметил Зайцев и роль быта в произведениях Бунина. Бытописателем, в полном смысле слова, Бунин не был, конечно, и в ранних своих произведениях. Он всегда смотрел «сквозь быт», и самый быт приобрел для него ценность не самостоятельную, а как некое отражение. Поэтому и утверждение быта для Бунина есть одновременно утверждение онтологическое. Наконец, нельзя не согласиться и с оценкой Зайцевым небольших новелл Бунина, многие из которых являются, может быть, действительно шедеврами, и не только по мастерству. Таков, в частности, небольшой, но центральный в творчестве Бунина рассказ «Цикады».

---

1. «Возрождение». № 3424. 18 октября. 1934.
2. Премия была присуждена И. Бунину в 1933 году.
3. *Зайцев К.* И. А. Бунин. Жизнь и творчество. – Берлин: Парабола, 1934.

НОВАЯ КНИГА БУНИНА[1]

Первое чувство, рождающееся при чтении новой книги Бунина, – неподдельное восхищение[2]. Какое истинное наслаждение доставляет этот сухой и четкий блеск, этот полуденный строй бунинского письма, даже страшноватого своей знойной и отчетливой ясностью. Бунин всегда любил описывать полдень, летний полдень безграничной российской равнины (есть у него одно такое описание малороссийского полдня и в «Лике», когда воздух дрожит и струится в отдалении над полями и предельная прозрачность уже не обнаруживает, а как бы скрывает какие-то тайные глубины природы). Именно такой летний полдень напоминает сама творческая манера, вернее даже творческая стихия Бунина: всё предельно ясно, договорено, до конца показано – казалось бы, за словами и образами писателя ни для чего и места не остается, и, вместе с тем, чем точнее, чем завершеннее фактическое содержание, тем глубже и таинственнее бунинский фон. Вот почему, вероятно, от книги к книге возрастает не только исключительное мастерство Бунина, но и то ощущение подъема,

парения над действительностью, которое особенно заметно, потому что Бунин этой действительностью отнюдь не пренебрегает.

Действительность, т. е. природа и человеческий быт... Сколько восставали против приверженности Бунина к описанию того и другого, сколько упрекали в свое время во «внешней художественности», в сугубом реализме, будто бы идущем в ущерб духовному прорыву. Символисты упорно хотели зачислить его в «бытовики» и «описатели». Сейчас даже опровергать такое мнение уже не приходится, столь очевидно, что природа и быт всегда были для Бунина лишь проводниками вневременного бытийственного, а не бытового начала. И все-таки каждый новый этап творчества Бунина всё отчетливее показывает это его стремление пройти сквозь реальность видимую, вырваться сквозь нее за ее пределы. «Господин из Сан-Франциско» в этом смысле пронзительнее «Деревни», «Митина любовь»; «Солнечный удар», «Жизнь Арсеньева» во всё возрастающем темпе подчеркивали эту сторону бунинской личности. И едва ли еще круче подъем, ведущий от «Жизни Арсеньева» к «Лике», – формально представляющей вторую часть этого романа, но по существу являющейся совершенно независимым и законченным художественным произведением.

Всё это, впрочем, уже размышления, приходящие позже, когда книгу Бунина отложишь и снова к ней вернешься, чтобы пристальнее всмотреться в ее сущность. При первом же чтении восторгаешься безотчетно и почти безрассудно даже не композиционным мастерством, секрет которого не так легко обнаружить за самой словесной и образной тканью романа. Образность Бунина, впрочем, очень особенная. В мировой литературе мало писателей, производящих большее впечатление «зрительности», – всё, о чем Бунин пишет, мы видим действительно собственными глазами. Между тем, так называемой «красочности» у него почти нет. Он редко пользуется метафорами, сравнениями, богатыми эпитетами – всем тем, что в таком изобилии входит в обычный реквизит реалистов. Когда Бунин к сравнениям прибегает, они причудливы, неожиданны и поражают не натуралистической верностью фотографии, а именно смелостью собственного заключения, из наблюдения проистекающего, но уводящего нас далеко за его пределы.

«В сумраке возле входа стоял большой старик в длинной чуйке и кожаных калошах, грубый и крепкий, как старая лошадь, сурово (в назидание кому-то) гудел, подпевая.» Сколько человеческой убедительности в этом сравнении с лошадью, как будто произвольном, и, в особенности, в определении «в назидание кому-то» – которое вообще не на зрительном опыте основано.

Сплошь и рядом длинные описания, наиболее поражающие наш

глаз, вовсе не содержат никакой метафоры. Вот, например, зимний ночной пейзаж, которому суждено стать классическим: «Вижу себя на полпути между Батуриным и Васильевским, в ровном снежном поле. Пара летит, коренник точно на одном месте трясет дугой, дробит крупной рысью, пристяжная ровно взвивает и взвивает зад, мечет и мечет вверх из-под белосверкающих подков снежными комьями… Всё летит, спешит – и, вместе с тем, точно стоит и ждет: неподвижно серебрится вдали, под луной, чешуйчатый наст снегов, неподвижно белеет низкая и мутная с морозу луна, широко и мистически-печально охваченная радужно-туманным кольцом; и всего неподвижней я, застывший в этой скачке и неподвижности, покорившийся ей до поры до времени, оцепеневший в ожидании, а наряду с этим тихо глядящий в какое-то воспоминание». Всё точно в экстазе описано, ни одного «вольного штриха» – но как живет пейзаж перед нашими глазами!

А вот наряду с пейзажем и портрет: «Особенно она – совсем не та! Меня каждый раз поражала в ту минуту ее юность, тонкость: схваченный корсетом стан, легкое и такое непорочно-праздничное платьице, обнаженные от перчаток до плечей и озябшие, ставшие отрочески сиреневыми руки, еще неуверенное выражение лица... только прическа высокая, как у светской красавицы, и в этом что-то особенно влекущее, но как бы уже готовое к свободе от меня, к измене мне и даже как будто к сокровенной порочности»[3]. «И я как-то прощально и уже с холодом враждебности смотрел ей вслед.» Точность и четкость здесь особенно заметны потому, что портрет – одновременно – внешний и психологический, что психология сквозь внешность сквозит в нем непрестанно. Интонации некоторых фраз и вся последняя фраза, включающая в образ героини чувства самого Арсеньева, могли бы быть находкой для любого «психолога» «прустианца». Но чистый психологизм всегда абстрактен, у Бунина же отвлеченность не присутствует ни в малейшей мере. Лику мы видим извне и, как у живой женщины, узнаем одновременно и ее душевный мир.

Зрительность бунинских описаний – первая предпосылка жизненности его мира. Но это еще – жизнь статическая. Движение предаст ей ритм повествования, вполне своеобразный, новый даже для самого Бунина. Этот ритм предрешает построение книги, которую, пожалуй, не вполне правильно назвать романом. Это, скорее всего, – большая новелла, если допустить возможность существования новеллы в двести страниц, – впрочем, все знают, что отличие двух жанров – не в фактической длине, а в темпах действия. Роман – течение самой жизни на протяжении лет, и потому плавен и длителен.

Новелла – эпизод, но напряженный и насыщенный переживаниями, которые поэтому и должны чередоваться в ускоренном темпе. Бунин – редкий мастер новеллы – довел в иных повестях эту ускоренность до исключительного совершенства. Может быть, потому, что этот ритм вошел органически в его манеру, он и решился применить его к более длительному повествованию. Удивительно, поистине, то, что первый же опыт подобного построения стал блестящим успехом.

Я упомянул, что, будучи связанной с «Жизнью Арсеньева» личностью главного героя и некоторыми реминисценциями в начале книги, Бунин даже возвращает нас назад, искусно играя хронологией; «Лика», по существу, – произведение вполне самостоятельное. Различие темпов объясняет эту независимость. «Жизнь Арсеньева» – роман в буквальном смысле слова, «Лика» – разросшаяся новелла. Но это формальное различие предопределено и тематической особенностью. В первом томе Бунин и впрямь стремился показать жизнь своего героя в юности – во всей его полноте и ширине. В «Лике» течение ее сужается, сжимается, оставаясь столь же, если не более, насыщенным. Всё сводится для Арсеньева к одному существу, одной женщине – Лике; к одному чувству – к любви, вернее, к страстному желанию обладания и сохранения. Правда, согласно сюжету, он не может удовлетвориться одной Ликой, его тянет к другим впечатлениям, к другим встречам, что и предрешает трагическую развязку его романа с Ликой. Одна любовь не может наполнить его жизнь, ему нужны – природа, наука, перемена мест. Но его стремительная поездка в Смоленск, Петербург и Москву – только бегство от Лики, в окончательном счете лишь вернее его к ней возвращающее. Позже он сам отдаст себе отчет в том, что его отлучки – поиски любви женщины. Но ему кажется, что он ищет других женщин, тогда как по существу каждое его мимолетное приключение преследует всё ту же ускользающую Лику. Между Ликой и фельдшерицей из Шишак или крестьянкой из соседнего села разницы нет, при всех физических контрастах, ибо влечет Арсеньева к ним одно и то же стремление.

Если всмотреться в любовь Арсеньева, то это тождество находит полное объяснение: Арсеньев хочет со всей силой присущей ему страсти не ту или иную женщину, а женщину вообще, безликое женское начало. Но, помимо всего, воплощает это начало Лика. Неудовлетворенность его есть лишь неудовлетворенность приближением, хотя бы самым точным. С большей насыщенностью и зрелостью – а потому и с иным конечным результатом – любовь Арсеньева, таким образом, повторяет опыт «Митиной любви».

Вообще, отсутствие некого индивидуального объекта для бунинского эроса крайне характерно. Бунин – один из самых одаренных

эротически, самых насыщенных эросом писателей. Но в его эротическое ощущение меньше всего входит лично-душевный момент. Любовь для его героев – не «сочетание двух душ», а страстно-мучительное стремление плоти к плоти. Арсеньева волнуют не встречи с новыми лицами, а соседство новых тел: «раскрытые губы, груди под сорочками, тяжелые бедра в платьях и юбках», – записывает он сам. Страстное мучение сливается с жаждой страстного мучительства. В воображении ему рисуется древний воин, везущий на коне добычу – «женщину со связанными за спиной руками». И кто еще, кроме Бунина, мог бы описать любовное свидание словами: «молча, блаженно истязались».

Было бы бессмысленно, однако, видеть в этой страсти низменность чувства. Плотское в любви неизбежно и по-своему существеннее душевного. Едва ли не во всякой любви живет телесное стремление, вплоть до жажды мучений. Но плотское, подобно душевному, в подлинном эросе преображено духом, и, конечно, у Бунина плоть пронизана духом и тяготеет к нему. Такое стремление к духу в обход душевной лирики может быть страшно, может даже отталкивать, но по-своему оно обоснованно и праведно. Недаром и кончает Бунин свою книгу словами: «Сеется тело душевное – восстает духовное».

---

1. Статья из архива Мари Стравинской дана здесь по рукописному тексту автора. Однако эта статья была напечатана в 1939 году в газете «Возрождение», № 4191, 7 июля 1939 года.

2. *Бунин, Иван*. Лика. – Брюссель: Петрополис, 1939.

3. Цитата из «Жизни Арсеньева».

Публикация – Елена Дубровина, Мари Стравинская

А. В. Назарова, М. В. Михайлова

«Милый Фаныч!»

Письма Е. Н. Чирикова к А. М. Федорову

Памяти внука писателя
Е. Е. Чирикова (1936–2019)

Изучение истории литературы русской эмиграции и судеб ее представителей не перестает быть одним из актуальных направлений в современном литературоведении. Хотя на сегодняшний день накоплен значительный объем исследований, а наследие многих вычеркнутых из летописи отечественной художественной словесности после 1917 года литераторов доступно широкому читателю, в ней всё еще остается много белых пятен. Заполнить их не в последнюю очередь помогает эпистолярное наследие русских колоний за рубежом. Обилие подробностей культурной жизни русской диаспоры в славянских государствах Европы раскрывают письма русского писателя Евгения Николаевича Чирикова (1864–1932), адресованные товарищу по литературному цеху Александру Митрофановичу Федорову (1868–1949)[1].

История их знакомства и взаимоотношений еще нуждается в подробном изучении, нам неизвестна пока и судьба ответных посланий Федорова и продолжительность их переписки в целом, так как архивы писателей находятся в разных странах и часть материалов, вероятно, утрачена. Однако известно, что художники знали друг друга до эмиграции: оба принадлежали к числу демократически настроенных писателей и публиковались в одних изданиях («Русском богатстве», «Мире Божьем», «Вестнике Европы» и др.), были участниками организованного Н. Д. Телешовым литературного кружка «Среда», поддерживали отношения с А. П. Чеховым, В. Г. Короленко, М. Горьким, И. А. Буниным и другими литераторами. В Болгарии же оба оказались в поисках нового пристанища, так как не приняли власть большевиков и были вынуждены покинуть Россию.

Федоров в конце 1919 попал «в первую большую партию русских беженцев (более 1000 человек), которая направилась в Болгарию»[2]. Он обосновался в Софии, где прожил до самой смерти.

Писатель сразу же включился в культурную жизнь болгарской столицы. Он активно печатался в местной периодике, многие его произведения, публиковавшиеся на русском языке, переводились на болгарский, и сам он переводил болгарских поэтов (им была подготовлена «Антология болгарской поэзии», изданная Министерством народного просвещения Болгарии в 1924 году и получившая много положительных откликов как в болгарской, так и русской прессе[3]). Федоров выступал на благотворительных и поэтических вечерах, участвовал в организации и работе различных эмигрантских общественных и литературных объединений (в частности, был учредителем и председателем «Союза русских писателей и журналистов» в Болгарии), часто ездил по стране с лекциями о русской литературе. В этих поездках его неоднократно сопровождал Чириков, за что они получили шутливое прозвище «Кирилл и Мефодий»[4].

Е. Н. Чириков оказался в Софии в январе 1921 года, перебравшись туда из Константинополя, куда уехал в ноябре 1920 из Севастополя; в октябре 1921 он переехал в Прагу[5]. В отличие от более или менее подробно освещенного в научной литературе периода жизни Чирикова в Чехословакии его пребывание в Болгарии еще нуждается в обстоятельном исследовании, тем более что художник уже бывал на болгарской земле. В 1912 году во время Первой Балканской войны он объехал в качестве обозревателя газеты «Киевская мысль» ряд городов и селений у линии болгарского фронта[6]. Эти публикации он позднее собрал в книгу «Поездка на Балканы», дополнив их рассказами, написанными под впечатлением от увиденного на полях сражений и в тылу[7].

Реалии жизни в Болгарии в статусе изгнанника также нашли отражения в творчестве писателя. Действие книги под заглавием «Мой роман»[8], где Чириков воссоздал тот крестный путь скитаний, который вынужден был пройти его современник, спасаясь от Гражданской войны и красного террора, разворачивается в Софии и Варне. Однако из-за трудностей с изданием роман увидел свет лишь спустя семь лет в Париже.

Еще одним произведением этого времени стала обличительная брошюра «Смердяков русской революции» – литературный портрет М. Горького, созданный на основе статей «При свете здравого смысла»[9] и «Неразбериха»[10], написанных ранее. В ней Чириков заявил о необходимости суда над Горьким, обвинив прежнего друга и единомышленника в двуличии и предательстве русского народа, поскольку «певец босяков», с одной стороны, призывает к спасению национальной культуры от «большевистского варварства», а с другой, оправдывает беззакония и произвол, творимые дорвавшимися до вла-

сти авантюристами. Брошюра вышла в софийском издательстве «Паскалев» в 1921 году и оказалась единственной опубликованной за всё время пребывания Чирикова в Болгарии книгой. С этим издательством у художника была договоренность еще об издании тетралогии «Жизнь Тарханова». Данный цикл романов с автобиографической основой первоначально представлял собой трилогию (первая часть – роман «Юность» – появилась в 1911 году, вторая – «Изгнание» – в 1912-м, третья – «Возвращение» – вышла в 1914-м), заключительная же часть эпопеи – роман «Семья» – была написана за пределами России. Но, как и в случае с «Моим романом», публикация «Жизни Тарханова» в Болгарии не осуществилась, хотя полученный автором аванс помог ему переехать из Софии в Прагу. «Семья» на русском языке вышла в берлинском издательстве «Глагол» в 1924 году, некоторые части тетралогии по отдельности также печатались в других странах на русском и национальных языках[11], но целиком в эмиграции «Жизнь Тарханова» так и не была издана, несмотря на усилия Чирикова. Неудивительно, что обсуждение неудач с печатанием своих произведений и поиски вариантов их публикаций составляют едва ли не главное содержание его писем Федорову. Характерным примером такого писательского невезения стала история неудавшегося издания «Славянского сборника», судьба которого служит центральным сюжетом чириковских корреспонденций начала 1920-х и наглядно демонстрирует все препятствия, возникавшие перед русскими писателями-эмигрантами за рубежом.

Используя связи с литераторами Болгарии, Сербии и Чехословакии, Чириков и Федоров начали работу над сборником стихов и прозы, которые, по замыслу, должны были быть опубликованы на русском языке и одновременно на языках этих стран. Тем самым преследовалась «двоякая цель»: «шире познакомить <…> славянских писателей и художников друг с другом» и поддержать русскоязычных авторов финансово. Чириков вел переговоры с основанным в Праге эмигрантским «Славянским издательством», которое в начале 1920-х выпускало сочинения русских классиков и современных авторов[12]. В первых письмах Федорову он уточняет детали будущего сборника, но с самого начала в них отчетливо звучат тревожные ноты. Его беспокоит, что количество заявленных авторов и текстов заметно превышает предполагаемый объем издания. Такое положение сразу же остро поставило вопрос о гонорарах, тем более что ситуация на книжном рынке буквально на глазах стала стремительно ухудшаться. Из-за инфляции издание сборника на территории Чехословакии оказалось нерентабельным, поэтому во избежание убытков издательство отказалось от первоначальных договоренностей и предложило выпу-

стить книгу в кредит на крайне невыгодных для участников условиях. Причем из писем очевидно, что не в последнюю очередь спровоцировали подобную ситуацию сами заявившие об участии в сборнике поэты и писатели. Чириков постоянно сетует на задержку обещанного ими материала и его переводов на язык страны пребывания (в числе таких «непунктуальных» по иронии судьбы оказывается и Федоров, которого Чириков и уговаривает, и торопит!). Он напоминает, что проект ограничен жесткими временными рамками, несоблюдение которых дает владельцам типографии право и вовсе отказаться от всех обязательств. Вот почему иногда Чириков позволяет себе довольно резкие высказывания о затеянном предприятии и даже сожалеет о том, что решил принять в нем участие и взвалил на себя, как выясняется, непосильную ношу. Ликвидация «Славянского издательства» в 1924 году поставила крест на замысле Чирикова и Федорова, продемонстрировав таким образом, как беззащитность русских литераторов перед издательским расчетом и своеволием, так и собственно писательскую инертность и неготовность к сотрудничеству и взаимоподдержке.

Активное участие в писательской судьбе Федорова, подробное изложение адресату, куда удалось «сосватать» то или иное его произведение и какого размера был «выбит» для него гонорар, исчерпывающие инструкции о том, как добиться субсидии или оформить жительство в Чехословакии и т. п., составляют второй важнейший аспект чириковского эпистолярия. Причем из текстов видно, что художник не ограничивался помощью одному лишь Федорову, но выступал посредником между иностранцами и многими другими русскими литераторами, оказавшимися за рубежом. В их числе были и такие известные и признанные фигуры, как Шмелев и Бунин[13]. И хотя хлопоты Чирикова о возможном издании их произведений в Чехословакии не увенчались успехом (причиной стала та же дороговизна типографских услуг), само появление их имен в подобном контексте представляется показательным. Однако на ответную любезность он не всегда мог рассчитывать. В письмах несколько раз звучит упрек в адрес Бунина, не пригласившего его в альманах «Окно», где тот регулярно печатал свои произведения. Причину бестактности по отношению к себе Чириков видит в высокомерии будущего нобелевского лауреата. И хотя такой вывод не может не вызвать возражений (можно указать на то, что большую часть Нобелевской премии Бунин пожертвовал созданному в Париже Комитету помощи нуждающимся литераторам и другим обществам, о чем Чириков, конечно, не мог знать, так как скончался за год до известия о награде; не отказывал Бунин в финансовой помощи и тем эмигрантам, кто обращался к

нему лично), но в этом есть доля правды. Бунин действительно превосходил многих литераторов-эмигрантов по уровню дарования, однако и ему приходилось буквально вырывать у издательств договоры, выбивать гонорары. Чириковская позиция заставляет задуматься о разном понимании каждым художником слова писательского долга в условиях изгнания. Если Бунин видел его прежде всего в индивидуальном творческом акте, содержанием которого должно стать четко выражаемое автором неприятие большевизма, осмысление трагического опыта прошлого и сохранение культурных традиций ушедшей России, то взгляд Чирикова иной. Для него на первом месте стоит именно общественная деятельность литератора, его максимальная включенность в финансово-бытовое устройство соотечественников на чужбине, без которого никакое творчество не может состояться. Он убежден, что собственные денежные затруднения не могут оправдать подобную отстраненность – напротив, они должны подталкивать писателей к объединению и взаимовыручке. Поэтому равнодушие Бунина лично к нему Чириков расценивает как пренебрежение внутренними моральными обязательствами, что обесценивает в его глазах рассуждения писателя о миссии русской эмиграции (очевиден намек на знаменитую бунинскую речь, произнесенную 16 февраля 1924 года в Париже) и превращает их лишь в набор пустых и высокопарных фраз.

Этот эпизод также свидетельствует о необычайной значимости для художника крепких дружеских и просто добрых человеческих отношений. Причем его беспокоит не только людское охлаждение к себе, как в случае с Буниным, но и внезапно прекратившееся общение между знакомыми. Например, в одной из корреспонденций Чириков выясняет, почему Федоров и их общая приятельница – литератор Любовь Столица, также живущая в Болгарии и переписывавшаяся с ним, – перестали упоминать друг о друге. Такое молчание кажется ему подозрительным и заставляет теряться в догадках. Он предполагает, что адресат мог обругать Столицу или ее мужа «под пьяную руку, как меня однажды». В словах Чирикова ощутима досада на легкость, с которой Федоров мог допустить разлад с писательницей и ее семьей, а главное, непонимание тем всей опасности подобного невнимания к отношениям в среде эмигрантов. Он даже предполагает, что такое поведение одного члена эмигрантского сообщества может усилить раскол среди беженцев. А это будет на руку большевикам, которые всеми силами пытаются ослабить эмигрантскую среду.

Неизвестно, оказался ли художник прав в своих догадках, поскольку имя Столицы в следующих письмах появляется без каких-

либо упоминаний о вероятном конфликте, однако и он сам вынужден был идти на подобные шаги, столкнувшись с неприемлемым для себя поведением других. Чириков решительно прекращал контакты, если узнавал о деловой нечистоплотности и непрофессионализме своих бывших коллег. Так, он не единожды подчеркивает свое нежелание сотрудничать с издательством «Пламя» Е. А. Ляцкого, издавшего без ведома писателя его произведения и не выплатившего гонорар. Из другого письма становится известно, что Чириков прервал общение со знакомой супружеской четой, так как жена оскорбилась рассказом, сюжет которого будто бы был взят писателем «из ее сна». Художник отвергает столь нелепые обвинения («Неужели они могли допустить, что я именно их семью описал в рассказе!») и приходит к неутешительному выводу, что «кроме чувства нужно в дружбе особое духовное понимание друг друга, чего <…> не оказалось». Сам писатель был щедро наделен способностью прощать, налаживать и поддерживать связи с окружающими. Но они, к сожалению, далеко не всегда были открыты его порывам, а иногда оказывались и прямо враждебны им.

Думается, именно отсутствие духовного понимания в среде беженцев не в последнюю очередь стало причиной раздора и небывалой по силе полемики, которая разгорелась в русской эмигрантской печати после публикации Чириковым романа «Зверь из бездны», превратив писателя едва ли не в литературного изгоя[14]. Книга была написана в 1922 году и выпущена сначала, в 1924 году, на чешском языке, а спустя два года на русском. В ней прослеживались судьбы двух братьев, оказавшихся в ходе Гражданской войны по разные стороны баррикад. В итоге разрушаются родственные связи, братья забывают о своих прежних убеждениях, теряют моральный облик. Показанные в романе «проникновенные зарисовки того страшного и зловещего, чем так богата была <…> недавняя действительность»[15] разделили общественность на два лагеря. Одни (например, редактор газеты «Возрождение» П. Б. Струве) обвинили писателя в клевете на Белое движение, другие пытались его защитить, указывая на недопустимость манипуляции общественным мнением с помощью публичного скандала при обсуждении художественного произведения. Чириков же настаивал на своем «статусе свидетеля», не уставал настаивать на достоверности описанного, повторял, что всё видел собственными глазами или даже переживал сам. Писатель сожалел, что его произведение осталось непонятым, а критики, видимо, поддались стороннему влиянию, оказались политически ангажированными.

Споры вокруг романа задевали писателя, вот почему ему была так важна и дорога поддержка Федорова. Поэтому в очередном письме он благодарит того за статью по поводу сорокалетнего юбилея

своей литературной деятельности (он отмечался в 1927 году, но был омрачен упомянутым скандалом). И вновь на первый план выходит «теплота душевная», которая «так искренне прозвучала» в федоровских словах и отозвалась в его душе. «В отношениях между современными писателями – это большая редкость», – резюмирует он и в качестве подтверждения вновь упоминает Бунина, который в одном из интервью «гнусно лает на своих собратий»[16]. А затем, словно в пику последнему, предлагает Федорову совершить летом очередную «кирилло-мефодиевскую» поездку по Болгарии, чтобы по окончании литературных вечеров вкушать «кебаб и запивать вином». Может даже показаться, что целью планируемого путешествия является именно возможность хорошо провести время в тесном семейно-дружеском кругу, ведь к участию в упомянутых выступлениях Чириков собирался привлечь жену-актрису. Писатель сознательно и последовательно подкреплял профессиональные, творческие взаимоотношения личными контактами, стремясь формировать пространство не просто идейных союзников и литературных единомышленников, а сообщество духовно близких людей. Оно, по его мысли, должно было бы положить начало объединению различных эмигрантских кругов, а в перспективе, преодолев национальный раскол, помочь возрождению России.

Вот почему Чириков подробно делится с Федоровым не только известиями о значительных переменах в жизни семейства (долгожданное воссоединение с женой и дочерьми, приехавшими из Петрограда и Каира, смерть тещи, появление на свет внуков и т. п.), но и многими, на первый взгляд, излишне подробными деталями быта: например, выясняет, куда пропал примус, который его семье одолжили болгарские знакомые, или жалуется на тесноту квартиры, которая больше напоминает проездную станцию, где «все непременно что-нибудь ищут», а сам он не имеет «не только отдельной комнаты, но даже отдельного стола – вот и сочиняй!» Многие письма наполнены скрупулезными финансовыми подсчетами доходов и расходов, которые всегда заканчиваются одним и тем же выводом: денег на жизнь такой большой семьи катастрофически не хватает. Всё это говорит о том, что Чириков стремился «подключить» приятеля к своей повседневной жизни, делая его в чем-то даже «доверенным лицом». Можно предположить, что в ответных корреспонденциях Федоров был столь же откровенен, на что указывают вопросы Чирикова, интересующегося развитием того или иного эпизода в судьбе адресата и его сына. Всё это свидетельствует о максимальной степени открытости и понимания между писателями, их глубокой погруженности в жизнь друг друга, чем, как доказывает содержание писем, могли похвастаться далеко не все литераторы-эмигранты.

Данный эпистолярий Чирикова представляет собой яркий пример синтеза частной переписки, подразумевающей высокую степень доверия, с погружением в общезначимые для обоих адресатов темы. Он содержит не только многие прежде не известные факты о жизни самого писателя и его близких в Болгарии и Чехословакии на протяжении 1920-х годов, но и уникальные сведения о творческом наследии оказавшихся в изгнании представителей так называемого «второго ряда» литературы, чьи персоналии и тексты зачастую неизвестны современным читателям и исследователям. Тем самым адресованная А. М. Федорову корреспонденция Чирикова существенно расширяет привычную панораму литературы Русского Зарубежья, открывая в ней новые пласты для изучения. Кроме того, письма являют собой уникальную иллюстрацию того, как может выстраиваться механизм человеческих отношений в целом. Послания художника дают наглядное представление о разнице в стратегиях его общения с иностранцами и соотечественниками. Хотя нельзя упрекнуть Чирикова исключительно в прагматическом взгляде на знакомство с болгарскими и чешскими литераторами, их он всё же стремится привлечь именно к деловому сотрудничеству. Поэтому в сношениях с ними заметен акцент прежде всего на выгоде, открывающейся для его потенциальных участников, а также на их вкладе в дело сохранения русской культуры, гибнущей под властью большевиков. Глубокому сближению с иностранцами препятствует разница менталитетов и традиций, которая постепенно обнаруживает себя в мелочах и в итоге оказывается непреодолимой. Контакты с соотечественниками формируются иным образом: основой профессионального содействия оказывается, в первую очередь, дружба и взаимопонимание. Их утрата воспринимается Чириковым болезненно, так как обостряет мучительные переживания от потери родины.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Федоров Александр Митрофанович (6[18] июля 1868, Саратов, – 22 апреля 1949, София) − поэт, прозаик, драматург, переводчик. Родился в семье сапожника, выходца из крестьян, рано осиротел. После исключения из реального училища ради заработка писал куплеты для актеров саратовского театра и сам выступал на сцене. Женился в 1888 и переехал с семьей в Уфимскую губернию, с этого же времени стал систематически печататься в провинциальной периодике. В 1896 переехал в Одессу. Выпустил три книги «Стихотворений» (1894, 1898, 1903), сборник «Сонеты» (1907), получивших положительный отзыв Бунина, с которым был лично и творчески связан. Переводил стихотворения А. Теннисона, Э. Арнольда и А. Негри, драмы

Э.Ростана «Сирано де Бержерак» и «Принцесса Грёза», В. Гюго «Лукреция Борджиа». Был плодовитым прозаиком (среди его произведений − романы из жизни художников: «Природа» (1906), «Его глаза» (1913); о борьбе с голодом в Поволжье − «Земля» (1903); книги путевых очерков − «На восток» (1904), «За океан» (1909), несколько сборников рассказов) и драматургом (пьесы «Бурелом» (1901), постановка которой в Александринском театре Санкт-Петербурга в том же году имела большой успех; «Катастрофа» (1899), «Старый дом» (1902), «Обыкновенная женщина» (1904) и др.). В 1911−1913 гг. в Москве вышло семитомное собрание сочинений Федорова. Эмигрировал в Болгарию (с 1920), где преподавал русский язык и литературу в гимназиях. Опубликовал «Антологию болгарской поэзии» (1924). Был одним из учредителей и председателем Союза русских писателей и журналистов в Болгарии (1930). В 1946 году получил советский паспорт. Скончался и похоронен в Софии.

2. *Каназирска М.* Вдали от берегов. А. М. Федоров в Болгарии // «Новый Журнал». 2011. № 265. URL: https://magazines.gorky.media/nj/2011/265/vdali-ot-beregov.html (дата обращения: 15.01.2020).

3. Там же.

4. Там же; *Владева Л.* Журналистская и литературная деятельность белой эмиграции // «Новый Журнал». 2007. № 247. URL: https://magazines.gorky.media/nj/2007/247/zhurnalistskaya-i-literaturnaya-deyatelnost-belojemigraczii.html (дата обращения: 15.01.2020).

5. *Чириков Е. Е.* Об авторе // *Чириков Е. Н.* Зверь из бездны. – Минск: ТетраСистемс. 2000. – С. 351.

6. *Михайлова М. В.*, *Назарова А. В.* Война как пространство антижизни и антикультуры (военные корреспонденции Е. Н. Чирикова с фронтов Первой Балканской и Первой мировой войн) // Русская литература и журналистика в движении времени. Ежегодник кафедры истории русской литературы и журналистики факультета журналистики МГУ. – М.: ф-т журналистики, 2013. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23832859 (дата обращения: 15.01.2020).

7. *Чириков Е. Н.* Поездка на Балканы. – М.: Московское книгоиздательство/ 1913.

8. *Чириков Е. Н.* Мой роман. – Париж: Возрождение. 1929.

9. *Чириков Е. Н.* При свете здравого смысла // «Современный мир». 1916. № 1.

10. *Чириков Е. Н.* Неразбериха // «Современный мир». 1916. № 2.

11. Например, см.: *Tchirikoff E.* Jeunesse. – Paris: Payot, 1928; *Чириков Е. Н.* Юность. – Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1955. Более полный список произведений Е. Н. Чирикова, переведенных на иностранные языки, см. в ответах писателя на анкету Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии. // РГАЛИ. Ф. 2474. Оп. 1. Ед. хр. 88.

12. *Чириков Е. Е.* Persona grata // «Русское слово». – Чехия. 2008. № 9. – С. 12.

13. В 1923 г. И. А. Бунин отправил из Грасса Чирикову открытку с просьбой: «Милый Евгений Николаевич, не устроишь ли мне хоть одну мою книгу на чешск. яз.? Приветствую тебя! Ив. Бунин». // КМЛУ. 6303. А. 1628.
14. См. подробнее: *Бобырь А. В.* К истории одной полемики. (Споры среди русской эмиграции о романе Е. Н. Чирикова «Зверь из бездны») // «Вопросы литературы». 1995. № 3. С. 327. URL: http://www.donvrem.dspl.ru/archPeriodikaArtText.aspx?pid=12&id=1523 (дата обращения: 15.01.2020).
15. *Айхенвальд Ю.* Литературные заметки // «Руль». Берлин, 1926. № 1801. 3 нояб. – С. 2.
16. См.: *Лери* [Клопотовский В. В.] Пестрые заметки // «Возрождение». 1927. № 649. 13 марта. – С. 3.

Письма Е. Н. Чирикова к А. М. Федорову*

6 / XI. 21. Praha,
Manesova 78 p II pokoi p. Majer

Милый Митрофаныч! Получил твое письмо и стихи. Испугал ты меня перечнем поэтов!.. 14 поэтов и 7 беллетристов, вступит[ельная] статья… И всё это должно уместиться на 3-х печатных листах… Имей в виду, что 3 или максимум 3¼ печатных листа – вот объем каждого из слав[янских] отделов. Семь беллетристов – сколько они займут? Если каждому дать ¼ листа и то 7/4 – почти два листа. А ведь, вероятно, будут рассказы и в ½ листа, а м[ожет] б[ыть], и в 1 лист. Что же тогда делать? А 14 поэтов? Думаю, что втискивать непременно всех в один сборник – это всех «обрезать»!.. Соображай сам. Мы думаем, что выпускаемый сборник не будет единственным. М[ожет] б[ыть], лучше не тискать всех, а дать половину, но в более цельном виде…

Теперь разъяснение по гонорарной части. Я торопился и, вероятно, упустил «детали». Отпускается на весь сборник для уплаты гонораров авторам по расчету 1000 крон чешских с переводом всего материала на русский язык. Так что ты получишь для уплаты гонораров твоим клиентам по расчету листов, т[о] [есть] за 3 или 3 ¼ печатных листа в 40.000 букв, причем тут же считается и место, занятое стихами. Словом, оплачивается занятое место. Твое дело уже расценивать всех участников болгарского отдела, поэтов и прозаиков. Так ли ты толковал гонорарный вопрос участникам?.. Расценка подлинника и перевода – тоже твое дело; я писал примерно. Так как издание сборника – не коммерческое, а идейное предприятие, то задача не обижать писателей, но не лезть и на явный убыток для людей, дающих деньги. Обсуждая вопрос о возможных убытках, мы имели в виду, в случае надобности, покрыть дефицит изданием всего сборника еще в каждом славянском государстве на соответствующем языке:

---

* Расшифровка писем осуществлена внуком писателя Евгением Евгеньевичем Чириковым, любезно предоставившим материалы для публикации из семейного архива. Письма печатаются по современной орфографии. Оригиналы писем находятся в архиве А. М. Федорова в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве. Выражаем искреннюю благодарность за помощь в подготовке публикации правнучке Е. Н. Чирикова Елене Евгеньевне Нитиевской.

т[о] е[сть] в Болгарии – весь сборник на болгарском, в Чехии – на чешском и т[ак] д[алее]. Право такого издания остается за нами, и участвующие авторы дают нам это право без дополнительных гонораров. Не знаю, понадобится ли такое издание на болгарском – в Болгарии (всего скорее, что там достаточно одно[го] сборника на русс[ком] яз[ыке]!), но для Чехии и, возможно, для Сербии – понадобится. Так вот, предупреди участников сборника. Думаю, что никто не будет возражать – тут преследуется двоякая цель: возможно шире ознакомить взаимно славянских писателей и худ[ожников] друг с другом, а для предприятия – возместить возможные убытки.

Ты как редактор болгар[ского] отдела получишь за хлопоты и редактирование – 1000 крон. Но ты, думаю, заработаешь на переводах немало… и еще получишь гонорар на свои вещи.

50% уплата гонорара будет начата, как только в наших руках будет весь материал для сборника на русском и, соотв[етственно,] др[угих] языках. С Сербией я уже списываюсь, но пока ответа оттуда не получил. Относительно К. Христова[1] со стороны Сербии был определенный ответ. Так что я не могу этот ответ игнорировать… Или во всяком случае д[олжен] буду снестись. Очевидно, К. Христов будет не сближать, а отталкивать, а это противоречит задаче сборника.

И вот еще что: желательно иметь материал напечатанным на машинке. Если уж это очень трудно – четко и ясно переписанным и во всяком случае не твоей рукой!! Ну а где же перевод на болгарский – твоих стихов? Это тоже нужно, брат, на случай издания всего сборника на болгарском.

Не знаю, получил ли Роман Евг[еньевич] Столица[2] мое письмо, направленное ему на Училище? Там я просил принять участие в сборнике Любовь Никитишну. Если не получил – передай ей это немедля. Да попроси написать мне. Получил я № 1 «Сполохов»[3] – там есть и ты, и Любовь Н[икитична]. Журнал производит приличное впечатление. Хороши рисунки Лагорио[4]!..

Напиши для сборника что-нибудь новое! Хотелось бы сделать русский отдел возможно интереснее. Потрудись. Дай небольшую, но красочную вещицу без «политики»... Из своих скитаний... Ведь у тебя пропасть пережитого! Воодушевись! Пробуди свою дремлющую музу!..

Я дам маленький рассказ «Обольститель», в чеховском духе миниатюр – только что написал…

Скажи, выпущена ли в свет моя брошюра о Горьком[5] в Софии? Здесь ее нигде не видать…

Ну, целую, жму руку и пр. Целую Столиц, Михайловских, Райко[6], привет всем из «Слав[янской] Б[еседы[7]]»… «Княжне»[8] –

поклонись. Подойди и скажи: Ев. Н. Чириков просил передать Вам свой привет…

Твой Ев. Чириков

---

1. Христов Кирилл (1875–1944), болгарский поэт, прозаик и драматург. Автор нескольких сборников стихотворений и баллад, написанных под влиянием песенного фольклора.
2. Столица Роман Евгеньевич (1879–1935), инженер, муж писательницы Л.Н. Столицы. Столица Любовь Никитична (урожд. Ершова, 1884–1934), поэтесса, прозаик и драматург. В 1918 бежала из Москвы в Ростов-на-Дону, затем в Ялту, откуда в 1920-м эмигрировала в Салоники, с 1921-го жила в Софии.
3. «Сполохи» – иллюстрированный ежемесячный литературно-художественный и общественный ежемесячный журнал, издавался в Берлине в 1921–1923 гг. В первом номере были напечатаны рассказ А. М. Федорова «Дурочка» и сонет «Порой и зелень вешняя язвит...» Л. Н. Столицы.
4. Лагорио Мария Александровна (в замуж. Исцеленнова, 1893–1979) – живописец, график. В эмиграции с 1918 г., жила в Финляндии, затем Берлине, Праге. В 1925 переехала в Париж. Вместе с мужем участвовала в выставках и иллюстрировала книги русских и европейских писателей.
5. Имеется в виду брошюра «Смердяков русской революции (Роль Горького в русской революции)». – София: А. Паскалев, 1921. 56 с.
6. Михайловских, Райко – сведений найти не удалось. Предположительно речь идет о Райко Алексиеве (1893−1944), болгарском художнике, карикатуристе, фельетонисте. Учился в Софийском университете и Художественной академии. Сотрудничал с журналами «Македония», «Барабан», «Смех», «Людокос», «Българан», «Маска», «Рассвет»; был основателем и главным редактором сатирической газеты «Щурец» (1932–1944). Был председателем Союза художников Болгарии.
7. Имеется в виду зал библиотеки-читальни существовавшего в Софии общества «Славянска беседа», которое оказывало поддержку русским деятелям культуры, оказавшимся в Болгарии.
8. «Княжна» – сведений найти не удалось.

26 ноября 1921 года, Прага,
Manesova 78, p.p. Majer

Милый Фаныч! Открытку твою получил. А вот с Сербией пока ничего не вышло. Подтолкни дело через К. Тодорова[1].

Не у тебя ли, милый, примус, который мы оставили на квартире? Помню, что ты на него имел виды и я предлагал тебе переговорить о сем с Кулевыми, которым примус принадлежит. Вышла у нас боль-

шая неловкость: мы сказали Мишайковым, что оставили примус, и они заходили за ним, но получили ответ, что примус кем-то взят… Если не у тебя, не знаешь ли, кто унес? Видно, придется покупать новый… Досадно, а главное, очень уж «конфузно» перед Кулевыми и Мишайковыми, при посредстве которых примус был нами получен. Спроси, когда встретишь, Лину Ретивую, жену Жуты-скрипача. Она служит в дорож[ной] транспорт[ной] конторе.

Ну, а рассказ?.. Не ленись, милый!

Гога[2] и Валя[3] кланяются.

Твой Ев. Чирик

---

1. Тодоров Коста (1889–1947), болгарский революционер, дипломат, политик, журналист и поэт. В 1920–1923 гг. занимал должность посла Болгарии в Югославии.

2. Чириков Георгий Евгеньевич (1901–1993), младший сын Е. Н. Чирикова. В 1920 г. в Севастополе был мобилизован в армию Врангеля, но вскоре, благодаря хлопотам отца, покинул ее ряды. Эмигрировал вместе с отцом в ноябре 1920 в Константинополь, с начала 1921 находился в Софии, откуда в октябре того же года выехал в Чехословакию. Окончил Пражский политехникум по специальности инженера-электрика и работал в Пльзене на заводах Шкода. В 1945–1947 гг. жил во Франции, с 1947-го – в США.

3. Чирикова Валентина Евгеньевна (в замуж. Геринг, Ульянищева, 1898–1988), младшая дочь Е. Н. Чирикова. В 1916 г. училась на архитектурном факультете Женских Политехнических курсов в Петрограде. Осенью 1918 уехала в Ростов-на-Дону, где поступила на филологический факультет университета. С 1920 в эмиграции: жила в Египте (1920–1921), Чехословакии (1921–1924, 1928–1930 и 1936–1948) и Франции (1924–1927), где окончила высшие курсы при Страсбургском университете, затем в Алжире (1927–1928) и Югославии (1930–1936). Вернулась на родину в 1948 году, жила в Горьком, работала библиотекарем.

5 января 1922 года

Милый друг Фаныч!

С Новым годом! Авось на сей год выпадет нам и новое счастье. Им пахнет, сильно пахнет. По-моему, начались последние судороги большевизма…

Я глубоко верю, что весной мы увидимся со своими дорогими людьми… Слышал, что Болгария продает и возит хлеб в Крым и Одессу. Правда ли? Имел ли весть о своих и давно ли? Я получил из Петрограда от дочери[1] кое-какие книги и рукопись своей новой

пьесы, еще не напечатанной нигде[2]. Мои живы и здоровы, но сын Евгений[3] все еще в Нахичевани без сапог и платья, и туда никак не поможешь!

Вчера получил, наконец, материал от Зайцева. Всё дело затянулось. От Сербии до сей поры ни слуха, ни духа, а между тем положение круто изменяется. Я условился представить всё к январю, а ничего представить не могу. Даже и твой материал имею лишь в русском переводе, а обязан был представить на русском и болгарском. Ты, видимо, запамятовал это условие? Так как условия валюты, а с нею и книжного рынка, круто изменились, то несоблюдение мною срока представления всего материала дает издателям право отказа! Дело в том, что теперь чешская крона стоит так высоко по сравнению со всеми славянскими странами и Германией, что выпущенная здесь книга уже дорога для этих стран и издатели испугались убытков, тем более что я их нагрел довольно высоким гонораром для авторов. В Германии платят 1000-1500 марок, а на кроны теперь это только немного больше 300-350 крон с листа! Такая досада, что мы так неповоротливы! Как медведи на пляску! Теперь издатели поют уже такую песню: мы дадим вам в кредит типографию, бумагу и все прочее, т[о] е[сть] выпустим в кредит книгу, а затем сперва погасим из продажи свои расходы, а затем вы получите всю прибыль!.. Оно бы ничего, да никому не захочется ждать неизвестное время гонорар. Я уже обратился за помощью к здешним славянофилам с Крамаржем[4] во главе. Пока имею лишь обещание собрать деньги авторам… Теперь боюсь, что все вы меня же будете ругать!.. И на кой черт я только связался с этим делом? Теперь уже стало много выгоднее издавать книги в Софии. Книга в 50-60 лева доступна и Чехии, и Сербии, и Германии, и Франции. Паскалеву[5] теперь самая благодать издавать, а он, видимо, ничего еще не издал. Это меня беспокоит уже… Ты прислал около пяти листов! Это много, придется часть отложить до будущего раза. У меня уже скапливается материал и для предположенного сборника русского «Светлояра», твой «Суд Божий» пойдет уже туда. До выпуска «Славянского сборника» можно будет русский материал использовать для выпуска книжки в чешском переводе… Это даст, правда, пустяки – по 200 крон с листа, но всё же на полу не подымешь. Если сербы еще будут молчать, плюну на них и, если можно будет выпускать, выйдет и без них! Трое: русские, чехи и болгары. Увидишь Столиц – всё расскажи и поцелуй и поздравь их от нас с Новым годом. Я им напишу, но сейчас много хлопот с заседаниями, вечерами, да и работаю для чешских газет много: аванс весь вышел, приходится жить текущим заработком. А нам втроем надо минимум 4000 крон, хотя Гога и Валя имеют даровой стол. Материал еще не

успел прочитать, испугался только изобилия стихов! Обложка неважная. Неужели нельзя было выбрать что-либо поинтереснее? А впрочем – не мое дело. Жду обложки для сборника и русс[кого] отдела из Каира. Дочь Людмила[6] приедет сюда в марте. На случай – опроси, как быть, если ничего иного, как выпуск в кредит, со сборником не выйдет. Согласны ли авторы ждать гонорар неопределенное время? Я, конечно, буду из кожи лезть, чтобы вытянуть гонорар, но, кажется, гонорар мы сами просрали своей медлительностью… Говорил с другими издателями, предлагая эти условия, – пугаются. Ведь и здесь чешские авторы получают 400-500 крон с листа! От Болгарии недалеко ушли. Но мне в газете платят исключительно: крону за строчку! Очень уж я здесь популярен. Большая беспартийная газета всё еще висит в воздухе. Разговоров много, но пока ни с места… Если осуществится, буду проводить тебя и Любочку. Ну, пока, всего лучшего. Всем горячий привет и поздравления. Пиши! Гога и Валя кланяются.

5 / I 22 г. Manesova 78, b. XIII

Твой Евг. Чириков

---

1. Чирикова Новелла Евгеньевна (в замуж. Рождественская, Бирюкова, Ретивова, 1894–1978), драматическая актриса, старшая дочь Е. Н. Чирикова. Училась в студии В. Э. Мейерхольда, играла в провинциальных театрах, в частности, в Нижнем Новгороде. В 1922 г. вместе с другими членами семьи эмигрировала через Германию в Чехословакию, работала в русской библиотеке Земгора в Праге и участвовала в спектаклях русской любительской театральной труппы. С 1945 жила в Мюнхене, откуда в 1949 переехала в США.

2. Вероятно, речь идет о сказке-мистерии «Красота Ненаглядная», написанной Чириковым предположительно после поездки на озеро Светлояр в 1912 году. Была опубликована в 1924 году в берлинском Издательстве Ольги Дьяковой. Первое чтение состоялось предположительно до 23 января 1918 г. в Москве (см. отзыв: *Ермилов В.* «Красота Ненаглядная» (Новая драма-мистерия Е. Н. Чирикова) // Театр. 1918. № 2984. С. 3).

3. Чириков Евгений Евгеньевич (1899–1970), старший сын Е. Н. Чирикова. В 1917 г. был принят в запасной батальон в Новочеркасске в качестве вольноопределяющегося. После Октябрьского переворота 1917-го батальон влился в формирующуюся в Новороссийске Добровольческую армию. В одном из первых боев под Екатеринодаром был ранен, вследствие чего была ампутирована нога; вышел из рядов армии в 1918 году. После разгрома врангелевцев оставался в Ростове-на-Дону, где служил в местном отделе Совнархоза. Весной 1922 разыскал мать и сестру Новеллу, перебрался к ним в Петроград. В августе того же года выехал вместе с родными в Германию. После недолгого пребывания в Чехословакии, вернулся в Германию, где до 1924 г. учился в

Берлине. Затем переехал в Париж, где в 1927 г. получил диплом инженера-электротехника. В 1932 после смерти отца переехал в Чехословакию. В 1955 году вернулся на родину, жил с семьей в Ташкенте.
4. Крамарж Карел (1860–1937), чешский политический деятель, глава правительства Чехословакии в 1918–1919 гг. Сыграл большую роль в поддержке Чехословацким государством русской эмиграции, инициировав выплату правительством ежемесячных пособий беженцам из России (в том числе Д. С. Мережковскому, З. Н. Гиппиус, И. А. Бунину, И. С. Шмелеву и К. Д. Бальмонту), создание Крымского комитета помощи беженцам и др.
5. Паскалев Александр (1879–1946), болгарский книгоиздатель. В 1908 г. основал издательство, выпускавшее книги как отечественных, так и иностранных авторов. Особое внимание уделялось переводам русской классической драматургии.
6. Чирикова Людмила Евгеньевна (в замуж. Шнитникова, 1896–1995), художница, средняя дочь Е. Н. Чирикова. Весной 1918 вместе с родителями и младшей сестрой Валентиной выехала в Крым, где у Чириковых была дача в кооперативном имении Батилиман. В феврале 1920 эвакуировалась вместе с сестрой и художником И. Я. Билибиным из Новороссийска в Египет. Весной 1922 переехала в Берлин, где оформляла книги русских издательств. В ноябре того же года перебралась в Париж, где работала художницей по текстилю. В 1923 вышла замуж за Б. Н. Шнитникова. Получив приглашение одной из американских компаний, в 1925 году поселилась с семьей в Нью-Йорке.

24 января 1922 года, Прага,
Манесова, 78, патро II., быт № XIII

Милый Фаныч! Как живешь, как себя чувствуешь и пр[очее] и пр[очее]? Собрался написать тебе, наконец, о нашем общем деле, которое очутилось в весьма скверном положении. Чешская марка влезла в такую гору, что ваша лева кажется с ней щенком. Когда мы списывались о деле, то 1000 чешских марок равнялась так 1800 лева, а ныне около 3100 лева! Так что гонорара в 1000 чешских крон с листа никто из издателей уже не приемлет. А так как и ранее убытка побаивались и надеялись на самое лучшее – свести концы с концами, то теперь уже прозревают неизбежный и большой убыток и потому сторонятся. Затем, двух текстов ты не представил – это тоже повод придраться, материал весь не собран к 1 января – тоже. «Славянское издательство»[1] предлагает такую комбинацию: оно издает книгу на русском языке в кредит в количестве 3000 экземпляров. Сперва будет из продажи погашать все расходы по изданию, с процентами на кредит и на свою прибыль, а уже что останется, то по нашим губам растянется… При жуликоватости издателей – это риск не получить авторам

ничего! Посему я не соглашаюсь. У меня есть некоторая надежда на поддержку самих правительств славянских стран: чешского, болгарского и сербского. Ведь дело – большое и единственное в своем роде: первая попытка перейти от бесконечных словесных симпатий, речей и комплиментов к делу сближения! Хорошо бы тиснуть об этом в болгарских газетах как слух, подтолкнуть на это доброе дело. Кое-что в этом роде закинуто уже здешним болгарским посланником Баламезовым. Уж больно я всех авторов распалил высоким гонораром и теперь чувствую себя в дурацком положении. «Русс[кая] мысль»[2] предложила мне за давно принятую вещь[3] вместо прежних 265 франков всего 600 чешских крон! И пришлось согласиться, ибо в Берлине – гонорары на марки еще ниже, а печататься больше негде! 600 чешских крон – это более 2000 нем[ецких] марок, а на левы – 1714, т[о] е[сть] почти столько же, сколько было раньше предложено болгарским авторам.

Собери всех участников заново для обсуждения положения дела и полномочий мне действовать.

Согласятся ли авторы на предложение «Славянского издательства»? Согласятся ли на авторскую оплату гуртом полистно, не принимая во внимание стихов, по 600 крон чешских, если такое условие мне будет предложено.

Наконец, согласятся ли, если только половина, т[о] е[сть] по 300 чеш[ских] крон будет уплачено по выходе книги, а остальные 300, скажем, через полгода?

Затем по существу: печатать, видимо, будем только на русском яз[ыке], поэтому подлинников можно не присылать. В числе болгарских писателей у тебя почти не представлен Михайловский[4], писатель, который до некоторой степени стал классическим и после Вазова[5], пожалуй, должен занять второе место. Я это замечание получил от профессоров по славяноведению. Говорят, тут сказывается пристрастие современных писателей и школ!

В общем, мне уже достаточно надоел сборник, а еще не вышел! Дошли на случай еще что-нибудь Михайловского, из прозы. Обложка мне не понравилась: прямо взяли из тетрадки для бабьих вышивок, я даже нашел ее у дамы, у болгарской артистки Морфовой[6]. Не могли стилизовать нечто более значительное, напр[имер], из иконописных барельефов, дать хорошую раму. И самое слово «Болгария» написано шаблонно! Вообще кое-как. Безвкусие.

Что за история? Пишу, пишу Паскалеву по поводу своих книг – никакого ответа! Совершенно не понимаю. Спрашивал о времени выхода книг, по делу, – не отвечают. У меня никакого недоразумения не было. В чем дело? Просил узнать Георгия Александровича – и он

молчит. Это меня беспокоит. Издают они книги твои, мои или еще ничего не издали? Что случилось?

У меня есть материал на русский сборник «Светлояр», но общий застой на книжном рынке пугает здесь издателей. Может, в Софии издаст Паскалев? Напиши. Жду ответа. Посылаешь ли своим посылки через амер[иканскую] организ[ацию] Хувера[7]? Я послал. Есть ли от них вести? Всем друзьям привет мой! Ребята кланяются. Жду к марту дочь Людмилу из Каира. М[ожет] б[ыть], поеду весной читать лекции в Югославию, тогда заеду и в Софию.

Твой Евгений

---

1. Акционерное общество «Славянское издательство» возникло по инициативе издателя газеты «Русское дело» Г. О. Тилля. Выходила в Праге в 1919–1920 гг. Как приложение к газете выпускалась серия «Библиотека русского дела», в которой печатались произведения русских писателей. С развитием дела Тилль приобрел собственную типографию и начал выпускать сочинения русских классиков и переводные книги. Но к 1923 г. издательство стало малорентабельным, в 1924 году было ликвидировано.

2. «Русская мысль» – ежемесячное литературно-политическое издание (София, 1921; Прага, 1922; Берлин, 1922; Берлин; Прага, 1922–1924; Париж, 1927). Журнал с таким названием под редакцией П. Б. Струве выходил в России с 1880 г., был запрещен в 1917-м и возобновлен им в 1921-м в Софии. Вышло 15 выпусков.

3. Вероятно, речь идет о повести «Опустошенная душа (Исповедь)», опубликованной в книгах I–II и III журнала «Русская мысль» в 1922 г. Также в журнале была напечатана принадлежащая перу Е. Н. Чирикова «волжская легенда» «Храм Незримый» (Русская мысль. 1922. Кн. VI–VII).

4. Михайловский Стоян (1856–1927), болгарский поэт-сатирик и баснописец, прозаик, общественно-политический деятель.

5. Вазов Иван (1850–1921), болгарский поэт и писатель, в 1897–1899 гг. – министр просвещения Болгарии.

6. Морфова Христина (1889–1936), болгарская оперная певица, педагог и общественный деятель.

7. Администрация Американской Помощи (American Relief Administration). Была основана в 1919 г. по личному распоряжению президента США Вудро Вильсона и просуществовала до начала Второй мировой войны; руководителем был назначен Герберт Гувер.

29 / I. 22. Praha,
Manesova 78, byt XIII

Милый Фаныч! Письмо твое получил; а накануне только что

послал тебе. Пока ничего хорошего. Кризис! Я, похоже, на мели. Рассчитывал, что Паскалев выпустит книгу и придется получить, а вот – шиш с маслом. Нового рассказа сейчас написать не могу, а вот почти новый. Я здесь в чешской газете «Венков»[1] даю статьи и рассказы, и никто их, кроме пражских чехов, не знает. Вот и вышлю рождеств[енский] рассказ. В чешской газете – русский отдел в 3 столбца, так напечатан он по-русски. Смело можно повторить в сборнике. Теперь от меня просьба. Мой старый друг Мих[аил] Петр[ович] Сажин приехал из Сов[депии] в Вену и ищет сына-галиполийца[2]. Попроси напечатать поскорее в «Софийской газете»[3] Вас[илия] Ник[олаевича] Соколова[4] такое объявление: «М. П. Сажин ищет сына, Анатолия Сажина, бывшего артиллериста-галлиполийца, ныне оттуда эвакуировавшегося с добров[ольческими] войсками. Адрес: Berlin – Schoneburg, Heilbronnerstrasse 10 / II bei Frau Falke Frau Alice Blumberg, для А. М. Сажина».

Евг. Чириков

Привет друзьям!..

Из Сербии – ни звука. Да теперь уже мое письмо с посулом «тысячи» крон за лист и запоздало!.. Пусть правительства каждого народа примут участие в вознаграждении своих писателей, а нам только впору будет оплатить русских!.. Это обязательно, а остальное – слова и честь!

---

1. Газета «Венков» – «Venkov», центральный орган Аграрной партии Чехословакии, издавалась в Праге в 1906–1941 гг. Чириков часто публиковался на страницах этого издания в «Русском отделе», где в 1921–1923 гг. появилось более пятидесяти его статей и рассказов на русском языке.

2. Галлиполийцы – офицеры и солдаты частей Добровольческой армии, вывезенные союзниками из Крыма в ноябре 1920 г. и размещенные в военном лагере на полуострове европейской части Турции Галлиполи (район современного города Гелиболу). Лагерь существовал до мая 1923 года.

3. Точно установить издание не удалось. В 1920 г. выходила «Русская софийская газета», независимый беспартийный орган русских эмигрантов в Болгарии под редакцией Л. Я. Склярова.

4. Василий Николаевич Соколов – сведений найти не удалось.

12 марта 1922 года, Прага

От души поздравляем тебя, дорогой, с этой радостью! Понимаю, чувствую ее! Был у К. О. Зайцева[1], просил: обещал выслать, но они

сами жмутся. Говорил, что крон 600 пошлют, т. е. тысячи 2 лева по-вашему. «Первую любовь» передал с похвалою. Здешний «Союз пис[ателей] и журн[алистов]»[2] не имеет в кассе ни гроша! И живет литер[атурная] братья в большинстве очень скверно. Есть основание ждать правительств[енной] помощи в виде бесплатного [нрзб.], т. е. до осени. [нрзб.] фонд помощи писателям» [нрзб.] с этим письмом шлю письмо председателю Фонда [К. М.] Оберучеву[3] относительно тебя. А ты напиши еще [от се]бя; вот адрес: 165 West 95th Str. New-York City. [нрзб.] субсидии и о посылке продуктов в Одессу. [нрзб.] Думаю, что получишь. Пиши в амер[иканскую] газету «Утро»[4]… [нрзб.] мне пока ничего еще не заплатили, а напечатали уже [нрзб.]. Со сборником – неопределенно. М[ожет] б[ыть], выдадут [нрзб.] субсидию по 600 кр[он] на лист. Идут переговоры… Все мои концентрируются в Петрограде в надежде летом направиться по следам Вити[5]. Поцелуй его от меня! Мне тоже надо много денег – выручать своих: скажи о сем Паскалеву хотя через Калишевича. Он мне не отвечает тоже.

Твой Евг. Чириков

---

1. Зайцев Кирилл Осипович (Иосифович) (архимандрит Константин) (1887–1975), экономист, историк, литературовед, богослов. Участник Белого движения. В ноябре 1920 г. был эвакуирован из Крыма. До лета 1921 жил в Константинополе, затем в Софии, с 1922 – в Чехословакии. В 1925 переехал в Париж, редактировал газеты «Возрождение», «Россия и славянство» (1928–1934). С 1934 г. жил в Китае. В 1945 принял священство. С 1948 г. – в США. В 1949 г. пострижен в монашество с именем Константин. Редактор журнала «Православная Русь» с 1950. Архимандрит (1954).

2. «Союз писателей и журналистов в Чехословацкой Республике» был основан с согласия Чехословацкого правительства в 1922 г. Председателем правления при основании стал П. А. Сорокин. Чириков был избран постоянным членом правления.

3. Речь идет об «Американском фонде помощи нуждающимся русским литераторам и ученым» под председательством К. М. Оберучева. Константин Михайлович Оберучев (4 июня 1864 – 29 сентября 1929), генерал-майор. Эмигрировал в США, где вел активную общественную деятельность. Помимо председательства в фонде был одним из основателей и преподавателей Русского народного университета в Нью-Йорке; представителем Административного центра внепартийного объединения в Нью-Йорке и т. п.

4. «Утро» – ежедневная политико-экономическая и литературная газета под редакцией А. Гана, выходила в Нью-Йорке в 1922 г.

4. Федоров Виктор Александрович (1897–1948), художник, сын А. М. Федорова. В 1920 г. бежал в Румынию, где стал главным художником Оперного

театра в Бухаресте. После Второй мировой войны выдан советским властям, умер в лагере в Кемеровской области.

12 июня [1922 года], Прага
Пиши на старый!

Милый друг Фаныч! Получил письмо и книгу, «Землю»[1]. Начну сватать… С «Земли» начал потому, что, во-первых, вертится, а затем еще потому что издательство, которое я наметил для нас обоих, – тяготеет к земельному вопросу в Чехии и в России и скорее прельстится. Потом по проторенной дорожке будем совать и другие книги. Теперь о деле, которое в наших общих интересах тоже. Я писал Мишайкову[2], просил его и Кулева[3] добиться мне письменного ответа, но он ничего не сделал, поговорил и удовлетворился тем, что Паскалев пообещал написать мне сам! Ну, довольно дурака валять. Надо принять, наконец, обоим нам решительный шаг. Мое несчастье в том, что у меня были единст[венные] экземпляры «Юности» и «Изгнания»[4] (остальные есть) и подлец не отдаст и этим тоже сильно напакостит. Итак, полагаю нам надо сделать, во-первых, заявление письмом в газету, «День»[5], например, что ли, письмом на имя представителей издательства, Паскалева и Славчева, редакцию коего прилагаю. Во-вторых, пригласить на помощь Дзивгова[6]. Я вышлю тебе копии засвидетельственного договора и доверенности, а ты или сам от нас обоих, или, передоверив Дзивгову, явитесь официально, лучше с тем же свидет[елем] Палашевым, который был при заключении договоров, и потребуйте установления факта нарушения контрактов и выдачи обратно книг и рукописи (мой роман «Семья» в рукописи). Впрочем, Дзивгов уже знает, как юридически оформить факт нарушения контрактов. Может быть, следует внести заявление через наше консульство и таким образом установить факт нарушения и потому нашего освобождения от договора и от уплаты авансов? Будем искать нового издателя. Я думаю вернуться к ладыжниковскому[7] предложению, если только он не пойдет на попятный. Затем кокетничает Гржебин[8]! Во всяком случае пути открыты: издательство Эфрона[9], «Грани»[10], Дьяковой[11], «Библиофил»[12]. Моя дочь Людмила (египетская) получила работу в Берлине и там пока обосновалась. Через нее буду вести переговоры. М[ожет] б[ыть], для верной пересылки копии договора я пошлю его в софийскую рус[скую] миссию[13] через здешнюю, и, м[ожет] б[ыть], последняя засвид[етельствует] мою доверенность (копию договора я засв[идетельствовал] в здешней болг[арской] миссии)[14]. Тогда напишу, чтобы копию договора вручили тебе. Имей это в виду. Ради Бога, начинай энергичнее. Больше не на кого наде-

яться. Дарить книгу за аванс я теперь не желаю: он, сволочь, не ответил даже и на мою любезность! Если будет на руках офиц[иально] засв[идетельственный] факт нарушения контракта, то если даже Паскалев потом самовольно выпустит книги, он будет иметь процесс уже с издательством, приобр[етшим] наши книги, а не с нами.

Вся моя семья теперь в Петрограде и в хлопотах о переезде. Дело трудное: я мог послать только на оплату паспортов! Теперь это уд[овольствие] стоит 300 000 000 с рыла! Как они выедут, не представляю... Валя прихварывает. Прага после Африки оказалась для нее прямо неприемлемой. «Русская мысль» перебирается печататься в Берлин. Здесь немыслимо дорого. Очень недурен твой рассказ «Мусса»! Зайцев сейчас в Германии, вернется – поговорю о «Первой любви». По-моему, тоже неплохой рассказ. Вот не нравится мне «Последний могикан» – прямо говорю, не сердись, гордый писатель. А как меня Василевский[15] лягнул в «Русской книге» за Горького! Читал? И Неманов[16] лягнул. Вообще лягаются. А мне не страшно. Приехал сюда Борис Лазаревский[17], редактор «Рус[ского] слова» Благов[18], Потемкин[19] здесь, поэтесса Марина Цветаева из России приехала. И всем делать нечего! Приедешь ты, и тоже будет делать нечего. Получил открытку от Наживина[20]: зовет жить в Саксонию и издаваться в из[дательстве] «Детинец»[21], советует не бояться монархизма и говорит, что он полевел. Как живут Столицы? Что-то вы друг о друге совсем не упоминаете? Подозрительно. М[ожет] б[ыть], отделал ты под пьяную руку, как меня однажды? Ты ведь генералом быть выпимши любишь! Успокоилась ли история с географией или всё еще продолжается? Как свидание с сыном? Уж чем переезжать в Бессарабию, так лучше в Германию. Там сын найдет работу в издательствах, а ты места для сотрудничества. Пожалуй, зря ты прилепился к учительству, а вот теперь боишься оторваться, рискнуть и сидишь на грошах.

Ну, жму руку и прошу действовать. Напиши о плане действий и о результатах неукоснительно. Куда вышлю доверенность, пошлю вдогонку, побывав на днях в русской миссии. Целую. Ребята кланяются!

Письмо дальше.

---

1. «Земля – имеется в виду роман А. М. Федорова «Земля» о борьбе с голодом в Поволжье, опубликованный в 1903 г. в журнале «Русское богатство», отдельным изданием выходил в 1905 и 1911 гг. Сведений о публикации романа за рубежом найти не удалось. Вероятно, речь идет об издательстве «Венков», существовавшем при одноименной чехословацкой газете. Сведений об изданных им книгах Чирикова и Федорова найти не удалось.

2. Мишайков Димитр (1883–1945), экономист-статистик, профессор

Софийского университета, государственный деятель. В 1930−1931 гг. − министр торговли, промышленности и труда, в 1936-м − министр просвещения. Был директором Высшей кооперативной школы, в которой А. М. Федоров преподавал русский язык и литературу.

3. Кулев – не удалось найти сведения.

4. Речь идет о первой и второй частях автобиографической тетралогии Чирикова «Жизнь Тарханова»; публиковались в журнале «Вестник Европы» в 1911−1912 гг. Сведения об издании этих романов за рубежом − см. в ответах писателя на анкету Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии (РГАЛИ. Ф. 2474. Оп. 1. Ед. хр. 88).

5. Вероятно, имеется в виду газета «День», выходившая в Риге в 1922 г. под редакцией Н. В. Павлова.

6. Дзивгов Крум-Александр Димитров (1895–1936), болгарский литературный критик и публицист, автор множества статей о европейской и русской литературах, выступал по общественно-политическим и нравственным вопросам. Оказывал помощь многим русским эмигрантам.

7. Ладыжников Иван Павлович (1874–1945), издатель, участник революционного движения 1890-х – начала 1900-х гг. В 1905 г. организовал в Женеве издательство «Demos», в том же году перенесенное в Берлин под названием «Издательство И. П. Ладыжникова», где печатал марксистскую литературу, сочинения Горького и писателей горьковской группы «Знание». В 1918 издательство было приобретено Б. Н. Рубинштейном, но до конца своей деятельности сохраняло старое название. С 1920 г. начало выпускать книги для эмиграции. Прекратило существование в 1927 году.

8. Гржебин Зиновий Исаевич (1877–1929), художник, книгоиздатель. Один из учредителей и организаторов издательства «Шиповник» (1906–1918). В 1916 участвовал вместе с М. Горьким в создании издательства «Парус» и газеты «Новая жизнь». В 1919 г. основал «Издательство З. И. Гржебина», в 1920-м перенес деятельность в Берлин. Выпускал произведения русских классиков и современных писателей, научные труды, детские книги, научно-популярную литературу. Прекратило существование в 1923 г.

9. «Издательство С. А. Ефрон», основано в Берлине (1920–1933). Семен Абрамович Ефрон (1867–1933), издатель, младший брат соиздателя «Энциклопедического словаря» И. А. Ефрона. Выпускало книги по философии, общественным наукам, художественную литературу современных авторов.

10. Издательство «Грани» было создано Сергеем Моисеевичем Пистраком (1886 – после 1942) в Берлине в 1921 г. Выпускало прозу современных русских беллетристов и поэтов и переводы иностранной классики до 1923 г.

11. «Издательство Ольги Дьяковой и К°» было основано в 1920 в Берлине супругами Ольгой Густавовной (1875 – после 1951) и Ипполитом Николаевичем Дьяковыми (1865–1934). Специализировалось на издании современной художественной литературы, также выпускало детские книги, журналы

(«Златоцвет»), литературно-художественные альманахи («Русская женщина», «Русская деревня»), открытки. Работало до начала 1930-х.
12. Издательство «Библиофил» было основано в Ревеле Альбертом Оргом и проработало с 1921 по 1924 гг., став самым крупным издательством в Эстонии, специализировавшимся на выпуске русских книг.
13. Русская дипломатическая миссия правительства генерала А. И. Деникина. Прибыла в Софию 2 января 1920 года. Миссию возглавлял Александр Михайлович Петряев (1875–1933), бывший заместитель министра иностранных дел при Временном правительстве. Миссия обеспечивала защиту интересов российских беженцев и Русской Церкви в Болгарии. Из-за обострившихся под влиянием политики советского правительства отношений с болгарскими властями миссия была закрыта в начале 1923 г., ее имущество и архив переданы Болгарии.
14. Русская дипломатическая миссия в Чехословацкой республике была создана 17 января 1919 г. и возглавлялась бывшим посланником правительства А. В. Колчака Владимиром Трифильевичем Рафальским (1886–1945). Оказывала активную правовую поддержку российским военным беженцам, направляла властям ходатайства о выдаче им паспортов и т. п.
15. Василевский Илья Маркович (1882–1938), журналист, издатель, литературный критик. До революции публиковался в периодических изданиях «Образование», «Петербургские ведомости», «Биржевые ведомости» и др. Редактор и издатель газеты «Свободная мысль». В 1920–1923 гг. в эмиграции (в Константинополе, Париже и Берлине). После возвращения в СССР продолжил литературную работу. В 1938 г. был расстрелян по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Реабилитирован в 1961 г. См. отзыв Василевского: *Не-буква*. Е. Чириков. «Смердяков русской революции (Роль Горького в русской революции)» // Новая русская книга. 1922. № 3.
16. Неманов Лев Моисеевич (1871–1952) – журналист, редактор ежедневной газеты «Голос России», выходившей в Берлине в 1919–1922 гг.
17. Лазаревский Борис Александрович (1871–1936), русский писатель, юрист, публицист. После окончания юридического факультета Киевского университета служил в военно-морском суде в Севастополе и Владивостоке. Печатался в журналах «Вестник Европы», «Русское богатство» и др. После 1917 года жил в Киеве, Ростове-на-Дону, Тифлисе. Сотрудник ОСВАГа. В 1920 г. эмигрировал в Константинополь, затем жил в Берлине, Праге. С 1923 года в Париже. Член парижского Союза русских писателей и журналистов.
18. Благов Федор Иванович (1866–1934), русский журналист, редактор. Окончил медицинский факультет Московского университета и некоторое время работал врачом. После женитьбы на дочери издателя И. Д. Сытина Марии Ивановне оставил практику и стал пайщиком и членом правления торгового дома «И. Д. Сытин». С мая 1901 года был официальным главным

редактором газеты «Русское слово». После Октябрьской революции сотрудничал с изданиями, выходившими на контролируемой правительствами Юга России территориях. В 1919 г. эмигрировал в Румынию, в 1922 г. переехал в Чехословакию, затем во Францию. «Русское слово» – общественно-политическая, экономическая и литературная газета, издавалась в Москве с 1895 г. В 1897 была приобретена Издательством Сытина. После Февральской революции поддерживала Временное правительство, выступала против большевиков. Закрыта постановлением Московского ВРК. С января по 6 июля 1918 года выходила под измененными названиями («Новое слово», «Наше слово»). В июле 1918 окончательно закрыта.

19. Потемкин Петр Петрович (1886–1926), поэт, переводчик, драматург, критик. Занимался литературной деятельностью с 1910-го, сотрудничал в различных газетах и журналах. После революции жил в Москве. С 1920 г. в эмиграции (Прага, Париж).

20. Наживин Иван Федорович (1874–1940), писатель, многолетний последователь Льва Толстого. Отрицательно отнесся уже к первой русской революции. В Гражданскую войну был на стороне белых, сотрудничал в ОСВАГе. С 1920 г. в эмиграции. В 1930-х был близок к «сменовеховцам».

21. Книгоиздательство промонархистского направления «Детинец», основано в Берлине в 1921 при участии герцога Г. Н. Лейхтенбергского (1872–1929). Пайщиками выступили И. Ф. Наживин, ставший директором издательства, и П. Н. Краснов. Издательство имело отделения в Вене и Мюнхене. Книги издательства были разделены на четыре серии (политические, русская история и др.) и имели порядковый номер. Здесь печатались художественные произведения самого Наживина. Также издательство выпускало открытки серии «Великая Россия» с русскими пейзажами. Было закрыто в 1922 году.

4 сентября [1922 года]
Прага

Дорогой Фаныч! Целую тебя. Твой роман «Земля» принят и переводится на чешский язык. Когда выйдет книга, получишь так 1000-1200 чешских крон, что в переводе на ваш язык очень значительная сумма... Терпи! авансов не дают... Потом всунем и еще [нрзб.]. Вся моя семья благополучно прибыла в Берлин! Ура! Все унесли ноги… Не решим, кто где устроится: часть семьи, вероятно, будет жить под Берлином, а жена, сын приедут сюда!.. Писать некогда, ищем квартиру. Гога и Валя кланяются, Мила живет в Берлине. Твой Евгений.

Напиши сам в «Рус[скую] м[ысль]» Струве и построже!

Вот гонорар на наши кроны = г…

Адрес на открытке: A. M. Fedoroff (А. М. Федорову)
«Bucarestskia Novosti» 14, Strada Carol. Bucuresti Bucharest.

22 сентября 1922, Прага,
Manesova 78, b XIII
(Открытка с повреждениями)

Милый Фаныч! Скажи слава Богу, что вообще платят. А вот мои 10 книг перевели и ни гроша не дали! Конвенции с Чехией не было, и всё, что имеется уже на русском языке, что напечатано, переводят без всяких стеснений. И мы, русские, так делали. Но всё же совесть заговорила, стали платить. Я тебе сообщил цифру минимальную. Надеюсь отвоевать для тебя 5%, как получаю я. Стало быть, сумма будет зависеть от стоимости книги. Если книга будет 20 крон, то ты получишь за 3000 экз[емпляров] – 3000 крон, но если [нрзб.], то меньше. Об авансе похлопочу, но мало [нрзб.]; м. б., крон 500 дадут. Кречетов[1] [нрзб.] нового издательства «Медный всадник» в Берлине (Серг. Алексеев. Соколов, Berlin W30, Gotzstr, 11, bei Conrad). Предложи! Будет у него и альманах. Я, брат, кончил большой роман «Зверь из бездны». Жаль, что ты с сыном не в Праге: сын бы учился, а ты жил в больш[ом] культур[ном] центре, а не в дыре. Ждем Ремизова[2], Ценского[3], здесь Б. Лазаревский, Сургучев[4], Благов, Потемкин, Цветаева, вообще народ лит[ературный] есть, только [нрзб.] «Рус[ская] м[ысль]» забита литер.

Все мои уже в Берлине. Скоро я поеду. Решили разделиться: я, жена, Гога и Валя – в Праге, остальные в Берлине. Там в 3 р[аза] дешевле. Здорово меня «обрезали»! Вроде «Пушкинзон»!.. А Паскалев так и не вернул мне «Юности»! А у меня [нрзб.] ее, и я не могу начать издание! Вот сволочь-то.

Целую. Евгений

---

1. Кречетов – псевдоним Соколова Сергея Александровича (1876–1936), поэт, журналист, издатель. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Основатель издательства «Гриф», за рубежом – журнала «Золотое руно» и книгоиздательства «Медный всадник». Одним из направлений деятельности стал выпуск сборников «Белое дело», представлявших летопись белого движения на основе сохранившихся документов и рассказов участников. В 1926–1928 гг. вышло шесть выпусков. Проработало с 1922 до 1928 год.

2. Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957), писатель, драматург, поэт, мемуарист. В раннем творчестве испытал влияние символизма, позднее обратился к духовному наследию древней Руси, к национальной мифологии, старопечатной книге и памятникам народной культуры (сборник «Лимонарь»,

1907, пьеса «Бесовское действо», 1907, и др.). Эмигрировал в 1921 г. в Берлин, в 1923 переехал в Париж.
3. Сергеев-Ценский (псевд.; наст. фам. – Сергеев) Сергей Николаевич (1875–1958), русский советский писатель. Печататься начал с конца 1890 гг. Призывался на военную службу во время Русско-японской и в начале Первой мировой войн. Со второй половины 1910-х жил в Крыму, публиковался в изданиях отдела пропаганды Деникинской армии. В 1920-30-е обратился к исторической теме. Эпопея «Севастопольская страда» (1937–1939) отмечена Сталинской премией (1941). На протяжении более 40 лет работал над оставшимся незавершенным эпическим циклом «Преображение России» (1914–1958), который включает двенадцать романов, три повести и два этюда. За границу не выезжал.
4. Сургучев Илья Дмитриевич (1881–1956), русский прозаик, драматург, публицист, критик, мемуарист. Первый сборник рассказов выпустил в 1910 г. Революцию 1917 года не принял. Примкнув к Белому движению, в 1918–1919 гг. сотрудничал с ОСВАГом. В 1920 эмигрировал в Константинополь, в 1921 переехал в Прагу, затем в Париж. В 1922–1930 гг. был соредактором журнала «Воля России». В годы Второй мировой войны публиковался в газете оккупационных властей «Парижский вестник» и берлинском «Новом слове», из-за чего в 1945 был обвинен в сотрудничестве с нацистскими властями и шесть месяцев провел в тюрьме. В 1946 г. освобожден из заключения.

20 декабря 1922 года,
Praha, Dobrichovice, villa «Tetka»

Милый Фаныч! Я целый месяц прогостил в Берлине, у своих, «устраивал» часть семейства. Жену вывез сюда, одну дочь проводил в Париж. Только твое последнее устранило мою неуверенность о месте твоего жительства, раньше трудно было сказать, где ты осел окончательно. Дело с «Землей» вовсе не провалилось, а как и все переводы и издания здесь задерживают в связи с кризисом и выжиданием падения кроны и цен на бумагу. Я отдал 4 свои книги – и они тоже до сей поры не выпущены, хотя и переведены уже. На днях буду в Праге и буду хлопотать об авансе тебе. М[ожет] б[ыть], и пробью стены чешских обычаев не давать авансов. Условия – 5% с номинала, выпустят 3 тысячи экз[емпляров]. В связи с ценой будет и сумма. Если падут цены на книгу, то больше 3-х тыс[яч] крон с тома не получим. Жизнь моя – трудновата: две семьи, одна в Праге, другая – в Берлине… Продал «Семью» изд[ательст]ву «Глагол», во главе к[отор]ого стоял Блюменталь из «Москов[ского] кн[игоиздательст]ва»[1].

Собрал ли ты свою семью в Софии? Сын где? Моя дочь Людмила зарабатывает обложками: № 8 «Жар-Птицы»[2] – ее обложка,

книга Марины Цветаевой «Царь-Девица»[3] – ее обложка и все украшения, книги А. Белого – тоже ее обложка. Но заработок в Берлине – ничтожный и на него невозможно прожить! Дочь Валя кончает английский колледж. Гога на II курсе Политехникума, старший сын в Берл. [нрзб.]

Целую тебя и поздравляю с Р[ождеством] Хр[истовым]. Пиши!

Твой Евгений

Адрес на открытке: M-r A. Fedoroff Алекс. Митр. Федорову Чепино, 18 Sofia, Bulharsko.

---

1. «Московское книгоиздательство» организовал писчебумажный фабрикант Густав Алексеевич Блюменберг в 1907, фактически делами занимался его сын Георгий Густавович Блюменберг. Просуществовало до 1917 года.

2. «Жар-Птица» – ежемесячный литературно-художественный журнал. Издавался в 1921–1926 гг. в Берлине и Париже. Вышло 14 номеров.

3. Поэма-сказка «Царь-Девица» была написана М. И. Цветаевой в 1920 г. Отдельным изданием, обложку которого оформила Л. Е. Чирикова, вышла в Берлине (Изд. «Эпоха», 1922).

[15 апреля?] 1923 года,
Вшеноры

Милый Фаныч! Получил ли 500 чешских крон – аванс, выхлопотанный мною тебе за «Землю»… Обещали выслать. Исполнили ли это? Напиши! Как живешь? Советую тебе перебираться в Прагу. Получить визу можно лишь косвенным путем, а именно: здесь будет съезд педагогов. Вот ты и пользуйся случаем: явись представителем, а уже здесь мы («Союз») выхлопочем тебе жительство. Уверен, ты ничего не потеряешь…

Твой Ев. Чириков

Адрес на открытке:
За Т. Александр Тодоров
Чепино, 18.
Sofia
Bulharsko

12 мая 1923 года,
Вшеноры

Милый Фаныч! Не ругайся, не бранись! Насилу протолкнул и посланные 500 крон. Книга твоя переведена, но выпустят только осе-

нью, а м[ожет] б[ыть], и к Новому году. Изд[ательст]во «Венков» набрало много русских книг для перевода и новых не берет до следующего года, когда использует все заготовленные уже переводы. Надо поискать другого издателя, что и буду делать. Живу я не в Праге, туда лишь изредка наезжаю, а потому для меня быстрота невозможна, тем более – приедешь на день, а дел по горло, больше заседаний, конечно. Весьма глупо сделал, что не приехал на педагогический съезд, если имелась к тому возможность: я уверен, что это тебя толкнуло бы с мертвой точки. Ты засиделся и боишься новизны в жизни. Так бывает. А я тебе не раз говорил, что в свое время ты здесь мог устроиться лучше, чем в Софии. У меня было много возни: теперь все со мной, кроме двоих: дочь Людмила (художница) в Париже, вышла замуж за Бориса Ник[олаевича] Шнитникова, брата повесившегося в Софии[1], и сын Евгений, старший, в Берлине в Высшем комм[ерческом] институте. И внучка приехала, Наташа[2], один год и 7 месяцев. Дедушка! Живем средне, но все сыты, обуты и пр[очее]. Ты на случай пришли мне еще книгу какую, ну, напр[имер], «Бадеру», что ли… Лучше иметь ее под руками, ибо заглазно сватать трудно, забывается, а тут всунул и готово! Как было с «Землей». Борис Лазаревский всунул здесь две своих книги.

А я вспоминаю все-таки Болгарию! Климат там куда роднее. Помню, например, нашу поездку, Бани [нрзб.] Витошу. Сонливее природа, более напоминает Россию. Здесь никуда не уйдешь от культуры, высраться на природе не приходится!

Как живешь? Бываешь ли в Чаталдже? Как милый Райко? Поклонись ему. Поди опять – выставка? Всем знакомым привет. Прочитай мой рассказ в альманахе «Медный всадник» – «Лесачиху»[3]! Там есть вещица Бунина – «Косцы»: опростоволосился автор: косцы у него косят и хором поют… Легкая работа!

Назревает здесь русское издательство, но пока будет издавать учебники, хрестоматии и учебные научные труды для студентов, обещают перейти и на издание альманахов, однако нескоро… Если надумают сборник славянск[ой] худ[ожественной] литературы, вероятно, умею всунуть часть твоих переводов в стихах и прозе, на сей случай сообщи размер гонорара, дадут немного, ибо издание небогатое. Дай полномочия на случай.

Здесь мы все в тревожном ожидании событий… Все думается, что должно к зиме вершиться чудо и раскрыть нам путь-дорогу домой…

Если бы твой сын очутился здесь, конечно, он поступил бы здесь в Политехникум… Многие пришли без виз и устроились.

А вот винца здесь не выпьешь, как в Болгарии: чертовски дорого.

Жму руку и обнимаю. Наши кланяются!
Твой Евг. Чириков

---

1. Шнитников Борис Николаевич (1886– 1961) – сын известного петербургского адвоката Николая Николаевича Шнитникова (1870–1940). Окончил Политехнический институт. После Октября 1917 в эмиграции вместе с отцом и братом Всеволодом Николаевичем Шнитниковым (1879–1921). В 1918 г. – представитель Русского торгового флота в Гонконге. Жил в Париже, Лондоне, США. Муж Л. Е. Чириковой с 1923 г. В. Н. Шнитников покончил жизнь самоубийством в Софии.
2. Бирюкова Наталья Сергеевна (после удочерения отчимом – Ретивова Наталья Георгиевна, в замуж. Федорова; сценич. псевдоним – Чирикова; 1921–2018), дочь Н. Е. Чириковой от второго брака, балерина. Покинула Россию с матерью в августе 1922. В Чехословакии жила во Вшенорах, в Праге, училась в гимназии, немецком лицее, балетной школе Е. Н. Никольской. Танцевала в Национальном театре в Праге (1940–1945), в США (с 1947).
3. *Чириков Е. Н.* Лесачиха: рассказ. – Берлин: Медный всадник, [1923]. Вып.1. Сс. 76-113. Последующие выпуски не выходили.

2 августа 1923 года,
Вшеноры, Вилла «Тетка»

Милый друг Фаныч! Письмо из Бухареста получил, но не понял, временно ты там или вернешься в Софию. Я тебе, кажется, писал уже, что наши русские дела с чешскими издательствами сейчас разладились из-за книжного кризиса вообще и в Чехии так же. Издатели вообще приостановили выпуск новых книг, даже чешских. Мой последний роман[1], купленный одной из главных и солидных фирм («Отто»[2]), целый год квасится, уже переведенный: ждут изменения цен, особенно на бумагу, иначе прямой убыток. Поэтому и твоя «Земля», в числе многих принятых и переведенных уже книг (Ал. Толстого, Лазаревского, моей книги детских рассказов), квасится, и тут ничего не поделаешь. Новых покупок у нашего брата не делают. И не видно, чтобы дело скоро изменилось… Не хотят брать даже Бунина и Шмелева, о чем я хлопотал здесь. Так что и с присланными тобой книгами пока нельзя предпринять. Затор! Посылаю тебе все твои рукописи, за исключением «Первой любви», которая, как тебе известно, в «Русской мысли», а «Мысль» теперь перекочевала в Берлин. Здесь основалось издательство «Пламя» с Евг[ением] Алекс[андровичем] Ляцким во главе[3] – частью эсеровское. Оно пока издает учебники и лекции, но как я слышал, намеревается издать «Славянский

сборник» (моя мысль!). Так как мои отношения с этим издательством никакие по личным отношениям, то я не рискнул отдать материал, присланный тобою: боюсь, обдуют с гонораром, который и без того у них мизерен. Посему спишись с Ляцким сам и сторгуйся, вообще рискуй самолично. Всё не возьмут, а кое-что наверное. Имей в виду, что минимальный гонорар здесь 250-300 крон, за стихи – 2 кроны со строки. Адрес Ляцкого – Прага, «Земгор»[4].

Б. Лазаревский уехал в Париж. Валяй-ка вместо него сюда! Будет к[акой]-н[ибудь] съезд в Прагу, приезжай представителем и останешься. Так визу не дадут. Живем не жирно, но сыты, обуты, одеты и пр[очее]. Пишу много, но больше для желудка. Начал новый роман. На русском яз[ыке] выпускаю в Берлине в б[ывшем] московском книгоиздательстве у Блюменберга роман «Семью» – к ноябрю. Киснет много работ. Д[олжно] б[ыть], пойдут в «посмертные произведения»! Как видно, надеяться на скорое возвращение не стоит, а жизни осталось немного… Твою «Землю» возьму и перешлю тебе по адресу, который укажешь. Пожалуй, в Болгарии теперь будет житься русским получше? Относительно переводов на румынский язык: нет лишних экземпляров книг, чтобы послать в неизвестность. Нельзя ли достать в Бухаресте мою «Юность» или «Цветы воспоминаний»? Нельзя ли поставить мою пьесу, новую – драму на революционном фоне[5]? Она не агитационна и потому не политична, но... с большевиками я, конечно, не церемонюсь. Тема – любовь выше политических страстей. Поговори-ка там! Могу приехать на постановку, кстати, прочитать лекцию на тему: «Интеллигенция и большевизм». Пьесу на случай посылаю. Сохрани и за ненадобностью верни заказной бандеролью. Пусть похлопочет сын: если устроит, дам ему 10% со своего заработка. Старший мой сын учится в Берлине, жду его на побывку. Дочь Людмила – художница – в Париже, все остальные семеро плюс ребенок со мной. Валя и Гога получают стипендию в размере по 500 крон, остальные – безработные. Бог как-то помогает нам! Кажется иной раз совсем скверно, вдруг неожиданное получение. От случая к случаю. Думаю открыть для взрослых чехов-русофилов «Школу для изучения русского литературного языка и самой литературы». Вот если бы приехал, вместе начали бы это дело…

Целую! Семейство кланяется…

Твой Евг. Чириков

Портрета готового нет. Закажу и вышлю маленькой статейкой о жизни русс[ких] писателей в Праге.

---

1. Не удалось установить, о каком издании идет речь.

2. Отто Ян (1841–1916), чешский издатель, общественный деятель и меценат.

В 1874 г. создал книготорговое предприятие, позднее преобразованное в издательство. Выпускало художественную литературу, собрания сочинений классиков чешской и мировой литературы, а также «Научную энциклопедию Отто», вышедшую в 27 томах в период с 1888 по 1909 гг.
3. «Пламя» – русское эмигрантское издательство общества «Пламя». Было создано в 1923 г. под руководством литературоведа и издателя Е. А. Ляцкого (1868–1942). Выпускало книги разнообразной тематики, а также книжные каталоги, художественные альбомы, открытки. Представительства общества и издательства были открыты по всему миру, где существовал интерес к русской книге, в целях пропаганды которой издательство выпускало в 1923–1924 гг. еженедельную библиографическую газету «Огни», а также журнал славянской библиографии «Славянская книга» (1925–1926). Прекратило существование в 1926 г.
4. «Объединение российских земских и городских деятелей». Было основано в Париже в 1921 г. В задачу Земгора входило оказание помощи российским гражданам за границей, культурно-просветительная и благотворительная работа и т. п. Наиболее активным его филиалом (фактически самостоятельной организацией) было Объединение российских земских и городских деятелей в Чехословацкой республике (1921–1935), которое финансировалось чехословацким правительством в рамках Программы помощи русской эмиграции («Русская акция»). Пражский Земгор занимался учетом и трудоустройством русских эмигрантов, содержал собственную типографию, являлся учредителем Русской библиотеки (с 1933 г. Русская библиотека им. Т.-Г. Масарика), Русского народного университета в Праге (с 1933 – Русский свободный университет), Пражского архива и других организаций Русского Зарубежья.
5. Вероятно, речь идет о пьесе «Красный Паяц и белая Пьеретта» (впервые опубликована: *Чириков Е. Н.* Красный Паяц и белая Пьеретта / Подгот. текста Е. Е. Чирикова и В. Б. Белуковой // Малоизвестные страницы и новые концепции истории русской литературы XX века. – М., 2006. Вып. 3. Ч. 1.).

20 ноября 1923 года,
Praha, Dejvice, Belcredihotr. 360, b.-14

Милый Фаныч! Ах ты – блуждающая почка! Не отвечал тебе за отъездом: шесть недель жил на углекислых водах в г. Подебрадах и подмолаживался. Теперь вернулся. Ты перепутал письма: ко мне письмо, адресованное Ляцкому, а его письмо – ко мне. Хорошо, что не ругал никого. Имел разговор о твоем деле. Твоя антология принята к печатанию[1]. Говорил, чтобы поскорее послали тебе денег. Боюсь только, что тебя, друг, прижмут с гонораром: Ляцкий и К-о в этом отношении люди опытные. Тут уж сам отстаивай свои авторские

интересы, я не могу и не хочу вмешиваться, о чем и предупреждал тебя. Что касается «Земли», то она переведена, но с выпуском всё еще не торопятся! Ждут удешевления бумаги. Как теперь живешь? Легче ли дышится теперь в Болгарии русским? Был здесь Мишайков, но я как раз был в отъезде. Две мои дочери в Париже, старший сын в Берлине, остальные со мной. Живем средне. Тоже постоянно – денежный вопрос стоит, требуя разрешения. Зарабатывать писательством здесь трудно: негде писать по-русски, а в чешских газетах дают мало и редко место. Если бы не займы – субсидии от правительства[2], было бы совсем плохо. Однако все-таки здесь чувствуется лучше, чем где бы то ни было. Из Берлина писатели разбегаются, кто в Париж, кто в Прагу, кто и в Россию (Белый, Микитов[3], Толстой), русские издательства прекратили издание книг, вообще нашему брату негде печататься по-русски. Я написал новый роман «Зверь из бездны», но издам его только на чешском. Написал пьесу, и она принята в венском Фольктеатре, пойдет на немецком. В «Окно»[4] Бунин не приглашает. «Совр[еменные] записки» – там Керенский[5], а я его костерил в газетах. Вот теперь пишу роман новый, а куда его деть, не знаю… В засол! Зато если приеду в Россию, много товару привезу: два романа, две пьесы, книгу рассказов. И умру если, так много посмертного материала останется! Я умер, а сотрудничаю! – разве это не любопытно? Однако всё еще надеюсь вернуться. Вера в это не умирает. Ну, а сколько пользы ты получил от Бухареста? Что переводы? Насулил много, а что-то не обращаются… Никаких курсов не вышло. Я имел в виду соучастие твое и Ладыженского[6], но вас нет, и я не мог начать даже и разговоров с министерством. А теперь, пожалуй, и поздно: не дадут вам виз ввиду боязни наплыва новой волны русской в маленькую Чехию. Я очень жалею, что ты меня не послушал вовремя, а теперь уже трудновато будет попасть сюда. Разве членом на какой-нибудь съезд. А втроем, при моей здесь популярности, курсы русского литературного языка и русской литературы имели бы успех! Теперь здесь открыли уже их в двух местах. Почему Чепино 5, а не 18? Что случилось? Не били?

Сын Гога на 3 курсе, полуинженер! И не заметишь, как кончит. Жаль, что твой сын не бежал прямо сюда: тоже давно учился бы.

На днях буду в издательстве и поговорю о «Земле» и гонораре. А ты тереби Ляцкого.

Крепко тебя целую. Жена и дети кланяются тебе. Поклонись общим друзьям!

Твой Евгений Чириков

---

1. Имеется в виду «Антология болгарской поэзии», составленная и переве-

денная А. М. Федоровым. Вышла в издательстве Министерства народного просвещения Болгарии в 1924 г.
2. Финансовые выплаты русским беженцам в рамках «Русской акции» – программы помощи, объявленной Чехословацким правительством в 1921 г. беженцам из России, вынужденным покинуть родину после Октябрьской революции.
3. Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892–1975), русский советский писатель и журналист. Печататься начал в 1912 г. В 1919 г. устроился матросом на торговое судно, которое в 1920 было продано в Англию за долги. Вместе с командой был списан на берег и оказался в непредвиденной эмиграции. Год прожил в Англии, в 1921 г. перебрался в Германию. Вернулся в Россию в 1922.
4. Журнал «Окно» – трехмесячник литературы, выходил в Париже в 1923–1924 гг. (издатели М. О. и М. С. Цетлины). Вышло три номера. В журнале печатались рассказы И. А. Бунина «Безумный художник», «В ночном море», сказка «О дураке Емеле, который вышел всех умнее».
5. «Современные записки» – ежемесячный общественно-политический и литературный журнал, выходил в Париже в 1920–1940 гг. Керенский Александр Федорович (1881–1970) – политический деятель, адвокат. В 1917 г. во Временном правительстве: министр юстиции (март–май), военный и морской министр (май–сентябрь), с 8 (21) июля министр-председатель, с 30 августа (12 сентября) – Верховный главнокомандующий. В эмиграции с 1918 г. До 1940-го жил во Франции, где редактировал газету «Дни», выступал с антисоветскими лекциями, призывал Западную Европу к военной борьбе против Советской России. В 1940 переехал в США.
6. Ладыженский Владимир Николаевич (1859–1932), писатель, поэт, критик, журналист. Долгое время жил в Пензе, был участником различных земских учреждений Пензенской губ. Начал печататься в 1880-х. В 1890 в Петербурге познакомился с Чеховым, с которым был дружен, оставил воспоминания о нем (см. в кн.: «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». – М., 1960). В 1919 эмигрировал во Францию.

19 декабря 1923 года, Прага

Милый Фаныч! Вчера виделся с Ляцким и говорил по поводу твоей книги. Я же предупреждал тебя, что народ этот прижимистый и что я стою в стороне от компании, стоящей в родстве с эсерами. Посему моя роль в этом деле и не могла быть тебе полезной. Мне отвечено: мы предложили максимум гонорара, прибавить ни копейки не можем, если согласен, пусть подпишет условия и тогда получит аванс – половину всей суммы, а остальную по выходе книги. Без подписи условий – никаких авансов. На мое указание, что в книге до 10 листов, – отвергнуто: «Нам лучше знать, там всего 6 с половиной

листов». Не зная ваших переговоров (какой лист), я не мог ничего возразить.

Теперь мое мнение. За стихи, конечно, д[олжен] б[ыть] особый расчет, но если ты согласился мерить свой труд листами, как прозу, то больше 400 крон с листа при издании 3-х т[ысяч] экземпляров теперь вообще не получишь! Ты делаешь ошибку, ссылаясь на гонорар от «Земли». Она принята на обычных условиях, на каких и мои книги: 5% с обложечной цены, стоимость перевода издательская. Если книга будет стоить, скажем, 28 крон чешских, то при издании пяти тысяч экземпляров ты получишь – 1,4х5000 равно 7000 крон. Но нас издают лишь в 3 тысячах экземпляров, стало быть, гонорар равен 4200. Если книга будет дешевле, то и получишь меньше. М[ожет] б[ыть], тоже не больше 3-х т[ысяч]. Но ведь там листов 25 печатных, а тут шесть с половиной! Или десять. Кто вас разберет. И издано будет только две тысячи экз[емпляров]. Если книга будет продаваться по 20 крон, то при 5% с обл[ожечной] цены за 2000 экз[емпляров] ты получил бы только 2000 к[рон]. Если ты согласился за стихи получить, как за прозу, полистно, ничего не поделаешь – дано правильно. Но разъяснять теперь это дело (стихи – не проза) поздно и не мне: договаривайся ты лично.

Надо или соглашаться, или разойтись. Другого выхода нет.

Эх! Пишешь, пишешь, а деть некуда! У меня все лежит на полке новое. Продал только на чешский язык. На русском должна появиться лишь одна книга: «Семья» – взял «Глагол» (бывшее «Моск[овское] изд[ательство]»), и то я просто захотел выйти в свет, чтобы доказать, что я еще не умер! Гроши! Вообще, если дело так продолжится долго, писатель вымрет… Писать негде! Особенно беспартийному человеку… И в Чехии становится судьба загадочной. Кажется, «гости» надоели уже хозяевам. Живем не голодая, но и без особого достатка и комфорта.

Вернемся ли? Неохота околевать за границей.

Написал я пьесу, и она пойдет в январе в венском Фольктеатре. Надеюсь на гонорар.

Был здесь Мишайков, но со мной не повидался. Увидишь, попеняй от меня. Всем своим кланяйся, милый, а себя поцелуй в зеркале.

Всё читаешь лекции? Молодец! Благо еще слушают… Привет друзьям! Выпейте за мое здоровье на праздниках! Райко целую крепко. Всех ярче помню.

Твой Евгений

4 апреля 1924 года,
Praha, Dejvice, Belcredihotr. 360

Здравствуй, милый Фаныч! Христос Воскресе и пр[очее]! Всё с

запозданием. Наша жизнь бежит в такой суматохе, что голова идет кругом. Посланную тобой книгу по старому адресу все-таки выручил! Спасибо за нее. Обложка раздражает – безвкусна!.. На редкость! Много корректурных ошибок. Вообще издание аляповатое. Но содержание книги всё искупает. Не рассчитываю, что можно чехов соблазнить болгарской литературой, да еще переводными стихами. Разве на любителя... Таких здесь трудно отыскать. Был я относительно «Земли»! Понукал, сердился, но как об стенку горох: на очереди! Ждем, когда сплавится залежь русских книг, не можем сейчас! И денег больше не хотят давать. И моя книга – «В царстве сказок» – закисла и в таком же положении. Ну, что тут сделаешь? Никакого контракта со сроками нет. А это было глупо с нашей стороны… Посылай небольшие рассказы, строк на 150–200 в русскую газету «Эхо»[1], выходящую в Латвии в Ковне, под ред[акцией] Бухова[2]. Вот адрес: <…> Платит 3 доллара за фельетон, на вашу валюту это деньги. Я напечатал там уже 6 рассказиков[3]. Здесь с литер[атурным] заработком всё хуже и хуже. Уже чехи насытились нашей литературой и не так охотно дают место в своих газетах русским авторам. Караул! Точно мы зайцы Мазая… А вот Бунин в свое «Окно» глядеть не пускает! Я был в отлучке, подлечивался, брат. Сердце и нервы поигрывают. А тут бабушка при смерти[4]: рак желудка, последние месяцы живет! Дела пошатнулись, а денег надо всё больше. Продал «Семью» издательству «Глагол» в Берлине (там наш Георгий Густав[ович] Блюменберг из б[ывшего] «Моск[овско]го издательства», которое и тебя издавало), только толку от него мало: 10%, расчет по мере продажи! Жди там! Завел дела с издательством Дьяковой. Оно выпускает худ[ожественный] журнал «Златоцвет»[5], платит мне 15 долларов за лист. Пошли им что-нибудь. Хочу отдать им свой последний роман «Зверь из бездны». Так клюешь, как воробей, а до сыта всё не наклевываешься: огромная семья! Всем надо подмогу давать! Возлагаю надежды на пьесу новую, которая скоро выйдет в Вене, а затем и в Берлине, да еще в кино пробиваюсь[6]. А то всё исчерпано, а не пишется больше: начатый роман оборвал! Не имею не только отдельной комнаты, но даже отдельного стола – вот и сочиняй! Валя учится в Страсбургском университ[ете], получает 250 фр[анков] стипендии. Не хватает. Женя – в Берлинской высшей комм[ерческой] школе, получает 15 долларов стипендии – не хватает! Зато дочь Новелла, имеющая девочку 2 с пол[овиной] лет, наконец, нашла место: библиотекаршей в студ[енческой] библиотеке, получает 1000 крон – не хватает! Живем на два дома, на два котла, разъезды друг к другу, вечно едешь, а дома точно на проездной станции. Теснота, и все непременно что-нибудь ищут! Вот жизнь… Скоро могила для бабуш-

ки в чужой стране... Думаешь, не та ли же судьба и тебе самому. Что-то не околевают большевики окаянные, живучие, и уже нет веры на скорое возвращение… А тоска по родине не умирает. На Волгу хочу смертельно! Начал строить игрушечные пароходы! Грызня эмигрантская как будто послабже, но всё же не кончается. Недавно читал ряд лекций Милюков[7] на тему о национальном вопросе. После был диспут, и все инородцы и хохлы заявили, что никакого примирения с Россией, а полное государственное отделение от нее. Даже армяшки и те лягали больного льва! Хохлы так прямо полны жгучей ненависти ко всем русским. Иностранцам удобно ловить рыбку в этой мутной воде. Я начинаю уже бояться за самое существование России… Ничего в волнах не видно…

Ну, а каково настроение эмиграции у вас?

Видишься ли с Мишайковыми? Как вообще протекает досуг?

Поцелуй от меня Райко кудрявого! Выпил бы с ним с удовольствием! Кланяйся Даневу, прочим знакомым, Метеловым. А помнишь, мы у них встретили сестру милосердия, которая написала статью в защиту русских женщин? Здесь она. Производит странное впечатление любовной авантюристки! Рассказала мне свою историю – ее выслали. Сомнительная особа… Сообщи о ней истину! За что ее выгнали?

Ну, а как поживает хозяйка дома № 18? на Чепине?

Поди, Райко уже сделал выставку?

Все-таки мы недурно жили с тобой в Софии! Ну, а как супруги Варшавские? Всё такие же голубки?

Ну, целую! Пиши, милый! Наши тебе кланяются.

Твой отец Евгений

---

1. «Эхо» – ежедневная русская газета, выходившая в Ковно с 1920 по 1940 гг. (в июле – августе 1922 под названием «Эхо Литвы»).

2. Бухов Аркадий Сергеевич (1889–1937), русский советский писатель, сатирик, фельетонист. Широкую известность получил, сотрудничая с журналами «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». После Октябрьского переворота и закрытия «Нового Сатирикона» в 1918 г. перебрался в Литву. С 1920 издавал и редактировал русскую газету «Эхо», где печатались И. А. Бунин, А. И. Куприн, Саша Черный, Аркадий Аверченко, Игорь Северянин, Тэффи и др. В 1927 г. вернулся в СССР, сотрудничал в советских сатирических изданиях. В 1937 г. был арестован и расстрелян по обвинению в шпионской деятельности. Реабилитирован в 1956 году.

3. Удалось обнаружить два рассказа: «На охоте» (Эхо. 1923. № 338 (1014). 15 дек. С. 3) и «Снегурочка» (Эхо. 1923. № 246 (1022). 23 дек. С. 3).

4. Григорьева Анна Михайловна (?–1924), мать супруги писателя В. Г. Чириковой. Выехала из Петрограда с семьей дочери в августе 1922 года. Скончалась 15 мая 1924 года, похоронена во Вшенорах под Прагой.

5. Литературно-художественный журнал «Златоцвет» был выпущен в 1924 г. Издательством О. Дьяковой в Берлине. Был издан только первый номер, где Чириков опубликовал отрывок из сказки-мистерии «Красота ненаглядная» (1924) под названием «Братья-разбойники».
6. В заметке «В пражской русской драме» («Возрождение». Париж, 1926. №506. 21 окт. С. 4.) говорится: «<…> У Е. Н. Чирикова куплена его трилогия: ‘Юность’, ‘Изгнание’ и ‘Возвращение’ для постановки в кинематографе, но о времени съемки и условиях пока говорить еще преждевременно». Других сведений о фильмах на основе произведений писателя не обнаружено.
7. Милюков Павел Николаевич (1859–1943), политический деятель, историк, публицист. Один из организаторов партии кадетов. В 1917 г. – министр иностранных дел Временного правительства. С 1918 г. в эмиграции, жил в Англии, с 1920 – во Франции, где возглавлял Союз русских писателей и журналистов в Париже и Совет профессоров во Франко-русском институте. С апреля 1921 по июнь 1940 г. редактировал одну из крупнейших эмигрантских газет «Последние новости», выходившую в Париже. В 1937–1939 гг. был также главным редактором журнала «Русские записки». В эмиграции занимался историческими исследованиями и преподавал, опубликовал «Историю второй русской революции», труды «Россия на переломе», «Эмиграция на перепутье», начал писать «Воспоминания», оставшиеся незавершенными. Подвергался нападкам со стороны монархистов за участие в организации революции. 28 марта 1922 г. пережил покушение, в результате которого погиб член кадетской партии В. Д. Набоков (отец писателя Владимира Набокова).

4 ноября 1924 года, Вшеноры,
Dobrichovice u Prahy, Vsenory, vila «Bozenka»

Милый Фаныч! Спасибо за память. Ей-богу, так крутишься, изворачиваешься из всяких затруднений, связанных с разбросанностью семьи и переменами в их положении и состоянии, что не хватает души на друзей, даже таких хороших и давних, как ты для меня! Не ругайся, не сердись. У меня все перемены: старшая дочь выходит замуж за студента[1], конечно, бесштанного, как полагается беженцу; старший сын Евгений из Берлина переводился в Париж, ему нужен новый протез; дочь Валя, которую ты знаешь, перевелась в Страсбургский университет. И всем надо досылать к получаемым американским и французским стипендиям, которых на жизнь не хватает. А дела всё хуже: нам объявили, что с января писатели и журналисты в Чехии лишаются ссуд! Я издал у «Глагола» – роман «Семью», а у Дьяковой – «Красоту Ненаглядную», и оба в «Руле»[2] г[осподин] Кременецкий (он же Эйхенвальд[3]) разругал с пеной у рта! А кроме того, издатели ничего еще не заплатили! Последний роман «Зверь из

бездны» на чешском уже идет вторым изданием, переводится на немецкий, но на русском не стоит и издавать. Написал я пьесу, которая прошла в Вене 18 раз и имела успех, но как антибольшевистская вызвала бойкот даже со стороны с[оциал]-д[емократов], усиленные наряды полиции и вообще напугала и дирекцию театра, и публику! Тоже не разбогател… Тысячи три чеш[ских] крон заработал всего. Теперь взял этот сюжет и написал небольшой роман[4] – листов 7, который продал рижской газете за 3000 крон и чешской – тоже. Вот так и крутишься! Живу не в Праге, а около, адрес такой: <…>

С Ляцким и «Пламенем» – никаких отношений, а потому не беру от тебя туда никаких поручений. Когда приезжал сюда Мишайков, меня в Праге не было. Первая размолвка произошла у нас не из-за моего рассказа, а по той причине, что Мишайков мне не ответил на деловое письмо относительно издательства. Я писал и просил выяснить отношения с Паскалевым и пояснял, что для меня это – зарез и что надеюсь на нашу дружбу. Никакого ответа. На это я послал письмо, что мне тоже некогда писать. Потом из письма Столиц узнал, что Марья Ст. оскорблена моим рассказом, сюжет которого я взял из ее сна[5]! Надо сказать, что когда она мне свой сон рассказала, я даже говорил, что я напишу на эту тему рассказ, ибо тема-то очень любопытная. Эта обида показалась мне настолько дикой, что я даже не захотел и объясняться. Неужели в рассказе есть что-нибудь похожее на портреты?! Ровно ничего! И обижаться-то просто глупо! Да, психология у нас совсем другая. Я их тоже люблю, но оказалось, что кроме чувства нужно в дружбе особое духовное понимание друг друга, чего, как видишь, не оказалось. Неужели они могли допустить, что я именно их семью описал в рассказе! И сон я изменил, а только один мотив взял: ревность мужскую, способную реагировать даже на сон. А ведь у Мишайки и тени нет ревности! Как же они на свой счет приняли? Чудаки. Не понимают писателя окончательно. Тут, конечно, и сердиться на них нельзя. Но никакой виновности я не чувствую и ругатни не приму. Не за что! От мнительности обывательской. А я все-таки к ним неравнодушен и очень жалею, что они обо мне так скверно подумали. И безвыходность в том, что им этого не объяснишь и не растолкуешь! Разрешаю тебе передать это и Мишайковым. Глупо! – и всё тут.

А вот роман твоего сына – история печальная.

---

1. Ретивов Георгий Митрофанович (1898–1957), студент-электротехник, затем инженер-электрик, третий муж Н. Е. Чириковой (с 1925). Работал на заводах Шкода в Пльзене. В 1945 переехал с семьей в Мюнхен, в 1949 – в США.

2. «Руль» – ежедневная газета, выходила в Берлине в 1920–1931 гг. под редакцией И. В. Гессена, А. И. Каменки и В. Д. Набокова.
3. Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928), литературный критик. Был выслан за границу на «философском пароходе». В эмиграции активно включился в литературную деятельность. Отзывы о произведениях Чирикова: *Каменецкий Б.* Литературные заметки // «Руль». – Берлин, 1924. № 1087. 29 июня (о романе «Семья»); *Каменецкий Б.* Литературные заметки // «Руль». – Берлин, 1924. № 1170. 8 окт. (о сказке-мистерии «Красота Ненаглядная»).
4. Речь идет о романе «Любовь товарища Муравьева». Печатался в рижской газете «Сегодня вечером» в №№ 1, 3-6, 17-24 за 1924 г., 3-7, 11-12, 16-18 за 1925 г. На чешском языке под названием «Láska komisaře Muravěva: román revoluční doby» вышел отдельным изданием в 1925 году.
5. Установить, о каком произведении идет речь, не удалось.

2 сентября 1925 года,
Praha, Bubenec, Buckovaul. c. 597

Милый Фаныч! Был я в отъезде и потому не отвечал. Целую тебя – во-первых. Вопрос ты задал щекотлив[ый]. Живут на стип[ендию] впроголодь, ухитр[яются] прирабатывать, зато 30% среди студентов заболели туберкулезом. По собст[венному] сыну вижу, что надо минимум 600 крон, чтобы быть сытым и иметь возможность с пользой учиться. Заработок найти трудно. Плохой обед 4-5 чеш[ских] крон, квартира в предместьях – 200 крон, вот уже 350. А ужин, стирка, табак, мелочи всякие? Еще в семейном коллективе можно за 450 крон с человека, а одному – невозможно. Есть, однако, экземпляры – питаются полмесяца чаем с хлебом, а полмесяца обедают. Мои фин[ансовые] дела плохи. Вообще, я даже сомневаюсь, чтобы дали стипендию: всюду сокращения, тенденция сбыть с рук беж[енскую] обузу. Пишу роман для «Сегодня»[1] изо всех сил, а заплатят гроши. Живем так себе. Привет сыну и всем нашим друзьям.

Моя замужняя дочь – художница с мужем и ребенком – уехали в Нью-Йорк: пригласили ее на фабрику худож[ником] тканей: ей – 200, мужу в конторе – 100 долл[аров]. Обещали через полгода повысить. Другая, Валя, кончает в октябре Страсбургский университет. Все живы и здоровы, чего и вам всем желаем… И я тоже, брат, надеюсь всё!..

Твой Евгений

---

1. Вероятно, имеется в виду роман «Подложное семейство. Записки беженца», который печатался в рижской газете «Сегодня вечером» (1926. № 7–58). Отдельным изданием вышел под заглавием «Мой роман» в парижском изда-

тельстве «Возрождение» в 1929 г. «Сегодня» – крупнейшая русскоязычная газета Прибалтики (1919–40, редакторы Н. С. Бережанский, М. И. Ганфман, Б. О. Харитон, М. С. Мильруд и др.). Газета «Сегодня вечером» как вечерний выпуск «Сегодня» выходила в Риге в 1929–1940 гг. (редакторы Б. О. Харитон, А. В. Круминский, М. С. Мильруд).

2 апреля 1927 года,
Прага, Bubenec, Buckovaul. c. 597

Милый Фаныч! Сейчас был Черномордик и принес мне газету с твоим фельетоном – речью твоей по случаю моего юбилея[1]. Спасибо, милый, на добром слове и за ту теплоту душевную, которая так искренне прозвучала в твоих словах. В отношениях между современными писателями – это большая редкость. Вон Бунин в его интервью с Лери[2], напечатанном в «Возрождении», гнусно лает на своих собратий. Рассказывая о своем первом выступлении в Петербурге и своем колоссальном успехе (мнимом, ибо и я участвовал на сем вечере и знаю его подробности), налгал, что один из известных тогда писателей[3], желая подвести будущее светило, умышленно посоветовал ему читать тихо, но он, Бунин, вовремя понял этот подвох, а другой, Потапенко[4], выказал нескрываемую зависть к его успеху у молодежи. А раньше Бунин оклеветал Златовратского[5], который будто бы считал себя выше Толстого и отзывался о нем только снисходительно. Что это? Мания величия или самореклама, желание создать легенду о своей значительности с первого момента писательства [?] Нехорошо как. И главное – зачем это Бунину. Неладное что-то творится с человеком. Про травлю моего имени в связи с романом «Зверь из бездны» ты, конечно, знаешь и читал мои ответы сперва в «Возрождении», потом в «Посл[едних] нов[остях]»[6]. Струве[7] всё быстрее катится в объятия г[осподина] Маркова 2-го[8], Крупенского[9] и Трепова[10]. Бывшие черносотенцы утилизируют его для своих целей. Мне не по пути. Хотя я, как говорится, совершенно отрезвел от революционного настроения и социализма, но за черносотенцами идти не намерен. От них-то и была погибель Добров[ольческой] армии, главным образом: напугали народ возвращением всего старого.

Ну, не в том сейчас дело. А вот в чем, милый. Не повторить ли нам Кирилла с Мефодием нынче летом. В конце мая я с женой, дочерью Новеллой и ее двумя малышами едем на лето отдыхать в Болгарию к родным Новеллы, к врачу Ретивову[11] в село Акчар Видинского округа, на Дунай – икру есть… Так вот надо воспользоваться случаем и если не заработать, то хотя поездить вместе с тобой и попить винца да ухи покушать. Хорошо бы в июне устроить, во-

первых, литературный вечер в Софии. Ты, Столица и я. Вечер исключительно беллетристический, в двух отделениях, и каждый выступит, стало быть, с двумя вещами. Но вечер должен быть не скучным и не драматичным, а веселым и жизнерадостным – чистой поэзии, без всяких угрызений. Младость, юная любовь, красивая сказка или легенда. Я буду читать: волжскую сказку и рассказ из детской жизни. Ты выбирай тоже нечто юное и радостное. Столица пусть тоже не трогает наших русских ран и скорбно-беженских мотивов. Меж двух отделений хорошо бы пустить музыку и тоже жизнерадостную и русскую, из «Руслана и Людмилы», например, увертюру. У вас теперь сорганизовался Народный университет[12]. Хорошо бы устроить наш вечер под его покровительством. Весь доход, если он будет, поделим поровну на троих. А после Софии поедем в Варну, Плевно, Тырново. Только кто будет организовывать? Может быть, это устроит тот же университет? Так вот сообрази, поговори с Любовью Никитишной и Романом Евген[ьевичем] и начинайте подготовку. Жена моя, артистка Иолшина, Валентина Георгиевна[13], может тоже принять участие. А четверо сделаем вечер разнообразным и содержательным. От Видина до Лома одна станция, а там рукой подать и София. Но так как ты в июле уже едешь в Бухарест, то надо всё подготовить теперь же и в июне я приеду в Софию. Ну, а видишь ты Мишайковых? Неужели они меня так возненавидели, что решили вычеркнуть из памяти. Позондируй при случае почву. Мне очень огорчительна эта глупая размолвка.

Боюсь только, что июнь – плохое время для устройства вечеров… Так вот, милый, жду твоего ответа, а пока целую крепко. Мечтаю о том, как мы с тобой будем в Чаталдже кушать кебаб и запивать вином.

Твой Евгений Чириков

---

1. О публикации произведения А. М. Федорова сведений найти не удалось.

2. Лери – Клопотовский Владимир Владимирович (псевд. Лери, 1883–1944), фельетонист, с 1927 г. сотрудник редакции «Сегодня». См.: *Лери* [Клопотовский В. В.] Пестрые заметки // Возрождение. 1927. № 649. 13 марта. С. 3; [Б.п.] На вечере И. А. Бунина // Возрождение. 1927. № 654. 18 марта. С. 3.

3. Речь идет о К. С. Баранцевиче (1851–1927), плодовитом писателе, чьи произведения отличались пессимистическим настроем.

4. Потапенко Игнатий Николаевич (1856–1929), писатель, драматург, необычайно популярный в 1890-е гг.

5. Златовратский Николай Николаевич (1845–1911), прозаик, близкий к народничеству, автор многочисленных повестей, рассказов, романов о жизни деревни. Почетный академик по разряду изящной словесности (1909).

6. См.: *Чириков Е. Н.* Мой ответ // Возрождение. Париж, 1927. № 597. 20 янв.; *Чириков Евгений*. «Последнее слово» обвиняемого. Автора романа «Зверь из бездны» // Последние новости. Париж, 1927. № 2178. 10 марта.
7. Струве Петр Бернгардович (1870–1944), экономист, философ, историк, публицист. В 1890-е теоретик «легального марксизма», затем один из лидеров кадетов. Редактировал ж. «Освобождение», «Русская мысль» и др., участник сборника «Вехи». После Октября 1917-го вел борьбу с большевиками, один из идеологов Белого движения, член «Особого совещания» при генерале А. И. Деникине, министр в правительстве генерала П. Н. Врангеля. С 1920 г. в эмиграции. Редактировал журнал «Русская мысль» (Прага), газету «Возрождение» (Париж) и др. Преподавал в Пражском и Белградском университетах.
8. Марков Николай Евгеньевич (Марков Второй, 1866–1945), русский общественный деятель и политик, по убеждениям монархист. Один из лидеров черносотенцев. Организовал «Партию народного порядка» (1905), вошедшую в 1907 г. в «Союз русского народа», член его ЦК. Депутат III и IV Государственных дум. В период Гражданской войны в 1918–1922 гг. находился в армии генерала Н. Н. Юденича, позже эмигрировал.
9. Крупенский Александр Николаевич (1861–1939), общественный деятель русской эмиграции. В 1919 г. после перехода Бессарабии в состав Румынии эмигрировал во Францию, жил в Париже. Возглавлял Русскую монархическую партию, поддерживавшую Великого князя Николая Николаевича.
10. Трепов Александр Федорович (1862–1928), государственный деятель, министр путей сообщения, председатель Совета министров (10 ноября /23 ноября 1916 – 27 декабря 1916 /9 января 1917). В эмиграции во Франции. Один из руководителей русской монархической эмиграции.
11. Ретивов Митрофан Иванович (1868–1961), врач, отец мужа Н. Е. Чириковой. Заведовал санитарным отделом Совета съезда горнопромышленников Юга России (1911), в 1911–19 гг. – медицинским отделом Харьковского окружного Товарищества по страхованию рабочих и служащих от несчастных случаев и болезней. Участник Белого движения. В 1920-м эвакуировался в Константинополь, откуда переехал в Болгарию, затем в Бельгию, позднее жил в Парагвае и Аргентине.
12. Русский Народный университет был открыт в Софии 3 апреля 1927 года. Работу университета возглавил Ученый комитет во главе с историком и литературоведом профессором П. М. Бицилли (1879–1953).
13. Чирикова Валентина Георгиевна (урожд. Григорьева, театр. псевдоним Иолшина; 1875–1966) – драматическая актриса, жена Е. Н. Чирикова, сестра одного из первых русских марксистов М. Г. Григорьева (1872–1934). Играла в театрах Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Минска. В 1922 г. вместе с другими членами семьи выехала в Германию, затем – в Чехословакию. В 1947-м переехала в Нью-Йорк к дочери Л. Е. Шнитниковой.

20 января 1930 года,
Praha, Bubenec, Podbabska tr. c. 1088

Дорогой Фаныч! Поздравляю тебя с Новым годом! Неужто он не будет для нас более счастливым? Посылаю тебе 3 этажа моего «Отчего дома». Остается еще один этаж и крыша. Строю «топором»[1]. Необходимая и спешная работа. Потом кто-нибудь переделает и наведет стиль и красоту, а мое дело сейчас – черновое. Недавно вернулись из Югославии, где читал о Чехове, Андрееве и Горьком и устраивал «волжский вечер». Может быть, на лето поедем всем семейством в Югославию, на Дунай. Тогда можно будет на пароходе съездить и в Софию. Может быть, устроить опять путешествие [нрзб.] с лекциями? Как живешь? Писать негде: с Маковским[2] («Возрождение») – повздорил, с Милюковым не желаю иметь дело. Куда я дену твои стихи! Есть проект сборника в Белграде, но это висит еще в воздухе. Крепко тебя целую, привет тому, кто меня помнит.

Твой Евгений Чириков

Адрес на открытке: Писатель А. М. Федоров, Шейнова ул. № 22. Sofia, Bulharsko

---

1. Пятитомный роман-семейная хроника «Отчий дом» публиковался в белградском издательстве «Русская библиотека» с 1929 по 1931 гг. Первые три тома вышли в 1929 г., четвертая и пятая книги – в 1931 г. В России впервые: *Чириков Е. Н.* Отчий дом: семейная хроника / Вступ. статья, подгот. текста, коммент. М. В. Михайловой, А. В. Назаровой. – М.: Эллис Лак, 2010.

2. Маковский Сергей Константинович (1877–1962), поэт, художественный критик, редактор и издатель журнала «Аполлон», устроитель выставок. В 1920 г. эмигрировал. Жил в Праге, где издал книгу «Силуэты русских художников» (1922), редактировал журнал «Искусство славян» (1923), затем – в Париже. В 1926–1932 гг. был одним из редакторов газеты «Возрождение». Автор книги статей «На Парнасе Серебряного века» (1962), после которой рубеж XIX–XX веков стали называть Серебряным веком.

Публикация – А. В. Назарова, М. В. Михайлова

КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Ренэ Герра

Памяти Екатерины Таубер

Екатерина Таубер представляет младшее поколение литераторов Зарубежной России. Она одна из тех, кому пришлось на чужбине утверждать свое место в русской литературе.

Как это ни покажется странным и даже удивительным, но ее поэтическая судьба сложилась вполне благополучно. Писать стихи Екатерина Таубер начала с семи лет еще в России, в городе Харькове, где родилась 3 декабря 1903 года. Ее отец Леонид Яковлевич Таубер (1872, Харьков, – 1943, Белград), известный потомственный правовед, служил в Харьковской служебной палате (городским судьей, судебным следователем, товарищем прокурора), стал профессором-юристом Коммерческого института и с 1901 года – приват-доцентом кафедры уголовного права и уголовного судопроизводства юридического факультета Императорского Харьковского университета, затем сверхштатным профессором[1]. Будучи членом Партии народной свободы, в 1917 г. участвовал в ее областном съезде, в 1917 и 1919 годах избирался гласным Городской думы.

Леонид Яковлевич был женат на Марии Петровне Курнасовой (1882, Харьков, – 1944, Белград). Помимо дочери, у них был сын Сергей (1908, Харьков, – 1987, Париж). Семья до революции жила в собственном двухэтажном доме по ул. Губернаторской, д. 11 (ныне ул. Революции, дом сохранился).

В 1920 году Л. Я. Таубер эмигрировал вместе с семьей. Работу по специальности в Белградском университете не нашел. С 1921 по 1941 годы был профессором политической экономии, торгового, вексельного и ликвидационного права при Государственной Торговой академии в Белграде. Учебники и свои научные труды публиковал в Белграде и Берлине. С 1921 он – член Общества русских ученых и Русской Академической группы в Югославии[2]. 2 июня 1925 года по рекомендации проф. М. П. Чубинского был посвящен в масоны[3], а в 1926 году Таубер стал одним из членов-основателей русской масонской ложи «Максим Ковалевский» в Белграде[4], о чем пишет Н. Н. Берберова в своей книге «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия»[5].

В конце Гражданской войны, в семнадцатилетнем возрасте, Екатерина оказалась в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. В

1922 году она окончила эвакуировавшийся в Сербию Харьковский русский девичий институт в Новом Бечее, где проучилась два года, а в 1928 году – романское отделение философского факультета Белградского университета, после чего четыре года преподавала французский и немецкий языки в Торговой академии города Панчево. После закрытия академии в 1932 году, она продолжала работать государственным чиновником в этом промышленном городе близ Белграда.

Ее поэтический дебют состоялся в 1927 году в русском Белграде: сразу две публикации! В апреле два стихотворения «Нечто о женщине» и «Рагуза» были напечатаны в общественно-литературном сборнике «Ступени», издание Русской Студии Искусств при Земгоре (обложка работы художника А. А. Вербицкого), а 5 октября одиннадцать ее стихотворений – в поэтическом сборнике «Зодчий» Книжного кружка молодых русских поэтов, прозаиков и друзей литературы. Этот кружок возник 6 декабря 1926 года. В редакционном, неподписанном вступлении к этому сборнику (автор Е. Кискевич) сказано: «Выступающие здесь перед русским обществом молодые поэты объединились на страницах ‘Зодчего’ неслучайно. Их сближает как пребывание в одной литературной группе, так – еще более – общие взгляды на искусство, в особенности, на поэзию русскую. Взгляды эти отправной точкой имеют признание исключительного значения искусства в русской жизни и истории. Учитывая катастрофичность многих сдвигов минувшего двадцатилетия и стремясь к художественному претворению своего времени, участники ‘Зодчего’ убеждены, что задача эта выполнима лишь при условии продолжения русской культурной традиции…» В отзыве на это издание В. Сирин (В. В. Набоков) отметил в ежедневной газете «Руль» (Берлин, 23.11.27) стихи Е. Л. Таубер.

В книжный кружок объединились как известные литераторы, так и начинающие. В него вошли поэты, принимавшие участие в кружке «Гамаюн», к тому времени уже распавшегося. Участниками были Вс. Григорович, Е. М. Кискевич, И. Кондратович, А. Костюк, Л. Кремлев, Л. И. Машковский, Г. Наленч (Сахновский), Д. С. Сидоров, Ю. Л. Сопоцько, Е. Л. Таубер. Председателем кружка стал Е. М. Кискевич, затем Г. Наленч, которого сменил К. Р. Кочаровский, библиотекарь белградской Народной библиотеки, бывший сотрудник Пражского института им. Н. Кондакова. В сборник «Зодчий» вошли стихотворения всех членов кружка. Для некоторых из них (Ирина Кондратович, Александр Костюк, Леонид Кремлев и Л. Машковский) публикация в «Зодчем» осталась единственной. Заседания кружка проходили в здании Академии наук, в Народном университете

Белграда, в Христианском союзе студенческой молодежи. На его собрания приглашались и сербские писатели. Е. Таубер читала свои переводы их произведений. В свое время она подарила мне экземпляр этого сборника с надписью: «Дорогой Ренэ, беря эту книжку, возвращаюсь к первой молодости, к истокам, и хочется смеяться и плакать. Е. Таубер. 7.X.1975».

Александр Блок был подлинным кумиром молодой поэтессы, немудрено, что она посвятила отдельное стихотворение создателю одного из наиболее загадочных символов русской поэзии Серебряного века – образа Прекрасной Дамы.

Ее он встретил в осенний вечер,
Когда, как солнце, нам мир далек.
Он был измучен и странно светел
Последний рыцарь – Блок.
На перекрестке, под фонарями
Звучали пошлые его слова,
Но взор пронзенный дышал морями
И небом божества.
Свершая, словно обряд печальный,
Вошел он с нею в какой-то дом;
Молчанье длилось, как сон хрустальный
О бытии ином.
Она заснула в мечтаньи странном
Под скорбным взглядом далеких глаз,
Искавший где-то так неустанно
Единственный алмаз.
А он, он грезил о стройной Даме,
О той Прекрасной, чей звездный след
Ему открылся в высоком храме
И был всю жизнь как бред.
Он числил годы своих исканий:
В пустынной Церкви, меж голых стен
В приюте девы ночных лобзаний,
В безумии Кармен.
Он числил годы... Часы летели...
Когда ж внезапно расцвел Восток,
Он вышел тихо на грязь панели,
Поэт поэтов – Блок.

Живя в Белграде, Е. Л. Таубер печатала свои стихи с 1929 по 1931 год в «Сборниках Стихов» (II, III, IV, V) Союза молодых поэтов

и писателей в Париже (склад издания: Книжный магазин Я. Поволоцкий, 13, rue Bonaparte), а в 1930 году в двух престижных сборниках литературной группы «Перекресток», образовавшейся в Париже в 1928 году. Нина Берберова в июне 1930 года в своей статье «Перекресток» писала: «В заключение – несколько слов об Екатерине Таубер. До сих пор ее имя было в Париже, в ‘большой’ литературе, неизвестно, но ее стихотворение ‘Валерию Брюсову’ столь сильно, столь совершенно, несмотря на молодой голос, в нем слышимый, что, перечитав его раза три, не перестаешь дивиться ему...»[6]

Тисненый черный переплет,
Как снег, прохладные страницы;
Откроешь, – медленно плывет
Стихов застывших вереница.

О, холод сладострастных строк,
Незабываемый вовеки!
О, страшный прошлого урок!
О, мертвые моря и реки!

Закрою пальцами лицо,
А книги закопаю в землю.
Уйди, уйди! Твое кольцо,
Твое наследье не приемлю.

И слова радостного «брат»
Тебе не вымолвлю при встрече.
Мне руки жжет бесовский клад,
Пред гробом вспыхнувшие свечи.

Вернись в великолепный склеп,
Забытый Богом и святыми.
Пусть сад мой мал, пусть взгляд мой слеп,
Но я живу, но я с живыми!

Поэты группы «Перекресток» ориентировались на творческие позиции Владислава Ходасевича, стремясь «к продолжению классической традиции русского стиха»[7]. Ходасевич, естественно, приветствовал появление сборников «Перекрестка», которые воплощали для него правильное начало в молодой поэзии.

Поэт и литературный критик Георгий Адамович писал: «Молодые парижские поэты – довольно деятельны. Они устраивают

вечера – нередко интересные, – выпускают сборники. Десять поэтов (из Парижа: П. Бобринский, Д. Кнут, Ю. Мандельштам, Г. Раевский, В. Смоленский, Ю. Терапиано; из Белграда: И. Голенищев-Кутузов, А. Дураков, Е. Таубер, К. Халафов) издали сборник «Перекресток». Объединение их в этом сборнике не случайно. Они все немножко друг на друга похожи... Из них надо выделить Терапиано, Смоленского, некоторых других. Стихи не дурны...»[8]

Особенностью «Перекрестка» являлось то, что в нем участвовали поэты, находившиеся в двух странах: во Франции и в Сербии – единственный пример такого широкого объединения, как отметил Ю. Терапиано в своей книге «Встречи»[9], подаренной «Поэту Екатерине Леонидовне Таубер, участнице ‘Перекрестка’ на память о прежних временах, дружески. Ю. Т. Париж, 25.02.53». А в 1972 году он написал: «Хотя почти все участники ‘Перекрестка’ были постоянными посетителями ‘воскресений’ у Мережковских, ‘Зеленой лампы’ и сотрудничали в ‘Числах’, до самого конца ‘Перекрестка’ (распавшегося в конце 30-х годов по ‘человеческим’, а не по идеологическим причинам) участники его не сливались с общей ‘монпарнасской’ идеологией и держались своих ‘перекресточных’ взглядов»[10]. Последний вечер «Перекрестка» с докладом В. Сирина об А. Пушкине состоялся 11 февраля 1937 г.

Стихи Таубер были оценены влиятельным литературным критиком Марком Слонимом, который в 1928 году их напечатал в шестом номере пражского литературного журнала «Воля России». В своей статье, опубликованной в сборнике «Русская литература в эмиграции»[11] он писал: «В 1928 году мы поместили произведения белградских поэтов – из них выделялись И. Голенищев-Кутузов и Е. Таубер». В парижской газете «Возрождение» (9 октября 1930) и во втором сборнике «Перекресток» (С. 9) ее собрат по перу Илья Голенищев-Кутузов опубликовал «Стансы», посвященные Екатерине Таубер, которые, в 1935 году, он включил в свой первый и последний сборник стихов «Память»[12].

В 1930 году, на белградской квартире состоятельной русской дамы Лидии Михайловны Ираклиди (1893–1995), материально помогавшей Игорю Северянину, Екатерина Леонидовна познакомилась и встречалась с поэтом, пару раз объехавшем города Югославии.

В этом же году она первый раз поехала в Париж и 8 февраля выступила на литературном вечере Союза молодых поэтов и писателей, на котором также прочли свои стихи И. Кнорринг, В. Смоленский, Ю. Софиев, Ю. Рогаля-Левицкий, Т. Штильман, Н. Станюкович, И.Голенищев-Кутузов, А. Дураков, К. Халафов.

В июле 1931 г. Таубер снова приехала в Париж, где пробыла дней

десять. Таким образом, она смогла общаться на Монпарнасе в кафе Ла Куполь с парижскими поэтами, коллегами по «Перекрестку» (Ю. Терапиано, В. Смоленский, Г. Раевский, Ю. Мандельштам...) и «Сборникам Стихов» (А. Присманова, А. Гингер, В. Мамченко, Б. Закович...), читала свои стихи в кафе Ла Боле, в «Пассаже Ласточки» около площади Св. Михаила, также побывала у Мережковских и у А. Ремизова.

В Белграде на регулярных «литературных средах» Екатерина Таубер читала свои стихи. В январе 1927 года был утвержден устав и избрано правление книжного кружка: Е. М. Кискевич, А. А. Штром и Н. Шагаев. Членов кружка было более двадцати. Чаще всех свои стихи по средам читали Е. Л. Таубер, Е. М. Кискевич, Г. Г. Сахновский, И. И. Побегайло, Е. А. Елачич. 21 июля 1928 года белградский «Книжный кружок» был переименован в «Кружок поэтов им. М. Ю. Лермонтова». Русская газета М. А. Суворина «Новое время», выходившая в Белграде с 1921 по 1930 гг., извещала о проведении «литературных сред». С 15 июля 1932 года Екатерина Таубер стала действительным членом белградского Союза русских писателей и журналистов и читала свои стихи на его открытых собраниях.

Русские поэты в Югославии были активными участниками культурной жизни Королевства Югославии и сыграли важную роль посредников между русской культурой и культурой югославян. Они всегда проявляли живой интерес к творчеству своих сербских собратьев, переводили стихи наиболее значительных сербских, хорватских и словенских поэтов-символистов. Так, в 1933 году вместе с И. Н. Голенищевым-Кутузовым и А. П. Дураковым, Е. Л. Таубер выпустила «Антологию новой югославянской лирики», издание Союза русских писателей и журналистов в Югославии (обложка работы художника В. И. Жедринского), для которой она перевела несколько стихотворений И. Дучича, Г. Крклеца, Д. Максимович, В.Массуки, М. Ракича, А. Уевича. Авторы антологии относились к переводу как «повторному творчеству, требующему полного слияния чужого со своим». Многие поэты-эмигранты плодотворно сотрудничали в югославских журналах: «Летопись Матицы сербской», «Новая Европа», «Мысль», «Сербский литературный вестник».

Стихотворения молодой поэтессы стали печатать в парижских газетах «Возрождение», «Россия и славянство» и – о, верх мечтаний! – в самых престижных парижских толстых журналах «Современные записки» (№ 48, 1932 г. и № 67, 1938 г.)[13] и «Русские записки» (№ 10 и № 13, 1939 г.), а также в парижском журнале литературы, критики и сатиры «Ревизор» (№ 1, март 1932), в кишиневском литературно-художественном иллюстрированном журнале «Золотой петушок» (№ 1, 1934), в выборгском «Журнале Содружества» (№ 6/30/июнь

1935, № 7/31/июль 1935, № 10/34/октябрь 1935, № 11/35/ноябрь 1935, № 6/42/ июнь 1936, № 10/46/октябрь 1936, № 12/48/декабрь 1936) и в шанхайском литературно-художественном журнале «Прожектор» (1933–1934).

В октябре 1934 года друг ее студенческих лет Илья Николаевич Голенищев-Кутузов, вернувшись из Парижа, где защитил докторскую диссертацию, основал объединение молодых русских поэтов «Литературная Среда», в которое вступили Е. Таубер, историк литературы К. Тарановский и бывшие члены «Союза поэтов». Членами нового кружка стали молодые поэты: В. Гальской, Л. Девель (после войны – псевд. Лидия Алексеева), А. Дураков, А. Неймирок, Е. Кискевич, М. Погодин, И. Гребенщиков, Н. Гриневич, Р. Плетнев, М. Смагин, прозаик М. Иванников, режиссер Народного театра в Белграде Ю. Ракитин, драматург, актер и поэт В. Хомицкий (псевд. Вячеславский), проф. Е. Аничков, писатель В. Шульгин и др. В моем книжном собрании хранится экземпляр сборника «Литературная Среда I» с дарственной надписью: «50 лет тому назад и я участвовала в этой книге. Как это далеко! Е. Таубер. 10.VIII.85. И я рада, что я подарила Вам, Ренэ, эту старую книгу, Вам, любимому ученику».

15 января 1935 г. И. Н. Голенищев-Кутузов писал В. Ф. Ходасевичу в Париж: «С Е. Л. Таубер, берлинским поэтом и театр[альным] критиком Росимовым (Офросимовым) и молодым писателем Мих. Иванниковым (см. «Сашку» в последнем № «Совр[еменных] Зап[исок]») мы основали в Белграде литературное содружество. Провели принципы ‘Перекрестка’ (белградский филиал!). Собираемся два-три раза в месяц под сенью *елового шиша*. В ‘Литературной Среде’ есть и ритуал: на позлащенный еловый шиш (тирс для посвященных) указывают перстом при вторжении оглашенных; председатель собрания вооружен веревочной трехвосткой (P.E.N. – клуб; свобода, равенство и братство etc. etc.). Стихи разбираем, как в студии; человечинки не ищем. Но в отличие от ‘Перекрестка’ – объединили не только поэтов (для Белграда – невозможно), но и представителей других родов оружия»[14].

Заседания кружка проходили по средам в помещении, в котором размещался Союз русских писателей и журналистов Югославии, в Русском доме имени Императора Николая II. На заседаниях «Среды» читали стихи, прозу, отрывки из пьес, рефераты. Последнее заседание состоялось в 1938 году.

23 ноября 1935 года вышел в свет первый и единственный поэтический сборник под тем же названием с четырьмя ее стихотворениями, рядом со стихами И. Голенищева-Кутузова, Л. Девель (Алексеева), А. Дуракова, Е. Кискевича, А. Неймирока и др. В том же

году, в известном берлинском издательстве «Парабола» («Петрополис»), вышла из печати ее первая книга стихов «Одиночество», посвященная отцу, а вторая – «Под сенью оливы» (Париж, 1948), уже его памяти. Полвека спустя Екатерина Леонидовна мне надписала свою первую книгу стихов: «В память 30-летней нашей дружбы, дорогой Ренэ, и в память пятидесятилетия с начала литературной моей деятельности. Е. Таубер. 5 апреля 1985 года. Приморские Альпы».

Положительные рецензии на «Одиночество» написали и Г. В. Адамович, который отметил в ее стихах влияние Анны Ахматовой, указав на достоинства этого сборника – «изящество, грусть, задумчивость, сдержанность…»; дальше он писал «У Екатерины Таубер есть дарование. Но... ей приходится ‘верить в кредит’... Поэзия ее очень ‘комнатная’» («Последние новости» № 5201, Париж, 20.6.1935. С. 2)[15], и В. Ф. Ходасевич, который увидел опасность для молодого поэта в замкнутости: «Ее стихи не только о себе, но еще слишком ‘для себя’». Тем не менее, он считал, что этим сборником Таубер как поэт заявила о своей индивидуальности. «Для Таубер каждый миг жизни – тема, потому что сама жизнь переживается ею поэтически, и это прекрасно отличает ее от весьма многих современных поэтов. Залог открытого пути к мастерству для Таубер – в ее непосредственной отзывчивости, в ее очень глубоком напряженном лиризме, в той искренности и живости, которыми так несомненно ее стихи отмечены.» («Возрождение» № 3704, Париж, 25.7.1935. С. 3), а также М. О. Цетлин «О современной эмигрантской поэзии» («Современные записки» №58, Париж, 1935), А. Л. Бем («Меч», Варшава, 21.04.1935), П. М. Пильский («Сегодня» № 146, Рига, 1935) и С. А. Риттенберг («Журнал Содружества» № 6 (30), Выборг, июнь 1935. Сс. 34-36)[16]. В письме В. Ходасевича И. Н. Голенищеву-Кутузову от 7 авг. 1935 года можно читать: «Пожалуйста, передайте Таубер, что написанное мною о ней как-то словесно не вытанцевалось, т. е. вышло гораздо суше, чем мне хотелось. Я это чувствовал, уже когда писал, и досадовал на себя, но ничего не мог сделать – я в те дни был очень измучен. Я даже хотел написать ей об этом, но не знаю ее адреса»[17].

Глеб Струве справедливо написал в своей книге «Русская литература в изгнании»[18]: «Белград в лице своих наиболее талантливых поэтов – Ильи Голенищева-Кутузова и Екатерины Таубер – тяготел... к Парижу... Екатерина Таубер, еще до войны переселившаяся на юг Франции... – автор трех книг стихов («Одиночество», 1935; «Под сенью оливы», 1940; «Плечо с плечом», 1955). Ее голос тихий, сдержанный; стих – уверенно-точный. Тема внутренней жизни души переплетается с темой природы (последняя звучит сильнее в более

поздних стихах – может быть, результат жизни в непосредственной близости к природе в Провансе). Вот стихотворение из первой книги Таубер, дающее хорошее представление о ее поэзии:

Мне мило комнаты молчанье,
Вещей таинственный покой,
Раздумье книг, лампад дыханье,
Иконы венчик золотой;

Колючий снег за рамой зимней,
Дней слишком кратких белизна,
Во мгле серебряной и дымной
Пустынных улиц тишина.

И вольное уединенье,
И эти думы о тебе,
И в час случайного сомненья
Покорность светлая судьбе.»

В конце 1936 года Екатерина Леонидовна переехала во Францию, чтобы выйти замуж за Константина Ивановича Старова, царского офицера, участника Гражданской войны в рядах Добровольческой армии, сына председателя Земства г. Старый Оскол, с которым она познакомилась еще в России во времена Гражданской войны. Они венчались в Каннах в русской православной церкви Св. Архангела Михаила 24 января 1937 г. На ее свадьбу поэт И. Н. Голенищев-Кутузов послал следующую эпиталаму:

Не в галилейской – в галльской Канне
Ваш совершился тайный брак,
Как в самом выспреннем романе –
Вдали от сплетен, слухов, врак.
А старый друг от чувств избытка
Вам пожелает лишь одно –
Чтоб воду брачного напитка
Вы претворили бы в вино.

Их союз оказался на редкость счастливым и долгим. Поселились они в маленьком городке Мужен, недалеко от Грасса. Поэтому Таубер так и осталась «периферийным» поэтом, хотя и видным.

Ее стихи были включены в четыре антологии зарубежных поэтов: Г. В. Адамовичем и М. Л. Кантором в первую антологию зару-

бежной поэзии «Якорь»[19], Ю. П. Иваском «На Западе»[20], Ю. К. Терапиано в «Музу Диаспоры»[21] и Т. П. Фесенко в «Содружество»[22]. Можно задать себе вопрос: почему нет ее стихов в «Эстафете»[23]; объяснение дает сам Юрий Терапиано, один из составителей: «...в момент составления сборника судьба Екатерины Таубер и ее адрес были нам неизвестны, в чем, к сожалению, вина самой Е. Таубер, живущей на юге Франции»[24].

В конце 30-х годов Екатерина Таубер посещала родителей, брата и друзей в Белграде. Новый 1938 год она встретила у Михаила Иванникова и его жены Лидии Девель (Алексеевой), встречалась с Евгением Кискевичем, Ильей Голенищевым-Кутузовым, Юрием Ракитиным. Ее последний приезд в Белград состоялся в 1965 году, где из бывшей литературной молодежи она застала лишь смертельно больного «Мишеля» Иванникова.

После войны, с № 15, 1947, Е. Таубер стала постоянным автором «Нового Журнала». Редкий случай – сорок лет ее публикации появлялись в пяти его разделах: проза, поэзия, воспоминания, литературоведение, библиография. Ее очень ценил писатель и критик Роман Гуль, главный редактор НЖ (1959–1986). Он сам выбрал четыре стихотворения из ее последнего сборника «Верность», которые были напечатаны в декабре 1984 года (№ 157), а 1986 году ее стихи подряд появились в №№ 162, 163, 164, 165.

Екатерина Таубер также печаталась в литературных журналах «Грани» (Франкфурт-на-Майне) с 13-го номера в 1951[25], «Возрождение» (Париж) с 25-го номера в 1953, «Современник» (Торонто) с 19 номера в 1969; и в газетах: «Русская мысль» (Париж), «Новое русское слово» (Нью-Йорк); в ежемесячнике «Дело» (Сан Франциско, № 3, март 1951); в альманахах: «Мосты» (Мюнхен, № 2, 1959; № 13-14, 1968)[26], «Перекрестки» (Филадельфия, № 6, 1982), «Встречи» (Филадельфия, 1984, 1986, 1987)... Она была не только прекрасным поэтом, но и самобытным прозаиком. Ее первый рассказ «Отец», написанный еще в Белграде в 1933 году, был напечатан лишь в 1985 году в 159-м номере «Нового Журнала» (Сс. 72-82). Другие ее рассказы и повести были также напечатаны в «Новом Журнале»: «Возвращение» (№ 42, 1955. Сс. 86-98); «У порога» (№ 53, 1958. Сс. 22-54); «Сосны молодости» (№ 59, 1960. Сс. 44-64)[27]; «Чужие» (№ 70, 1962. Сс. 9-29); «Аннушка» (№ 89, 1967. Сс. 56-64); «Сестры» (№ 148, 1982. Сс. 8-18); рассказы «Последняя лошадь Аржевиля» (Мосты № 13/14, 1968. Сс. 176-183); «Своя крыша» (Русский Альманах, 1981. Сс. 46-47), а «Погорелое» (№ 2735, 24 апр., № 2736, 1 мая, № 2737, 8 мая 1969) и «Смерть провансальской крестьянки» (№ 3042, 15 марта 1975. С. 8) – в газете «Русская мысль». Неизменная тема ее рассказов –

жизнь старых русских эмигрантов на Французской Ривьере. Они – «последняя страница старой России, но всюду чужие, их никто не хочет знать».

Вот что писал литературовед, профессор Кембриджского университета Н. Е. Андреев в парижской газете «Русская мысль» в конце 1955 г.: «В очередных книгах ‘Нового Журнала’, в отделе художественная проза, явно ощущаются две струи. Попробуем охарактеризовать их суммарно, ибо они кажутся типичными для всей русской прозы. Одна струя выражается именами Бориса Зайцева (главы из ‘Чехова’), М. А. Алданова (главы из романа ‘Бред’), А. М. Ремизова (‘Тень ночи – о снах’) и В. Набокова-Сирина (главы из его автобиографической книги ‘Другие берега’). К ним примыкают А. Величковский (рассказ ‘Старики’) и Екатерина Таубер (рассказ ‘Возвращение’). У всей этой группы, несмотря на всю индивидуальную несоразмерность названных авторов, есть нечто их объединяющее: они все – художники. У них всех есть то, что называется собственным писательским почерком. Все они понимают, что такое техника повествования, владеют ею в совершенстве… Они знают силу слова».

Екатерина Таубер была к тому же незаурядным литературным критиком, о чем свидетельствуют ее проникновенные статьи о творчестве М. Волошина («У спомен великом руском песнику», Мисао, Београд. Књига XL, свеска 305-312 (4), октобар 1932. Сс. 221-222); графини Анны де Ноай (Лирска поезија грофице де Ноај. Мисао. Књига XLI, свеска 313-320 (3-6), фебруар-март 1933. Сс. 268-276); Ю.Терапиано («Встречи», «Грани», № 18, 1953); Бориса Зайцева («В пути находящиеся», «Грани», № 33, 1957. Сс. 152-163; «Борис Зайцев. Тихие зори», «Новый Журнал», № 67, 1962. Сс. 271-275; «Б.Зайцев. Река времен», «Новый Журнал», № 94, 1969. Сс. 274-277); Анны Ахматовой («Неукротимая совесть. О поэзии А. Ахматовой», «Грани», № 53, 1963. Сс. 80-86); А. Присмановой («Розы или рожь?», «Новый Журнал», № 64, 1961. Сс. 151-158)[28], Романа Гуля («Азеф», «Новый Журнал», № 58, 1959. Сс. 233-237) и М. Иванникова («Годы дружбы с М. Д. Иванниковым», «Новый Журнал», № 96, 1969. Сс. 93-96, перепечатано в НЖ № 259, 2010. Сс. 73-75).

Она также является автором многочисленных рецензий, первая – о книге стихов «Память» Ильи Голенищева-Кутузова («Журнал Содружества» № 8 /32/, Выборг, 1935. Сс. 37-38), вторая – о четырех зарубежных поэтессах: С. Прегель «Разговор с памятью», Л. Червинская «Приближения», Алла Головина «Лебединая карусель», Ирина Кнорринг «Стихи о себе» («Русское дело», № 8, Белград, 1936. С. 5), третья – на сербском языке о сборнике «Стихи о погоде» Е. Кискевича

(«Српски книжевни гласник», кн. LXI, Белград, 1940. Сс. 393-394). После войны пишет для журналов «Возрождение» – о поэзии В. Набокова («Стихотворения», № 37, 1955. Сс. 139-141) и «Грани» – о поэзии А. Неймирока («Светлая тональность», № 19, 1953. Сс. 132-133), Г.Раевского («О поэзии Г. Раевского», № 21, 1954. Сс. 161-163), В.Булич («Ветви». № 22, 1954. С. 161), Л. Червинской («Утешение безутешного» № 31, 1956), С. Прегель («Буйство глаз. О стихах Софии Прегель», № 39, 1958. Сс. 220-223), Л. Алексеевой («В пути». Сборник стихотворений, № 43, 1959. Сс. 255-256), Странника («Ветер жизни», № 71, 1969. Сс. 203-205), а также для «Нового Журнала» о сборниках стихов А. Шиманской («Новолунье», № 41, 1955. С. 302), И. Гуаданини («Письма», № 71, 1963. Сс. 203-205), О. Можайской («Разлука и верность», № 74, 1963. Сс. 300-301), Д. Кленовского («Теплый вечер», №119, 1975. Сс. 274-276), А. Величковского («С бору по сосенке», №119, 1975. Сс. 299-300), Т. Величковской («Цветок и камень», №145,1981. Сс. 202-204), О. Анстей («О поэзии Ольги Анстей», № 163, 1986. Сс. 140-142) и для «Современника» о новой книге стихов Нонны Белавиной («Утверждение», № 28-29, 1975. Сс. 140-141). Отдельно хочется отметить ее статьи – «Опыты» («Грани», № 20, 1953. Сс. 148-149), «*Матренин двор* А. Солженицына и *Живые мощи* И. Тургенева» («Грани», № 55, 1964. Сс. 229-232), «Годы дружбы с М. Д. Иванниковым» («Новый Журнал», № 96, 1969, переизд. № 259, 2010), «О довоенных рассказах Михаила Иванникова» («Русская мысль», № 2782, 19 марта 1970).

Во Франции Старовы жили более чем скромно. Константин Иванович, бывший помещик, вынужден был работать батраком и сторожем на богатой вилле. Сама Екатерина Леонидовна помогала мужу, собирала лаванду для парфюмерных фабрик в Грассе и перебивалась нерегулярными заработками. С 1960-х К. Старов стал одним из организаторов и участников каннского Театрального кружка русской молодежи под руководством тенора В. И. Каравьи. Готовил ежегодные Рождественские спектакли в пользу сестричества при храме Архангела Михаила. Выступал как декоратор спектаклей «Конек-горбунок» по сказке П. Ершова, пьесы-мистерии Ю. В. Петровой «Рождественская звезда», русской сказки «Царевна-лягушка», «Голый король» по Г.-Х. Андерсену и др. Свою третью книгу «Плечо с плечом» (1955) Таубер посвятила К. И. Старову, а четвертую – «Нездешний дом» (1973) – его памяти.

Екатерина Таубер была не только глубоко верующим, но и глубоко воцерковленным человеком, без примеси какого-либо ханжества. Каждое воскресенье, в любую погоду, она спускалась из Мужена на автобусе в каннскую православную церковь.

С И. А. Буниным Е. Л. Таубер познакомилась в конце 1940-х годов в Русском Доме «Le Fournel» в Жуан-ле-Пен через С. Е. Попова, родственника В. Н. Буниной и приятеля известного художника-мирискусника Д. С. Стеллецкого, который его увековечил (сей портрет мне подарила Е. Л.). У меня хранится книга Ив. Бунина «Избранные стихи» с дарственной надписью Екатерине Леонидовне от 27 июня 1947 года. Иван Алексеевич, человек не щедрый на похвалу и весьма строгий в оценках, лестно отозвался о ее поэзии, выделив стихотворение «Сквозная южная сосна». На своей книге стихов «Под сенью оливы», она мне написала: «Дорогой Ренэ, эти стихи, вернее, ‘Сквозная южная сосна’ очень хвалил Бунин. Я думаю, это лучшее стихотворение книги. Е. Таубер. «Дубенка». 29.VIII.84».

Сквозная южная сосна
Над полем вянущей лаванды.
А рядом – низкая стена,
Времен Приама и Кассандры.
С нее сползает купина
И горько зноен ветер жадный.

Не видно моря. Облака
На небе выцветшем застыли.
Кустарник пощипать слегка
Пришла коза из древней были,
Шерсть цвета темного песка,
Библейской драгоценной пыли.

Здесь остаюсь на целый день,
Пьяна сладчайшим тонким хмелем.
О, эта глушь и эта лень,
Июля белые недели,
Скуднейшая оливы тень
И золотой загар на теле.

Вот что ей писал Иван Бунин 9 августа 1947 г.: «Прочел Ваши стихи, надеюсь вскоре написать Вам много придирок, а пока скажу главное – Вы редкость среди большинства теперешних стихотворцев, есть нечто настоящее прекрасное, поэтическое в Вашей душе...» А в следующем письме от 7 сентября 1947 г.: «...на счет тех новых стихов, что прислали Вы мне: могу сказать только общее – то, что читать Вас мне было опять очень приятно. Возвращаю их Вам с некоторыми моими пометками. Рад буду встретиться с Вами осенью, – надеюсь

быть в ноябре в J. les Pins». На своей второй книге стихов она написала: «Дорогому Ивану Алексеевичу Бунину в знак глубокого уважения от автора. 1948»[29]. Хочу также привести запись из дневника Веры Николаевны Буниной от 24 марта 1948 г.: «Была Екатерина Таубер. Подарила мне ‘Под сенью оливы’. Ян (Так В.Н. называла мужа. – *Р. Г.*) хвалит ее стихи»[30]. 21 июня 1950 г. из Жуан-ле-Пен В. Н. Бунина пишет Г. Н. Кузнецовой: «Я на днях много о ваших стихах говорила с Таубер. Она очень приятная и действительно любит литературу. Я давно так приятно не проводила время»[31]. Таубер переписывалась с Верой Николаевной и 31 марта 1955 г. в Париже ей подарила свою третью книгу стихов «Плечо с плечом» («Дорогой Вере Николаевне Буниной с чувством горячей симпатии и глубокого уважения от автора»), а в 1956 году Таубер получила посмертное издание «Митиной любви», выпущенное Изд-вом им. Чехова в Нью-Йорке сразу после смерти И. А. Бунина в 1953 году, с такой надписью: «Дорогой Екатерине Леонидовне Таубер – увы, не от автора. В. Бунина. 26.XII.56.».

С самого начала 1950-х годов Екатерина Леонидовна стала выпускать машинописный журнал «Перекличка» (послания друзьям), своего рода Самиздат, в котором разобщенные поэты-эмигранты (Л. Алексеева, А. Неймирок, Ю. Офросимов (Г. Росимов), Г. Забежинский, А. Браиловский, А. Якубовская (Васильковская), Ю. Терапиано, Д. Кленовский, М. Иванников, В. Смоленский, Г. Лахман, О. Анстей, А. Кашин, Б. Филиппов...) не только из Франции, но также из Германии и США, могли помещать свои стихи, статьи, разные отклики, а главное – общаться и обмениваться мнениями, а Екатерина Таубер была, «на перекличке дружбы многих лет», как бы связующим звеном. В письме своей подруге по Белграду поэтессе Л. Алексеевой она пишет: «Название: ‘Перекличка’ я просто взяла из стихов Есенина (*Русь советская. – Р. Г.*): ‘Тот ураган прошел. / Нас мало уцелело. / На перекличке дружбы многих лет…’. Название мне подвернулось случайно. Да и всё возникновение ‘П.’ было ведь совершенно случайным и стихийным»[32]. В этой «переписке друзей», которая хранится в моем архиве, много ценных материалов для будущих серьезных исследователей литературы Зарубежной России.

В конце 50-х годов Екатерина Таубер получила место учительницы русского языка в каннском лицее Карно. Жить стало легче, и Старовы смогли купить небольшой участок земли с вековыми оливковыми деревьями, где своими руками построили маленький домик, окрестив его «Дубенкой» (название родового поместья Константина Ивановича). Увы, в лицее ее стали травить слависты-коммунисты, бездарные преподаватели Поль Гард и Г. Мартыновский, а также

Ю. К. Давыдов, генеральный инспектор русского языка во Франции.

В 1957 году, по предложению писательницы Т. А. Смирновой-Макшеевой, она стала членом Литературно-артистического общества в Ницце, в ноябре 1958 – членом правления, а 10 апреля 1960 – избрана почетным членом. На встречах она читала свои стихи, выступала с докладом о «Поэме без героя» Анны Ахматовой (март 1962). На юбилейном 100-м собрании прочла свои стихи (26 янв. 1964).

К Екатерине Леонидовне у меня особое, трепетное отношение. Ведь с ней я познакомился осенью 1958 года в каннском лицее и, поскольку к этому времени уже умел писать и читать по-русски, почти сразу у нас установились особые отношения. Скоро я стал ее любимым учеником, бывал в «Дубенке». Со временем подружился с ее очаровательным мужем Константином Ивановичем Старовым. Сколько было с ним и с его соратниками задушевных бесед и бесконечных разговоров о Гражданской войне, о судьбах России! Дружили мы почти тридцать лет, о чем свидетельствуют ее трогательные письма и дарственные надписи на книгах стихов. Недаром она меня считала своим духовным сыном. «Дорогому Ренэ Герра в память ‘дней лицея’ и нашей общей любви к вечной России от старой учительницы и друга Е. Таубер-Старовой. 15.VI.1973. Мужен» («Нездешний дом», 1973). «Дорогой Ренэ, без Вас эта книга бы никогда не вышла, и забыть этого я не могу. Ваша старая учительница и друг. Е. Таубер-Старова 26.VIII.84. Mougins» («Верность», изд. «Альбатрос», Париж, 1984).

В начале 1970-х годов, когда Екатерина Леонидовна гостила в Париже у своего брата Сергея, я у себя в Медоне устраивал литературные вечера в ее честь, чтобы дать возможность поэтессе общаться со своими собратьями по перу еще по «Перекрестку» (Ю. Терапиано, Т. Штильман), по Сборникам Союза молодых поэтов и писателей (В. Дряхлов, Б. Закович, Т. Штильман) и по «Новому Журналу» (И.Одоевцева, С. Прегель, Е. Рубисова, А. Шиманская, А. Величковский, Ю. Анненков, С. Шаршун). Мы также встречались по старой памяти и на Монпарнасе, в кафе Le Dôme. Она выступала в Русской консерватории им. С. В. Рахманинова на вечерах поэзии Союза русских писателей и журналистов (15 апр. 1972; 15 апр. 1973; 24 мая 1975).

Борис Константинович Зайцев и Екатерина Леонидовна познакомили меня заочно с музой И. А. Бунина Галиной Кузнецовой. С их рекомендательными письмами, в июле 1970 года, я отправился в Мюнхен, где остановился у талантливой писательницы Ирины Сабуровой. Очень радушно меня приняли Галина Кузнецова и

Маргарита Степун, я их расспрашивал о русском довоенном литературном Париже и, конечно, о И. Бунине. Было еще несколько незабываемых встреч, последняя – 13 февраля 1975 года. Галина Николаевна завещала мне свою библиотеку и весь свой архив.

Таким образом, в моих руках оказалась переписка Екатерины Таубер с Галиной Кузнецовой. Удивительный сюжет, достойный внимания исследователей, – как много у них общего! Обеих вдохновляли юг Франции, Прованс, «бунинские» места – Грасс, Мужен, мистраль, запахи, краски, лаванда, оливковые деревья... Благодаря им в русской поэзии XX века появились «Провансальские стихи», не случайно Екатерина Таубер так озаглавила свою первую подборку стихов для «Нового Журнала» (№ 15, 1947). У Галины Кузнецовой «Оливковый сад» (стихи 1923–1929 гг., когда она жила в Грассе у Буниных), у Екатерины Таубер – книга стихов «Под сенью оливы» (у меня хранится экземпляр с ее дарственной надписью: «Галине Николаевне Кузнецовой, автору ‘Оливкового сада’, с дружеским приветом от автора»). Познакомились они уже после войны, и никто никому не подражал – просто две родственные души. Их сближала не только принадлежность к «незамеченному поколению», по меткому выражению моего друга В. С. Варшавского, но и крайняя скромность, сдержанность, общее понимание культуры, жизни и, конечно, преклонение перед Буниным. О многом говорит дарственная надпись Г. Кузнецовой на книге «Грасский дневник»[33]: «Родственной душе – милой Екатерине Леонидовне сердечно. Август 1972 г. Мюнхен». Как и Таубер, Кузнецова была поэтом и прозаиком, обе занимались и переводами. Кузнецова перевела «Волчицу»[34] Франсуа Мориака (перевод вышел в 1938 г. с предисловием Ив. Бунина), а Таубер – «Записки сельского священника» Жоржа Бернаноса (перевод напечатан в «Гранях» № 39. – Сс. 3-82, № 40. – Сс. 121-206. Мюнхен, 1958).

Также, благодаря моей учительнице, я познакомился в Париже с поэтессой Ириной Гуаданини, музой В. Набокова (в моем рукописном архиве хранятся его любовные письма к ней).

Екатерина Таубер, прекрасный, светлой души человек, как и ее муж, была непримирима к большевикам и советской власти, поэтому, в отличие от некоторых белых эмигрантов, она не соблазнилась сталинским указом об амнистии от 14 июня 1946 г. и в 1949 году приняла французское гражданство. Скончалась она 6 ноября 1987 года и похоронена в Каннах на кладбище Гран-Жас.

За свою долгую жизнь Екатерина Таубер смогла опубликовать пять поэтических сборников, четвертый «Нездешний дом» (1973) – не без моей помощи, как и последний, «Верность», который я издал

в 1984 году в своем издательстве «Альбатрос», а мой друг, художник Сергей Голлербах, по-дружески изящно его оформил. Был очень тронут и счастлив, когда увидел, что в нем мне посвящены стихи, поистине хрестоматийные:

Твой чекан, былая Россия,
Нам тобою в награду дан.
Мы – не ветви твои сухие,
Мы – дички для заморских стран.

Искалеченных пересадили,
А иное пошло на слом.
Но среди чужеземной пыли –
В каждой почке тебя несем.

Пусть нас горсточка только будет,
Пусть загадка мы тут для всех –
Вечность верных щадит, не судит
За святого упорства грех.

Поэзию Екатерины Таубер ценили, кроме уже названных ведущих литературных критиков, И. А. Бунин, З. Н. Гиппиус, Б. К. Зайцев, А.М. Ремизов, Г. В. Иванов, И. В. Одоевцева, В. В. Вейдле, Н. Н. Берберова, Г. Н. Кузнецова, Ю. К. Терапиано, В. С. Варшавский, С. И. Шаршун, В. А. Злобин, И. И. Тхоржевский, И. Н. Голенищев-Кутузов, В.А. Смоленский, Ю. В. Мандельштам[35], Г. А. Раевский, Ю. П. Иваск, М. М. Карпович, Р. Б. Гуль, Г. Б. Забежинский[36], Л. А. Алексеева, С.Ю. Прегель, И. Н. Кнорринг, А. Н. Неймирок, Б. А. Нарциссов[37], А. Е. Величковский, В. А. Сумбатов, А. А. Биск, Странник, З. А. Шаховская, Н. Н. Оболенский, Т. А. Величковская, О. Н. Можайская, А.С. Шиманская[38], В. Ф. Перелешин, Л. Н. Андерсен, И. Ю. Гуаданини, Д.И. Кленовский, И. В. Елагин, Н. Н. Моршен, Л. Д. Ржевский, Т.П. Фесенко[39], В. А. Синкевич[40], А. П. Радашкевич[41], Ю. М. Кублановский[42]...

Не могу не процитировать дарственную надпись Владимира Вейдле: «Екатерине Таубер с благодарностью за ‘Нездешний дом’, где я нашел многое пришедшееся мне по душе. Париж, 7.I.74»[43]. А авторитетный немецкий профессор Вольфганг Казак в своем «Энциклопедическом словаре русской литературы с 1917 года» так заканчивает свою статью о Е. Таубер: «Некоторые стихи Т., близко касающиеся современности, напр. о разлуке в начале войны или воспоминания о сельском русском пейзаже (сб. «Под сенью оливы») навсегда вошли в сокровищницу русской литературы»[44].

В поэзии Екатерины Таубер – темы внутренней жизни души, близости к природе Прованса, а также смерти, которая звучит не отчаянием, а просветленностью и отрешением. Она оставалась до конца своих дней верной избранному ею литературному пути, своей творческой манере, своим убеждениям.

P. S. Сегодня я вправе гордиться тем, что не просто был знаком, но не раз встречался, переписывался и даже дружил с двумя главными редакторами «Нового Журнала» Романом Гулем и Юрием Кашкаровым, а также со многими его постоянными авторами: Б. Зайцев, И. Одоевцева, Н. Берберова, Г. Кузнецова, Г. Адамович, В. Вейдле, Ю. Анненков, С. Шаршун, М. Андреенко, Г. Газданов, Ю. Терапиано, Л. Зуров, А. Бахрах, А. Седых, Н. Терлецкий, Странник (Архиеп. Иоанн Шаховской), В. Ильин, С. Пушкарев, Л. Закутин, Н. Андреев, Н. Ульянов, Б. Закович, Ю. Иваск, И. Чиннов, Д. Кленовский, В. Варшавский, В. Яновский, К. Померанцев, А. Кашина-Евреинова, Л. Червинская, А. Головина, З. Шаховская, Е. Рубисова, С. Прегель, Л. Андерсен, Т. Величковская, О. Можайская, А. Горская, Е. Каннак, Л. Алексеева, Н. Белавина, Т. Фесенко, О. Анстей, Э. Боброва, А. Величковский, Н. Туроверов, Н. Евсеев, В. Рудинский, В. Перелешин, М. Волин, Б. Нарциссов, Т. Пахмусс, Ю. Трубецкой, И. Елагин, Н. Моршен, О. Ильинский, Л. Ржевский, А. Раннит, П. Муравьев, В. Сечкарев, Н. Арсеньев, Н. Кодрянская, Н. Резникова, В. Марков, А. Небольсин, Б. Филиппов, В. Завалишин, Ю. Мамлеев, Н. Боков, Д. Бобышев, И. Легкая, А. Арсеньев, С. Голлербах...

В 1976 году, по приглашению незабвенного друга Романа Гуля, я стал автором «Нового Журнала». Моя первая статья «Профиль Шаршуна» была напечатана в Кн. 122., где я, волею судьбы, оказался рядом с Екатериной Леонидовной Таубер-Старовой.

Ницца, 2020

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Ю. Н. Сухарев*. Материалы к истории русского научного зарубежья. Книга первая. – М, «Российский архив», 2002. – С. 484.

2. *Л. Я. Таубер*. Лига наций и юридический статус русских беженцев // Записки Русского научного института в Белграде. Выруск 9. – Белград, 1933; Циљеви руске емиграције // Летопис Матице српске. Књ. 324. Св.1. – Нови Сад, 1930.

3. *А. И. Серков*. Русское масонство 1731–2000. Энциклопедический словарь. – М., РОССПЭН, 2001. С. 789.

4. Ложа «Максим Ковалевский» первоначально работала как кружок; его основание относится к 1926, разрешение на его открытие было получено

28.3.1926. Ложа была открыта в 1927. В 1929 объединяла 12 членов. Прекратила существование в июле 1940.

5. *Н. Н. Берберова*. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. – New York: Russica Publishers, 1986. // 2-е издание. – М., Прогресс-Традиция, 1997. – Сс. 164, 202.; *Е. Федорова*. Безымянное поколение. Записки правоведа, адвоката, бывшего меньшевика Александра Гюнтера (1890–1984). – М. 2004. – Сс. 47, 73, 174, 262, 388.

6. *Нина Берберова* (псевд. Ивелич). Рецензия на альманах «Перекресток». Газета «Последние новости» № 3375. – Париж, 19 июня 1930. – С. 3.

7. *А. И. Чагин.* «Перекресток». Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940). Т. 2: Периодика и литературные центры. – М.: РОССПЭН. 2000. – Сс. 313-314.

8. *Г. В. Адамович*. Литературная неделя: «Перекресток». Иллюстрированная Россия № 30 (271). – Париж, 19 июля 1930. – С. 22.

9. *Ю. К. Терапиано*. Встречи. – Нью-Йорк: Изд-во. им. Чехова, 1953. – С. 105.

10. *Ю. Терапиано*. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974) / Сост., вступ. статья Ренэ Герра. – СПб: Росток. 2014. – С. 191.

11. Русская литература в эмиграции: Сборник статей под ред. Н. П. Полторацкого. – Питтсбург. 1972. – С. 299.

12. *И. Н. Голенищев-Кутузов*. Память. Стихи. Предисловие Вяч. Иванова. – Париж: Парабола, 1935.

13. Annales contemporaines / Современные записки. Указатель к №№ I-LXV за 1920–1937 гг. Склад издания: rue Daviel, Paris (XIII) // Журнал «Современные записки». – Париж 1920-1940. Указатель содержания. – СПб. 2004.

14. *В. Ф. Ходасевич, И. Н. Голенищев-Кутузов*. Переписка / Публ. Джона Малмстада. – «Новое литературное обозрение». № 23. – М., 1997. – С. 223.

15. *Георгий Адамович*. «Последние новости» 1934-1935. – СПб: Алетейя, 2015. – Сс. 360-261, 551-553, 595.

16. «Стихи Е. Таубер всегда красивы и звучны, ласкают слух и легко запоминаются. Одного такого стиха, как *В раскрытой книге прелесть новых встреч* достаточно, чтобы убедиться в подлинности ее поэтического дарования.»

17. *И. Н. Голенищев-Кутузов*. От Рильке до Волошина. – М.: Русский путь. 2005. – С. 326.

18. *Глеб Струве*. Русская литература в изгнании. Опыт исторического обзора зарубежной литературы. – Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова. 1956. – Сс. 331, 364-365, 406 // 2-ое издание исправленное и дополненное – Paris: YMCA-Press. 1984. – Сс. 331, 364-365, 415 // Издание третье, исправленное и дополненное – Париж-Москва: YMCA-Press – Русский путь. 1996. – Сс. 221, 244, 365-366.

19. Якорь. Антология зарубежной поэзии / Сост. Г. В. Адамович и М. Л. Кантор. – Берлин: Петрополис. 1936. – Сс. 227-229.

20. На Западе. Антология русской зарубежной поэзии / Сост. Ю. П. Иваск. – Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова. 1953. – Сс. 243-245.

21. Муза Диаспоры. Избранные стихи зарубежных поэтов 1920–1960 / Под ред. Ю. К. Терапиано. – Франкфурт-на-Майне: Посев, 1960. – Сс. 308-311. Первоначально «Избранные стихотворения зарубежных поэтов» были напечатаны в журнале «Грани» (№ 44, октябрь–декабрь 1959) под заголовком «Сорокалетие русской зарубежной поэзии».
22. Содружество. Из современной поэзии Русского Зарубежья. – Вашингтон: В. Камкин, 1966. – Сс. 428-435.
23. Эстафета. Сборник стихов русских зарубежных поэтов / Под ред. И.Яссен, В. Андреева, Ю. Терапиано. – Париж – Нью Йорк. [1948].
24. *Ю. Терапиано*. Новые книги. – Новое русское слово. № 13197. – Нью-Йорк, 13 июня 1948. – С. 8. Рецензия на сб. стихов Е. Таубер «Под сенью оливы».
25. «Грани». Журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли. Содержание с № 1 по № 100. – Франкфурт-на-Майне: Посев, 1977. – Сс. 13, 19, 20, 21, 22, 24, 31, 33, 37, 39, 43, 44, 48, 53, 55, 71, 127.
26. L'émigration russe. Revues et recueils 1920–1980. Index général des articles // Русская эмиграция. Журналы и сборники на русском языке 1920–1980. Сводный указатель статей. – Paris, Institut d'études slaves. 1988. – Сс. 464, 479-481; Русская эмиграция. Журналы и сборники на русском языке 1981–1995. Сводный указатель статей. – М., РОССПЭН. 2005. – Сс. 187, 199, 210, 331.
27. В. Н. Бунина в письме Г. Н. Кузнецовой от 28 июня 1960 г.: «Читали ли Вы последнюю книжку 'Нового Журнала'?... Таубер написала эмигрантского Дон-Жуана…» (И. А. Бунин. Новые материалы. Выпуск III. «...Когда переписываются близкие люди». Письма И. А. Бунина, В. Н. Буниной, Л. Ф. Зурова к Г. Н. Кузнецовой и М. А. Степун 1934–1961. – М.: Русский путь. 2014. – Сс.533-534)
28. Ксения Рагозина в предисловии к книге А. Присмановой и А. Гингера «Туманное звено» (Томск: Водолей. 1999) пишет: «Екатерина Таубер – автор лучшей из существующих статей о поэзии Присмановой». – С. 22.
29. *С. Н. Морозов, Ю. Н. Иванов*. Дарственные надписи на книгах из парижской библиотеки И. А. Бунина / Российский Литературоведческий Журнал. № 4. – М. 1994. – С. 172.
30. Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы, под редакцией Милицы Грин в трех томах. – Франкфурт-на-Майне: Посев. 1982. Т. 3. – С. 188.
31. И. А. Бунин. Новые материалы. Выпуск III. «…Когда переписываются близкие люди». – Сс. 104, 657.
32. Письмо Е. Таубер Л. Алексеевой от 11.01.1953. Библиотека Йельского университета, отдел редких книг и рукописных материалов.
33. *Галина Кузнецова*. Грасский дневник. – Вашингтон: В. Камкин. 1967.
34. *Франсуа Мориак*. Волчица (Genitrix) / Перевод Г. Н. Кузнецовой с предисловием Ив. А. Бунина. – Париж: Изд-во «Русские записки». 1938.
35. *Ю. Мандельштам*. Гамбургский счет (по поводу «Антологии зарубежной

поэзии»). – «Журнал Содружества», Выборг. 1936, февраль № 2 (38). – Сс. 7-12.
36. *Г. Забежинский*. Рец.: Плечо с плечом. – «Новый Журнал». № 42. – Нью-Йорк. 1955.
37. *Борис Нарциссов*. Рец.: Нездешний дом. – «Новый Журнал». № 113. – Нью-Йорк. 1973. – Сс. 294-295.
38. *А. С. Шиманская*. Рец.: Нездешний дом. – «Современник». № 26/27. – Торонто. 1974.
39. *Т. Фесенко*. Рец.: Верность. – «Новый Журнал». № 158. – Нью-Йорк. 1985.
40. *В. А. Синкевич*. Верность Екатерины Таубер. – «Стрелец» № 7. – Париж. 1987.
41. *А. Радашкевич*. Рец.: Верность. – «Русская мысль», Париж, 4 апреля 1985.
42. *Ю. Кублановский*. Рец.: «Вечность верных щадит, не судит». – «Грани». №136. – Франкфурт-на-Майне. 1985. – Сс. 289-291.
43. *Владимир Вейдле*. О поэтах и поэзии. – Париж: YMCA-Press. 1973.
44. *Вольфганг Казак*. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года. – London: Overseas Publications Interchange Ltd. 1988. – Сс. 760-761. // Вольфганг Казак. Лексикон русской литературы XX века. – Москва: РИК «Культура». 1996. – Сс. 415-416.

Ницца

Геннадий Евграфов

Пути и встречи Андрея Седых

В 1935 году, накануне празднования 25-летнего юбилея, главный редактор газеты «Новое русское слово» Марк Вейнбаум отправил всем ведущим сотрудникам письма с просьбой прислать для юбилейного номера статьи и автобиографические сведения о себе. Самым кратким был ответ Андрея Седых* из Парижа: «Биографии у меня нет. 18-летним юношей я продавал на улицах Константинополя русские газеты. Теперь сотрудничаю в этих газетах. Это всё. И для журналиста этого вполне достаточно»[1]. Можно только предполагать, почему молодой журналист ответил так, как ответил, но биография у него все-таки была. И весьма богатая к его тридцати годам.

Он оставил родную Феодосию в 1920 году. Город переходил из рук петлюровцев в руки махновцев, от них – к Добровольческой армии, пока не стал окончательно «красным». Каждые новые хозяева устанавливали в городе свои жесткие порядки. Только-только окончивший гимназию юноша устроился матросом на корабль, который шел в Ялту – из Ялты в Болгарию. Хотелось не только вырваться из Крыма, раздираемого Гражданской войной, но и посмотреть мир. В Болгарии, как и в Турции, куда он вскоре уехал, делать было нечего. Правда, вскоре в Константинополе он нашел работу – продавал русские газеты. Но работа быстро кончилась – эмигранты на берегах Босфора не задерживались, все стремились в Берлин, Прагу, Париж.

Яков Цвибак (так его звали до 1930-х годов, пока он не взял псевдоним – Андрей Седых) сумел через Италию добраться до Франции. Париж казался «раем» только издалека. Без жилья, без работы, без денег – там было не слаще, чем в Константинополе. Утешало, что это все-таки был не неугомонный пестрый Восток, а спокойный цивилизованный Запад. Ему повезло – он попал в поле зрения М. М. Федорова. В России Федоров был высокопоставленным царским чиновником – управляющим министерства торговли и промышленности; в Париже стал общественным деятелем – главой Комитета помощи русским молодым людям за границей. Бывший петербуржец дал быв-

---

* «Андрея Седыха́», с ударением на последний слог, – так по-свойски принято было говорить среди старых эмигрантов Нью-Йорка. (*Ред.*)

шему крымчанину шанс – устроил его в Школу политических наук. Молодой человек шанс оправдал – Школу закончил в 1926 году. Но политическими науками заниматься не стал – стал журналистом. П.Н. Милюков обратил внимание на молодого журналиста и взял к себе в «Последние новости».

В Париже было довольно много русских газет и журналов самых разных направлений, среди них – «Воля России», «Иллюстрированная Россія», «Возрождение»», «Современные записки», «Числа». Среди газет самой авторитетной и популярной были «Последние новости». Может быть из-за авторитета Милюкова, которым он пользовался в кругах русских эмигрантов (хотя не все в эмиграции любили бывшего министра иностранных дел Временного правительства и не все разделяли его политические взгляды); может быть потому, что он собрал лучшие за рубежом русские перья – в газете сотрудничали не только известные журналисты, но и известные писатели (о чем Седых подробно расскажет в 60-х в своих воспоминаниях). Может быть потому, что газету интересовали события, происходившие не только в России, но и во Франции. А может и потому, что либеральные «Новости», которые уделяли внимание и политике, и экономике, и литературе, можно было купить на каждом шагу (тираж в лучшие годы доходил до 35 тысяч). Газету читали бывшие военные и профессора, духовенство и государственные чиновники, казаки и мелкие лавочники – все граждане Российской империи, выброшенные октябрьским смерчем на берега Сены.

Днями и ночами не вылезал начинающий журналист из Палаты депутатов, Сената и Елисейского дворца. Он внимательно следил за политическими дебатами, излагал самое главное и существенное – Милюков часто ставил его репортажи на первую полосу газеты. Но интересы Цвибака не ограничивались только политическими дебатами. Он писал о похищениях генералов Миллера и Кутепова, которых знал лично, – об этих преступлениях говорил не только русский Париж: генералов похитили среди белого дня агенты ГПУ, что не могло не волновать законопослушных французов.Он писал о ночной жизни Парижа, о богатой публике, ищущей развлечений в районах с сомнительной репутацией (Лас-Пигаль, Сен-Дени, Булонский лес), о славящихся во всей Европе притонах и о проститутках, предлагающих на полуосвещенных улицах свои незамысловатые услуги.

Живые, колоритные зарисовки понравились своим точным описанием Куприну. Когда молодой журналист пришел к нему за интервью, выяснилось, что Куприн читал его очерки. Знаменитый русский писатель и в России, и во Франции всегда с вниманием и благожелательностью относился к молодым и всячески им помогал. На родине –

делом, на чужбине – советом. Очерки о «парижском дне» посоветовал издать отдельной книгой. Гость сомневался, несмотря на то, что у него уже вышли две книги о Париже – «Старый Париж» (1925) и «Монмартр» (1928). Но после разговора с автором «Поединка», «Гранатового браслета» и «Ямы» сомнения отбросил.

В 1985 году Андрей Седых в беседе с американским журналистом Джоном Глэдом вспоминал: «Я писал очерки о ночном Париже. По совести говоря, я теперь их немножко стесняюсь, я никогда за последние 50 лет не раскрыл мою раннюю книжку ‘Париж ночью’. Там были рассказы о парижских улицах, притонах, проститутках – ночная жизнь Парижа. И вдруг Куприну это страшно понравилось, он начал меня хвалить и говорить: ‘Издайте, издайте отдельную книгу. Это очень важно, это очень интересно’. Я колебался, но издал эту книгу, и Куприн написал предисловие, для меня очень лестное...» И затем напомнил Глэду о своей книге «Звездочеты с Босфора»: «У меня, между прочим, есть другая книга, которой я очень горжусь. И предисловие к ней написал Бунин. Бунин пишет там, что он никогда ни для кого не писал предисловий, да я никогда бы и не осмелился у Ивана Алексеевича попросить предисловие для моей книги, но Бунин сам мне сказал: ‘Вы знаете, я напишу для вас предисловие, мне очень нравятся “Звездочеты с Босфора”, это хорошая книга, вы должны писать, из вас выработается хороший писатель, если вас не убьет журналист.’»[2]. В «Звездочетах» Бунин особо выделил «живопись» рассказов «Бартыжники», «Хайтарма», «Гидра», а «Миссис Катя Джэксон» и «Пашино счастье» назвал «прекрасными», в то же время заметив, что не все «рассказы равноценны», как почти всегда бывает во всяком таком сборнике.

Книга «Париж ночью» вышла в 1928 году, «Звездочеты с Босфора» в 1948. Несколько ранее «Звездочетов» в Нью-Йорке вышла книга «Дорога через океан» (1942), в которой Седых описал – тщательно и подробно – свой отъезд из оккупированной Франции в 1941 году и переезд через океан, придав воспоминаниям беллетристический характер. В 1950–70-х годах увидели свет сборники рассказов «Сумасшедший шарманщик» (1951) – о жизни русских эмигрантов во Франции и Америке, и «Замело тебя снегом, Россия» (1964), пронизанный печалью и ностальгией по давно оставленной родине.

После поездок на Святую землю, в Прибалтику, Италию, Испанию появились книги «Земля обетованная (1966) и «Пути, дороги» (1969). В своих описаниях Седых был точен и достоверен. Цепкий взгляд журналиста выхватывал детали, детали складывались в выразительные картины быта – уклада жизни испанцев, итальянцев

и потомков народа балтов. «Крымские рассказы» (1977), искренние и исповедальные, были о детстве, проведенном среди крымских татар. Он жил с ними бок о бок, хорошо знал народ, любил его, дружил со многими сверстниками. Выдумывать не было нужды.

Седых писал «только о людях» (так называлась книга, вышедшая в 1955 году), писал простым языком без излишних художественных изысков, с юмором и доброй иронией повествовал о жизни героев своих незамысловатых рассказов, умело выстраивая сюжеты и диалоги. И во всех этих книгах сохранил «легкость, простоту», памятливость на «пережитое свое и чужое» и «главный признак таланта» – «свободу», о которых ранее говорил Бунин в предисловии к «Звездочетам с Босфора».

На «большую» прозу Андрей Седых не замахивался, у него была трезвая самооценка – до конца жизни считал себя журналистом и потому предпочитал работать в жанре очерка или эссе. И к себе как к прозаику он относился весьма сдержанно. Поэтессе, критику и доброй знакомой Андрея Седых Валентине Синкевич запомнился такой разговор с ним: «Да, я, конечно, писатель. Но все-таки какого-то необходимого для большого писателя качества, того, что было у Бунина, у меня, в конечном счете, нет... Но журналист я хороший. Даже очень хороший»[3].

Бунин обратил внимание на Седых в 30-е годы – не только на его журналистские способности, но и на юмор, находчивость и умение не теряться в разных житейских ситуациях, – русский Париж, тем более литературный, был узок, все знали всё обо всех. Он читал отчеты журналиста в «Последних новостях» о заседаниях французского парламента, прочитал и сдобренную изрядной долей беллетризма книгу рассказов о бывших соотечественниках, не устроившихся в новой жизни, – «Люди за бортом». Название точно характеризовало местоположение, в котором оказались многие русские беженцы. Книга была написана уверенным пером, автор хорошо знал, о чем писал, и ни в чем не погрешил против правды. Дошел до Бунина и слух, гулявший в эмигрантской среде, о том, как веселый, находчивый Седых ответил на упрек редактора «Новостей» Полякова: «До чего, черт вас возьми совсем, валяете вы отчеты как попало!», – а тот ему в ответ: «А вы что же, хотите, чтобы я за 25 сантимов построчных переписывал свои отчеты по сто раз, как Лев Толстой свои романы и рассказы?»

Не лишенного чувства юмора «почетного академика по разряду изящной словесности Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук», умевшего ценить это качество и в других людях, всё это изрядно забавляло и веселило. И когда в 1933

году до Бунина долетела весть о присуждении ему Нобелевской премии, 63-летний лауреат решил, что для поездки в Стокгольм без человека, который бы мог взвалить на себя решение чисто организационных вопросов, не обойтись, – на своих спутниц – жену Веру Николаевну, как и на жившую в доме Галину Кузнецову, – надеяться не приходилось. Вряд ли они смогли бы найти удобную для проживания гостиницу, встречать посетителей, составлять расписание встреч с репортерами – дом в Грассе осаждали корреспонденты центральных парижских газет. Можно было представить, что ожидает в Стокгольме. И тогда Бунин вспомнил о Седых и предложил ему исполнять обязанности своего личного секретаря на время путешествия. Седых предложение посчитал за честь и, не раздумывая, согласился. Для молодого журналиста сопровождать Нобелевского лауреата было всё равно что вытащить счастливый билет; для молодого литератора тесное общение с Буниным могло стать хорошей жизненной школой.

3 декабря Иван Алексеевич, Вера Николаевна, Галина Кузнецова и Андрей Седых, новоявленный секретарь и корреспондент «Последних новостей» и «Нувель литтерер» (он должен был освещать визит для этих газет), отправились в путь. В Стокгольме Седых быстро сориентировался и первым делом нашел хороший отель «Мажестик» (администрация выделила Бунину и сопровождавшим его лицам удобные апартаменты). По утрам неутомимо разбирал поступавшую со всего мира почту: шведский издатель извещал о выходе в свет нового собрания сочинений Ив. Бунина в шести томах, читатели желали получить автограф, дама из Дании умоляла, ради Спасителя, быть вместе с Римом и спасти мир... Некоторые обращались с более прозаичными просьбами – просили прислать небольшие суммы денег. Днем Седых встречал поклонников, умело ограждая Бунина от назойливых посетителей, среди которых были сплошь русские эмигранты (Бунин называл их «стрелками»), время от времени осаждавших с разными (зачастую нелепыми) предложениями ставшего знаменитым на весь мир соотечественника. Почти через тридцать лет Седых вспоминал, как десятки людей говорили ему, что «ни один нобелевский лауреат не пользовался таким личным и заслуженным успехом, как Бунин...» И действительно, фотографии лауреата не сходили со страниц газет, их выставляли в витринах книжных магазинов. «Холодные» шведы чествовали русского писателя-эмигранта с несвойственной им теплотой.

10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля, король Густав V вручал премии в Концертном зале. Зал «был… переполнен – мужчины во фраках, при орденах, дамы в вечерних туалетах... За несколько минут до начала церемонии на эстраде, убранной цветами

и задрапированной флагами, заняли места члены Шведской академии... Ровно в пять с хоров грянули фанфары и церемониймейстер, ударив жезлом о пол, провозгласил: ‘Его Величество Король!’». А затем лауреаты, согласно Протоколу, должны были поблагодарить короля. «Бунин, – вспоминал Седых, – хотел сказать нечто большее: подчеркнуть, что Нобелевская премия была присуждена писателю-изгнаннику как знак совершенной независимости, как символ уважения свободы совести и свободы мысли. Это был, в известной степени, и акт политический. Со времени Полтавы и Петра Великого в Швеции недолюбливали всё русское; никогда до Бунина Нобелевская премия не была присуждена русскому писателю…»

Присуждение премии писателю-эмигранту в Советском Союзе расценили действительно как политический акт. Иначе и быть не могло – Бунин был откровенный враг советской власти и никогда этого не скрывал. После 1928 года были запрещены не только его книги (изъяты из библиотек и уничтожены), но даже на само имя был наложен запрет (так, в рассказе «Мой процесс» Варлам Шаламов упоминает о том, что в 1943 году ему дали еще 10 лагерных лет только за то, что он посмел назвать «злобного эмигранта» Ивана Бунина «великим русским писателем». Шаламов настаивал на этой подробности, хотя в материалах следственного дела такой детали нет*). Однако вычеркнуть имя Бунина из русской литературы советские власти не смогли. Оставалось предать его забвению. Но сначала решили высмеять торжество в Стокгольме. В 1934 году Ильф и Петров (очевидно, вполне искренне) в своем фельетоне «Россия-Го» (название фельетона пародировало наименование марионеточного государства Маньчжоу-Го, которое Япония создала двумя годами ранее на оккупированной территории Маньчжурии) хлестко и зло, в духе эпохи, писали о «белых русских» как о людях «серых» и об их «невезучей» жизни в Париже, схожей с жизнью «довоенного Мелитополя», которым вдруг неожиданно привалило счастье – Бунин получил Нобелевскую премию. Поскольку какой-никакой пиетет к авторитетной премии всё же оставался в умах фельетонистов, лауреата надумали унизить и развенчать… через Седых, который в своих

*Вот что пишет исследователь его творчества В. Есипов: «Но донос, ярко характеризующий жестокий колымский закон: ‘*Умри ты – сегодня, а я – завтра*’, не мог не оказать влияния на следователя, оперуполномоченного НКВД Федорова, который (исключив имя Ивана Бунина из показаний, поскольку оно, судя по всему, было ему неизвестно в силу необразованности, что потребовало бы новых следственных экспертиз), был заведомо предвзято настроен к Варламу Шаламову». URL: https://www.booksite.ru/ varlam/creature_08.htm

корреспонденциях подробно описывал, как всё происходило в те торжественные дни. Корреспондент двух газет не забывал о подробностях – от фрака Бунина до наколки горничной, «что ели» и «что пили», – детали, которыми интересовались простые русские и французские читатели. Советские авторы, разумеется, сочли, что «международный вагон, в котором они ехали, отель, где они остановились, белая наколка горничной, новый фрак Бунина… были описаны с восторженностью, которая приобретается только *полной потерей человеческого достоинства*» (Выделено мной. – *Г. Е.*), и подвергли осмеянию все эти «буржуазные излишества». Обратили они внимание и на поклон, который Бунин (как того и требовал этикет) «отвесил королю при получении от него премиального чека на восемьсот тысяч франков!» И сыронизировали: «По словам Седых, никто из увенчанных тут же физиков и химиков не сумел отвесить королю такого благородного и глубокого поклона». Фельетон авторы закончили так: торжества кончились, деньги тоже, огни погасли, начались «провинциальные парижские будни»[4].

«Провинциальные парижские будни» продолжались для Бунина вплоть до самой смерти в 1953 году. Для Седых – до 1941 года, когда ему вместе с женой Евгенией Липовской (сценический псевдоним актрисы – Женя Грей) удалось выбраться из оккупированной нацистами Франции в Америку. Дружеские – уважительные с обеих сторон – отношения между Буниным и Седых, которые завязались с торжественных дней в Стокгольме, не прерывались на протяжении двадцати лет, до кончины писателя.

В Нью-Йорке главный редактор «Нового русского слова» Марк Вейнбаум, не мешкая, предложил Андрею Седых место в газете. В 1973 году, после смерти Вейнбаума, Седых возглавил «Новое русское слово». И вытянул газету на новый уровень.

Сошлюсь на свидетельство американского художника, русского эмигранта второй волны Сергея Голлербаха. Вспоминая о тех временах («Новый Журнал», 2011, № 264), Голлербах писал, что за короткий срок Андрею Седых из восьмистраничной газетки удалось сделать серьезное многостраничное издание, в котором публиковались не только статьи, но и рассказы, стихи; были отделы юмора, хроники, – газету с интересом читала вся русскоязычная эмиграция в Америке. Особо подчеркнул Голлербах, что газета не имела определенного политического направления, но, как и ее главный редактор, не признавала два «изма» – коммунизма и фашизма.

Став главным редактором, Седых перестал брать гонорары за свои статьи – писал, потому что не мог не писать. Никогда не притрагивался к газетным деньгам; нередко, когда денег не хватало, вно-

сил в кассу собственные. Еще работая в Париже, он многому научился у Милюкова – и в Нью-Йорке шел след в след за «Последними новостями», одновременно сохраняя традиции, заложенные своим предшественником (прежде всего – антикоммунистическую направленность). Но на дворе стояло другое время, и, чтобы быть интересной не только старой, уходившей на русские кладбища эмиграции, но и молодой, осваивающей Америку в 70-80-е годы, «Новое русское слово» нуждалось в более серьезном обновлении, особенно ее литературный отдел – материал необходимо было подавать иначе: уходить от навязчивых штампов и клише, в большей степени ориентироваться на новое поколение русских читателей-эмигрантов, появившихся на берегах Гудзона, Сены, Шпрее. Потому что газету читали не только в Нью-Йорке, но и в Париже, и в Берлине. Стремясь не отстать от времени, главный редактор широко распахнул страницы для писателей «третьей волны», в большинстве своем выброшенных в эмигрантскую жизнь под нажимом советского государства. В «Новом русском слове» публиковались практически все известные литераторы третьей волны, среди которых были Солженицын и Аксенов, Гладилин и Войнович, Коржавин и Горенштейн, Некрасов и Галич. Некоторых из этих прозаиков и поэтов объединяло только неприятие советской власти, – в главном же, а именно в средствах художественного постижения мира, многие из них были непримиримыми антагонистами, друг с другом чаще встречались на страницах газеты, нежели в реальной жизни.

Каких душевных мук стоило Седых объединить в газете столь разных людей, можно только догадываться: реалист до кончиков ногтей, воспитанный на классической литературе, новую литературу не принимал, – другая эстетика, другой язык, непривычная стилистика. Непонимание рождало внутреннее неприятие, которое перерастало в отрицание, особенно если речь заходила о Бродском, Мамлееве, Алешковском и Саше Соколове. Главный редактор НРС этого и не скрывал. Издатель газеты Валерий Вайнберг вспоминал такой эпизод: «Я помню, когда Андрей Седых пришел и рассказал историю его знакомства с Иосифом Бродским. Он сказал мне: ‘Я подошел к Бродскому и сказал ему: “Иосиф, я не печатаю Вас только потому, что я Вас не понимаю.” Иосиф посмотрел и сказал: “Ну, всё в порядке”.’»[5]. Новые эмигранты воспринимали «Новое русское слово» как слово «старое», и в начале 1980-х создали в Нью-Йорке свою газету – «Новый американец» (директор Борис Меттер). В этой газете действительно всё было новым – соответствующее времени оригинальное оформление, современные слог и стиль. Прежде всего авторы – писатели и журналисты третьей волны эмиграции – обращались к своей

же «волне». Писали легко и раскованно, о серьезном говорили с читателем с иронией и юмором. Чувствовалось влияние Сергея Довлатова, который стал главным редактором издания начиная с 13-го номера. «Новый американец» быстро завоевал популярность среди русскоязычных читателей. Однако газета испытывала серьезнейшие финансовые проблемы, подписка не покрывала расходов на издание; с конца 1981-го газета выходила под названием «Новый свет» (Довлатовская редакция разорвала отношения с Б. Меттером, у которого были права на торговую марку). В марте 1982 года вышел последний, 111-й номер.

Конфликт между «Новым русским словом» и «Новым американцем» был неизбежен: водораздел проходил по всем линиям. Это был типичный русский конфликт «отцов и детей». Полемика на первых порах носила вполне приемлемый характер дискуссии – но закончилась жестким противостоянием. Спор между Седых и Довлатовым, по сути, был не идейным, а скорее стилистическим. Это был спор между классическим модернизмом и утверждающимся постмодернизмом, «архаистами» и «новаторами» (если воспользоваться известной формулой Тынянова). Однако довольно быстро спор перерос в конфликт нелитературный; обе стороны не ушли от нелепых обвинений и взаимных нападок друг на друга. В этом коротком, но нешуточном «сражении», за которым внимательно следил «русский Нью-Йорк», победителей не было – проиграли обе стороны.

И во Франции, и в США Андрей Седых всегда занимался большой благотворительностью – по велению сердца и души. Еще в Париже он устраивал т. н. «голодные пятницы», когда те, кто хотели помочь нуждающимся соотечественникам, отдавали стоимость своего обеда в фонд специальной помощи; в Нью-Йорке организовал фонд срочной помощи, куда все желающие могли сдать деньги. После смерти Вейнбаума он сменил его не только в кресле главного редактора НРС, но и президента Литфонда. «Литературный фонд поддержки русских писателей и ученых в изгнании» имел давнюю историю – и с момента основания в 1918 году был тесно связан с газетой. Организация пользовалась авторитетом в эмигрантской среде – в разное время членами правления были М. А. Алданов, М. В. Добужинский, А. А. Гольденвейзер и другие не менее известные деятели русской культуры за рубежом. Фонд помогал писателям-эмигрантам, жившим в весьма и весьма стесненных материальных условиях, – выплачивал пособия, отправлял посылки – продовольственные и вещевые – в Европу, на вечерах и презентациях книг собирал деньги для нуждающихся литераторов. Помощью Фонда пользовались практически все писатели-эмигранты, пережившие войну во Франции.

Седых делал всё возможное, чтобы его любимые Бунин и Тэффи регулярно получали пенсион, иногда добавляя собственные деньги. Тэффи в свойственной ей иронической манере в одном из писем призывала этого не делать – просила «любить даром». Когда Седых «любить даром» отказывался, в очередном письме не могла удержаться от обращения: «Вы типичный Ангел!», и затем сообщала: «Вчера пришла ко мне Ваша милая дама и отвалила мне ни более, ни менее 33.870 франков, за которые от всего моего испорченного сердца благодарю Вас»[6]. А в письме от 24 июля 1950 года, не сдерживая эмоций, высказалась: «Дорогой мой Яша! Вы самая стабильная валюта. Вы один из всех денежных знаков не теряете своей ценности. Вот и лежите в сокровищнице моей души сказочным, неразменным рубликом. Обнимаю Вас и благодарю за все»[7]. Такие слова многого стоили.

Однажды, когда не хватило денег на помощь другим «русским парижанам», он продал несколько литографий, подаренных ему Шагалом. О чем в своих воспоминаниях упомянуть постеснялся. О доброте, отзывчивости и всегдашней благожелательности Седых вспоминали издательница и поэтесса Софья Прегель, Марк Алданов и другие современники, так или иначе соприкасавшиеся с президентом Литфонда.

В конце сороковых Иван Бунин тяжело заболел, в декабре 1948 понадобились деньги для поездки на юг Франции, чтобы пережить зиму. Он написал своему бывшему секретарю письмо, пронизанное безысходной горечью: «...я стал *очень слаб*, задыхаюсь от эмфиземы легких, летом чуть не умер (*буквально*) от воспаления легких, 2 месяца пролежал в постели, разорился совершенно на докторов, потом на бесполезное лечение эмфиземы (ингаляцией), которое стоило мне 23 тысячи, и т. д. – 2 января должен уехать с В. Н. опять на зиму в Juan les Pins, чтобы не свалиться опять от парижского климата и холода в квартире... Короче сказать: мне пошел 79-й год, и я *так ниц*, что совершенно не знаю, как и чем буду существовать. И вот, от совершенного отчаяния, прошу Вас, – сделайте ради Бога что-нибудь для меня – попросите, напр., Кусевицкого и добрых людей, знакомых его, помочь мне немного»[8]. Седых не только написал С. А. Кусевицкому, известному дирижеру, основателю Бостонского симфонического оркестра, – который немедленно отозвался на просьбу, но и договорился с американским владельцем фирмы «Этан» С. С. Атраном, который с сентября 1949 года стал перечислять писателю по 10 тысяч франков в виде ежемесячного пенсиона. Бунин, как и Тэффи, получал деньги до 1951 года, до самой смерти миллионера.

Знакомый не понаслышке со всеми «прелестями» эмигрантской жизни, Седых никогда не прекращал помогать нуждающимся. В 1982

году, когда совпали сразу три его юбилея – восьмидесятилетие, шестидесятилетие творческой деятельности и сорокалетие работы в редакции «Нового русского слова» – Литературный фонд выпустил альманах «Три юбилея Андрея Седых», в котором приняли участие известные деятели всех трех волн русской эмиграции – Ирина Одоевцева, Роман Гуль, Глеб Струве, С. Г. Трубецкой, митрополит Феодосий (Лазор), Иван Елагин, Владимир Максимов, Василий Аксенов, Мстислав Ростропович и Галина Вишневская и многие другие. Книгу раскупили. Расходы на издание возместили. Оставшиеся деньги передали Литературному фонду.

Но итоги Седых стал подводить задолго до юбилея. Состоялась не только биография – сложилась судьба. Бывший продавец газет стал журналистом, работал в двух центральных эмигрантских русских газетах, писал очерки и сочинял рассказы, встречался с выдающимися людьми своего времени. Ему было что сказать о жизни, о себе и о других. Пришло время воспоминаний.

Он дружил с Тэффи, Буниным и Шаляпиным; вел откровенные разговоры с Куприным и Алдановым; переписывался с Ремизовым. А еще были Милюков, с которым он тесно соприкасался в «Последних новостях», Бурцев, который делился с ним подробностями своих разоблачений. В своих воспоминаниях Андрей Седых сумел не впасть в столь свойственный многим авторам мемуаров соблазн, когда на первое место произвольно или непроизвольно выходит собственное «я» – «Я и Бунин», «Я и Рахманинов», «Я и Шагал»... Его очерки лишены напрочь самолюбования – они прежде всего о его героях, выдержанные в доброжелательном духе, тактичны и уважительны по отношению ко всем, с кем ему доводилось встречаться и дружить.

При всей любви к тем выдающимся деятелям своей эпохи, с кем сводила его судьба, Седых удавалось в общении с ними оставаться самим собой, сохранять независимость, не впадать в угодничество, не льстить и уж тем более не петь осанну. При всем при том понимая и правильно оценивая величину личности собеседника. Двумя-тремя штрихами он рисовал психологический портрет и воссоздавал облик своих замечательных современников. Своими воспоминаниями он дописывал образ, известный читателю по другим немногочисленным мемуарам, появлявшимся в те годы.

Бальмонт рассказывал ему о своем вызове в ЧК. На вопрос следователя – «К какой политической партии вы принадлежите?» – ответил кратко: «Поэт». И в этом был весь Бальмонт.

Тэффи, как настоящая женщина, о своем возрасте говорить не любила. Когда в 1951 году Седых предложил устроить вечер, чтобы поправить ее финансовое положение, стали думать, к чему бы этот

вечер приурочить. Тэффи, дебют которой состоялся в далеком 1901, вспомнила про 50-летнюю годовщину своей литературной деятельности. И, спохватившись, мгновенно, со свойственным ей юмором добавила: «Печататься я начала пятнадцати лет от роду».

А вот несколько высказываний одного из самых замечательных остроумцев своей эпохи, поэта Дон-Аминадо, которые записал Седых. О недобросовестном издателе: «Это не книгопродавец. Это книгохристопродавец». Или – о Чеховском издательстве, в котором публиковались многие русские писатели-эмигранты: «Могила Неизвестного Писателя».

И такие блестки, которые сохранила память автора, во множестве рассыпаны по страницам «Далеких, близких». Не забыл Андрей Седых и о тех, кто прошел тенью по Монпарнасу, не столь известных широкой публике художниках и поэтах – Галине Издебской, Александре Гингере, Сергее Шаршуне, Довиде Кнуте и многих других. В предисловии объяснил название – почему «Далекие, близкие»: «Книга эта родилась из отдельных очерков, написанных в разное время о разных людях, с которыми сводила меня судьба. Отношения складывались не всегда одинаково: одних я просто знал, с другими дружил, – были они людьми близкими. Многие, к несчастью, теперь далеки... Отсюда и название книги». И ответил своим эмигрантским читателям (первое издание вышло в Нью-Йорке в 1962 году), которые упрекали его за некоторые пропуски в отдельных главах, публиковавшихся в периодической печати: «Пропусков нет: это – не биографии и не опыт литературной, артистической или какой-либо иной характеристики. Это – личные воспоминания, только то, что я видел и слышал, что связывало меня с этими людьми. – В книге этой нет вымышленных разговоров, нет ничего выдуманного. Многое из напечатанного в ‘Далеких, близких’ появилось еще при жизни людей, о которых я вспоминаю»[9].

Беллетристика, даже добротная, – штука скоропортящаяся, устаревает быстро, если и интересна, то, как правило, читателям своего времени. Воспоминания же о Бунине, Куприне, Дон-Аминадо, Глазунове, Рахманинове, Шагале и других выдающихся писателях, художниках, музыкантах XX века имеют непреходящую ценность для русской культуры. И поэтому не утратили своего значения и в наше время, несмотря на то, что о многих из них на сегодняшний день опубликовано значительное количество воспоминаний. А для 60-х годов «Далекие, близкие» были даже своего рода открытием, особенно для советских читателей – тех, кто имел возможность (несмотря на все существовавшие преграды) знакомиться с «тамиздатом».

Следует также заметить, что Седых ввел в литературно-исторический оборот некоторые неизвестные письма Бунина и подробное письмо Веры Николаевны о последних днях мужа, опубликовав их на страницах своих мемуаров. Часть своего личного архива – сохранившиеся письма Бунина, Тэффи, Алданова, Куприна, Мережковского, Шаляпина, представляющие величайшую культурную ценность, Яков Моисеевич передал на хранение в Йельский университет, сделав доступным его для изучения. И это тоже можно поставить в заслугу Андрею Седых.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Три юбилея Андрея Седых. Сборник. – Нью-Йорк, 1982. – С. 30.
2. *Глэд, Джон*. Беседа с главным редактором «Нового русского слова» Андреем Седых. Ведет профессор Джон Глэд. – «Континент», 1985. № 46. – Сс. 413-426.
3. *Синкевич, Валентина.* Пути-дороги Андрея Седых. В кн.: Мои встречи: русская литература в Америке. – Владивосток: Рубеж, 2010. – Сс. 61-72.
4. *И. Ильф, Е. Петров*. Собр. соч. В 5 тт. – М.: ГИХЛ, 1961. Т. 3. – Сс. 339-345.
5. *Вайнберг, Валерий*. О себе и о НРС / Русско-американский новостной портал RUNYweb.com от 30 сентября 2010.
6. *Андрей Седых*. Далекие, близкие. – М.: Прозаик. – Сс. 298-299.
7. Там же. – С. 304.
8. Там же. – Сс. 230-231.
9. Там же. – С. 21.

Геннадий Кацов

«Нейтронная бомба не тронет меня»

Я недавно коробку сардинок открыл.
В ней лежал человечек и мирно курил.
«Ну, а где же сардинки?» – спросил его я.
Он ответил: «Они в полноте бытия…»

Игорь Чиннов[1]

…А если грязь и низость только мука
По где-то там сияющей красе.

И. Анненский

Сорок один год назад, в 1979 году, на Международном симпозиуме по художественному переводу, который проходил в Мэрилендском университете, были заявлены два вечера, посвященные русской поэзии. Ежедневная иммигрантская газета «Новое русское слово» писала, что их «правильнее назвать творческими вечерами двух выдающихся поэтов русского зарубежья – Иосифа Бродского и Игоря Чиннова». В комплиментарной статье было особо отмечено, что оба поэта, как бы соревнуясь, по очереди читали свои стихи.

Понятно, что для 39-летнего Бродского такое выступление казалось закономерным, знаковым и логичным. Чиннов, получивший напутствие от Георгия Иванова, открытый им еще в начале 1930-х годов в Риге и введенный затем в литературную элиту послевоенного «русского» Парижа, признавался рядом критиков «первым поэтом русской эмиграции» после смерти Иванова. А учитывая, что творческую генеалогию Чиннова литературоведы ведут от Иннокентия Анненского, можно сказать, что второго такого явления в русской поэзии не было. Без преувеличения, Игорь Чиннов – уникальный случай в национальной словесности, связующее звено между Серебряным веком и современностью – через первую волну эмиграции и знаменитую «парижскую ноту». Для Бродского связь с Серебряным веком, благодаря Анне Ахматовой, естественным образом продолжилась в Америке встречей и выступлением с Чинновым.

Поэт, переводчик, журналист, мемуарист первой волны эмигра-

ции Валерий Перелешин называл Чиннова «самым трагическим поэтом нашего времени». Не грустным, не печальным и не мрачным. Пожалуй, в русской поэзии только Иннокентий Анненский так близко подошел к двери в загробный мир и взглядом насквозь проник в ледяной ужас, в безмолвие космической трагедии.

И, конечно, Бродский. Им было, чем поделиться друг с другом на поэтическом вечере, тем более, что для переклички двух поэтов экзистенциальная тяга каждого к барокко, из которого, в его английской ткани, вышел Бродский, и в котором, отойдя от «парижской ноты», существовал Чиннов, – стала их «общим местом». Бродского, в доэмигрантский период, барочность письма далеко увела от советской литературы, а Чиннову, с его пышными эпитетами, искусными метафорами, эхом анафор, анжамбеманами и поэтикой контрапункта, дала возможность предвосхитить появление «метареалистов-метаметафористов» и поэтов необарокко 1980-90-х годов (Д. Бобышева, В.Аристова, И. Жданова, Е. Шварц, А.Драгомощенко, А. Еременко, А. Парщикова и др.).

Не говоря о том, что из потемок,
Заполнивших душистый сеновал,
Мы вышли в сад, и серенький котенок
Легчайшим одуванчиком стоял;

Не говоря о том, что в клетке замер,
Еще не ставший кроличьим рагу,
Тот белый кролик с алыми глазами,
Как ягодами алыми в снегу;

Не говоря о том, что шел цыпленок
К другому, тоже белому, и цвет
Их вырезных и розовых коронок
Я не забыл за столько долгих лет…

Но я забыл о петушином бое,
Забыл, что кролику несдобровать,
Когда сверкало небо голубое,
Переходя в земную благодать.

В земную «христианскую благодать» переходит небо, «…ибо вы не под законом, но под благодатью». Здесь очевиден не *философ* в западном понимании, с нехарактерной для русской мысли гегелевско-кантовской дисциплиной ума и рациональным изложением, а тради-

ционно русский *мыслитель*. Убежденный к тому же, что барокко есть искусство декаданса. В условиях русского исторического развития, как отмечал Д. С. Лихачев, гуманистический характер русского барокко отличен от насыщенного размышлениями о мимолетности жизни и скоротечности земных радостей барокко европейского. Эта особенность объясняется, по мнению Лихачева, тем, что русское барокко (кстати вспомнить коллег Чиннова по цеху – многолетнего друга Юрия Иваска и Николая Моршена), будучи заимствованным, взяло на себя многие функции ренессанса, которого в России не было.

«Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой, / Мы жили тогда на планете другой.»[2]

«Родился я давно – в 1909 году, 25 сентября, в Туккуме, в семье юриста. Туккума не помню, но ясно вижу городки, балтийские, в которых случилось жить: уютнейшую Митаву (ныне Елгава) – ‘Покойся, мирная Митава’, – писал Мих. Кузмин. И Юрьев, теперешний Тарту, с университетом ‘дней Александровых’ и готическими руинами на горе, аккуратнейший, тихий городок. Позже была Рязань, с незабываемой зимой, блистающим снегом, розвальнями, бубенцами и внезапной весной, могучим ледоходом на Трубеже, свежестью воздуха прямо-таки прекрасной. А в Риге помню запах свежесрубленных елок, снежинки – и извозчиков в синих кафтанах, синие полости саней… На санях, увы, кататься не приходилось: денег не было»[3].

Хронологическая плотность в одном абзаце для мемуарного жанра фантастическая. Туккум, равно как Митава и Юрьев, – это дореволюционное детство. Отец поэта Владимир Чиннов, выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета, служил в Рижском окружном суде, следователем в Митаве, Бауске, а с 1906 года в Туккуме. С работой было нелегко, и в 1912-м семья разделилась: отец переезжает на службу в Юрьев, входивший до января 1918 года в подчинение Рижского окружного суда, редко навещая супругу и маленького Игоря в Туккуме.

Чиннов помнил революцию: «Толпы ходили по городу с красными бантами и пели: ‘Вышли мы все из наро-о-да…’ Но радости ни у кого не было». Не было радости и в доме Чинновых. В первые же революционные дни стало ясно, что «судью-расследователя» и присяжного поверенного Владимира Чиннова большевики, если поймают, без суда приговорят к расстрелу за его непролетарское прошлое. И жену его поставят к стенке, поскольку Александра Дмитриевна фон Цвейберг (фон Цвеегберг) была потомственной дво-

рянкой – в родословную ее небогатого дворянского рода входили имена Якубовичей, Александра и Петра. Первый был известным декабристом, второй – народовольцем, оба из древнего рода Корвин-Косаговских. «Старший кузен матери – П. Ф. Якубович-Мельшин, – вспоминает Чиннов, – революционер более ярый, чем его предок декабрист, перевел Бодлера и писал гражданские стихи.» Оба боролись против царизма, труды нескольких мятежных поколений увенчались триумфом. В результате, потомкам обоих Якубовичей пришлось бежать сломя голову от победившего революционного пролетариата и крестьянства.

В Гражданскую войну семья Чинновых добирается до Рязани (с ее «блистающим снегом»), уходит с Белой армией на юг России, в Ставрополь. Там родители заболевают тифом, а маленький Ирик, как его звали дома, встречает Новый год в пустом здании суда, и вспоминает, как наутро дворничиха подарила ему, голодному и всеми забытому, морковку. С тех пор поселился в нем страх перед одиночеством и большевиками. Свою первую книгу, вышедшую в Париже в 1950 году, Чиннов назовет «Монолог». Как охарактеризовал ее Владимир Вейдле – критик, культуролог и широко эрудированный человек: монолог приговоренного к смерти.

Далекий день, далекий дымный день.
Над миром облако висело.
И фосфор жег сердца людей

Бежали тени. В небе гналась тень.
На дереве висело тело.
И мать вела чужих детей.

Ложился желтый свет на жесткий снег.
Был красный след на белом свете.
Был черный след еще ясней.

Был черный лед, я видел снег во сне.
Был темный дым над миром этим.
Был дом, горевший в тишине.

Не сумев эвакуироваться с Белой армией, Чинновы возвращаются в Ригу. В Латвийскую независимую, с 11 августа 1920 года, республику, то есть для семьи Чинновых – место теперь безопасное.

Наступает жизнь – буржуазная и нищенская. Мать продает цветы на рынке; отец, вплоть до своей кончины в 1935 году, не может

найти достойно оплачиваемой адвокатской работы, разрываясь между Ригой, Екабпилсом и Митавой. Он владел несколькими европейскими языками: «…К поэзии [я был] приручен отцом – юристом, но и книжником, читавшим наизусть, кроме Гейне и Шиллера, непонятные мне тогда страницы из Расина и – тоже в подлиннике – самого Гомера (непонятного и сейчас)». Однако русских при диктатуре Ульманиса не жаловали при приеме на работу, да и в одном из мемуаров обнаруживается, что отец слабо знал латышский[4] (родившись в Риге в 1875 году). В Латвии, ставшей теперь националистической, на хорошо оплачиваемые рабочие места Владимир Чиннов попасть по специальности не мог.

В Риге Чинновы поначалу останавливаются у богатых родственников фон Морр, двоюродных братьев отца, директоров страхового общества «Саламандра», – в подвале их особняка: ««Я на всю жизнь возненавидел рододендроны. Они росли у дяди в саду. Там по вечерам устраивали балы, прохаживались роскошные гости, а я смотрел на них из окна подвала и еле сдерживал слезы от унижения за моих родителей: их не приглашали»[5].

Первый класс Ирик закончил еще в Рязани, так что в Риге он продолжил школьное образование в Ломоносовской гимназии, по окончании которой – по стопам отца – поступил на юридический факультет Рижского университета (1931). В 1939 году Чиннов становится магистром права. Дипломная работа была посвящена уголовно-процессуальным аспектам дуэли. Поэт дал себя знать: диплом назывался «Поединок»: в нем дуэль рассмотрена в преломлении трагических судеб А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова (кстати, диплом был написан на латышском языке).

Увядает над миром огромная роза сиянья,
Осыпается небо закатными листьями в море,
И стоит мировая душа, вся душа мирозданья,
Одинокой сосной на холодном пустом косогоре.

В эти годы Чиннов уже не только сочиняет стихи, но и приобретает ценителей своего таланта. Среди них – поэт Георгий Иванов.

«...из тяжести недоброй / И я когда-нибудь прекрасное создам.»[6]

В 1930 году Георгий Иванов с женой Ириной Одоевцевой, ученицей Николая Гумилева, приезжают из Парижа в Ригу. Тесть Иванова, известный в Петербурге до революции присяжный пове-

ренный Густав Трауготович Гейнике, вовремя сбежал в буржуазную Латвию от красного террора и успешно вел в Риге адвокатскую практику. В дорогом рижском районе у него был огромный дом, в котором и остановились супруги.

В те годы в Риге существовало содружество пишущих по-русски молодых литераторов «На струге слов» (местные острословы переименовали в «ослов»). Они издавали небольшой литературно-критический журнал «Мансарда» и проводили литературные журфиксы. На один из таких вечеров был торжественно приглашен Георгий Иванов. «Мансарда» попалась ему на глаза, он бегло прочитал опубликованную в журнале статью Чиннова и заметил: «Это каша. Но это творческая каша. Пусть он ко мне зайдет».

Чиннова в тот день в Риге не было. Просьбу Иванова ему передали, и он «зашел», не представляя, конечно, насколько судьбоносной окажется для него эта встреча. Прежде всего, благодаря Иванову статьи и стихотворения Чиннова попадают в парижский журнал «Числа» («…начиная с 6-й книги ‘Чисел’ по 10-ю, я там и представлял, единолично, ‘русскую литературную Ригу’[7]). В журнале печатались Георгий Адамович, Георгий Иванов, Зинаида Гиппиус, Борис Зайцев, Дмитрий Мережковский, Алексей Ремизов, Семен Франк, Лев Шестов, Георгий Федотов, но в основном – авторы младшего поколения русской эмиграции: Гайто Газданов, Александр Гингер, Борис Поплавский, Сергей Шаршун, Юрий Мандельштам, Юрий Терапиано, Лидия Червинская, Анатолий Штейгер... Здесь был впервые опубликован «Роман с кокаином» М. Агеева. Любопытно, что иллюстрировали журнал – в каждом номере было около 20 иллюстраций – Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Иван Пуни, Марк Шагал, Александр Яковлев, а также Морис де Вламинк и Андре Дерен.

Чиннов получил от Иванова рекомендацию, кроме «Чисел», в еще более репутационный литературный журнал «Современные записки». От второй рекомендации Чиннов отказывается. Вот как он сам это комментирует: «В ‘Современных записках’ меня нет. Меня туда рекомендовал сам Георгий Иванов: ‘Ему двадцать один год. Он очень талантлив, и, читая его стихи, я испытываю такой же шок, как от настоящей поэзии, как в свое время от стихов Поплавского’. Это я цитирую наизусть… И вот Георгий Иванов меня рекомендовал в ‘Числа’, и это прошло, а в ‘Современные записки’ не потому, что я воспротивился. Я написал письмо: ‘…к сожалению, вынужден отказаться, временно, в надежде, что у меня будут стихи получше’. Ну, действительно, тогда я бы выступил со стихами, мало кого интересовавшими. И это было бы ни к чему… Я всегда отличался некоторой трезвостью взгляда на жизнь»[8].

Удивительные были люди. Трудно представить, чтобы в наши дни 21-летний поэт отказался от публикации по одной причине: стихотворения не настолько хороши, чтобы они появились в известных журналах.

На это поколение выпало всё самое скверное: войны, эпидемии, доносы, аресты, репрессии, лагеря, геноцид, массовые казни, голод, эвакуация, беженство, нищета. Родиться в 1909 году в регионе, именовавшемся после пролетарской революции «Лимитроф», – врагу не пожелаешь. Это при том, что в 1930-е Латвия – никак не Украина с Голодомором и не советская республика со сталинским культом.

Не изменить своим принципам и реализовать свое предназначение они смогли, только сбежав от Сталина и став иммигрантами. В нашем «прекрасном далеком», в условиях политкорректности, тебя легко подвергнут остракизму и шельмованию за мнение и манеры, отличные от модной идеологии, навязываемой на Западе последние лет сорок. В конце концов, могут выгнать с работы «с волчьим билетом» – но ведь не пуля в затылок, не безымянная братская могила. Мы живем, пока еще, в вегетарианские времена по сравнению с большей частью людоедского XX столетия, и самоцензура – это в наш век форма всё же некоего корректного умолчания, этикетного поведения. Это еще не реакция затравленного системой организма, навязанная животным страхом и инстинктом самосохранения. Но уже и не автоцензура как временный отказ от вхождения в литпроцесс и от возможной заявки о себе – в силу собственной порядочности, критической оценки своего настоящего и надежды, уверенности в своих творческих возможностях в будущем. Такая не манерная, спокойная, вызывающая сегодня оторопь, акция – где-то там, за гранью нынешнего понимания о литпроцессе и этически благородном в нем поведении.

Как такие люди выживали в условиях (а ведь впереди у Чиннова еще гитлеровская оккупация, рабский труд в нацистской Германии, послевоенный страх возвращения в ГУЛаг, нищенское существование в послевоенной Европе, эмиграция в Америку), когда собственное достоинство, самобытность, самостоятельность мышления, когда одно твое слово или неверная фраза могли стать приговором? Любое неосторожное замечание – и ты преступник. Как быть поэтом в таких условиях, оставаться поэтом и не онеметь при этом, и не оглохнуть? «В Риге в сорок четвертом году я имел неосторожность сказать, в очень узком кругу, что Гитлеру не победить в этой войне. И через три дня ко мне явилась милая компания. Два таких оберштумфюрера. Они мне сообщили, что передо мной выбор: или я еду в Германию на принудительные работы, или жизнь моя окончится

весьма печально. Я, конечно, выбрал тот вариант, который не грозил мне немедленной утратой земного существования. И меня с большой группой латышей увезли в лагерь в Рейнской области»[9].

Нейтронная бомба не тронет меня.
– Не тронь меня, бомба, – я тихо скажу.
Мой Ангел стоит, от печали храня.
К тому же я занят: я рыбу ужу.

«И выучиться у природы / Ее безразличью к судьбе»[10].

Чиннов, хотя не раз брался за воспоминания, не так уж много о себе рассказал, но совсем ничего – о том, как ему удалось выжить в Латвии, с июля 1940 года оккупированной Красной армией. В условиях репрессий, когда были депортированы от 15 до 25 тысяч представителей интеллектуальной элиты, интеллигенции, работников разных профессий, включая тех, кто служил в правоохранительной системе.

Почти ничего не сказано ни в мемуарах, ни в интервью о годах, прожитых в оккупации: «Немцы вывезли евреев и заняли их квартиры. Потом стали увозить на работу в Германию всех, кто помоложе. Сначала население радовалось, что немцы придут и прекратится советский террор, но скоро радость прошла». И совсем по крохам – об угоне на работу в Германию. Разве что: «Мы там работали на каком-то тракторном заводе. По сути – саботировали. Перекладывали детали с одной полки на другую…»[11] Трудовой лагерь в 1945 году освободили американцы и вывезли всех доходяг-работников во Францию.

Если будет война,
Мы уедем далёко-далёко.
Тепловая волна
Наш корабль взметнет кособоко.
Серо-дымчатый гриб,
Точно столп, уцелевший от взрыва,
Будет выше зари,
И мы скажем: – Смотри, как красиво!
На небесный вокзал
Мы приедем, намучившись вдосталь,
Где с ключами стоял
Бородатый курчавый апостол.

И китаец Петров,
Голубой ученик Чу Эн Лая,
Отодвинет засов
На воротах китайского рая.

Сжато эти годы законспектированы в авторском предисловии к двухтомному собранию сочинений, в начале второго тома: «…Первая служба (Очевидно, в Советской Латвии. – *Г. К.*) – в ТАСС, в латвийском его отделе ЛТА (Лета). Затем – фармацевтическая фирма Мэдфро (MEDFRO), откуда меня и угнали на работу в Германию, в Рейнскую область. Месяцев десять весьма безрадостных, хотя с возможностью читать (конечно, только немецкие книги, но включая Шиллера и Гёте). И вдруг – освобождение, и американцы берут всех желающих насельников лагеря во Францию! Месяцы праздной жизни – Люневиль, Нанси, Реймс – и, наконец, я в Париже…»

Не сравнить с судьбой, скажем, того же Ивана Елагина. Сходство в том, что в 1943 году тот тоже оказывается в Германии, а в 1945 году – в американской зоне. Но Чиннов мог не беспокоиться, что будет отправлен в СССР, то есть на погибель в ГУЛаг, а для Елагина то был вопрос жизни или смерти. 11 февраля 1945 года на Ялтинской конференции между Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом было заключено секретное соглашение. Согласно этому договору, обязательной депортации подлежали советские граждане, проживавшие на территории СССР в границах, действительных на 1 сентября 1939 года. Таким образом, рижанин Чиннов мог, более-менее, не волноваться о том, что попадет в лапы НКВД, зато Елагин подлежал насильственной репатриации.

«Чтоб скользили по наклонности / Голубые просветленности...»[12]

«В Париже было безденежно, но прекрасно. Я любовался, восхищался городом, наслаждался встречами с русской литературой. Чудеса! Уже через три недели по приезде я читал свое стихотворение (написанное за ночь перед тем) на вечере памяти Пушкина в Русской консерватории, под портретами Шаляпина и Рахманинова. Сидели за столом Бунин, великолепный, Ремизов, хитрющий умница, затем Сергей Маковский, редактор знаменитого ‘Аполлона’, очень ‘Ваше превосходительство’, – и друзья и ученики Гумилева – Георгий Адамович, Георгий Иванов – почти весь синклит! А в зале был литературный и художественный русский Париж…»[13] Один из главных вопросов: миропорядок покровительствует человеческой радости,

или же он ей враждебен? Для историка и шамана процесс разгадки становится профессией, для обывателя это, скорее, вопрос веры, а для поэта – решение эстетической задачи, которое отнимает всю жизнь. Поэта Игоря Чиннова близкое окружение называло «Игрушкой» – и как производное от имени Игорь, и как «игрушка в руках музы и судьбы», в отношениях с которыми он был, как ни странно, равно трагичен, весел и остроумен. «Игрушка – мэтр в поэзии», – писал о нем Георгий Адамович поэту Александру Гингеру.

Действительно, в послевоенный Париж Чиннов прибыл не только состоявшимся мастером, но и уважаемым, признанным поэтом. Публикации в «Числах», ко времени появления Чиннова в Париже уже почивших в бозе, подробно ознакомили «синклит» с его творчеством, как поэтическим, так и литературоведческим. При этом сборника стихов всё еще не было. Чиннов словно следовал рекомендации старшего брата Иннокентия Анненского, Николая Федоровича Анненского, «до тридцати ничего не печатать».

Но вот уже и тридцать исполнилось, и тридцить пять. Первый сборник «Монолог» выходит в 1950 году, в канун 41-летия Игоря Чиннова. В беседе с Джоном Гледом, записанной в 1991-м, сказано следующее: «…мои стихи, довоенные, собственно значения не имеют... ‘Числа’ издавал ученик Гумилева Николай Оцуп, тоже член ‘Цеха поэтов’. Оттуда, так сказать, и идет мой творческий путь... Но только с первой моей книги начался, если угодно, *настоящий* Чиннов»[14].

Именно благодаря книге Чиннова причисляют к «парижской ноте», в которую он с этим сборником вступил и из которой неспешно, но уверенно вышел уже в своих последующих книгах. «Мое писательство: долго писал красиво-бледные стихи, очень отжатые и сжатые ‘о самом главном’, лучшие слова в лучшем порядке, по завету Кольриджа. Никаких поэтизмов, ни одной инверсии родительного падежа (это и теперь так). Мелодичность при полной естественности. Затем изящную бледность сменила многокрасочность, яркость, пышная образность, метафоры, орнаментальность, оркестровка, роскошества: цветы, сады, дворцы, увиденные в разных странах. Но красоты уравновешивал гротесками, черным юмором; эстетство, в котором винюсь, бывало ‘не без иронии порой’. Темы? Банальнейшие: о прелести и краткости жизни. Ни одной новой мысли. Искателям идей моя поэзия ни к чему. Но кто ищет ‘только стихов виноградное мясо’, по слову Мандельштама, тот, может быть, в ней кое-что найдет»[15].

«Никаких поэтизмов» в первом сборнике – это было то, что искал в актуальной литературе идеолог «парижской ноты», поэт и блистательный критик, создатель и участник всё того же «Цеха поэтов» первого и второго созывов – Георгий Адамович: «Стихи

Чиннова – последнее явление в нашей поэзии, действительно достойное внимания».

Вот, живешь: суета, нищета
Только тщетно считаешь счета,
Только видишь, что сумма не та;
А умрешь – темнота, немота
И такая, мой друг, пустота,
Будто ночью под аркой моста.

Поэт и исследователь творчества Чиннова Игорь Болычев определяет «парижскую ноту» как философию «поэзии ледникового периода в культуре. На Западе реакцией на этот период был так называемый ‘европейский стоицизм’ (Элиот, Оден, Бенн), у нас – парижская нота»[16]. Основные философские принципы этой поэзии Болычев сформулировал так: 1) поэтический монотеизм, 2) самоконтроль и внутренний аскетизм, 3) самоценность звука, 4) поэтическая честность, ответственность за свои стихи.

Здесь можно добавить, что занять лидирующее место в спорах о назначении поэзии, «нота», на мой взгляд, смогла именно в условиях «русской иммиграции», которая, по словам Адамовича, была «метафизической удачей». Это означает только то, что в обстановке полной изоляции от культурной и общественно-политической жизни родной страны, оказавшись за ее рубежами и вне русского массового читателя, поэты остались наедине с мироустройством и острее всех почувствовали предназначение Поэта и опасность глобального кризиса культуры. «Метафизическая удача» – это приз в творческой судьбе поэта-иммигранта, как в обыденной жизни выигрышем и спасением была эмиграция из Советского Союза.

В знаменитом противостоянии двух мэтров – Георгия Адамовича и Владислава Ходасевича, за чем много лет подряд следили все, имевшие отношение к культуре первой волны эмиграции и воспринимавшие их полемику, как центральное литературное событие нескольких десятилетий, «школу Ходасевича» победила «парижская нота» Адамовича. Что, в итоге, признал с горечью Ходасевич.

Некоторое сопротивление было оказано из Праги Альфредом Бемом, который руководил объединением «Скит поэтов»: «Поэзию призывают к повороту ‘от экспериментаризма к интимности’, от нее требуют, чтобы она выработала ‘новую форму, обеспечивающую ей максимальную насыщенность содержания при максимальном лаконизме формы’… С легкой руки Г. Иванова такой поворот в эмигрантской поэзии, особенно у парижских поэтов, в последнее время дей-

ствительно заметен. Но ‘простота’ ли это? <…> Простота, на мой взгляд, только там, где нет ‘формосодержания’, а есть – или форма, или содержание»[17].

Но в самом Париже под напором Адамовича сдались, практически, все. На приглушенную критику руководителя литобъединения «Кочевье» Марка Слонима, окрестившего «парижскую ноту» франко-петербургской меланхолией и в самом начале 30-х годов не без торжества провозгласившего конец эмигрантской литературы, Адамович вообще не реагировал. Он считал ниже своего достоинства вступать со Слонимом в диалог, дав ему шуточное определение «Святополк-Мирский для бедных».

Высочайшим идеалом для Адамовича был Иннокентий Анненский. Основная тональность была обозначена Анненским в его первой поэтической книге «Тихие песни». Звучной громкости, ярким символам, форме многих стихотворений, написанных на рубеже XIX–XX веков, Анненский противопоставил пианиссимо речитатива, тональность интима, ненавязчивости, глубокой задумчивости. Эту «подлинную ноту» одного из ведущих поэтов Серебряного века и подхватили, уже как «парижскую», поэты круга Г. Адамовича – Анатолий Штейгер, Лидия Червинская, Перикл Ставров, Юрий Терапиано, Довид Кнут, Юрий Мандельштам, Юрий Иваск, Игорь Чиннов. Общепризнано огромное влияние на этих авторов поэзии Георгия Иванова.

Провозглашенное в 1930-е единство мелопеи и логопеи (звучания и смысла) взяло вверх в Париже, распространившись «парижской нотой» как единственно точным философско-поэтическим учением для иммигрантской среды межвоенного периода.

– А помнишь детство, синий сумрак, юг,
Бессонницу и тишину – часами, –
Когда казалось, будто понял вдруг,
Почти умея выразить словами –
О чем звезда мерцает до утра,
О чем вода трепещет ключевая,
О чем синеют небо и гора,
О чем шиповник пахнет, расцветая…

«Потомись ещё немножко / В этой скуке кружевной»[18]

Чиннов по праву говорил, что является «последним поэтом парижской ноты». Он не только был моложе тех, кто ее собой с конца 1920-х представлял, но и вошел в нее последним. Явление Чиннова в

Париже было для лидера группы Адамовича и благой вестью, и неоценимым подарком. Точный лирик, изысканный стилист, безупречный версификатор со спартанской дисциплиной поэтических тропов и ясностью мысли – о таком молодом и европейски образованном поэте можно было только мечтать.

Представляется, что знание Чинновым четырех языков, отмечаемая многими начитанность, поразительная эрудиция, прекрасно поставленная речь сыграли немалую роль в короновании его на место первого поэта эмиграции. Надо отметить, что здесь Адамович наступил, что называется, на горло собственной песне, поскольку интеллектуалом, публицистом и оратором был отнюдь не последним. Складывается впечатление, что Чиннов не совсем учитывал субординацию, нарушая тем самым правила игры. К примеру, Чиннов рассказывает о встрече в Париже и первой беседе с Адамовичем: «…но все-таки я даже заговорил, желая блеснуть своей интеллигентностью, заговорил о Данте, о том, что у Данте есть совершенно страшная сцена дегуманизации. К человеку подползло какое-то страшное чудовище, обняло его, прижалось, прилепилось, и через какое-то время поползло что-то совершенно страшное, полузверь-получеловек. Самое страшное, что может случиться с человеком, это потеря его индивидуальности. Он говорит: ‘А, да! Вы знаете, я Данте не читал... И зачем [говорит] вы на такие высокие темы’. Кстати, у них был очень странный снобизм наоборот. Не говорить на высокие темы. Говорить на мещанские. Но кому это интересно! Я приехал, черт подери, я молодой будущий интеллектуал (Чиннову было тридцать семь лет. В 1946 году Чиннов демобилизовался из американской армии, поселившись во Франции. – *Г. К.*), я хочу услышать от них что-то интересное, а не разговоры о том, что Марья Ивановна набила морду Валерии Григорьевне. Говорите, черт подери, на вашем уровне. Я сперва думал, что они это из-за меня, – нет! Как раз наоборот. Я был, так сказать, ими признан, отличен. ‘Человек вы явно неглупый’, – мне довольно скоро сказал сам Сергей Константинович Маковский, который никогда никого не хвалил. Вот такое дело»[19].

Похоже, что действительно «из-за меня», но не потому, что Чиннов мог показаться, как он опасался, неподходящим по уровню, а ровно наоборот: 37-летний человек во всем хотел себя проявить, высоким слогом обо всем иметь суждение и доказывать себя по любому поводу (провинция рижская!). А таким, при гиперснобистском взгляде на литературную среду, лучше было не признаваться в том, что читал Данте. И это при том, что и через 20 лет тот же Адамович назовет Чиннова «редким, тончайшим мастером», а Ирина Одоевцева – «одним из любимейших поэтов» эмиграции.

Оказывается, уже в гимназии Чиннов производил впечатление зазнайки. Одноклассница писала ему потом, лет тридцать спустя: «В школе я Вас не очень-то любила. Уж слишком ваш русский язык был изыскан, уж слишком Вы пунцово краснели и слишком пронзительно глядели, словно сквозь человека и сквозь десять стен. Я думала – ах, этот мальчишка, этот Чиннов, выкинет когда-нибудь что-нибудь своенравное»[20]. Возможно, и в зрелом возрасте всезнайка Ирик Чиннов мог показаться в личном общении зазнайкой и снобом, что не всем мэтрам, населявшим в те годы «русский Париж», нравилось.

Первые восторги по поводу внимающего стихам синклита скоро переходят в раздраженное понимание того, что «счастья нет и выше». Мэтры-небожители приобретают вполне человеческие черты: «Адамович завидовал Иванову, его таланту, его большому голосу, легкости, с которой тот писал стихи. [Но] Георгий Иванов завидовал уму Адамовича. Адамович был, конечно, умнее, хотя не был начитан. Заметьте, эти люди мало читали. Это вам не Дмитрий Сергеевич [Мережковский], ни даже Ходасевич Владислав Фелицианович…»[21] Наряду с ехидным наблюдением: «…когда в Париже эмигрантские поэты собирались и спорили в кафе, прохожие спрашивали: ‘Что это за старые евреи?’ И получали ответ: ‘Это молодые русские поэты’», – Чиннов не забывает отмечать, что «Куприн и Шмелев к по-настоящему культурным людям относиться не могли… Бунин был, конечно, малокультурный… не совсем стерва был Борис Константинович Зайцев, но тоже, как сказала о Георгии Федотове Зинаида Гиппиус, ‘подколодный ангел’». Конечно, кроме брюзжания, у молодого одинокого гения была масса иных впечатлений; Чиннов отлично понимает, в круг каких людей он попал, правильно оценивая и Адамовича, и Вейдле, и многих других («Были очень культурные люди: Бердяев, Шестов, Франк, Булгаков...»).

В итоге, получив в 1953 году приглашение на работу в Мюнхен от Владимира Вейдле, ставшего директором программ на радио «Освобождение» (позже переименованного в радио «Свобода»), Чиннов переезжает в Германию, став радиоведущим программ по культуре на ближайшие девять лет. А от «парижской ноты» осталось, в сумме, такое его синкретическое воспоминание: «Парижская Нота означала вот что. Она родилась как невозможность для Георгия Викторовича [Адамовича] писать хорошие стихи. Название, кажется, придуманное Юрием Константиновичем Терапиано (название было предложено Борисом Поплавским. – *Г. К.*). Означает оно вот что: отказ от украшательства, отказ от эффектов, сосредоточенность на самом главном, самом важном, незаменимом»[22].

Сумма углов, не помню чего,
Равняется двум прямым.
Но с двумя прямыми – что делать? Во!
Бим-бом, бам-бам, бим-бим!
Параллельные линии сойдутся не ра-
ньше, чем в бесконечности. Да?!
Мне не к спеху, конечно, тра-ра, тра-ра,
И я могу подожда…
Одно пространство не могут зараз
Два тела, хи-хи, занять.
Прекрасно: в гробу мне мешал бы другой,
Беспокоил, толкая ногой.

В 1962 году, благодаря давнему другу, поэту Юрию Иваску, Игорь Чиннов получает приглашение на преподавательскую должность в Канзасский университет. Судя по всему, ничего приятного в Мюнхене оставлено не было. За два года до этого, в 1960 году, вышла в свет его вторая книга «Линии», в которой он подвел итог своим взаимоотношениям с «парижской нотой». Он уезжает в США известным поэтом. Впереди – 15 лет преподавательской работы, заслуженная пенсия и наполненная поэтическим творчеством старость во флоридском городке Дайтона-Бич, с путешествиями, периодически, по всему миру.

«И юношей высокий сонм / Меня, как боевое знамя, / Подымет ввысь…»[23]

«В Канзасском университете я пробыл шесть лет, потом был Питтсбург, затем Вандербилт в Нашвилле. А со стихами и лекциями побывал в сорока университетах, на двадцати съездах славистов… Я жил девять лет во Франции – и французом не стал. Около семи лет – в Германии. А немцем тоже не стал. Теперь у меня американское гражданство. Но я русский эмигрант»[24]. Как тут не вспомнить известное набоковское: «Я американский писатель, рожденный в России… Моя голова разговаривает по-английски, мое сердце – по-русски, и мое ухо – по-французски...» Есть, кстати, еще одно значимое в этом ключе высказывание Набокова, хотя его мало цитируют: «Моя личная трагедия, которая не может, которая не должна быть чьей-либо еще заботой, состоит в том, что мне пришлось оставить свой родной язык, родное наречие, мой богатый, бесконечно богатый и послушный русский язык, ради второсортного английского»[25]. До такой трагедии Чиннов свою судьбу не доводит: всю жизнь он пишет стихотворения исключительно по-русски, позволяя себе расслабляться по-английски,

немецки и французски в письмах и состоя в эпистолярных отношениях со множеством коллег по писательскому цеху в Америке и Европе. В 1980-х годах он находит адресатов и в России.

В свое время известный конструктор летательных аппаратов, философ, мистик, итальянский коммунист, сбежавший в Россию из фашистской Италии в 1922 году, Роберто Бартини написал: «Каждые 10-15 лет клетки человеческого организма полностью обновляются, и поскольку я прожил в России более 40 лет, во мне не осталось ни одной итальянской молекулы». Находясь вдали от России гораздо больше, да собственно, в самой России-то прожив всего несколько лет (Рязань, Ставрополь в детстве), Чиннов мог бы сказать, что ни одной «русской молекулы» за все эти годы не растерял. Казус, конечно, поскольку с Россией ничего, практически, Чиннова не связывало, не считая розвальней, бубенцов и ледохода на Трубеже. И, очевидно, совсем немалости: русского языка и литературы.

В Америке он уверенно следует в культурологическом «русском дискурсе», расширяя свои поэтические пределы. Уже со второй своей книги Чиннов прощается с догмами «парижской ноты» окончательно, и постепенно переходит к новой эстетике, – основным массивом текстов оставаясь в силлабо-тонике – к верлибру, к задействованию фольклорных элементов, уходя в алогизмы, рифмовку внутри строки и далеко в сторону от конвенциональной поэтической строфики.

Лошади впадают в Каспийское море.
Более или менее впадают, и, значит,
Овцы сыты, а волки – едят Волгу и сено.
О, гармония Логоса! И как же иначе?
Серый волк на Иване-царевиче скачет
(по-сибирски снежок серебрится),
и море,
которому пьяные по колено,
зажигает большую синицу
в честь этой победы Человека.
Человек – это гордо!
Любит карась погреться в сметане,
Чтобы милая щука поела, дремала.
Перстень проглотил рыбу царского грека.
Дважды два семь, не много, не мало.
Солнце ясней, когда солнце в тумане.
Солнце слабеет. Как бледно и серо.
У Алжирского носа под самым Деем
Тридцать пять тысяч одних курьеров.

Надо не забывать, что Чиннов свободно говорил и читал на основных европейских языках и был в курсе самых разных поэтических направлений, пристрастий и нововведений. При этом, в текстах нет, практически, англицизмов – Чиннов заботится о чистоте русского языка, и если его развивает, то в сторону неологизмов, с интертекстуальной референцией к знаковым пратекстам русской литературы, использованием фольклорных выражений и просторечия. Всё это – на фоне главных тем его поэзии (сомнения по поводу человеческой воли, свободы выбора, приметы и знаки смерти, следы тления в безразличном к живому мироздании) – с ориентацией, в большой степени, на западноевропейское барокко и барочное представление о смерти, о сиюминутности земных благ: «Ну, помечтай, что и мы удостоимся / Пышной гробницы не хуже Камоэнса! / (Или – другая, непышная версия: / Много забвения, мало бессмертия?)»

Ветер воспоминаний тревожит увядшие письма,
на острове воспоминаний шумят сухие деревья.
Призракам, старым, не спится в небесной гостинице ночи.
Там забытое имя ложится на снег синеватою тенью,
и тени веток сложились в неясную надпись. Я не знаю
языка загробного мира. Я видел в Британском Музее
черную египетскую птицу. Вот она – сидит неподвижно.
Желтый глаз, как маленькая луна. Она более птица,
чем все птицы на свете…

В 1992 году, едва распался СССР, Чиннов едет вместе с представителями редакции «Нового Журнала» в Москву. Его там прекрасно принимают, обещают публикации – и слово свое сдерживают. Перед этим стихотворения Чиннова выходят на родине, в Латвии. Ольга Кузнецова, знаток поэзии Чиннова, составитель его двухтомника, добивается большой публикации в читаемом всеми «Огоньке». Сообщает Чиннову во Флориду о том, что теперь его в России знают, о чем он и мечтал. Он отвечает ей по телефону: «Спасибо, душенька, но всё поздно. Мне даже некому показать эту публикацию, чтобы за меня порадовались. Все умерли».

Горькая правда, но, мне кажется, Чиннов немного лукавил. Его мечта поэта-эмигранта реализовалась, пройдя путь от скептического «В Россию – ветром – строчки занесет / Эх, эмигрантские поэты! / Не ветром, а песком нас – занесет…» – до реализовавшегося: «А вот стихи – дойдут, стихи – дойдут!» (Чиннов считал, что по напору эта его сентенция сильней, чем известные строчки Георгия Иванова «Но я не забыл, что обещано мне / Воскреснуть, вернуться в Россию стихами»).

Свои стихи последних десятилетий Игорь Чиннов называл «гротесками». Точно найденное имя его поэзии, построенной на контрастах, когда земной и потусторонний ад(ы) вызывают естественный ужас, но и сопровождаются язвительными, сатирическими комментариями. В этом Чиннов очень современен, актуален нашему третьему тысячелетию и нынешним лучшим поэтам, пишущим по-русски. Он был в курсе того, какие течения существуют в России, живо интересовался поэтами, чьи имена были на слуху, а в одном отдельном случае даже «…имя примерял к себе… с шутливым удовольствием называясь: ‘Бахыт Чиннов!’»[26].

Сейчас поймал себя на мысли, что, заканчивая очерк, не могу заставить себя написать о кончине Игоря Чиннова. Сошлюсь на некролог в парижской «Русской мысли» (№ 4128 от 30.05/05.06., 1996): «21 мая 1996 года пополудни в Дейтон-Бич (Флорида, США) после тяжелой болезни скончался известный поэт Русского Зарубежья Игорь Владимирович Чиннов. О чем извещают друзья и коллеги покойного. Он будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве».

«Русская мысль» оповестила. Читатель принял к сведению. А Игорь Чиннов, может быть, продолжает где-то писать себе стихи, занимаясь любимым своим и не знающим смерти делом – русской поэзией. Не об этом ли он намекал, не собираясь с Землей расставаться:

«Руководство для свежеумерших». Обложка
в семь цветов и недорого. Всё же
я не купил. К чему опережать события? И может,
пожалуй, устареть. Ведь в наши дни
так быстро всё меняется. К тому же
я, может быть, бессмертен. Так зачем
выбрасывать на ветер деньги?

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Здесь и далее – стихотворения И. Чиннова по изданию: *Игорь Чиннов*. Собрание сочинений в двух томах. – М.: «Согласие». 2000.

2. Из стихотворения Георгия Иванова «Над розовым морем вставала луна…»

3. *Игорь Чиннов*. Вместо предисловия. О себе. – Собрание сочинений. В 2 тт. Т. 2. – М.: «Согласие». 2000.

4. *С. Ковальчук*. «И мелкий щебень радостей и бед...» (О поэте Игоре Чиннове): «…отец, со знанием и опытом, не мог долго устроиться на работу. Ему, будучи в Советской России, из которой он рвался уехать, и в голову не могло придти, что в длинном списке изученных языков не хватает латыш-

ского». – Берега: информационно-аналитический сборник о Русском Зарубежье. – СПб., 2009. Вып. 11-12. URL: http://www.russkije.lv/ru/pub/read/kovalchuk-radosti-i-bedy/
5. *Ольга Кузнецова*. Последний Парижский Поэт / Предисловие. // *Игорь Чиннов*. Собрание сочинений: В 2 тт. Т. 1.
6. Из стихотворения Осипа Мандельштама «Notre Dame».
7. *Игорь Чиннов*. Собрание сочинений. В 2 тт. Т. 2. Статьи, письма.
8. *М. Шраер*. «Игрушка»: Записки об Игоре Чиннове. – «Дружба народов», №11. 1999. URL: http://magazines.russ.ru/druzhba/1999/11/shraer-pr.html
9. *С. Ковальчук*. Указ. соч.
10. Из стихотворения Георгия Адамовича «Как холодно в поле, как голо...»
11. *Игорь Чиннов*. Собрание сочинений. В 2 тт. Т. 2. Стихотворения.
12. Из стихотворения Ивана Елагина «Фиолетовости, синести, / А вот ветра мне не вынести».
13. *Игорь Чиннов*. Собрание сочинений. В 2 тт. Т. 2. Статьи, письма.
14. *Дж. Глэд*. Беседы в изгнании. Русское литературное зарубежье. Интервью с Игорем Чинновым. URL: http://modernlib.net/books/gled_dzhon/besedi_v_izgnanii_russkoe_literaturnoe_zarubezhe/read/
15. *Игорь Чиннов*. Собрание сочинений. В 2 тт. Т. 2. Статьи, письма.
16. *И. Болычев*. Творческий путь Игоря Чиннова. – М. 1999. URL: https://www.dissercat.com/content/tvorcheskii-put-igorya-chinnova
17. *А. Л. Бем*. Соблазн простоты. – «Меч», 22 июля 1934, № 11-12. URL: http://www.mochola.org/russiaabroad/bem/bem29_soblazn.htm
18. Начало стихотворения Ирины Одоевцевой.
19. *М. Шраер.* «Игрушка»: Записки об Игоре Чиннове.
20. *Ольга Кузнецова*. Последний Парижский Поэт.
21. *М. Шраер.* «Игрушка»: Записки об Игоре Чиннове.
22. Там же.
23. Из стихотворения Ю. Иваска «Из гроба вышедший мертвец, / Вознагражу свою потерю…»
24. *Игорь Чиннов*. Собрание сочинений. В 2 тт. Т. 2. Статьи, письма.
25. *В. Набоков*. О Набокове и прочем: Интервью, рецензии, эссе / Сост., коммент. Н. Г. Мельникова. – М., 2002.
26. *Дм. Бобышев*. Новый дом русских поэтов. Персональный сайт поэта Дмитрия Бобышева. URL: https://dbobyshev.wordpress.com

Елена Кулен

Иван Елагин. Материалы к биографии*

Часть 1. От Киева до Берлина

Воспоминания пятнами из глуби:
То пропадут, то вымелькнут еще…
Иван Елагин. «Ты, мое столетие!». 1947

Еще не написана исчерпывающая биография Ивана Елагина, одного из самых ярких поэтов Русского Зарубежья в США, принадлежащего ко второй волне эмиграции. В этом исследовании нам хотелось бы остановиться на малоизвестных периодах жизни поэта в оккупированном немцами Киеве и проанализировать долгий путь беженца через Восточную Пруссию в Берлин и послевоенный период в Мюнхене. «Современникам и участникам непосильна оценка всей полноты исторического значения событий, в которых они участвовали. Кто о своих днях может безошибочно сказать, в чем и когда было поражение и когда победа? Беспристрастность и правильность оценок, поскольку таковые вообще существуют, требует перспективы, полнота обладания которой, естественно, сможет принадлежать только нашим потомкам», – сказал протоирей о. Александр Киселев, известный церковный и общественный деятель Русского Зарубежья в своей книге «Облик генерала А. А. Власова»[1].

Военный и послевоенный периоды жизни поэта неразрывно связаны с темой русского Исхода гражданского населения из СССР во время Второй мировой войны и с причинами его возникновения. Осмысление этих периодов жизни Ивана Елагина возможно лишь в контексте формирования послевоенной русской диаспоры в Мюнхене и, позднее, в США. Мюнхен, находящийся в американской зоне оккупации Германии, стал для Ивана Елагина после войны островом спасения – как и для многих гражданских беженцев из России,

---

* Автор приносит сердечную благодарность за существенные дополнения к тексту Л. С. Оболенской-Флам, чей требовательный взгляд профессионала-журналиста, историка, свидетеля событий помог автору глубже понять послевоенную эпоху и тонкость поэзии Ивана Елагина. © E. Kulhen, 2020.

Прибалтики, Украины, Белоруссии, Кавказа, Калмыкии, воспользовавшихся войной как парадоксально единственным и, казалось, последним шансом вырваться из тоталитарно-замкнутой советской системы, варящейся в своем соку непрекращающегося террора, крови и лагерей; отгороженной от всего мира ложью о счастливой социалистической жизни.

К моменту прибытия в Мюнхен в марте 1946 года Иван Елагин был еще Иваном Матвеевым («Елагин» – взятый им позднее литературный псевдоним): ему только что исполнилось двадцать семь лет, вместе с ним приехали его тридцатичетырехлетняя жена Ольга Матвеева (литературный псевдоним – Ольга Анстей) и их маленькая дочь Елена, родившаяся в Берлине за пять месяцев до окончания войны. Иван Елагин и Ольга Анстей – это песчинки в огромном океане судеб русских «невозвращенцев». Это частички большого целого, исчисляемого многими сотнями тысяч; это те, кто рискнул уйти в неизвестность, с болью оставляя родину. Масштабность явления «невозвращенчества» советских граждан в военный и послевоенный периоды стала ярким примером активного – или пассивного – сопротивления советской системе. Без глубинного понимания причин этого явления нам не понять судьбу поэта Ивана Елагина, не понять его стихов.

Биографические данные о военном и послевоенном периодах жизни Ивана Елагина довольно скупы и немногочисленны. Сам поэт не публиковал мемуары, предлагая расшифровывать свою биографию через его стихи. Именно они приходят на помощь, «открывая дверь» в его прошлое друзьям, исследователям и почитателям его поэзии. Речь идет, прежде всего, о двух поэмах: «Память» – с ретроспективой детства и юношества в Москве, ссылки отца в 1928 году в городок Покровск (с 1931 г. Энгельс)[2] вблизи Саратова, сведения о времени его беспризорничества в Москве и о поступлении перед войной в медицинский институт в Киеве, и «Беженская поэма», рассказывающая преимущественно о жизни в послевоенном Мюнхене в лагерях для «перемещенных лиц» «СС казармы» и лагере Шляйсхайм, где Елагин жил со своей семьей (женой-поэтессой Ольгой Анстей и годовалой дочерью Еленой). Именно эти две поэмы стали основой и биографическим компасом для справочных изданий о Иване Елагине. Первое такое издание появилось в 1976 году в «Лексиконе русской культуры XX века» в Штутгарте и было составлено немецким славистом Вольфгангом Казаком (Wolfgang Kasack)[3].

Эти материалы дополнены интересными мемуарами Татьяны Павловны Фесенко, названными «Повесть кривых лет»[4], где есть информация о киевском и мюнхенском периодах Ивана Елагина. Особой мемуарной глубиной и деликатностью отличаются эссе

Валентины Синкевич об Иване Елагине и Ольге Анстей, которых она знала лично. В качестве дополнения к вышеуказанным материалам нам хотелось бы представить архивные документы, обнаруженные в немецких архивах, которые с точностью позволяют указать хронологию военного и послевоенного периодов Ивана Елагина до момента его выезда в США. Нами были обнаружены регистрационные карточки Ди-Пи на имена Ивана и Ольги Матвеевых. Об этом ниже.

За плечами Ивана Елагина и Ольги Анстей был опыт на несколько жизней. Нам хотелось бы проанализировать их путь из Киева в Мюнхен на основе имеющихся источников, разделив военный и послевоенный периоды их жизни по географическому и хронологическому принципу.

КИЕВСКИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕН НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 1941 – СЕНТЯБРЬ 1943

О киевском периоде жизни Ивана Елагина нам известно преимущественно из «Повести кривых лет», воспоминаний Татьяны Павловны Фесенко (урожд. Святенко, 7.11.1915, Киев, – 12.07.1995, Вашингтон). Татьяна и Андрей Фесенко были надежными друзьями Елагина еще из «той», довоенной и военной, киевской жизни периода немецкой оккупации, проверенные трудностями войны. После войны судьба снова свела Ивана Елагина и чету Фесенко в Мюнхене в 1947 году, когда Фесенко переехали из американской зоны из Бамберга в Мюнхен и нашли приют в том же лагере Ди-Пи «СС казармы», где проживал Иван Елагин и его семья. После переезда семьи Фесенко в США они жили в Вашингтоне, Елагин – сначала в Нью-Йорке, позднее в Питтсбурге, но связь с друзьями он поддерживал всю свою жизнь.

«Повесть кривых лет» Татьяны Фесенко – это глубоко личные воспоминания, опубликованные в 1963 году в Нью-Йорке, которые можно считать надежным источником по многим причинам. Во-первых, к этому времени Татьяне Фесенко исполнилось всего 48 лет, и не приходится сомневаться в аберрации памяти при описании событий. Во-вторых, мемуары были прочитаны самим Елагиным, который публично не выступал в прессе с корректурой изложения событий, изображенных в «Повести кривых лет». О характере и стиле своих воспоминаний Татьяна Фесенко сообщает во вступлении: «Эти воспоминания были написаны прежде всего для себя, здесь нет ни строчки неправды или литературного вымысла. Но в них нет и обобщений – только то, что я видела или пережила, занесено на эти страницы»[5]. Характеризуя свои мемуары как личные, Татьяна Фесенко указывает на типичность пережитых событий – что нам особенно интересно

применительно к анализу киевского периода Ивана Елагина: «Многое стерлось в памяти; возможно, вкрались и кое-какие неточности – мои заметки погибли вместе с вещами, но всё же картины пережитого, очень личные, в той или иной мере повторяют судьбу десятков тысяч людей, сорванных с родной земли вихрем войны»[6].

Время немецкой оккупации Киева приходится на период с 19 сентября 1941 по 3 ноября 1943. Это 778 дней.

Дружба между семьями Елагина и Фесенко объясняется не только принадлежностью к одному поколению, но и схожестью менталитета социально и идеологически «прокаженных» в советской системе ценностей. Татьяна Фесенко, родившаяся в 1915 году, и Иван Елагин, родившийся в 1918 году, познали горечь потери близких людей во времена Большого террора – у обоих отцы погибли в застенках НКВД. Пережитое было типично трагичным для их поколения: отец Елагина, поэт Венедикт Матвеев, был обвинен как «японский шпион» и расстрелян в 1938 году, а у Татьяны Фесенко отец был арестован как «немецкий шпион» перед самым началом войны и также исчез в мясорубке НКВД, которое искало и находило состав преступления, читая биографии людей: у Матвеева – жизнь в Харбине с 1919 до 1923 года, у Фесенко – учеба в университете в Германии до революции.

Момент знакомства Фесенко и Елагина выпал на довоенный период, контакт углубился во время немецкой оккупации. О подробностях первых лет знакомства Татьяна Фесенко ничего не упоминает в своих мемуарах. Но известно, что к началу войны Татьяна Фесенко уже окончила Киевский университет, факультет иностранных языков; Иван Елагин был еще «взъерошенным студентом» третьего курса Второго Киевского медицинского института, подрабатывающим в городском роддоме и по ночам сочиняющим стихи.

Мемуары Фесенко имеют характер стенографии происходящего перед приходом немцев, вот лишь отдельные выдержки о сдаче города советскими войсками: «Мы вышли на улицу. Всюду на трамвайных путях стояли вагоны, разогнанные из парка. Водокачка и электростанция были уже взорваны…было много пешеходов – все с детскими колясками, нагруженными мешками с мукой. Мы вспомнили, как накануне обыватели без конца тащили кровати, ярко-голубые, с веселыми никелевыми шариками. Где-то грабили склады, разбивали железнодорожные вагоны, чернь радостно тащила в свои норы легкую военную добычу»[7].

В ретроспективе пережитых ею событий предстает хаотичная эвакуация киевлян перед наступлением немцев на пяти железнодорожных вокзалах, которые были оцеплены отрядами НКВД, и вход

был возможен лишь по специальным пропускам-броням. Жителям, не имеющим такую бронь, выпадала участь оставаться на произвол судьбы перед вступлением немцев в город. К этому моменту в Киеве оставалось около 400 тысяч жителей. С началом эвакуации город начинал пустеть, целые кварталы стали безлюдными – так, например, в городском районе Липки, где до войны жили видные сотрудники НКВД, не осталось ни души.

После спешной эвакуации стратегически важных заводов, фабрик, управлений и их персонала остальное гражданское население Киева было попросту брошено на произвол судьбы советскими властями. С 17 сентября 1941 года город оказался в вакууме власти: советского городского управления уже не было, а немцы еще не пришли в город. В эти два-три дня, с 17 сентября по 19 сентября 1941, начался грабеж населением магазинов, учреждений и оставленных квартир. Это была массовая паника и, одновременно, страх остаться без продовольствия и дров при наступающей зиме 1941 года. Описание подробностей событий начала немецкой оккупации дают понимание полной безысходности положения гражданского населения в Киеве. Вот что об этом сообщает Татьяна Фесенко: «С приходом немцев магазины не торговали, базар не собирался, хлеба не было, и мы, не имея никаких запасов, стали очень скоро перед призраком голода… Надвигалась зима, а с ней и призрак страшного голода. По приказу Сталина при отступлении было уничтожено огромное количество продуктов. Позже немцы поднимали со дна Днепра целые баржи, груженные мешками с мукой. Туда же, в глубокие воды Днепра, было выброшено огромное количество сахара, медикаментов, зерна. Была подорвана и разрушена часть хлебных и колбасных запасов и других товаров пищевой промышленности. Население украинской столицы осталось и без дров – обычно они планово заготовлялись летом через учреждения, но неожиданно начавшаяся война помешала этому. Теперь же на доставку их тоже не было надежды – был угнан и весь транспорт, и город, разрушенный, опустошенный, тоскливо ждал наступления холодов»[8].

Вот еще один взгляд – Александра Степановича Казанцева, видного деятеля Народно-Трудового Союза (НТС), на общую программу действий советских городских управлений и атмосферу в городах и населенных пунктах перед наступлением немцев: «В панике, убегая всё дальше и дальше на восток от катившихся почти беспрепятственно вперед гитлеровских танковых дивизий, большевики перед своим бегством уничтожали всё, что можно было уничтожить. Были созданы особые части НКВД, и перед ними поставлена была единственная задача – уничтожать всё, что оставалось по эту сторону фронта.

Сжигались фабрики и заводы – это можно было понять, чтобы не достались врагу, который мог бы их заставить работать на свое вооружение. Взрывались железнодорожные мосты, станции и паровозные депо, где позволяло время – и само железнодорожное полотно, – это понятно тоже, чтобы не дать возможности противнику воспользоваться транспортом. Минировались и сжигались города, уничтожались или отравлялись ядами запасы продовольствия, предназначенные для населения. В угаре войны, в атмосфере молниеносного и позорного поражения, быть может, можно было понять и это. Города могли стать опорными пунктами вражеской армии, а запасы продовольствия использованы для ее пропитания. Но это было не всё. Перед катившимся на восток фронтом полыхали деревни, горели сельские школы и амбулатории, убогие крестьянские хатенки и стога прошлогодней соломы. Крестьянские хатенки и гнилая солома не нужны были даже и немцам, и сжигались они с естественной целью – оставить не уходившее на восток население без куска хлеба и без крова над головой уже на завтрашний день. Всё, что освобождалось от контроля ‘любимого вождя и учителя’, должно было умереть голодной смертью. Идеалом Сталина было оставить голую пустыню и на ней таких же голых, голодных, обезумевших от ужаса людей. Если бы он мог, он потушил бы и солнце, чтобы доказать, что светить и греть оно может только при советской власти… Органическую жизнь не смог убить убегающий в панике на восток коммунизм, не мог ее раздавить и тяжелый кованый немецкий сапог. По мере того, как фронт удалялся на восток, в занятых областях стали пробиваться первые робкие ростки жизни. Стала завязываться ткань, хоть и ампутированной со всех сторон, общественности: организовываться самоуправления сёл и городов – с единственной целью заботы об оставшихся без крошки хлеба и крова над головой согражданах и односельчан. Самоуправлениями устраивались детские ясли, налаживалось обслуживание населения, создавались школы, принимались меры, чтобы спасти от гибели оказавшихся беспризорными тысячи и тысячи детей»[9].

Татьяна Фесенко дает характеристику надежд многих киевлян на освобождение от коммунизма и террора с приходом немцев и анализирует процесс жестокого разочарования «в благородстве освободителей», последовавшего уже в первые месяцы немецкой оккупации. Мы можем предположить, что аналогичные настроения переживал также Иван Елагин, принадлежа к кругу Фесенко.

Татьяна Фесенко пишет: трагедия массового расстрела ста пятидесяти тысяч евреев в Бабьем Яру, начавшегося с 27 сентября 1941 года,[10] стала неожиданным жестоким ударом для киевлян. Это были евреи из Киева и близлежащих селений и городов. Бойня началась

после взрывов важных административных и жилых зданий в центре Киева – их было 940, особенно пострадал Крещатик и исторический центр города. Эти террористические акции, организованные оставшимися в Киеве оперативными группами НКВД, немцы ставили в вину евреям. После уничтожения жилых домов вследствие этих взрывов около 50 тысяч киевлян остались без крова перед наступающей зимой 1941 года.

Татьяна и Андрей Фесенко так описывают их впечатления после этих страшных событий: «Мы с Андреем пошли навестить дорогую могилу моей любимой подруги, похороненной на Лукьяновском кладбище. Дорога за городом тянулась вдоль стены еврейского кладбища, осененного тополями. Это была та самая трагическая дорога в Бабий Яр. Под ногами, в пыли, почти сплошным ковром валялись коричневато-серые маленькие книжечки советских паспортов, обрывки облигаций, документы. Так и остались они там, эти последние свидетели страшного убийства, пока их не скрыл белый снежный покров»[11].

Примерно в то же время Ольга Анстей напишет о Бабьем Яре с пронзительной болью, но опубликует свои киевские стихи впервые в лагере Ди-Пи «СС казармы» в Мюнхене в 1949 году; поэма получит название «Кирилловские яры»[12]. Это неслучайно: то место, что вошло в страшную историю Холокоста как «Бабий Яр», старыми православными киевлянами звалось «Кирилловскими ярами» по причине близости к Свято-Кирилловскому монастырю на северо-западной окраине от исторического центра Киева. Монастырь был основан в XII столетии; с установлением советской власти был расформирован и в его стенах размещалась городская психоневрологическая клиника № 1 им. И. П. Павлова. В поэме «Кирилловские яры» есть строка: «Клочья размытых дождем паспортов» – которая, возможно, является впечатлением-реминисценцией от рассказов Татьяны Фесенко:

Чаша последняя. Те же места,
Где ликовала дремотно природа, –
Странному и роковому народу
Стали Голгофой, подножьем креста.
Слушайте! Их поставили в строй,
В кучках пожитки сложили на плитах,
Полузадохшихся, полудобитых
Полузаваливали землей…
Видите этих старух в платках,
Старцев, как Авраам, величавых,
И вифлеемских младенцев курчавых
У матерей на руках?

Я не найду для этого слов:
Видите – вот на дороге посуда,
Продранный талес, обрывки Талмуда,
Клочья размытых дождем паспортов!
Черный – лобный – запекшийся крест!
Страшное место из страшных мест!

Татьяна Фесенко пишет: «Позже судьба, не скупясь, усеяла весь наш путь, пройденный при немцах, такими разочарованиями, превратившими многих людей, страстно ждавших новых варягов, в их ярых противников, а часто и в их активных врагов. Всё это случилось позже, когда немцы уже полностью развернулись в своей бессмысленной жестокости, тупой самоуверенности, жадности и совершенном непонимании психологии советского человека. Мы всё яснее видели, что они пришли отнюдь не освободителями, а колонизаторами, мечтавшими о безудержной эксплуатации богатейших украинских земель… Горожане дрожали над каждым ломтиком, вернее, щепоткой хлеба, выдававшегося по карточкам в жалком количестве. Незабываемый хлеб времен немецкой оккупации, так называемый ‘наждак’, сверкающий шелухой от проса, горький от примесей, глинисто-тяжелый, на другой день рассыпавшийся песком. А на Киевском вокзале бесконечные составы вагонов наполнялись золотой, отборной пшеницей, тысячами мешков драгоценного зерна, для отправки в Германию. Тупо и твердо уверенные в победе, немцы спешили набить карманы всем, чем только могли. Такое отношение к населению сыграло огромную роль во вспыхнувшей к немцам ненависти, но всё же не оно явилось основной ее причиной. Насильственный набор в Германию, не менее жестокий, чем татарская неволя, – вот что было последней каплей, переполнившей весьма вместительную чашу народного терпения, вот что сразу перерубило еще неокрепшие нити, протянувшиеся между завоевателями и завоеванными»[13].

И всё же жизнь шла дальше – даже на фоне страшных массовых казней; в этом и была абсурдность военных будней, к которым люди не привыкали, но в которых выживали. Немецкими оккупационными властями в Киеве была уже в сентябре 1941 года введена всеобщая трудовая повинность. Однако в обреченном на голод Киеве работа давала взрослому населению возможность выжить на введенные немцами продовольственные карточки, которые выдавались исключительно работающему населению. Избежать «трудовой повинности» для взрослого населения Киева было просто невозможно. Для Татьяны Фесенко местом работы стала «Украинская контора лекарственных растений» и должность переводчицы, для Ивана Елагина – работа на

«скорой помощи» в роддоме. Работа Ивана Елагина на «скорой помощи» давала преимущество – доступ к медикаментам, получение которых было весьма трудным для киевлян во время оккупации. Этим он не раз оказывал помощь друзьям и знакомым. Вот один из примеров, о котором вспоминает Татьяна Фесенко: «Благодаря Ване Матвееву был раздобыт магический сульфапиридин для моей мамы, заболевшей тифом и осложнившимся воспалением легких»[14].

В киевский период Татьяна Фесенко вспоминает о Иване Елагине так: «Частым гостем бывал у нас Ваня Матвеев – худенький, черненький, совсем еще молодой талантливый поэт. Сколько раз, бывало, распилят они с Андреем притащенную откуда-то доску, и, пока в нашей печурке закипает неизменный пшенный суп, Ваня читает свои стихи, жуткую ‘Камаринскую’, написанную им под впечатлением недавней расправы на Бессарабской площади:

В небо крыши упираются торчком,
В небе месяц пробирается бочком.
На столбе не зажигают огонька.
Три повешенных скучают паренька…

или:

Одеялом завешены стекла,
Тишина стоит у плеча.
Скудный луч на томик Софокла
Клонит нищенская свеча.

Нам стихи его очень нравились, но мы не могли тогда еще предположить, что наш Ваня станет Иваном Елагиным, одним из лучших поэтов Русского Зарубежья, и что нашей дружбе суждено продолжаться и крепнуть и в далеком Мюнхене, и по ту сторону Атлантического океана. А каким мальчишески-веселым мог быть тот же Ваня, если судьба бросала ему жалкую долю радости! Когда один знакомый инженер, разбогатевший на открытии комиссионного магазина и спекуляциях с мадьярами, подарил ему дорого стоивший Словарь Даля, о котором Ваня долго и тщетно мечтал, то какие чудесные пародии в духе Маяковского, Северянина, Есенина, Некрасова и многих других написал он, вместе со своей женой, под заглавием ‘Как даль стала близью’. Эти пародии, заботливо переписанные его Люшей[15], я возила всюду с собой»[16].

Воспоминания Татьяны Фесенко киевского периода описывают не только голод и холод, но также передают энергию молодости в трудных оккупационных условиях и желание жить вопреки всему: «Нам еще туго, очень туго, но мы уже не голодаем. Иногда мы соби-

раемся вместе – Ваня, Валерий, Шура, Лена, еще двое-трое из старых и новых друзей. Хочется забыться, уйти от тяжелых мыслей, от навязчивого и неразрешимого вопроса – когда же и чем кончится война? Собравшись, мы ставим шарады. У Вани Матвеева открылся новый талант, и он невольно заражает им товарищей. Играют они с большим воодушевлением и так перевоплощаются, что в Парисе, задрапированном вместо овечьей шкуры в две лисьих горжетки, задумчиво рассматривающем яблоко, трудно узнать Валерия, а у молодой богини, кутающейся в простыню, странно знакомыми кажутся только заштопанные-перезаштопанные сиреневые Андрюшины носки. Ване более всего удаются роли авантюрные и трагические. Венцом же его режиссерской деятельности была шарада, одна из сцен которой изображала залу ‘арбайтсамта’*, где ожидали назначения на работу различные типы. Наконец, им объявили, что они приглашаются в качестве статистов для выступления известного немецкого трагика. Так как еще не было известно, в какой именно вещи шекспировского репертуара выступит эта проезжая знаменитость, им предписывалось в случае выхода на сцену белого человека в черном говорить: ‘Ja, Prinz’, ‘Nein, Prinz’, – так, как это был бы Гамлет, а в случае появления черного человека в белом говорить: ‘Ja, General!’, ‘Nein, General!’, – так, как это был бы Отелло. – Ваня, вообще не владевший немецким языком, делал весь упор на потрясающую мимику, повторяя с различными модуляциями два слова: ‘Desdemióna, Taschentuch!’ (Дездемона, носовой платок!)[17].

Среди многочисленных встреч киевских друзей Фесенко – Матвеевых Татьяна Фесенко вспоминает об одной такой, в 1943 году, – празднование пятилетнего юбилея свадьбы Ивана Елагина и Ольги Анстей: «Отпраздновали мы и пятилетие Ваниной свадьбы. Его черненькая жена с китайскими глазами, сама поэтесса и тонкий критик, изготовила паштеты из гороха и еще какие-то кушанья, не указанные в ‘Молоховце’. Незатейливая еда обильно сдабривалась стихами и остроумными тостами. Было много изящной выдумки, дружеского тепла и хорошей, ничем не убитой молодой бодрости»[18]. Пять лет совместной жизни казались молодым людям целой вечностью, если учесть, что Татьяна Фесенко вышла замуж за Андрея Фесенко лишь в 1941 году.

ОЛЬГА АНСТЕЙ

Стоит несколько слов уделить брачному союзу Ивана Елагина и Ольги Анстей (урожд. Штейнберг). Иван Елагин в двадцать лет же-

* Arbeitsamt – биржа труда (*нем.*)

нился на Ольге Николаевне Штейнберг (1.03.1912, Киев, – 30.05.1985, Нью-Йорк), которая была старше его на шесть лет. Вот как описывает сама Анстей первый период знакомства с Матвеевым в 1937–1938 годы: «…подобралась, в большинстве своем, очень зеленая компания <…> и действительно бывало очень весело, потому что мы и чтения по ролям устраивали – от Шекспира до Ибсена и гусевской ‘Славы’, и стихи на конкурс писали, и вроде рефератиков делали на разные темы. Главным образом, радовался всему этому поэт Зангвильд, удивительно талантливое и хорошее дитя. <…> Он стоит того, чтобы много о нем написать, и я когда-нибудь это сделаю. Он маленький, щупленький и черный, как галчонок, некрасивый, а когда стихи читает – глаза огромные сияют, рот у него большой и нежный, голос сухой, музыкальный, и читает он великолепно. Он так же сумасшедше, сомнамбулически живет стихами, как и я; я читаю свои стихи, он – свои, потом он – мои, на память, а потом мы оба взапуски, взахлеб, – кто во что горазд – всех поэтов от Жуковского до Ходасевича и Пастернака, и он это не попусту, а с толком, с большим пониманием. Он *маме совсем в душу влез, этот галчонок*, а это ведь не так легко. И вот был у нас траур и плач на реках Вавилонских, когда тяжело заболел наш поэт, – воспаление легких с плевритом, а он и так слабый, заморыш. Материальное положение у него скверное, поэтому ценители таланта носили ему не только апельсины, а еще масло и яйца. Вот вчера он в первый раз вышел и был у нас – ослабевший, задыхается от ходьбы, ‘плохонький какой’, как говорит Царь-Девица. Очень страшно, чтобы теперь не вспыхнул туберкулез»[19].

Иван и Ольга обвенчались тайно, ночью 17 июня 1938 года, – и это не было данью поэтической таинственности и авантюре. Для Ольги Анстей, глубоко верующего православного человека, обряд венчания как христианское освящение их брачного союза был чрезвычайно важен соединением их душ не просто любовью, но и Святым Духом, до самой смерти. Эта символика «единения до самой смерти» оправдалась в каком-то смысле уже потому, что между Иваном Елагиным и Ольгой Анстей, несмотря на развод и новые брачные союзы, осталось глубинное взаимопонимание и непреходящее уважение друг к другу через все десятилетия, до конца жизни. Тайна венчания в 1938 году осталась воистину тайной в пору бесчинства атеизма, в атмосфере беспощадного разрушения храмов в Киеве, а также последующего запрета обрядов венчания и погребения, массовой расправы над православием на всей территории СССР.

В стихотворении «Сон», вошедшем в первый сборник стихов Ивана Елагина, есть описание некой свадьбы и атмосферы таинства и страха, которое могло быть применимо и к его биографии:

Ели – во весь рост,
А за сугробом – вепрь.
Ров. Надо рвом – мост.
На воротах – герб.

Слово «вепрь» используется в русском языке в двух значениях: «вепрь» – это дикий кабан или свинья; но в советское время «вепрем» также именовали род огнестрельного оружия, используемого НКВД при расстрелах во времена Большого Террора. Поэтому строка «а за сугробом – вепрь» читается как: «а за сугробом – НКВД».

Дом, как большой сруб.
Стены – и сквозь них
Зеркало – свечи – глубь –
Девушка и жених.

Девушка – вся свеча!
До полу лен косы.
Ошейниками бренча,
ворочаются псы.

Это чувство страха перед венчанием как таинством и требой, запрещенной советской властью, передается Елагиным как тревожный сон, а НКВДешники предстают, как псы, бренчащие ошейниками в эзоповом толковании поэта.

Сегодня тебя увезу
В свадебных санях!

Тяжко, тяжко внизу
Охнула дверь в сенях.

Время знакомства и влюбленности с Ольгой Анстей совпало для Ивана Елагина с тяжелой потерей отца Венедикта Марта (настоящее имя Венедикт Николаевич Матвеев, 27.03.1896, Владивосток, – 16.10.1937, Киев), поэта-футуриста, арестованного второй раз и расстрелянного в 1937 году. В 1938 году от тяжести утраты отца его спасла Ольга Анстей и любовь к ней. Судьба вновь сберегла его – как и в 1928 году, когда он десятилетним мальчиком, оставшимся одним-одинешеньким после ссылки отца и заключения матери в психиатрическую больницу, оказался в кругу московских беспризорников. Тогда друг отца, Федор Панфёров, в толпе беспризорников на улице узнал

Ваню, забрал его и организовал для него выезд к отцу в ссылку в Покровск (совр. Энгельс). Словно в последнюю минуту к Ивану Елагину всегда кто-то приходил на помощь. После второго ареста отца в 1937 году Ольга Анстей и ее близкие стали для него новой семьей и новой опорой. К этому времени Ольга Анстей (урожденная Штейнберг) уже закончила Киевский техникум иностранных языков и получила работу переводчицы в учреждениях химической промышленности, что и стало первой финансовой базой молодой семьи. Отец Ольги Анстей был до революции мировым судьей в Киеве, мать – выпускницей Бестужевских курсов, первого высшего учебного заведения в императорской России, преобразованного в 1918 в Третий Петроградский университет, а в 1919 включенного в состав Петроградского университета. Это своеобразная «петербургская ниточка» между семьями Матвеевых и Штейнберг, между матерью Ольги и матерью Ивана, вышедшей из семьи петербургского раввина, была символической связью для Ивана Елагина.

РОДИТЕЛИ

К моменту заключения брака между Иваном Елагиным и Ольгой Анстей в 1938 году в Киеве мать Ивана находилась в психиатрической больнице в Ленинграде, где она и скончалась в 1941 году, в первую голодную зиму Ленинградской блокады. Путь страданий Серафимы Лехотиной* был долгим. После возвращения семьи из Харбина в 1923 году, Матвеевы с пятилетним Ваней пытались как-то устроиться и выжить, кочуя из города в город в поисках поддержки у друзей, родных, знакомых. В 1928 году Матвеева арестовали за скандал в ресторане в Москве, – вот как об этом пишет Елагин в поэме «Память»:

Мой отец, году в двадцать восьмом,
В ресторане учинил разгром,
И поскольку был в расцвете сил –
В драке гепеушника избил.
Гепеушник этот, как назло,
Окажись влиятельным зело,
И в таких делах имел он вес –
Так бесшумно мой отец исчез.

О матери же Елагин пишет мало, но в поэме «Память» все-таки есть трагические строки о ней:

---

* Серафима Захарьевна Лесохина. В немецких официальных документах Иван Матвеев пишет фамилию матери как «Лехотина», очевидно, в целях конспирации, защищая оставшихся в СССР родственников. Автор использует этот вариант фамилии. (*Ред.*)

Что его следов не отыскать,
Тут сошла с ума от горя мать,
И она уже недели две
Бродит, обезумев, по Москве.
Много в мире добрых есть людей:
Видно, кто-то сжалился над ней,
И ее, распухшую от слез,
На Канатчикову дачу свез.
Но об этом я узнал поздней,
А пока что – очень много дней
В стае беспризорников-волков
Я ворую бублики с лотков.

Точные годы пребывания Серафимы (Симы) Лехотиной на «Канатчиковой даче»[20] нам неизвестны; судя по поэме «Память» – с 1928-го. О том, что его мать была перевезена родственниками из Москвы в Ленинград в 1930 году, мы узнаем некоторые подробности из беседы с Маргаритой Густавовной Маас-фон Кутче из Мюнхена, из семьи этнических немцев из Херсона, которая покинула страну с родителями в 1943 году, присоединившись к многочисленному потоку гражданских беженцев из СССР. Маргарита Густавовна Маас-фон Кутче (1.1.1931, Херсон, – 27.3.2019, Мюнхен) тридцать пять лет проработала на «Радио Свобода» в Мюнхене, с 1960 года по 1995 год, до момента переноса радиостанции из Мюнхена в Прагу. На «Радио Свобода» она была знакома с писательницей Русского Зарубежья Ириной Сабуровой, которая дружила с Иваном Елагиным в ее дипийскую бытность в лагере Шляйсхайм в 1949–1950 годы. Вот что вспоминает Маас-фон Кутче: «О Елагине мы, в русской послевоенной диаспоре в Мюнхене, да еще те, кто работал на ‘Радио Свобода’, говорили много, наизусть читали его стихи, интересовались его жизнью. Уже и потому, что его стихи были для нас, советских, ‘оттуда’, рискнувших оставить родину во имя новой жизни, – как чистый глоток воды правды. Тогда громко говорить о том, откуда мы, было не принято из-за угрозы насильственных выдач и предательства из своих же рядов. Об Исходе никто не смел и заикнуться, чтобы не выдать себя. А в стихах Елагина эта правда была между строк, мы чувствовали ее, в них была глубина понимания причин Исхода. Елагин был словно ‘нашим’, ‘бывшим советским’, он пережил те же страхи выдачи, как и многие русские перемещенные лица, его стихи были нам очень близки. Нам, как этническим немцам, выдачи не угрожали, но в православной общине Мюнхена после войны мне знакомы многие русские люди, чьи судьбы висели на волоске. Мне хотелось знать подробности о поэте Елагине,

его жизни. Когда я начала работать на ‘Радио Свобода’, я начала расспрашивать ‘старших’ о нем. Я – 1931 года рождения; мне, молодой работнице на ‘Радио Свобода’, было все интересно. Ирина Сабурова тоже работала там. Она, рожденная в 1907 году, была старше Елагина на 11 лет, меня – старше на 24 года, – между нами были миры, и всё же мы общались друг с другом. Сабурова – из Риги, печаталась много еще в 1930-е годы, имела признание, а Елагин, в его лагерную бытность в Шляйсхайме, был только-только начинающим поэтом, в 1947 году в газетах лагеря Шляйсхайм появились его первые статьи и стихи – прежде чем они были выпущены отдельными сборниками. Сабурова и Елагин познакомились в Шляйсхайме в 1949 году. Была ли между ними дружба, не знаю. Ирина Сабурова вспоминала в начале 1960-х годов о беседах с Елагиным в Шляйсхайме, о его внезапной откровенности о матери, обезумевшей от горя в поисках отца. Он говорил, что это была растерзанная бедами душа, каких было много в СССР. Елагин рассказывал Ирине Сабуровой о его поездке к Анне Ахматовой и о том, что его визит в Ленинград в 1934 году был посвящен не только ‘крещению поэта’ почитаемой великой поэтессой, а был связан прежде всего с посещением мамы в психиатрической больнице в Ленинграде. Туда ее перевезли родственники из Москвы еще в 1930 году, он держал с ними связь. Елагин поведал Сабуровой о том, как страшно было видеть мать, сломленную жизнью и советской системой. Именно системой. И таких были десятки и сотни тысяч в СССР. Таким нежным душам, как его мать, трудно было выживать в социальном дарвинизме жестокости. Уезжала его мать молодой и красивой из Петрограда в 1919 году в Харбин с отцом и новорожденным Иваном, а вернулась обезумевшей от всего пережитого в уже чужой город с другим названием, в Ленинград»[21].

Образ матери с обобщающе-философским характером воспроизведен Иваном Елагиным с глубокой нежностью в короткой строчке его знаменитого стихотворения из первого сборника «По дороге оттуда» – «Уже последний пехотинец пал», в котором он пишет о прошедшей войне и символах «упавшего на колени моста» или «танка, торчащего из воды», как немых «свидетелей беды». В послевоенном периоде приход к матери поседевшего от бед сына – это не только общечеловеческий приход к истокам, это и елагинское воспоминание о его собственной матери, звучащее по-библейски:

Но труден день очнувшейся земли.
Уже в портах ворочаются краны,
Становятся дома на костыли…
Там города залечивают раны.

Там будут снова строить и ломать.
А человек идет дорогой к дому.
Он постучится – и откроет мать.
Откроет двери мальчику седому.

СЕРГЕЙ БОНГАРТ

Близким другом киевского периода для Елагина был – и остался на всю жизнь – Сергей Бонгарт (другое правописание фамилии – Бонгард). Он был тоже «оттуда» и не только в конкретном понимании этого слова «оттуда», из СССР, но также «оттуда» – из Киева, откуда и начался путь друзей на Запад. Сергей Бонгарт – коренной киевлянин, с Иваном Елагиным они одного, 1918-го, года рождения. Есть схожесть судеб и в том, что они оба остались в 20 лет без родителей.

Отец Сергея Бонгарта, Роман Иванович Бонгарт – юрист по образованию, арестовывался дважды – в 1933 и в 1934 гг., был сослан в сибирские лагеря, где пробыл четыре года. После возвращения в Киев в 1938 году не сумел восстановиться, умер от истощения. Мать Сергея Бонгарта умерла от тифа в 1933 году в страшный Голодомор на Украине[22]. О своем знакомстве с Сергеем Бонгартом Елагин вспомнил прощальным стихом, которое он написал в память о друге в 1985 году в день его смерти:

Сережа, мы в Киеве, в темной квартире,
Когда-то с тобою мы встретились здесь.
На старой газете картошка в мундире,
А в кружке какая-то горькая смесь.

И всюду подрамники, кисти, окурки,
И прямо с мольберта глядит с полотна
Парнишка в распахнутой лихо тужурке,
Склоненный в тоске над стаканом вина.

Так вот в чем искусства могучее чудо:
С такою тоскою глядит паренек,
Таким одиночеством дует оттуда,
Что глянешь – и ты уж не так одинок.

Мы выросли в годы таких потрясений,
Что целые страны сметали с пути,
А ты нам оставил букеты сирени,
Которым цвести, и цвести, и цвести.

О встрече двух родственных душ, поэта Ивана Елагина и художника-поэта Сергея Бонгарта, проникновенно написала Валентина Синкевич в статье «Иван Елагин и русские художники Америки»[23]: «С Сергеем Романовичем Бонгартом Иван Елагин встретился еще в Киеве; <…> Это был оккупированный немцами Киев. Там, в то страшное время, Елагин и Бонгарт подвергались огромной опасности, так как оба были еврейского происхождения: Бонгарт – с отцовской стороны, Елагин – с материнской. Затем, очутившись на Западе, они после войны попали в американскую зону Германии. И вот тогда, еще в разрушенном бомбами Мюнхене, у них возобновилась не только дружба, но началось настоящее творческое сотрудничество, закончившееся в Америке только со смертью Бонгарта… Своего единственного сына чета Елагиных назвала в честь его крестного отца, Бонгарта, – Сергеем… Осталось много свидетельств об этой долголетней, ничем не омраченной дружбе, встречающейся в наше время не так уж часто. Например, можно обратить внимание на обилие стихов Елагина, посвященных Бонгарту. Ему же целиком посвящена елагинская книга ‘Под созвездием топора’ (Посев, 1976). ‘Сергею Бонгарту, другу и художнику, посвящаю эту книгу’, – гласит надпись на отдельной странице в начале книги. Такие посвящения чаще всего адресуются либо женам и мужьям, либо кровным родственникам. Друзья с большим уважением относились к творчеству друг друга, оба искали и каждый из них находил у другого – словами Елагина – ‘искусства могучее чудо’. В последней подборке стихов, присланной Бонгартом для публикации во ‘Встречах’, было стихотворение, выразившее его преклонение перед словесной виртуозностью ‘мастера»’:

МАСТЕРСТВО

Ивану Елагину

Читая стихи твои снова,
Я просто поверить не мог,
Как ловко упрямое слово
В бараний ты скручивал рог.

И мне оставалось дивиться,
Как смог ты в ловушку увлечь
И как укротить эту львицу –
Строптивую русскую речь.

Она меня лапой стегнула
И клык обнажила, как нож.

А ты без хлыста и без стука
К ней в клетку так запросто вхож.

И шаг твой почуя спросонок,
Она встрепенется и вот –
К тебе подбежит, как котенок,
И мастеру руку лизнет.

Сергей Бонгарт также избрал Исход и так же, как Иван Елагин, примкнул к многотысячному потоку беженцев из СССР на Запад. Их пути из Киева в Германию были разные и соединились вновь лишь после войны – сначала в Мюнхене, на три года – с 1946 по 1949 гг., а после выезда в США друзья встретились в Нью-Йорке снова – уже в 1951 году.

Интересно отметить тот факт, что Сергей Бонгарт не проживал в лагерях Ди-Пи. Он зарегистрировался в лагере Шляйсхайм лишь на один год, перед выездом в США. Согласно обнаруженным нами регистрационным картам Сергея Бонгарта[24], до 26 января 1948 года он находился на частной квартире. Для полицейского учета по месту жительства, обязательного для всех немцев и иностранцев, указана временная прописка Сергея Бонгарта в комнате на частной квартире по адресу Либигштрассе 39 (Liebigstraße 39) в Мюнхене; по этой же жилищной прописке ему выдавались продовольственные карточки. Либигштрассе – улица в центре баварской столицы в городском районе Лехель (Lehel), полкилометра от знаменитой картинной галереи «Хаус дер Кунст» (Haus der Kunst), выстроенной по приказу Гитлера в стиле неоклассицизма по замыслу его любимого архитектора Пауля Людвига Трооста (Paul Ludwig Troost). После войны эта галерея использовалась американцами как офицерское казино и клуб. С 1946 по 1948 годы в отдельных залах галереи проводились выставки из фондов Старой Пинакотеки с представлением старых мастеров и французского импрессионизма. Не исключено, что Сергей Бонгарт, один из крупнейших художников русской эмиграции в США, посещал эти выставки.

Сергей Бонгарт зарегистрировался в лагере Шляйсхайм на короткий срок. Возможно, это было связано с тем, что для Ди-Пи в лагерях весь процесс по выезду из Германии был хорошо организован и проходил быстрее, чем для Ди-Пи, проживающих «на привате» (жаргон дипийцев).

Согласно записи в регистрационной карточке, Сергей Бонгарт выехал в США по частному приглашению. В качестве приглашающего лица указана Галина Рубинштейн (Galina Rubinstein), в качестве адреса пребывания в Америке – город Мэмфис (Memphis) в штате

Теннесси (Tennessee), по адресу Tutwiler Avenue 3181. На момент выезда из послевоенной Германии Сергею Бонгарту исполнилось 30 лет; он отправился на военном американском корабле «Marine Flasher» из Гамбурга 10 декабря 1949 года. Его друг Иван Елагин смог выехать лишь годом позже. Для Сергея Бонгарта местами его нового обитания становились поочередно Мэмфис, Санта-Моника и Лос-Анджелес.

Без сомнения, придет еще время, когда литературоведы посвятят дружбе Ивана Елагина и Сергея Бонгарта отдельное исследование. Мы же приведем стихи Ивана Елагина, посвященные Сергею Бонгарту:

И сказочно, и празднично, и страшно,
Как будто мы на части время рвем,
Когда живой кусок из тьмы вчерашней
Выламываем кистью иль пером.

Как будто время трескается с хрустом,
Как будто всё идет наоборот,
И при волшебном фонаре искусства
Из будущего прошлое встает.

ПОСЛЕДНИЙ ГОД В КИЕВЕ

Возвращаясь в Киев последних недель немецкой оккупации, стоит вспомнить об атмосфере массовой принудительной депортации гражданского населения на работы в Германию. Татьяна Фесенко вспоминает о выселении целых кварталов в Киеве, когда людей отправляли на вокзал, а квартиры и дома отдавались на разграбление немецким солдатам под предлогом «стратегических соображений». Вот что она пишет: «В те дни только редким счастливцам удавалось достать какие-либо ‘транспортные средства’. Десятки тысяч людей, согнанных с насиженных мест, вынуждены были довольствоваться для перевозки вещей только детскими колясками или наскоро сколоченными тачками и повозками. Срок, данный немцами для переселения, был на исходе… А на утро немецкие солдаты начнут шарить по квартирам и огромные немецкие машины покатятся по шоссе, нагруженные мебелью красного дерева, диванами и трюмо. Опустевшие улицы оцепят колючей проволокой и жителям под страхом смерти запретят подходить к покинутому жилью, но серо-зеленые фигуры еще долго будут выносить из домов аккуратно увязанные тюки»[25].

Такое отношение немцев к населению повлекло за собой рост закономерной ненависти к оккупантам. Если первый транспорт гражданского населения на работу в Германию в 1941–1942 годов был добровольным и сопровождался пышной рекламой счастливой

жизни в рейхе, с призывами к населению воспользоваться возможностью повидать свет, побывать в Европе, то последующие призывы не имели характера приглашения, а были приказами к эвакуации и циничной депортацией гражданского населения Киева. «Юноши и девушки ехали с песнями и цветами ‘на заработки’, рассчитывая скоро вернуться на родную землю.»[26] «Настроения в Киеве у людей были разные, – писала Татьяна Фесенко. – Множество людей, два года назад жадно ждавших немцев, отсиживаясь по чердакам и подвалам, чтобы только избежать насильственного увода (именно увода, а не увоза) из города, теперь со страстной надеждой ждали ‘своих’. Слишком уж досадили всем иноземные пришельцы, и все пороки советской власти стушевывались, забывались, заглушались надеждой, что советы ‘переменились’ – и в Бога теперь веруют, и церкви открывают, и ордена Суворова, Кутузова, даже Александра Невского ввели, и на каждом шагу говорят о ‘великом русском народе’ и ‘отечественной войне’... А главное, это не была власть иностранцев, оравших ‘Raus!’ (Вон! – *Е. К.*) и сыпавших при всяком удобном случае оплеухи. И люди снова забивались в погреба, по ночам проскальзывали юркими тенями в запретные зоны, прятались среди развалин и ждали, ждали…»[27]

И, несмотря на ненависть к немцам, киевляне знали, что их ожидает после прихода советской армии и после двух лет немецкой оккупации; знали, что каждому будут вменять в вину предательство только за то, что выжили. Страх среди киевлян перед поголовной расправой НКВД над мирным населением после вступления Красной армии был повсеместен.

Вот что об этом пишет Александр Казанцев в своей книге «Третья сила»: «За Красной армией для сотен тысяч из них, волею судеб оказавшихся на этой стороне, шла простая и неизбежная смерть. Люди, прожившие три года в условиях немецкой оккупации, рассматривались советским правительством как прокаженные, как потенциальные будущие враги советской власти. За наступающей Красной армией на улицах и площадях поднимались, как кошмарные видения, виселицы. ‘Врагом народа’ считался каждый, у кого не хватило сил умереть голодной смертью, и кто поэтому пошел ‘работать на немцев’. Вдова, за корку хлеба для голодающих детей стиравшая белье немецким солдатам; учитель, не бросивший детвору и в невыразимых тяжелых условиях наладивший занятия в сельской школе; служащий самоуправления, самоотверженно достававший топливо для больниц или детских яслей, – все они назывались ‘предателями’, ‘изменниками’, ‘врагами народа’, ‘фашистскими наймитами’. А для врагов народа дорога вела только на виселицу. Мудрено ли, что люди, задыхаясь от ненависти к оккупантам, вместе с ними уходили от род-

ных очагов на Запад, в неизвестность, чаще всего в суровую немецкую каторгу… Многомиллионная волна беженцев забивала дороги, мешала быстрому продвижению воинских частей, тормозила оперативность резервов… К осени 1944 года, когда Красная армия за исключением некоторых областей на севере достигла государственных границ, с востока на запад тянулись бесконечным потоком караваны подвод, запряженных лошадьми, на юге – нередко – волами, сопровождаемые на многие километры растянувшимися лентами пешеходов. Караваны идут в темную даль, в неизвестность, идут не куда-нибудь, а *'оттуда'*[28]. Идут не с немцами, а уходят от большевиков. Сколько их? К чему они стремятся? Никто, в том числе и они сами, не смог бы ответить на эти вопросы. На глаз считалось, что их, вышедших за пределы родины, было от десяти до двенадцати миллионов человек»[29].

Наступление на Киев и его освобождение было запланировано Верховной Ставкой Сталина на 7 ноября 1943 года. В угоду символике коммунистических дат и юбилеев Киев должен быть освобожден любой ценой к 26-й годовщине революции. Киевская наступательная операция началась 3 ноября 1943 года. Несмотря на то, что киевляне настрадались во время немецкой оккупации и жаждали освобождения, многих приводила в ужас уже сама мысль о том, что вернутся всё те же коммунистические праздники и привычная атмосфера арестов и террора, начнется поголовная проверка населения на пособничество врагу. (И всё же большинству людей хотелось верить, что советская власть изменила свое «лицо» за время войны.)

У Ивана Елагина, проработавшего на «скорой помощи» два года во время немецкой оккупации города, чей отец дважды арестовывался и был расстрелян, – а сам Иван был «сыном врага народа», не было иллюзий о милосердии советской власти; ему не приходилось ждать от нее милости. Таким же было настроение во многих русских и украинских семьях, потерявших своих родственников во время Голодомора или Большого террора. Из двух зол – нацистского и советского – многие выбирали первое. Война казалась последним шансом выпрыгнуть из предрешенной судьбы при советском строе, выехать из закрытой на советский замок страны. Уход в неизвестность пугал, но этот путь открывал возможную свободу, неизведанное, хотелось рискнуть уйти на Запад. Такие же настроения царили и в семьях Фесенко, Бонгарт, Матвеевых, что несомненно повлияло на принятие решения.

Молодость придавала Елагину особую энергию смелости, отчаянности, мужества – даже при том обстоятельстве, что решение ехать в Германию для него было сопряжено с опасностью. Его мать была еврейкой, и Иван Елагин рисковал попасть в немецкий концентрационный лагерь[30]. К счастью, его происхождение осталось тайной на

протяжении всего беженского пути. Он не был предан ни коллегами, ни друзьями, ни женой. Всего вероятней, помогло то, что документы на выезд из Киева (vorläufiger Fremdpass) были получены на Ольгу и Ивана Матвеевых, в которых указывалось немецкое происхождение Ольги Анстей как урожденной Штейнберг. Никаких вопросов у немцев не возникло к человеку, носящему типичное простое русское имя Иван и часто встречающуюся в России фамилию Матвеев.

Для Ивана Елагина это была спешная эвакуация с беременной женой, в составе многотысячного людского потока пеших беженцев, едущих на телегах и редко – на поездах перед началом Киевской наступательной операции Красной армии с 3 по 13 ноября 1943 года. Перед форсированием Днепра Красной армией в сентябре 1943 года Киев бомбили непрестанно; жертвами бомбежек становилось прежде всего беззащитное гражданское население. Об этом напишет Иван Елагин в своем первом сборнике стихов «По дороге оттуда»:

Там небо приблизилось к самой земле.
Там дерево в небо кидалось с обвала,
И ласточка бурю несла на крыле.
И лестница руку Днепру подавала.

А в августе звезды летели на мост –
Успей! Пожелай! Загадай! Но о чем бы?
Проторенной легкой параболой звезд
Летели на город голодные бомбы.

В этом стихотворении, написанном, вероятно, еще в Киеве осенью 1943 года, существительное «звезды» имеет двоякое значение: звезд в небе и на крыльях советских самолетов.

После победы в Сталинградской битве 3 февраля 1943 года продвижение советских войск было стремительным, освобождались города и селения; к августу 1943 года части Красной армии вступили в пределы Украины. К 23 августа 1943 года был освобожден Харьков, 2 сентября – Сумы, 21 сентября – Чернигов, 23 сентября – Полтава. В тяжелейших боях потери советской стороны были чрезмерно высоки – 427.952 военнослужащих[31]. Общая статистика жертв (гражданское население и военные) по форсированию Днепра и захвату Киева указывается историками как 754.392 человека[32].

До Киева доходили слухи о действиях Красной армии по отношению к гражданскому населению на освобожденных от немцев территориях, где началась не только повсеместная проверка всего населения на предмет «пособничества врагу», но и спешная массовая

мобилизация мужского населения в действующую Красную армию. Это были те, кто вольно или невольно остался в немецкой оккупации, выжившие и спрятавшиеся в лесах, в подвалах, на чердаках. Все они должны были «собственной кровью смыть позор пребывания на оккупированной территории», гласил приказ Ставки Верховного Главнокомандующего от 9 февраля 1942 года № 089. На военную службу призывались лица мужского пола, начиная с 15 лет. Это были подростки, не подготовленные и не вооруженные, изначально обреченные на гибель. Ни у кого из этих мальчиков не было ни малейшего шанса спрятаться от этой новой бойни. Они, радовавшиеся первым дням освобождения, тому, что избежали немецкой депортации, должны были искупить свою «вину» за то, что осмелились выжить. Плач матерей, сестер при их уводе из деревень и сел Украины был той страшной музыкой прощания с сыновьями и братьями. В нем чувствовалось страшное «отрезвление» от иллюзии в ожидании перемен советской власти к лучшему после войны, иллюзии «социализма с человеческим лицом».

Даже сегодня, по прошествии 75-ти лет после окончания Великой Отечественной войны, немногие ветераны, оставшиеся в живых, осмеливаются вспоминать горькую правду о высокой цене взятия Киева и форсировании Днепра осенью 1943 года. Бои за Киев были неотъемлемой частью огромной битвы за Днепр. Тяжелейшие, упорные бои за расширение плацдармов на Днепре, начавшиеся с конца сентября 1943 года, продолжались целый месяц, до 6 ноября 1943 года. Правобережные районы Киевской и Житомирской областей планировалось освободить любой ценой к 7 ноября 1943 года.

Среди сотен тысяч жертв советских солдат разных национальностей несколько десятков тысяч были так называемые «пиджачники». На эту трагическую страницу Великой Отечественной войны на многие десятилетия было наложено знакомое всем советским людям вето молчания. «Пиджачниками», или, как окрестила их народная украинская молва, – «черной пехотой», называли мальчиков 15-18 лет из т. н. «ополчения», мобилизованных советским военным командованием и отправленных на фронт без соответственного вооружения и подготовки. Мобилизацию на освобожденных территориях Украины разрешено было производить в срочном порядке без дополнительных формальностей – таких, как медицинский осмотр и пригодность к военной службе. Набор осуществлялся непосредственно действующей армией. Украинцы называют этот период мобилизации молодого мужского населения Украины в сентябре–ноябре 1943 года вторым геноцидом после Голодомора 1930-х годов. Название «черная пехота» возникло из-за цвета пиджаков – военного обмундирования не

выдавали, мобилизованные шли на фронт в своей одежде; это звучало трагично и символично – как черная смерть.

Вот что вспоминает о Киевской наступательной операции украинский писатель-фронтовик Анатолий Димаров, оказавшийся в оккупации из-за контузии, ушедший в леса к партизанам и снова призванный в ряды наступающей Красной армии в ноябре 1943 года: «Никаких медкомиссий не было. На фронт забирали калек и больных. Я уже в 20 лет был инвалидом, слепой и глухой от контузии, – всё равно взяли. И погнали нас на немецкие пулеметы – знаете с чем? С половинками кирпичей! Это был второй геноцид против украинцев. Мы были не обмундированы, не вооружены. Нас гнали целый день по лютому морозу и пригнали в местечко, разрушенное до основания. Выдали те половинки кирпичей, показали громадный водоем, скованный льдом, и сказали ждать сигнала – ракеты. А когда она взлетит, дружно высыпать на лед и бежать на врага, который засел на противоположной стороне за крепким ограждением, и выбивать его оттуда полукирпичами. А враг пусть думает, что это гранаты. Назад повернуть никто не мог, потому что нам показали хорошо оборудованные окопы, в которых через каждые три шага сидели смершевцы с нацеленными нам в спину пулеметами. Меня спасло лишь то, что я уже порох нюхал, несмотря на свои 18 лет, и бежал не в первом ряду, а в пятом. Мы добежали метров за сто от того ограждения, немцы нас подпустили. Вы представляете – голый лед, негде спрятаться! И как ударили из пулеметов кинжальным огнем! Ребята передо мной падали, как подкошенные, я тоже упал и лежал, а солдат передо мной аж вертелся от пуль, которые в него попадали. Всё время на меня наползал... Потом немцы начали стрелять из минометов – слышали о таких минах, которые называли «квакушки»? Падает, ударяется о лед, не взрывается, а подскакивает вверх метров на 4-5, тогда взрывается и осколки идут вниз. Как меня теми осколками не убило?.. А затем взрыв – и черная яма, в которую я провалился. Меня санитары так и подобрали: с намертво зажатым кирпичом в руках»[33].

По подсчетам украинских историков Коваля, Короля, Гриневич и Рыбченко[34], исследующих тему немецкой оккупации в Украине, эта советская мобилизация мужского населения насчитывала около 250 тысяч человек; все они были задействованы при форсировании Днепра и освобождении Киева. Число погибших среди них было особенно велико.

МАРШРУТ ИСХОДА ИВАНА ЕЛАГИНА ИЗ КИЕВА. ОСЕНЬ 1943

Семья Матвеевых двинулась в путь. По сообщению Татьяны Фесенко, Ольга Анстей была на последнем месяце беременности. Зная дату рождения первой дочери – Инны Матвеевой – 8 октября

1943 года – и сравнивая дату эвакуации немцами гражданского населения из Киева – начало сентября 1943 года, – можно предположить, что Матвеевы покинули Киев в сентябре 1943 года.

Как известно, гражданское население из Киева было эвакуировано – или депортировано – немцами в организованном порядке; однако к этому потоку примкнуло множество беженцев, не зачисленных в ряды депортированных. Это были те, кто сознательно решился покинуть родину. У каждого «невозвращенца» был свой маршрут Исхода и свой способ передвижения. Для Ивана Елагина и его семьи путь лежал через города и селения Восточной Пруссии и оккупированной Польши. Вот что писал Иван Елагин в сборнике «В зале Вселенной»[35], изданном в 1982 году в Нью-Йорке, за пять лет до смерти:

Я на чужбину уезжал в вагоне,
в котором перевозят скот,
Где задыхался скученный народ
От пыли, мусора и вони.

Раскаты пушечной пальбы
Да паровоза визг смертельный.
Там даже не было отдельной
Высокой человеческой судьбы.

А так: куда-то устремясь,
тащились полчища без счета.
Ненастье. Серость. Скука. Грязь.
Хлябь. Слякость. Месиво. Болото.

Мотив поезда, уезжающего с родины, часто используется поэтом в стихах уже американского периода, словно тема Исхода сопровождала его всю жизнь.

Этот поезд, крадущийся вором,
Эти подползающие пни...
Он скулил, как пес, под семафором,
Он боялся зажигать огни.
Чащами и насыпями заперт,
Выбелен панической луной,
Он тянулся медленно на запад,
Как к постели тянется больной.

Поэма «Звезды». Сб. «Ты, мое столетие!»
1948

Этот же мотив поезда есть и в первом сборнике Ивана Елагина – «По дороге оттуда», 1947 год. Строка «В одном конце кого-то обескрылит, / А на другом кого-то окрылит!» говорит о надежде выезда или расставание с этой надеждой после бомбежек во время пути, когда от налетов советской авиации крушились поезда гражданских беженцев, уходящие на Запад.

И поезд скачет с насыпи на насыпь,
Укачивает и трясет до слез,
Как будто зуб не попадает на зуб
У рельс и шпал, у стыков и колес!

Он день и ночь пространство бьет навылет
И до краев разлуками налит.
В одном конце кого-то обескрылит,
А на другом кого-то окрылит!

Маршрут Ивана Елагина трудно восстановить по деталям. Мы можем осветить географию продвижения на Запад, ориентируясь на немецкие источники об отступлении частей вермахта из Киева: Коростень, Ковель, Люблин, Лодзь, – и на отдельные известные нам факты. Мы имеем лишь единственное точное свидетельство о месте и времени – дату и место смерти Инны Матвеевой: 11 января 1944 года, городок Алленштайн. Первенцу Матвеевых исполнилось всего три месяца; боль от потери дочери Иван Елагин запечатлел в стихотворении «Памяти дочери», которое было включено им в первый сборник 1947-го «По дороге оттуда» (по дороге с кладбища, как уточнила Валентина Синкевич, близко знавшая чету Матвеевых).

Как ненужно, нелепо, случайно
Разлетаются дни, как пыльца.
Детский гроб и снега Алленштайна –
Вот чему не бывает конца.

Там в снегу, как в тумане, как в дыме,
Мы по улицам тесным идем.
Там короткое выжжено имя
На кресте раскаленным гвоздем.

Если рассмотреть дату смерти дочери Ивана Елагина в контексте дат Восточно-Прусской военной операции Красной армии и наступательной операции на Одере, начавшейся 12 января 1945 года, то стоит

предположить, что Иван Елагин и Ольга Анстей прибыли в Алленштайн ровно за год до тотального хаоса отступления частей вермахта и массового Исхода немецкого гражданского населения из Восточной Пруссии, к которому примкнули многотысячные беженцы из Украины, Белоруссии, Прибалтики и России. Городок Алленштайн, расположенный в 100 км от сегодняшнего Калининграда (Кёнигсберга) и в 140 км от Данцига, находился с января 1945 года в центре тяжелейших боев. К этому моменту Иван Елагин и Ольга Анстей уже покинули город.

Во время их пребывания в Алленштайне городок еще сохранял свой средневековый характер, хотя уже и был затронут вихрем войны. Согласно городской военной немецкой хронике, в период с января 1944 по март 1945 года в Алленштайне было разрушено бомбами и пожарами от зажигательных бомб около 1040 домов[36]. Но еще оставались неповрежденными его знаменитый замок и городская крепость. Несмотря на массивные разрушения от частых бомбардировок в январе 1944 года, город продолжал жить – пусть это и была тревожная прифронтовая жизнь с массовым потоком немецких и иностранных беженцев, раненых, с размещением тыла вермахта с военными лазаретами.

Сегодня Алленштайн (Allenstein) носит созвучное с немецким польское название Ольштынь (Olstyn) и входит в Воеводство Эрмланд-Мазурен (Ermland-Masuren). Согласно исторической летописи города, он основан у реки Аллен, отсюда и этимология его топонимики как «камень на реке Аллен». Если вдуматься, то для Ивана Елагина и Ольги Анстей, похоронивших здесь своего первенца, название Алленштайн звучало трагически-символично как «поминальный камень на реке Аллен».

Говоря об Алленштайне, стоит упомянуть, что его история восходит к XIV столетию, однако в состав Восточной Пруссии город был включен лишь после первого раздела Польши в 1772 году; 1 января 1818 года Алленштайн вошел в административный район Кёнигсберга. Город был многонациональным по своему составу (немцы, евреи, поляки, русские, украинцы) и отчасти мультиконфессиональным по характеру, с доминантой католического населения – по данным 1939 года там проживало 92,3% католиков. Проживающие в городе евреи в 1938 году подверглись массовым погромам; синагога была сожжена в тот же год. Последние дни немецкой части жизни Алленштайна пришлись на январь 1945 года. Несмотря на запрет Гитлера об эвакуации немецкого гражданского населения из Восточной Пруссии во избежание общей паники в Третьем рейхе, бургомистр Алленштайна Хорст-Гюнтер Бенкманн (Horst-Günter Benkmann)[37] принял решение о немедленной эвакуации 33 тысяч жите-

лей города за неделю до вступления советских войск в город и тем самым спас множество человеческих жизней. Город был сдан советской армии 22 января 1945 года. После решений Потсдамской конференции Алленштайн, как и вся южная часть Восточной Пруссии, отошел к Польше. На сегодня в этом польском городке проживает 173 тысячи человек, согласно переписи населения в 2019 году.

Стихотворение «Памяти дочери» было знаковым для Ивана Елагина, именно им заканчивается его первый стихотворный сборник. В этом стихотворении в последнем четверостишии поэт курсивом выделил слово *«оттуда»*, как разъяснение общего названия сборника «По дороге *оттуда*»:

...Может быть, мы сидим и поныне
Там, в пустом неприглядном кафе,
И нам снится – мы где-то в Берлине,
Присужденные к аутодафе…

Пусть состаримся мы в Сингапуре,
Но со всех отдаленных окрайн,
Через все океанские бури
Мы пробьемся к тебе, Алленштайн.

Наше место за столиком свято!
Ты продрогла, я тоже продрог;
Ты нам налил, трактирщик, когда-то
Этой смеси, похожей на грог…

Мы к тебе по дороге *оттуда*…
И расскажем мы, сидя в тепле,
Как мы наше короткое чудо
Незнакомой отдали земле.

Интересно обращение поэта Ивана Елагина не к дочери, а к городу Алленштайну. Строка «Через все океанские бури мы пробьемся к тебе, Алленштайн» звучит как клятва; Алленштайн приобретает в стихотворении иносказательный характер места прощания не только с дочерью, но и с прошлым, со всем тем, что оставлено позади. Использование наречия *«оттуда»* как части речи с его разрядом «обстоятельственного наречия по признаку места», имеет характер глобального обобщения.

Иван Елагин и Ольга Анстей не застали «конец» немецкого Алленштайна и Восточной Пруссии; им вовремя удалось выехать и

добраться до Берлина перед наступательной операцией Красной армии на Одере. Для них город Алленштайн был лишь короткой трагической передышкой на долгом беженском пути в Берлин, который также послужил им транзитной остановкой на год по дороге в спасительный послевоенный Мюнхен.

БЕРЛИНСКИЙ ПЕРИОД. ДЕКАБРЬ 1944 – ФЕВРАЛЬ 1946

Расстояние между Алленштайном и Берлином насчитывает около 600 км. Сегодня от одного города до другого можно доехать за 11 часов. А тогда, в военный период, этот путь был долгим, с частыми остановками в пути и с большими трудностями из-за частых бомбежек и поврежденных железнодорожных путей. Иногда необходимо было делать объезды, например, через Лодзь. Сложно было с продовольствием, с поиском крова над головой в разрушенных городах. Огромный поток немецких беженцев из Восточной Пруссии и таких же иностранных беженцев, как семья Матвеевых, устремился в Берлин, убегая всё дальше и дальше от наступающей Красной армии.

Каким был точный маршрут Ивана Елагина и Ольги Анстейн из Алленштайна до Берлина нам неизвестно, как неизвестна и дата их прибытия в столицу Третьего рейха. Мы будет ориентироваться по дате рождения второй дочери, Елены Матвеевой, – 8 января 1945 года в Берлине – и по информации, внесенной в беженскую карточку Ди-Пи Ивана и Ольги Матвеевых при первичной регистрации в американском лагере для «перемещенных лиц» в Берлине-Целендорфе; карточка была обнаружена нами в архиве Бад Арользен.

Со дня смерти первой дочери Инны Матвеевой 11 января 1944 года в Алленштайне до рождения второй дочери, Елены Матвеевой, 8 января 1945 года в Берлине прошел ровно год. В близости этих дат есть нечто символическое, словно в годовщину смерти их первенца у Матвеевых родилась дочь – как символ надежды на будущее в огненном вихре конца Второй мировой войны.

В декабре 1944 года перед ними предстала полуразрушенная столица Германии. Весь городской транспорт встал из-за разрушенных трамвайных путей и разгромленных станций метро; обеспечить себя продовольствием было чрезвычайно сложно. То был период агонии Третьего рейха. Согласно городской хронике, начиная с 22 ноября 1943 года Берлин систематически подвергался воздушным англо-американским налетам. Страх перед бомбежками, как перед «смертью с неба», ярко отражен в елагинских строках:

В небе смерть. И след ее запутан,
И хлеща по небу на ура,

Взвили за шпицрутеном шпицрутен
С четырех сторон прожектора!
Но укрывшись тучею косматой,
Смерть уже свистит над головой!
Смерть уже от лопасти крылатой
Падает на землю по кривой.

Поэма «Звезды».
Сб. «Ты, моё столетие!»

Пребывание в Берлине пришлось на период последних восьми месяцев перед падением Германии. Мы можем лишь представить невероятные трудности с поиском квартиры Елагиными – Ольга Анстей была на последнем месяце беременности. О черных берлинских дворах в конце 1944 – начале 1945 гг. Елагин напишет так:

Мы живем, зажатые стенами
В черные берлинские дворы.
Вечерами дьяволы над нами
Выбивают пыльные ковры.

Очень ярко описывает атмосферу последних месяцев войны в Берлине Александр Степанович Казанцев. Вот что он пишет в своей правдивой книге «Третья сила» об атмосфере Берлина в период массовых бомбардировок и о городских буднях: «Налеты переносятся по-разному, как морская болезнь. Крепкие, уравновешенные люди, мужчины, любую опасность встречающие лицом к лицу, теряют самообладание и испытывают такой страх, который расплавляет волю, туманит сознание. И наоборот, нервные, слабые женщины часто переносят то же самое гораздо спокойнее. Недели две спустя после первого сильного удара по Берлину можно было наблюдать интересное явление. Около вокзала Цоо за несколько часов до предполагаемого налета десятки, а потом сотни мужчин и женщин, молодых и пожилых, одиноких и компаниями, иногда, по-видимому, семьями, с портфелями или небольшими чемоданчиками в руках, прогуливаются вокруг вокзала и по прилегающим улицам. Это те, чьи нервы не выдерживают сиденья в подвалах домов, где они живут. Они ждут, чтобы во время налета попасть в самое безопасное место – в большой или малый бункер Цоо. Вместимость этих бункеров ограничена. В один могут вместиться двадцать тысяч человек, а в другой гораздо меньше. Люди ходят неторопливой, скучающей походкой, изредка посматривая на часы, и ждут. Ждут подолгу, часами, целыми вечерами. Особенно молодым мужчинам очень хотелось бы, чтобы окру-

жающие думали, что они ждут какого-то определенного поезда или опаздывающую на свидание даму сердца. В самом вокзале трудно пройти – всё забито сидящими и стоящими. В большинстве это пожилые женщины, старушки. Этим мнение окружающих безразлично. Ждут они иногда до поздней ночи, до следующего утра. Если будет налет, они узнают каким-то образом об этом первыми, тогда поднимаются с мест и идут к бункерам, в которые за четверть часа до воздушной тревоги начинают впускать»[38].

В одном из берлинских бомбоубежищ под звуки падающих бомб 8 января 1945 года родилась вторая дочь Матвеевых – Елена.

После рождения ребенка будни в разбомбленном Берлине стали еще сложнее. Получение продовольственных карточек для каждого жителя Германии предполагало наличие обязательной прописки. Это правило действовало и для иностранных беженцев. Легитимным документом для получения прописки и продовольственных карточек был так называемый «временный паспорт для иностранцев» (Vorläufiger Fremdpass mit Aufenthaltserlaubnis) с указанием срока действия документа и с разрешением на временное пребывание в рейхе. Такие паспорта выдавали еще на оккупированных немцами территориях, например, в Киеве. Лишь на основании этого документа был возможен въезд на территорию рейха через Восточную Пруссию; документ требовал обязательной и регулярной регистрации по месту жительства.

Чтобы понять атмосферу того времени в Берлине, проанализируем статистику. В Берлине с 1942 года наблюдается резкий рост населения до 4.478 000 человек, связанный с притоком беженцев[39]. Не вошли в эту статистику узники многочисленных лагерей для военнопленных и остовцев. Из-за частых бомбежек с середины 1943 года началась обязательная эвакуация немцев – детей, женщин, стариков. Несмотря на это, на конец апреля 1944 года в городе насчитывалось 2.774.282 человека. В их число входили 176.500 официально зарегистрированных иностранцев-беженцев из Прибалтики, России, Украины, Белоруссии, проживающих на частных квартирах в Берлине. К этому числу следует прибавить около трехсот тысяч остарбайтеров, размещенных в режиме нацистских лагерей в Берлине и его пригородах. Численность этой группы лиц восстановлена лишь после войны западными союзниками на основе имеющихся картотек нацистских лагерей в столице и окрест. Остарбайтеры не имели никакой возможности скрыться от англо-американских налетов, вход в бомбоубежища для них был строго воспрещен.

Для Ивана Елагина и Ольги Анстей после года скитаний в Восточной Пруссии Берлин не стал желанным облегчением на их беженском пути. По сообщению Татьяны Фесенко, Иван Елагин не

владел немецким языком; Ольга Анстей имела профессиональный диплом переводчицы с французского и немецкого. Она и взяла на себя обязанность по оформлению права пребывание в Берлине. Думается, что именно знание языка облегчило оформление легитимности нахождения Матвеевых в статусе беженцев.

Мы можем представить тяжелейшую ситуацию будней в городе, ссылаясь на официальную городскую хронику 1945 года[40].

29 января – общественный транспорт полностью прекратил движение.

1 февраля – Берлин был объявлен Гитлером крепостью; въезд и выезд из города для гражданского населения строго воспрещен. Геббельс издал приказ о формировании народных батальонов из стариков и подростков. Красная армия находилась уже в пригородах Берлина, в районе Кюстрин.

3 февраля – начало сильнейшей бомбардировки Берлина силами американской авиации, более 2500 берлинцев погибли, число погибших иностранцев неизвестно.

3 марта – к оборонительным работам принудительно были подключены женщины – немки и иностранки.

5 апреля – выпущен указ городского бургомистра о самообеспечении и использовании для пропитания каштанов, клевера, дубовых орехов, лягушек и улиток.

16 апреля – начало наступления частей Первого Белорусского фронта и Первого Украинского фронта.

20 апреля – появление первых советских солдат на улицах Берлина в день рождения Гитлера (56 лет).

22 апреля – советские и польские войска вошли в северо-восточные городские районы Берлина: Панков, Фронау, Нидершёнхаузен, Лихнеберг; на юге: Шёнфельд, Трептов, Целендорф.

30 апреля – Гитлер и Ева Браун покончили жизнь самоубийством в бункере в Берлине.

2 мая в 7 часов утра над Бранденбургскими воротами был водружен советский флаг.

2 мая в 15 часов – прекращение огня в Берлине для обеих сторон. Последний военный комендант Берлина генерал Хельмут Вайдлинг (Helmuth Weidling) подписал документ о сдаче города.

3 мая – в Берлине нет света, воды, газа. Сеть газовых коммуникаций длиною в 7 тысяч км полностью разрушена. Движение общественного транспорта полностью остановлено; уничтожено 1.118 вагонов метро, 420 трамваев, 900 автобусов.

4 мая – Высшее командование вермахта официально объявило битву за Берлин оконченной.

5 мая – советская Военная комендатура установила дневной рацион питания во всем Берлине: 200 г хлеба, 10 г сахара, 25 г мяса, 10 г соли, 400 г картофеля, 2 г кофе. Советские войска предоставили гражданскому населению Берлина частичное питание через полевые кухни.

8 мая – подписание безоговорочной капитуляции всей Германии в Карлсхосте, на Райнштайнштрассе (Rheinsteinstraße) в здании офицерского казино.

14 мая – советским комендантом Берлина был назначен Николай Эрастович Берзарин (19.3./1.04.1904, Санкт-Петербург, – 16.06.1945, Берлин), Командующий 27-й, 34-й, 39-й, 5-й ударных армий. На посту коменданта пробыл не более двух месяцев, погиб в автокатастрофе, едучи в нетрезвом состоянии на трофейном немецком мотоцикле со своим ординарцем[41].

15 мая – начинается общее снабжение продуктами по карточкам гражданского населения в разрушенном Берлине.

С 16 мая в Берлине было налажено радиовещание. По предложению коменданта Берзарина все часы Берлина переведены на 2 часа – в соответствии со временем в Москве (что привело к первым трениям с западными союзниками).

30 мая – налажено электроснабжение в Берлине.

1–4 июля – официальное разделение Берлина на четыре сектора союзников по антигитлеровской коалиции.

О положении беженцев в последние месяцы перед капитуляцией пишет Казанцев: «Когда в ноябре 1943 года начались большие и частые бомбардировки Берлина, число скрывающихся русских беженцев, остовцев, в нем исчислялось, вероятно, многими тысячами. В один из таких налетов, когда сгорело отделение полиции для иностранцев на Бургштрассе (Burgstraße), где погибли все картотеки и досье, немцы окончательно потеряли контроль над иностранным миром. Нам (НТС. – *Е. К.*) приходилось встречаться с десятками людей, большими компаниями живущих в развалинах и подвалах сгоревших домов, оставшихся там необнаруженными до самого конца войны»[42].

Для многих беженцев из Восточной Европы разбомбленное здание Восточного министерства в Берлине на Бургштрассе было воистину спасением; они могли «отсидеться» в руинах Берлина. Если проанализировать ситуацию применительно к судьбам Ивана Елагина и Ольги Анстей, то последние месяцы и дни падения Берлина были отмечены для их семьи прежде всего страхом смерти под бомбами «с неба», который с мая 1945 года сменился страхом «на земле» перед наступающей советской армией и страхом перед рыскающими отрядами СМЕРШа в поиске соотечественников.

Большинство «советских беженцев» скрывалось на частных квар-

тирах или в руинах домов. Никто не мог себе представить, что западные демократии в лице оккупационных военных администраций Франции, США, Великобритании начнут массовые насильственные выдачи именно этой группы беженцев, категорически отказывающихся возвращаться на родину и настроенных антикоммунистически.

Судьба советских военнопленных, принудительных рабочих («остарбайтеров») и гражданских беженцев была решена на Ялтинской конференции 11 февраля 1945 года, где были согласованы критерии лиц для обязательной принудительной репатриации:

1. Лица, проживавшие на территории СССР до 1 сентября 1939 года;

2. Лица, служившие в Красной армии с 22 июня 1941 и позже;

3. Лица, попавшие в плен, в немецкой униформе;

4. Гражданские лица, беженцы предположительно советского гражданства, находящиеся в зонах западных союзников.

Первый и второй пункты Ялтинских договоренностей были сформулированы западными союзниками и предполагали исключение из насильственной репатриации западных украинцев, эстонцев, литовцев, латышей, т. е. жителей тех регионов, которые были насильственно присоединены к СССР согласно тайному договору Молотова и Риббентропа в 1939 году. Не подлежали насильственной репатриации и этнические немцы, которые были переселены в период с 1939 по 1941 гг. в регион Вартегау. Вот численность этнических немцев: 54.000 человек из Галиции, 74.000 человек из Волыни (ее польской части), 89.000 из Буковины, 93.000 человек из Бессарабии[43]. На Потсдамской конференции 17 июля – 2 августа 1945 года, третьей и последней официальной встрече лидеров «Большой тройки», был лишь кратко обговорен план формирования пунктов репатриации и форма «передачи» репатриантов из зон западных союзников.

О том, где находились Иван Елагин и Ольга Анстей в период вступления в Берлин советских войск, точной информации нет. Всё, что мы имеем, – это краткая запись в их регистрационной карточке «Ди-Пи», которая была заведена на них в момент их первичной регистрации в одном из дипийских лагерей в американской зоне оккупации. Эти краткие записи являются надежным ориентиром для исследователей при указании точного времени пребывания Ивана Елагина и Ольги Анстей в Берлине и их дальнейшего беженского пути в Мюнхен. Нами обнаружены следующие документы в историческом исследовательском центре «Архивы Арользена» (Arolsen Archivs)[44] в городе Бад Арользен, в Федеральной земле Гессен (Hessen) в Германии:

– Карта первичной регистрации на имя Ивана Матвеева (псевдоним Елагин в карту не внесен) как перемещенного лица с правовым статусом Ди-Пи. Имя его жены Ольги Матвеевой (псевдоним Анстей в карту не внесен) и ребенка, Елены Матвеевой, внесены в его карточку.

– Карта последующей регистрации в лагерях Ди-Пи: в лагере «СС казармы» в Мюнхене и лагере Шляйсхайм-Фельдмохинг в пригороде Мюнхена. В эту регистрационную карточку внесены как данные о первичной регистрации, так и о дальнейшем процессе перевода семьи из одного лагеря в другой в американской зоне оккупации Германии.

– Карта регистрации в лагере Шляйсхайм.

– Список лиц, получивших официальное разрешение на выезд в США, предварительная проверка в сборном пункте «Функ-казарма» в Мюнхене. В этом списке есть имя Ивана Матвеева и его семьи (в лице Ольги Матвеевой и их дочери Елены Матвеевой).

– Список лиц, выезжающих из Бремерхафена в США на американском военном пароходе «Генерал Балу», куда внесено имя Ивана Матвеева и его семьи в лице Ольги Матвеевой и их дочери Елены Матвеевой.

Нами были обнаружены также аналогичные документы на имя Ольги Матвеевой (псевдоним Анстей) и Бориса Филистинского (псевдоним Филиппов), ее будущего мужа с 1950 года. На основе всех этих документов мы можем с точностью указать время и места проживания Ивана Матвеева (Елагина) и его семьи в Берлине и Мюнхене и описать американские лагеря Ди-Пи в этих городах.

Прокомментируем регистрационную карточку («DP Registration Record»)[45], заведенную на Ивана Матвеева и его семью при первичной регистрации, которая была произведена в октябре 1945 года в системе американских лагерей в Берлине.

Вопрос*: *Имя беженца:

***Ответ Ивана Елагина*:** Матвеев Иван, жена Ольга Матвеева (рожд. 1.03.1912, Киев, дочь Елена Матвеева, рожд. 1.12.1945, Берлин)

Имя беженца латинскими буквами: (Имеются два варианта написания фамилии латинскими буквами, оба варианта внесены в регистрационную карточку) – «Iwan Matwijew», «Ivan Matveev»

Год и место рождения: 1.12.1918, Владивосток, Россия

Имя отца: Венедикт

Имя матери: Серафима Лехотина

Профессия: студент

Статус гражданства: бесподданный

Место нахождения до 1 января 1938 г: Прага, Чехословакия

Предоставленный документ: Нансеновский паспорт

Где находился до окончания войны? С декабря 1944 в Берлине, жил на частных квартирах

Номер первичной регистрации в Берлине: 024426

Номер дальнейшей регистрации в лагерях Ди-Пи в Мюнхене:

G- 07353611

Прибытие в Мюнхен: 1 марта 1946 года

Лагеря Ди-Пи, внесенные в карточку:

Пять лагерей:

– с октября 1945 по март 1946 г. – лагерь Фалькенберг, Берлин-Целендорф, американская зона;

– с 1 апреля 1946 г. по 26 сентября 1947 г. – лагерь «СС казармы» в Мюнхене;

– с 26 сентября 1947 г. по 15 апреля 1950 г. – лагерь Шляйсхайм-Фельдмохинг, на расстоянии 13 км от Мюнхена;

– с 15 апреля 1950 г. – 26 апреля 1950 г. – Центр расселения Ди-Пи и выезжающих в другие страны «Munich Resettlement Center IRO Area 7» в «Функ-казарме» в Мюнхене;

– с 28 апреля – 10 мая 1950 г. – сборный пункт для Ди-Пи, выезжающих из Германии на пароходах в другие страны – лагерь Грон (Grohn), вблизи Бремена.

Регистрация в Мюнхене:

С 1-го апреля 1946 года в лагере «СС казармы» Мюнхен-Фрайманн, № 95-351, группа управления лагеря № 107.

Итак, первичная регистрация в системе американских лагерей Ди-Пи предполагала на начальном этапе – с конца апреля 1945 по январь 1946 года – прежде всего устные опросы и указание обязательной информации о нахождении того или иного лица во время войны и на момент капитуляции Германии. Для принятия того или иного беженца в американский лагерь использовался стандартный опросный лист с перечнем вопросов, главным из которых было гражданство и время пребывания вне границ СССР до 1 января 1938 года и в период до 1 сентября 1939 года, начала Второй мировой войны. Опросы производились на родном языке Ди-Пи разных национальностей преимущественно сотрудниками УНРРА, позднее, ввиду малочисленности специально подготовленного персонала УНРРА и ИРО, к этой работе стали подключать лиц из рядов самих Ди-Пи, которые владели английским и немецкими языками и хорошо знали национальный менталитет опрашиваемых беженцев. Ввиду наплыва беженцев в американские лагеря в первые месяцы после капитуляции

Германии опросы проходили хаотично. Это подтверждают многочисленные записи, внесенные в регистрационные карточки Ди-Пи со множеством ошибок в правописании имен и фамилий при переносе информации на новые регистрационные карточки.

Если проверка идентичности личности для военнопленных и остовцев производилась на основе имеющихся картотек в нацистских лагерях, то для гражданских иностранных беженцев, как Елагин, в первые месяцы после войны достаточны были устные заверения без предъявления документов. Многие советские беженцы ссылались на потерю документов из-за бомбежек и могли выдавать себя за старых русских эмигрантов, эмигрировавших в Европу после революции. Многие покупали поддельные документы – например, нансеновские паспорта, изменяли свои биографии и фамилии. Это и было стратегией выживания и давало возможность избежать насильственной выдачи из лагерей в зонах западных союзников.

С января 1946 года условия регистрации в лагерях существенно усложнились – так, например, без предъявления документов получение статуса Ди-Пи стало практически невозможным, т. к. этот статус предполагал бесплатное обеспечение в лагерях жильем, продовольствием, одеждой и медикаментами.

Какова же была ситуация лично для Ивана Елагина и его семьи после вступления советских войск в Берлин? Со времени вступления советских войск в Берлин 20 апреля 1945 года и до первой регистрации Ивана Матвеева и его семьи в американском лагере Ди-Пи Фалькенберге в Берлине в октябре 1945 года прошло ровно пять месяцев.

Разделение Берлина на четыре сектора было осуществлено 1 июля 1945 в соответствии с решениями Ялтинской конференции. Берлин приобрел особый четырехсторонний правовой статус, предусматривающий оккупационное военное управление Германией странами-победительницами: СССР, США, Великобританией, Францией[46]. Большинство советских беженцев, категорически отказывающихся возвращаться в СССР, искали и находили выходы – скрывались на частных квартирах и искали возможности как можно быстрее пробраться в западные зоны оккупации. Беженцы предпочитали американскую зону оккупации ввиду лучшего обеспечения в лагерях. США, как страна, формально вступившая в войну 8 декабря 1941, а с 1 января 1942 – в антигитлеровскую коалицию, открыла Второй фронт лишь в декабре 1943 уже после победы Красной армии в Сталинградской битве. США не пострадали «физически» от войны подобно Великобритании и Франции. После войны эти страны переживали серьезные трудности при восстановлении разрушенных транспортных инфраструктур и по обеспечению собственного населения всем

Нансеновский паспорт периода 1939–1945 гг.

необходимым, не говоря уже о поставках продовольствия для Ди-Пи.

Террористический аппарат СМЕРШа в Германии после войны действовал во всех четырех оккупационных зонах, был многочисленным, в его задачи входило выявление советских граждан в лагерях Ди-Пи в западных зонах и предусматривало их дальнейшую репатриацию в СССР. Кроме официальных советских репатриационных комиссий СМЕРШ использовал разветвленную сеть агентов в лагерях Ди-Пи, которые регистрировались под видом Ди-Пи и проводили соответствующую агитацию. Вот что по этому поводу нам сообщает С. С. Вороницын, бывший житель лагеря Шляйсхайм под Мюнхеном: «В лагерях мы узнавали сексотов сразу. Глаз был наметанный, да и узнать их было легко по явной пропаганде счастливой советской жизни. Имелась также большая агентура внештатных советских агентов, которые занимались охотой за ‘советскими’ прямо на улицах немецких городов и селений, иногда подкупались немецкие служащие в ведомствах по жилищной регистрации жителей, получая таким образом точные адреса русских Ди-Пи, живущих на частных квартирах. О формах охоты за бывшими советскими гражданами-невозвращенцами мы узнавали от советских солдат-перебежчиков из частей, дислоцированных в советской зоне оккупации»[47].

Подтверждением тому могут служить воспоминания Константина Григорьевича Кромиади, одного из ведущих сотрудников штаба генерал-лейтенанта А. А. Власова в его правдивой книге «За землю! За волю!»: «Советская власть открыла новый беженский фронт, разослав в свои репатриационные комиссии во все три оккупированные западные демократиями зоны, и беженцы в этих зонах не были гарантированы от насилия со стороны советчиков, но и не только их. Так, например, во французской зоне советчики свободно ходили по адресам эмигрантов и принуждали их пойти в советский лагерь… Советская репатриационная комиссия выезжала на ловлю своих жертв на автомобиле, а за машиной следовал большой омнибус для добычи. В таком составе они были и у нас, спрашивали жену, где я, жена сказала, что я в отъезде, сказала, что мы старые эмигранты. Люди стали бояться оставаться днем дома, чтобы не попасть экзекуторам в руки»[48].

Иван Елагин и Ольга Анстей из-за боязни быть выданными СМЕРШу осмелились на регистрацию в лагере Ди-Пи в американской

зоне оккупации лишь спустя полгода. Первым дипийским лагерем для них стал американский лагерь Фалькенберг в Берлине.

В ЛАГЕРЕ ФАЛЬКЕНБЕРГ

Лагерь Фалькенберг (Falkenberg), внесенный в регистрационную карточку Ивана Матвеева, имел номер № 102-8 в системе американских лагерей. Как и многие американские лагеря Ди-Пи, Фалькенберг был сформирован на месте бывшего нацистского лагеря. Этот лагерь был расположен в городском районе Целендорф (Berlin-Zehlendorf). Согласно регистру лагерей Ди-Пи в американской зоне, адрес лагеря был Teltower Damm 87/92, Berlin. Предыстория лагеря Ди-Пи весьма характерна: с 1940 года Фалькенберг вошел в систему нацистских концентрационных лагерей и стал филиалом концентрационного лагеря Заксенхаузен (KZ Sachsenhausen)[49]. Во время войны заключенные обслуживали швейную фабрику Spinnstofffabrik Zehlendorf, выпускающую военную продукцию для Люфтваффе, – шили парашюты. В числе рабочих были остарбайтеры, а также с 1943 года – еврейские подростки из Берлина. После войны здания швейной фабрики и принадлежащие ей жилые бараки использовались американцами в качестве лагеря для «перемещенных лиц». Здесь и прожили Иван Елагин и Ольга Анстей с дочерью с октября 1945 до конца февраля 1946-го. В конце февраля они «выехали» в Мюнхен, куда прибыли в начале марта 1945, согласно информации в их регистрационной карточке Ди-Пи.

Здесь следует уточнить, что сама формулировка «выехали в Мюнхен» неверна в связи с тем, что самостоятельный переезд Ди-Пи с одного на другое место был невозможен с момента их регистрации. Перевод из лагеря в лагерь имел организованный характер. От дипийца ничего не зависело; учитывалось лишь желание по воссоединению семей в том или ином лагере внутри одной зоны. До декабря 1946 года передвижение Ди-Пи было строго регламентировано и предусматривало разрешение на выезд из одного региона или зоны и въезд в другую зону. Эта же строгость передвижения между секторами внутри оккупированной Германии существовала и для немцев. Несомненно, имелись частные случаи нелегального пересечения границ оккупационных зон, к которому прибегали как немцы, так и иностранные беженцы.Эта процедура упростилась лишь с момента провозглашения «бизонии», т. е. воссоединения американской и британской зон в Германии в декабре 1946 года, и позднее, в июне 1948 года, «тризонии», путем присоединения к ним французской зоны.

Нам неизвестны подробности жизни Ивана Елагина и его семьи в американском лагере в Берлине-Целендорфе. Но согласно информации о нансеновском паспорте Ивана Матвеева, мы можем с уве-

ренностью утверждать, что получение этого документа спасло им всем жизнь. Позволим себе кратко остановиться на этом.

В регистрационной карточке отмечено, что семья Матвеевых – русские эмигранты из Праги (Чехословакия), предоставившие нансеновские паспорта как документ, идентифицирующий их личности. Поясним, откуда взялась «Чехословакия». Чтобы избежать насильственной репатриации, беженцы всеми путями скрывали свое советское гражданство. Одной из таких стратегий выживания была регистрация под чужой, часто выдуманной, фамилией; многие меняли свою биографию, место и дату рождения. Для советских военнопленных и остарбайтеров такая стратегия выживания была практически невоплотима по причине имеющихся немецких лагерных картотек с информацией об их личности (времени и места депортации / плена). Данные на того или иного узника были систематизированы немцами, а после освобождения идентичность узников нацистских лагерей проверялась западными союзниками на основе этих картотек. Как известно, нацистские лагеря после окончания войны были не сразу расформированы из-за опасности вспышки эпидемий туберкулеза (ТВС). Помещения лагерей использовались западными союзниками и далее, но уже как сборные пункты для огромного количества «перемещенных лиц», откуда и производилась массовая репатриация западно- и восточноевропейских военнопленных и остовцев. Репатриация из этих лагерей имела массовый и организованный характер. Исключений было мало. Репатриация имела добровольный характер у западноевропейских узников. Из числа восточноевропейских и советских военнопленных и рабочих многие также уезжали домой: оказавшиеся не по своей воле в Германии, они ожидали понимания на родине. Увы, эти иллюзии рухнули уже по прибытии на советские пункты передачи и обмена репатриантами в Германии. Дальнейший путь советских репатриантов был многострадальным: эта категория лиц подверглась длительным проверкам соответствующими карательными органами СССР, они прошли многолетнюю фильтрацию в советских исправительно-трудовых лагерях, и, если люди выживали, им была обеспечена социальная изоляция и понижение в гражданских правах, ограничение мест проживания и работы.

Иван Елагин и Ольга Анстей не сменили фамилию, не придумали новую биографию, как это делало большинство. Они сохранили реальную информацию о себе при первичной регистрации в американском лагере, предоставив спасительные нансеновские паспорта, выписанные на их имена.

Если бы знал знаменитый норвежец-полярник Фритьоф Нансен (10.10.1861 – 13.05.1930), каким волшебным ореолом защиты для рус-

ских людей звучало его имя в Германии после Второй мировой войны и какие привилегии имели счастливчики – владельцы нансеновских паспортов! Нансен, получивший Нобелевскую премию в 1922 году за оказание помощи русским беженцам после Первой мировой войны, не ведая – не зная, спас Ди-Пи разных национальностей и, прежде всего, много тысяч беженцев из СССР после Второй мировой войны.

Этот документ был введен как легитимный в Европе в августе 1921 года по инициативе Лиги Наций (League of Nations), международной организации, основанной в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского мирного соглашения об окончании Первой мировой войны; в Лигу Наций вошло 58 государств. Нансеновский паспорт был введен преимущественно для миллионов эмигрантов из России, живущих в разных странах рассеяния и не имевших стабильного правового статуса. Документ давал право на устройство на работу, прописку и право на постоянное пребывание в той или иной стране. Большинство русских эмигрантов после революции имело паспорта Российской империи – исчезнувшего государства. Декрет ВЦИК и Совета Народных Комиссаров (СНК) от 15.12.1921 объявлял всех русских эмигрантов лицами, лишенными гражданства. Это поставило русских эмигрантов в чрезвычайно сложную ситуацию и потребовало решения проблемы на международном уровне. Согласно статистике, к июлю 1922 года в Европе находился миллион сто шестьдесят тысяч русских, оказавшихся без гражданства. На конференции десяти европейских стран было принято решение о выпуске документа, удостоверяющего личность человека без гражданства – нансеновского паспорта. Для его получения были созданы представительства Верховного Комиссара Лиги Наций (Фридьофа Нансена) в разных европейских странах для оказания юридической помощи этой группе лиц. С 1 июля 1922 года этот документ стал спасением не только для русских эмигрантов, но и для 320 тысячи армян, спасшихся от турецкой резни 1920 года.

После Второй мировой войны нансеновские паспорта не выдавались. По оригиналам этих паспортов делались поддельные, которые предоставлялись властям как легитимный документ и доказательство того, что владелец паспорта не является советским гражданином. В этом авантюрном предприятии большую помощь советским беженцам оказали русские эмигранты первой волны, владельцы оригинальных паспортов.

Какова история «перевоплощения» бывшего гражданина СССР Ивана Матвеева во владельца нансеновского паспорта узнать уже невозможно. Мы можем лишь понять психологическое состояние человека в его ситуации. Вот что об этом пишет в своих мемуарах

Татьяна Фесенко, жившая после капитуляции Германии в Бамберге и приехавшая в 1946 году в Мюнхен: «Последнее время все живут в нервном напряжении: в лагерях проходят проверки, знаменитые ‘скрининги’, которые, по слухам, грозят и нам, жителям ‘приваток’, т. е. частных квартир. Все несчастные ‘восточники’, перекрасившиеся в ‘западников’, переживают тревожные дни. В проверочной комиссии Бамберга сидит некто, говорящий по-польски, по-украински, по-румынски и прочее, прекрасно знающий города и веси Галиции и наводящий ужас на бедных ‘оборотней’ каверзными вопросами. Многие не выдерживают постоянного напряжения, говорят правду о советском подданстве, а потом тоскливо ждут последствий. Большинство же цепляется за старательно придуманные и вызубренные биографии, учит расположение улиц в якобы родных городах, узнает количество воеводств в Польше, жадно расспрашивает, какие газеты выходили там до войны, чьи портреты висели в польских учреждениях, словом, готовит себя к страшному экзамену. Как хочется сказать правду, не дрожать из-за незнания польского языка, незнания чужой жизни! Отречься от любимого Киева, от говорливой Одессы – выше наших сил! И мы создаем официальную легенду о том, как нас маленькими детьми вывезли родные, отступившие с Белой армией. Эта легенда сослужит нам службу при встрече с советскими представителями, но мы с искренним облегчением разоблачим себя, отплывая к берегам новой родины (США)»[50].

Интереснейшую интерпретацию феномена подделки идентичности бывшими советскими гражданами мы находим в докладе Людмилы Сергеевны Оболенской-Флам «Времена дипийские», сделанного в Доме Русского Зарубежья в Москве 24 сентября 2012: «Напомню, что выходцы из СССР, будь то бывшие военнопленные, насильственно вывезенные в Германию на работы ‘остовцы’ или добровольно ушедшие в западном направлении жители оккупированных немцами областей, – подлежали репатриации. Под давлением Сталина, об этом договорились в Ялте Рузвельт и Черчилль, а потом и Де Голль. Репатриации подлежали все, кто на 1939 год имел советское гражданство. Таким образом, это соглашение не относилось к ‘старым’ (белым) эмигрантам и беженцам из Прибалтики. Поэтому, чтобы избежать насильственной выдачи, бывшие советские граждане шли на всевозможные ухищрения и обзаводились разными липовыми удостоверениями, делавшими их либо старыми эмигрантами, либо гражданами других восточноевропейских государств. В Мюнхене, например, стараниями двух старых эмигрантов (генерал Шевелев и Юрьев) возник Русский комитет, который выдавал людям сфабрикованные удостоверения на английском языке, что предъяви-

тель никогда советским гражданином не был. Узнав об этом, оккупационные власти потребовали, чтобы комитет выдал список лиц, получивших такие удостоверения, но получили отказ на том основании, что комитет, якобы, был ограблен и списки выкрадены. Липовые бумажки изготовлялись и в частном порядке на основании паспортов и документов разных государств, с которых при помощи крутого яйца и другими способами снимали копии печатей. (Юрий Елагин, автор книг «Укрощение искусств» и «Темный гений», к примеру, сделался турецким подданным, другие сходили за поляков, балтийцев (художник Сергей Бонгарт стал рижанином!), югославов... (Мне рассказывали, что один человек, проходя репатриационную комиссию, перед которой все дрожали, доказывал, что он из Венгрии. – Но если вы из Венгрии, то почему не говорите по-венгерски? – А я жил в лесу, – нашелся тот.) Помимо добровольных усилий всячески помогать тем, кто был под угрозой выдачи (в этом принимали участие нередко и сами представители оккупационных властей), шла также и торговля подложными документами на черном рынке. Наша семья (а были мы латвийскими гражданами, проделав все необходимые проверки и процедуры для выезда в США, к своему изумлению узнала, что по нашим документам и под нашей фамилией из Германии уехала другая семья, а мы, вместо Америки, попали в Африку, точнее, в Марокко. Каким образом тем людям удалось получить наши латвийские бумаги на выезд, мы никогда не узнаем. Но это одна из иллюстраций того факта, что многие бывшие советские граждане маскировались под выходцев из других стран, а посему их точное число определить не представляется возможным. Будем же считать, что в середине сороковых годов прошлого столетия в западных зонах Германии и Австрии их было порядка 150 тысяч, цифра, которую приводит в своей книге ‘Две России XX века’ Борис Пушкарев. К этому надо добавить примерно 30 тысяч старых эмигрантов, получивших статус Ди-Пи»[51].

В качестве еще одного примера изменения фамилии и биографии нам хотелось бы привести отрывок воспоминаний Татьяны Фесенко: «Наши первые дни в Мюнхене прошли на краю города, в заброшенном бараке, открытом нашими старыми киевскими друзьями. Открыли они его в полном смысле слова – починили дыры в потолке, поставили железную печку, и для всех знакомых, попадавших в баварскую столицу по сложным послевоенным делам, ‘был готов и стол, и дом’. За этим же столом обсуждалась биография очередного гостя, из которой были тщательно изъяты все моменты, указывающее на советское подданство. Такая, скорректированная всеми присутствующими, версия потом бойко сообщалась на ‘скрининге’, без которого нельзя было получить назначение в лагерь перемещенных

лиц. Иногда изменялись фамилии – сходило удачно, но позже у некоторых возникали осложнения: в других городах, а иногда и в других зонах оккупации, находились потерянные во время войны члены семьи, в разное время вывезенные немцами. Чтобы создать снова одноименные семьи и как-то унифицировать исправленные и дополненные биографии, приходилось делать странные вещи: отцы усыновляли кровных детей, мужья начинали усердно ухаживать за собственными женами и чинно вели их в немецкий ‘штандесамт’ (ЗАГС. – *Е. К.*), где фрау Иванова, потерявшая мужа во время войны, законно становилась фрау Петровой. Чистенькая барышня, выстукивавшая на машинке очередное свидетельство, и не подозревала, что счастливый новобрачный и трагически погибший герр Иванов – одно и то же лицо. У нас исправления, по сравнению с другими, еще незначительные: Киевский университет превратился в Львовский, добавлены два-три якобы убедительных штриха, долженствующие рассеять все подозрения в советском подданстве, и мы готовы предстать перед проверочной комиссией. Наконец испытание пройдено и в руках у нас направление в лагерь километрах в пяти от северной окраины Мюнхена, того самого Швабинга, который считался баварским ‘Латинским кварталом’»[52].

Вот что писал о «биографических метаморфозах», например, прозаик Борис Филиппов (настоящее имя Борис Филистинский) о своем пребывании в лагере Мёнхехоф, вблизи города Касселя, вспоминающий уже знакомую историю о «лесном французе»: «В кассельских лагерях Ди-Пи в 1945 году в репатриационной комиссии восседал толстомордый капитан-чекист Лобанов. Сколько тогда ночами, перед вызовом в комиссию, делалось новых, дополнительных, уже сфабрикованных, документов, доказывающих, скажем, что Онищенко Осип Трофимович, 1907 года рождения (в прошлом – счетовод колхоза им. Котовского), является т. Онитенко Жозефом, родившимся в городе Аменье, бесподданный. Печати для этих удостоверений делались с большим профессиональным умением, вырезались на коже, рисовались на толстых ломтях сыра химическим карандашом, один профессиональный гравер искусно резал их и на линолеуме. Города рождения и проживания в них Онищенок и Ивановых, Тер-Абрамянов и Хамбаевых выбирались чаще всего из числа дотла выжженных и разбомбленных, чтобы никаким способом нельзя было бы добиться проверки документации в тамошних учреждениях и архивах. Но ‘помогала’ у капитана КГБ Лобанова, к великому огорчению, оказался дотошным и знавшим кое-как французскую мову, на какой он и задал Онищенко какой-то вопрос. – Що вин говóрить? – повернулся ко мне, ожидавшему своей очереди идти на пытку допроса и опроса мнимому жителю Латвии, озадаченный Онищенко. И на

вопрос, уже по-русски, как он, родившийся и постоянно проживающий в Аменье, не знает французского языка, Онищенко, уже оправившийся от неожиданности, невозмутимо ответил: – Так я ж усю жизню жил в лесе, з лесу и не выходив. А другой бедолага, окончательно запутавшийся в невнятице вчера только сфабрикованной ему документации и никак не могший произнести названия городка, где он появился на Божий свет, на вопрос: – Где же он все-таки родился? – безнадежно махнув ручищей Микулы Селянича, тускло ответил: – Нигде!»[53]

Эти воспоминания дают представление о поисках выхода из безнадежной ситуации для русских людей в период охоты СМЕРШа и советских репатриационных комиссий за советскими беженцами во всех зонах оккупации Германии. Западные союзники, согласно Ялтинским договоренностям, позволяли вплоть до конца 1946 года посещать лагеря Ди-Пи в своих зонах и проводить советским репатриационным офицерам собственные опросы по выявлению советских граждан с целью их отправки в СССР. Интересы западных союзников по сокращению численности Ди-Пи и по сокращению расходов на их содержание в лагерях циничным образом совпали с интересами советского правительства. Это продолжалось вплоть до начала «охлаждения» отношений между западными союзниками и СССР в декабре 1946 года. С этого момента право на выбор оставаться или возвращаться на родину для восточноевропейских Ди-Пи, прежде всего для советских беженцев, было узаконено Конгрессом США как легитимное право. Правда, несмотря на это, насильственные выдачи продолжались и дальше, хотя уже не в массовом масштабе.

Советские репатриационные комиссии Иван Елагин сравнивает с «половцами» и их «полозями» из поэмы «Слово о полку Игореве», грубо «проползающих по человеческим судьбам»:

Постоял у корпуса.
Самокрутку выкурил.
Холм полночный сгорбился,
Как в походе Игоря.

За холмом-то половцы.
Так и ждут, чтоб вылезти.
Слышится, как полозы
Ползают, извилисты.

Не слыхать ни голоса
Птицы, ни собачьего
Лая, – только полозы
Проползают вкрадчиво.

Только близко половцы
С копьями и с луками.
А казарма полнится
Яростными слухами.

Что сосед вполголоса
Говорит – не вынести.
По казарме полозы
Ползают, пружинисты.

Слух за слухом тужится
Сердце обволакивать,
Чтоб в поту от ужаса
Среди ночи вскакивать.

Время ураганное,
И бывает всякое…
Жизнь у нас престранная,
Жизнь у нас двоякая!

В этой удручающей атмосфере неизвестности Иван Елагин пишет о парадоксальном дипийском «пире во время чумы», сопоставляя события в лагере как противоречивые, используя поэтический прием «событийных антонимов», вынесенных в скобки:

В мыслях безалаберно.
Что же с нами станется?
(А в театре лагерном
Ставят «Бесприданницу».)

Завтра, может, за ноги
Выволокут недруги.
(Курсы по механике,
Курсы по электрике.)

Завтра яму выроют,
Сгинешь смертью лютою.
(Кто-то спекулирует
В лагере валютою.)

В коридоре – дамочки
Голосок взволнованный

Перед детской ванночкой
С сельдью маринованной.

Там торговля шумная –
Вмиг селедка кончится!
(Время хоть и чу́мное –
Пировать нам хочется!)

То этаж казарменный
Или круг то адовый?
Небо светозарное,
К нам ты не заглядывай.

(*Продолжение в следующем номере*)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Протоирей о. Александр Киселев*. Облик генерала А. А. Власова. Записки военного священника. – Нью-Йорк. 1952. – С. 135.

2. Город Энгельс именовался до 1914 г. Покровской Слободой, с 1914 – Покровском, с 1931 – Энгельс. Исторически город был многонациональным и мультиконфессиональным: русские, калмыки, немцы, татары, малороссы. С 1931 г. город получает статус столицы Автономной республики немцев Поволжья, был основан Немецкий педагогический институт и Немецкий сельскохозяйственный институт. С началом Великой Отечественной войны сюда ссылались русские немцы на поселение со всех регионов России. Население города в 1941 г. возросло с 40 тысяч до 90 тысяч жителей.

3. *Wolfgang Kasack*. Lexikon der russischen Literatur ab 1917 (Kröners Taschenausgabe. Band 451). – Kröner, Stuttgart. 1976; 2-е издание – 1992, 3-е издание – 2000. Дальнейший перечень изданий биографического характера, в состав которых вошли также материалы о Иване Елагине, даст представление читателю о последовательности интереса исследователей к биографии поэта: «Мы жили тогда на планете другой». Антология поэтов Русского Зарубежья. 1920–1990 / Сост. Е. В. Витковский. – М., 1994; «Вернуться в Россию – стихами...» 200 поэтов эмиграции. Антология / Сост. В. Крейд. – М., 1995; *В. В. Агеносов*. Литература Русского Зарубежья 1918–1996. – Москва. 1998, а также: Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции. – Москва, СПб.: АИРО-XXI/ Алетейя. 2014; *А. Александров*. Русские в Северной Америке. Биографический словарь. – Хэмден, Коннектикут, США. 2005.

4. *Татьяна Фесенко*. Повесть кривых лет. – Новое русское слово. 1963.

5. Там же. – С. 6.

6. Там же.

7. Там же. – С. 71.
8. Там же. – С. 73.
9. *А. С. Казанцев*. Третья сила. – Москва: Посев. 1994. – Сс. 168-178.
10. Электронная еврейская энциклопедия. URL: https://eleven.co.il/
11. Урочище Бабий Яр находится в северо-западной части Киева, между районами Лукьяновка и Сырец.
12. URL: https://kiev-maps.io.ua/s411001/kievskie_yary_i_ovragi
13. *Татьяна Фесенко*. Указ. соч. – Сс. 76-82.
14. Там же. – С. 93.
15. Люшей звали Ольгу Анстей друзья и знакомые. По сообщению Т. Фесенко и В. Синкевич.
16. *Татьяна Фесенко*. Указ. соч. – С. 85.
17. Там же.
18. Там же. – С. 88.
19. *Валентина Синкевич*. Ольга Анстей. К 100-летию. – «Новый Журнал». № 267. 2012.
20. «Канатчикова дача» – народное название психиатрической больницы в Москве. Название по фамилии купца Канатчикова, во владении которого находилась эта местность в середине 19 века. В 1894 году здесь на частные пожертвования была построена и открыта психиатрическая больница, инициатором возведения которой был городской голова Н. А. Алексеев. Больница носила его имя до 1917-го, с 1922 г. названа именем П. П. Кащенко.
21. Беседа автора с М. Г. Маас-фон Кутче от 20.12.2018, Мюнхен.
22. *О. Л. Лейкинд, Д. Я. Северюхин*. Искусство и архитектура Русского Зарубежья. URL: https://artrz.ru/
23. *Валентина Синкевич*. Иван Елагин и русские художники Америки. – «Новый Журнал». № 260. 2010.
24. Arolsen Archives, Akt № 70112325.
25. *Татьяна Фесенко*. Указ. соч. – С. 91.
26. Там же. – С. 82.
27. Там же. – С. 93.
28. Слово «оттуда» является поэтической составной и в названии первого сборника Елагина «По дороге оттуда», вышедшего в 1947 году в Мюнхене.
29. *А. С. Казанцев*. Указ. соч. – С. 205.
30. *Houston Stewart Chamberlain*. Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. 1899. Согласно этой теории, Елагин, имея мать еврейку и отца православного, относился к группе «смешанных рас» (Mischling), которые хоть и не подвергались полному уничтожению, но лишались всех социальных прав и могли также быть заключены в лагерь.
31. *G. F. Krivošeev* (Hg.). Rossija i SSSR v vojnach XX veka. Poteri vooružennych sil. Statističeskoe issledovanie. (Memento vom 21. Dezember 2008 im Internet Archive) (Russland und die UdSSR in den Kriegen des 20. Jahrhunderts. Verluste

der Streitkräfte. Statistische Untersuchung) – Olma-Press, Moskau. 2001. *Christian Zentner*. Der Zweite Weltkrieg. – Unipart Verlag, Stuttgart. 1986.
32. *G. F. Krivosheev*. Soviet Casualities and Combat Losses in the Twentieth Century. – London: Greenhill Books. 1997.
33. Анатолий Димаров (1922, Миргород. – 2014, Киев), украинский прозаик, писатель-фронтовик.
34. *М. Коваль*. Серия «Україна крізь віки»: Україна: 1939–1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – Киев, 1995; Україна у Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах (1939–1945): спроба сучасного концептуального бачення». – Киев, 1999; Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.); *В. Кучер, В. Гриневич, В. Коваль*. Політичної історії України. 4-й том: Україна у Другій світовій війні. 1939–1945 рр. – Киев, 2003.
35. *Иван Елагин*. В зале Вселенной. Сборник стихов. – Ann Arbor: Hermitage. 1982. Сборник был оформлен американским художником Сергеем Голлербахом, другом Елагина.
36. По материалам: *Anton Funk*. Geschichte der Stadt Allenstein 1348–1943. – Scientia-Verlag. 1979; *Robert Albinus*. Königsberg Lexikon. – Würzburg. 2002.
37. *Robert Albinus*. Königsberg Lexikon. – Würzburg. 2002.
38. *А. С. Казанцев*. Указ. соч. – С. 111.
39. Информация по демографической статистике: *Peter Ring*. Bevölkerung. In: *Horst Ulrich, Uwe Prell, Ernst Luuk (Hrsg.)*. Berlin Handbuch. Das Lexikon der Bundeshauptstadt. – Berlin: FAB-Verlag. 1992.
40. URL: https://berlingeschichte.de/kalender/jahr/1945.htm
41. У немецких историков есть различные версии гибели первого советского коменданта Берлина. См. исследования *Фрайгер Рут*. Вервольф. Осколки коричневой империи. – М.: Яуза, 2007; а также *Kai Ritzmann*. In: Die Welt; Mythos Bersarin Unfall oder Mord? – 17.03.2003.
42. *А. С. Казанцев.* Указ. соч. – С. 111.
43. *Wolfgang Jacobmeyer*. Vom Zwangsarbeiter zum heimatlosen Ausländer. Die Displaced Persons in Westdeutschland 1945–1951. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985. – C. 156.
44. Arolsen Archives является исследовательским центром по сбору и изучению истории нацизма, нацистских лагерей в Германии и Европе, изучении трагедии евреев во время Второй мировой войны. Архив размещен в Северо-Гессенском регионе Германии в городе Бад Арользен. С мая 1945 г. до 20.05.2019 архив имел английское название «International Tracing Service» (ITS). С 21.05.2019 г. он был переименован в «Архивы Арользена». После Второй мировой войны этот архив был создан на базе документов, поступивших из нацистских концентрационных и рабочих лагерей Германии и Австрии, с мая 1945 г. выполнял услуги в поиске пропавших и убиенных для всех четырех оккупационных зон Германии. Это давало возможность выяснить судьбу жертв нацистских лагерей (лагеря разных типов: концлаге-

ря, рабочие лагеря, лагеря военнопленных и т. д.) Эти документы стали также базой данных для проверки идентификации личностей Ди-Пи после войны для западных союзников. О тех же людях, кто не был в нацистских лагерях, а был впервые зарегистрирован как Ди-Пи в западных зонах оккупации, также собрана информация о первичной регистрации, их переводе из лагеря в лагерь, о выезде из Германии в другие страны.

45. Вся информация о Ди-Пи вносилась по-английски. Опрос производился в основном сотрудниками УНРРА и ИРО из рядов самих Ди-Пи, владеющих языками беженцев, а также английским и немецким. Согласно данным УНРРА, в Германии находилось после войны в западных зонах около 7 млн человек, граждан стран Западной и Восточной Европы, говорящих на 20 языках.

46. *Arthur Schlegelmilch.* Otto Ostrowski und die Neuorientierung der Sozialdemokratie in der Viersektorenstadt Berlin. In: Jahrbuch für die Geschichte und Mittel und Ostdeutschlands. Bd. 14 (1993). – S. 59.

47. Интервью автора от 12.03.2019 с С. С. Вороницыным, 92 лет, родом из Нови Сад, Сербия.

48. *К. Кромиади*. «За землю, за волю!». – Сан-Франциско. 1980. – С. 257.

49. Verzeichnis der Konzentrationslager und ihrer Außenkommandos (6. DV-BEG) Lfd. Nr. 118.

50. *Татьяна Фесенко*. Указ. соч. – Сс. 164-165.

51. Манускрипт доклада был любезно предоставлен автору Л. С. Оболенской-Флам 3.03.2020.

52. *Татьяна Фесенко*. Указ. соч. – Сс. 178-179.

53. *Борис Филиппов*. Всплывшее в памяти. Рассказы, очерки, воспоминания. – London: Overseas Publications Interchange Ltd. 1990. – С. 264.

Мюнхен

Ольга Матич

Три поразительных и очень разных романа

К 45-летию литературной деятельности Саши Соколова

Мы с Сашей Соколовым знакомы с 1978 года, а познакомила нас его тогдашняя жена Лиля, преподававшая русский язык в Университете южной Калифорнии в Лос-Анджелесе на кафедре славянских языков, которой я тогда заведовала. Мы с Сашей стали друзьями и, несмотря на длинные перерывы в общении, дружим до сих пор. Соколов в то время заканчивал свой второй роман «Между собакой и волком», опубликованный в 1980 году; некоторые русские читатели считают его лучшей книгой Соколова. Среди них – писатель Владимир Сорокин, о чем он мне сам говорил, когда выступал в Калифорнийском университете в Беркли уже в XXI веке, назвав ее лучшей русской прозой конца XX века. При этом в свое время книга прошла практически незамеченной в Зарубежье; об этом говорил поэт Алексей Цветков на конференции «Третья волна: Русская литература в эмиграции» (1981). «Между собакой и волком» – название из «Евгения Онегина» («Пора меж волка и собаки») – перевел на английский язык Александр Богуславский только в 2016 году, отчасти потому, что текст очень сложный в языковом и в повествовательном отношениях, – и не только для иностранного, но и для русского читателя.

«Школа для дураков» (1976), «Между собакой и волком» (1980) и «Палисандрия» (1985), опубликованные издательством «Ардис», вышли в течение десяти лет; но писались, конечно, дольше. Из примечательного: они сильно отличаются друг от друга тематически, стилистически и в жанровом отношении[1]. Незадолго до выхода «Палисандрии»[2] я провела интервью с Соколовым; небольшой кусок из него был опубликован в «Русской мысли» в том же 1985 году. Он вышел под названием «Нужно забыть всё старое и вспомнить всё новое» – так ответил писатель на мой вопрос о будущем романе и добавил: «Как сказал один американский писатель, для ‘испечения’ каждого нового романа нужна новая сковородка. И вот я сейчас занимаюсь изготовлением сковороды для очередной книги. [Нужно] от чего-то очиститься, а к чему-то приобщиться»[3]. Как читатель знает, нового романа не последовало, хотя Соколов рассказывал, что, уехав из Америки/Канады в Грецию, он там его написал, но что рукопись

сгорела вместе с домом, в котором он ее оставил, уезжая на время в Москву. Непонятно, однако, почему автор его не восстановил. Это одна из многих загадок, окружающих его личность.

Саша Соколов считается если не лучшим, то одним из лучших русских писателей второй половины XX века, который повлиял на дальнейшее развитие русской авангардной литературы. Действие «Между собакой и волком» происходит в Заитильщине[4] (Заволжье), в сумерках, т. е. в межвременьи, которое отчасти также обозначает состояние между жизнью и смертью (Итиль, старое название Волги). Главная тема романа – язык, – то, что я бы назвала «плетением словес»[5], включая переплетения нарратива. Как сказал Дон Джонсон, делавший доклад о «Между собакой и волком» на конференции о «третьей волне»: «Художественность у [Соколова] замкнута на себе самой, очищена, а затем очищена еще раз – до еще большей чистоты»[6].

В романе важную роль играет поэзия под названием «Записки охотника»; их пишет образованный горожанин, поселившийся в Заитильщине и работающий охотничьим сторожем. Совмещение прозы и поэзии предвещает новый жанр Соколова, который он назовет «проэзией», характеризующий его литературный стиль начала XXI века. Вот как он его описывает: «Стихи и прозу я начал писать одновременно. Я придумал этот термин – *проэзия* – чтобы обозначить то, что я делаю, потому что это и не проза, как ее сейчас понимают, и не лирика. Вот – Гоголь, он для меня образец: его проза – это возвышенная речь»[7]. (Гоголь – любимый писатель Соколова.) Тексты в жанре проэзии опубликованы в «Триптихе» (2011), в который вошли «Рассуждение», «Газибо» и «Филорнит», но в отличие от них, стихи и проза в «Между собакой и волком» существуют раздельно.

Время и пространство сливаются или переливаются друг в друга в романе, – повествовательный прием, который уже наблюдался в модернистском «Петербурге» Андрея Белого, сыгравшем огромную роль в становлении русской авангардной прозы конца XX века. Помимо плетения словес, в романе Белого часто встречаются словесные изображения самых разных визуальных образов. В «Между собакой и волком» художник Яков Паламахтеров часто рисует, «малюет» свои впечатления о прошлом и пишет портреты, затем их выставляют в главах под названием «Картинки с выставки».

* * *

Соколов начинал с *тамиздата*, пересылки рукописи своего первого романа «Школа для дураков» за границу и ее публикации за пределами Советского Союза. Тамиздат как явление постсталинской литературы можно ассоциировать с концептуализацией «простран-

ственного поворота» в западной теории гуманитарных и социальных наук. В центре внимания «пространственного поворота» 1970–1980-х годов (зачинатели Анри Лефевр, Мишель Фуко и Мишель де Серто) фигурировало соотношение времени и пространства. Вот что писал Фуко о пространственном повороте:

> «Мы живем в эпоху сопоставления, в эпоху близкого и далекого, примыкающего и рассеянного, дисперсии. <…> Мне представляется, что мы живем в такой момент, когда мир воспринимается не столько долгой жизнью, длящейся во времени, сколько сетью, связывающей между собой всякого рода точки и перекрещивающиеся нити в свою ткань»[8].

Он произнес эту речь в 1967 году, но она была опубликована лишь в 1984-м. Ее основой было перемещение акцента с исторического сознания, которое доминировало в первой половине XX века, на пространство, отличающее эпоху глобализации и постколониализма. Дискуссии нового «поворота» в современной науке уделяют особое внимание вопросам миграций и диаспор, связанным с пространством и местом, пересечением границ, мобильностью, дистанцированием, памятью. Сам термин впервые появляется в книге постмодернистского географа Эдварда Сожа (Soja) «Postmodern Geographies» (1989)[9].

В моем прочтении пространственный поворот основан на понятии «промежуточности» – в первую очередь, на состоянии *между* различными географиями и пространствами; в случае тамиздата – существование *между* подцензурным госиздатом и западными издательствами, не подлежавшими цензуре. К госиздату также применима теория Фуко о пространстве *дисциплинарного паноптикума*, которую он разработал в книге «Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы» (1975): публикация в пространстве тамиздата сопрягалась с опасностью быть раскрытым и с наказанием авторов. Первыми, получившими лагерный срок за печатание в чужом пространстве, были Андрей Синявский и Юлий Даниэль, писавшими под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак, – личности которых госбезопасность раскрыла только шесть лет спустя (в 1965)! «Что такое социалистический реализм?» Терца был опубликован по-французски в 1959 году.

Фукодианский пространственный поворот также характеризует соотношение «близкого» и «дальнего», которые в тамиздате были связаны с пересечением географических границ в обе стороны: рукописи отправлялись на Запад, а после публикации текста обратно в Советский Союз – для русского читателя. Опубликоваться «там» для

текстов брежневской эпохи, выходивших за рамки официально дозволенного, означало вырваться в чужое пространство. В некоторых случаях последствием тамиздатского поворота была эмиграция самого автора, который как бы следовал за своим текстом. Это – участь Синявского после выхода из концлагеря в 1971 году. Вот как Андрей Донатович описал свой переезд на Запад (1973) в частной беседе середины восьмидесятых: «Сначала границу тайно пересекли тексты, написанные Абрамом Терцем, а несколько лет спустя за ним/ними последовал Синявский, сравнив Терца с гоголевским ‘Носом’, отпавшим от своего владельца и как бы собиравшимся бежать за границу; получилась метафора разделения корпуса текстов и писательской идентичности».

Иными словами, «текстуально» Синявский обладал двумя телами – в соответствии с советской институциональной практикой разделения творчества писателей на «печатное» и «непечатное». В его эмигрантском романе «Спокойной ночи» повествователь описывает Терца приблатненным сорвиголовой: юный, крепкий, красивый, ироничный, с ножом в кармане – противоположность Синявского, истинного академического интеллектуала, склонного к созерцанию и компромиссу того рода, что требовало советское общество[10].

Если основой тамиздата является состояние *между*, то сама жизнь Саши Соколова отличалась промежуточностью с самого начала. Сын военного дипломата Всеволода Соколова, Саша родился в Оттаве – после разоблачения отца в шпионаже, в краже канадских и американских ядерных секретов («Дело Гузенко», 1945), семья бежала в Советский Союз окольным маршрутом: из Оттавы в Ванкувер, оттуда на пароходе во Владивосток, а затем в Москву на поезде. Саше было три года. Что касается его литературной жизни, она началась в 1965 году, когда Соколов примкнул к объединению молодых поэтов СМОГ, созданном Владимиром Алейниковым и Леонидом Губановым.

Возвращаясь к теме границ – примечательно то, что у Соколова появилась склонность к их пересечению. В 1964-м при попытке побега из Советского Союза в Иран он был арестован – выручил отец, ставший к тому времени генералом. Как Саша мне недавно говорил, он всю жизнь был одержим нарушением границ; они ему напоминают клетку, из которой он неизменно хочет выбраться. То же самое можно сказать о границах традиционного текста в его творчестве.

Рукопись «Школы» была послана на Запад дипломатической почтой австрийского посольства (вторая жена Соколова – Йоханна Штайндль, австрийка); кружным путем она попала в Александрию (Египет), откуда была послана в «Ардис», но без титульного листа – с

именем автора и названием романа,[11] – информация пришла приблизительно через неделю. Саша не знает, почему и как рукопись оказалась в Египте. Опубликованная в «Ардисе» в 1976 году, «Школа для дураков» затем вернулась, точнее, возвращалась в Россию в течение многих лет.

Основатель и главный редактор «Ардиса» Карл Проффер послал рукопись Набокову – знаменитый писатель дал «Школе» блистательную оценку, назвав его «обаятельной, трагической и трогательнейшей книгой» и разрешил использовать свой отзыв на обложке[12]. Это, кажется, был единственный современный текст, который Набоков похвалил; как известно, он практически не давал положительных оценок советским писателям. Владимир Владимирович даже пригласил Соколова к себе в Монтрё, но Саша уклонился от встречи.

* * *

«Школу для дураков», роман о взрослении подростка, нельзя было напечатать в Советском Союзе не по политическим причинам, а потому что автор стремился к неограниченной литературной свободе. Если промежуточность характеризует тамиздат в географическом отношении, «Школа» использует ее как повествовательный и стилистический прием. В первую очередь – состояние между раздвоенным «учеником таким-то», страдающим шизофренией, и внутренним диалогом его двух «ипостасей». Нарратив представляет своего рода *литературную шизофрению*, характерную для соколовских текстов. Если в книге 1999 года с подзаголовком «Диалог с хаосом» Марк Липовецкий ассоциировал креативность «Школы для дураков» с безумием (хаосом)[13], в 2003-м он напишет, что в романе «вся внутренняя динамика определяется не столько диалогом с хаосом, сколько диалогом хаосов – диалогическим воздействием хаоса свободы и хаоса насилия»[14].

Я бы добавила, что повествователи «Школы», как и гомеровская Пенелопа, плетут, расплетают и снова сплетают «текст» – от древнегреческого *techne* (ремесло) и латинского *texere* (плести) или *textus* (ткань). «Ученик такой-то», спускаясь к реке и видя в ней свое отражение, сравнивает свой путь «с ходом тусклой швейной иглы, сшивающей облако, ветром разъятое на куски». Весьма необычная метафора, напоминающая сплетение. Далее он плывет на лодке, «качаясь на волнах призрачных пароходов», и глядит на берег, который «плывет [ему] навстречу»[15]. Помимо приема, напоминающего плетение, в этом пассаже появляется движение туда и обратно, свойственное всему роману. В другом месте удильщики путаются в «пружинистых сплетениях прозрачной лесы». «Школа для дураков» напоминает создание изысканной словесной ткани, в которой изобилуют необычные

развернутые метафоры и которая подрывает линеарное повествование, включая примеры потока сознания в стиле Джеймса Джойса. Поток сознания у Соколова можно также назвать «текучестью сознания».

К тому же хронотоп романа изобилует метаморфозами в жанре Овидия, например, превращение «ученика такого-то» в белую речную лилию «Nymphaea alba» (*лат.*) и обратно, способствуя тому, что можно назвать калейдоскопическим состоянием *между* (промежуточностью). Метаморфоза происходит в реке забвения Лете, которая, подобно лилии и сознанию юных раздвоенных повествователей, течет вперед и обратно. Подобно другим текстам Соколова, забвение и промежуточность жизни и смерти являются лейтмотивами «Школы». Среди других трансформаций – люди превращаются в птиц, например, в мифическую птицу Феникс, и обратно, или в бабочек. К тому же, память ее персонажей избирательна – избирательная память (своего рода амнезия), позволяющая помнить то, что хочется, и жить как хочется, конституирует нарратив «Школы».

В романе имеются и звуковые метаморфозы, связанные, например, с учительницей ботаники Ветой Акатовой, в которую «ученик такой-то» влюблен: она превращается то в ветку акации или ветлы по созвучию, то в ветку железной дороги, также в проститутку, а затем «течет» обратно.

Говоря о движение туда и обратно в «Школе», оно, в основном, происходит во времени – течет из прошлого в будущее, а оттуда обратно в прошлое. Обращаясь к двойнику профессора Акатова – Леонардо (отсылающего к да Винчи), «ученик такой-то» сплетает длинный поток сознания на эту тему. Вот отрывок:

> «...рассуждая о времени, спрягая глагол *есть* и разлагая жизнь на вчера, сегодня и завтра, будто эти слова отличаются друг от друга по смыслу, будто не сказано: завтра – это лишь другое имя сегодня, будто нам дано осознать хоть малую долю того, что происходит с нами здесь, в замкнутом пространстве необъяснимой песчинки будто всё, что здесь происходит, *есть*, *является*, *существует*. Дорогой Леонардо, недавно (сию минуту, в скором времени) я плыл (плыву, буду плыть) на весельной лодке по большой реке. До этого (после этого) я много раз бывал (буду бывать) там и хорошо знаком с окрестностями»[16].

Образ библейской песчинки, символ безвременья у Соколова, есть в стихотворении Уильяма Блейка «Увидеть мир в одной песчинке» (1803). Однако вместо движения во времени слова «ученика такого-то» отсылают к пересечению времени и пространства – к *опро-*

странствливанию времени в смысле его преодоления и превращения в одновременность. Александр Генис пишет, что «‘Школа для дураков’ – особая одновременная книга <…>, голограммное изображение, где запечатленные объекты живут в сложной, подвижной, зависящей от угла зрения взаимосвязи»[17]. Опространствленное время является одним из литературных свойств и модернистского, и постмодернистского текста, но оно также применимо к тамиздату, в котором движение туда и обратно происходит не только в пространстве, но и во времени: написания книги, отсылки рукописи на Запад, публикации, затем возвращения на родину.

«Школа для дураков» была опубликована, когда автор уже оказался на Западе, – если применить пространственный поворот к эмиграции Соколова, он приехал в Ардис из Австрии уже после выхода книги, поселившись в доме Профферов в Мичигане. Английский перевод Карла Проффера вышел в 1977 году. Роман имел большой успех и у русско-, и у англоязычного читателя. Он остается любимым текстом Соколова у русской читательской публики.

Если же искать исторический контекст для «Школы», то это, скорее всего, шестидесятническая «молодежная проза» – пусть роман и сильно от нее отличается. В «Школе» имеется конфликт поколений (отчасти эдиповский), но в отличие от юных персонажей, например Аксенова, ее молодой герой – одиночка, напоминающий, скорее, «Жизнь в ветренную погоду» (1967) Андрея Битова. (Соколов упоминал эту повесть в нашем разговоре о своем творчестве.) «Ветрогон», прозвище географа Норвегова, и «Насылающий ветер», относящийся к почтальону Михееву, персонажей «Школы», отсылают к ветру, который ее пронизывает. В повести Битова, как и в «Школе», доминируют нарушенная темпоральность, ассоциативное мышление (внутренний монолог) и детское сознание. Из писателей прежних поколений Соколов в нашем разговоре назвал Бунина как учителя («образца языковой чистоты»). Вспоминается его рассказ «Легкое дыхание» (1916), в котором «холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножья креста» на могиле юной героини Оли Мещерской.

Из российских писателей «Школой для дураков» заинтересовалась Татьяна Толстая, с которой я познакомилась в Лос-Анджелесе в 1988 году, когда она выступала с группой писателей из СССР в UCLA, – единственная из них говорившая по-английски. Толстая очень высоко отзывалась о прозе Соколова, и я ей подарила первое издание «Школы», связав писателей по телефону. Она приложила много усилий, чтобы опубликовать отрывки из «Школы» в журнале «Огонек» (№ 33), вышедшие в том же году с ее предисловием. Первое полное издание (1989) в России появилось с послесловием Битова, в

котором он пишет: «...человек, остолбенев перед цельностью мира, не способен ступить на порог сознания – подвергнуть мир насилию анализа, расчленения, ограничения деталью; этот человек – вечный школьник первой ступени, идиот, дебил, поэт, безгрешный житель рая»[18].

* * *

«Школа для дураков» была закончена на верхней Волге, в местности, которую Соколов любил с детства и где работал егерем в 1972 и 1973 годах. Там же он нашел материал для следующего романа, включая деревенский язык Заволжья, отраженный в дискурсе и коллективном сознании «Между собакой и волком». Если «Школа» в каком-то отношении вытекает из молодежной прозы, то «Собаку» можно соотнести с т. н. деревенской прозой. Однако она чужда морализаторства деревенщиков; ее пафос – об обреченности несчастных персонажей. Как я писала более двадцати лет назад, роман, скорее, напоминает модернистскую прозу Пильняка двадцатых годов, описывающую деревенскую жизнь как исполненную насилия. Возьмем его повесть «Мать – сыра земля» (1925), в которой присутствует вой волка как лейтмотив, и женский образ кожевницы Арины, обреченной на смерть. У Соколова героиня тоже Арина (Орина), а волк и собака сливаются *inter canem et lupum* – время дня, когда собаку нельзя отличить от волка, в единый образ.

Действие романа происходит в промежуточном пространстве по двум берегам реки Итиль/Волчьей в селениях Городнище, Быдогощ и других. Персонажи «Собаки» – охотники, точильщики, нищие, калеки, воры; некоторые из них превращаются один в другого. В жанровом отношении «Собака» – отчасти эпистолярный роман в манере потока сознания. Нарратив отличается плетением и переплетением словес, например, в стихотворении «Бессонница» (Записка VIII) «Иволга перешивала вечер на ночь»[19], или в главе девятой: изо рта косноязычного мельника «зерна словес сыплются на путешественника мукой шума»[20], т. е. их перемалывание принимает звуковую форму. «Собака» вообще изобилует параномазией, звуковыми повторами, часто каламбурными, основанными на совпадениях в значении и звуке.

Возвращаясь к движению туда и обратно, в «Между собакой и волком» оно относится и к процессу чтения, а именно – перечитывания. Читатель романа часто блуждает в его повествовательных и словесных лабиринтах, – с одной стороны, стараясь понять их смысл, с другой, ищет выход из них. Леона Токер называет книгу «паутиной слов»[21], что я интерпретирую как плетеный и переплетенный текст.

Из визуального значительно то, что в романе фигурирует экфра-

сис «Охотников на снегу» (1565)[22], известной картины Питера Брейгеля Старшего, но без называния художника и картины. Как пишет Джонсон, экфрасис служит прототипом Городнища в Заитильщине[23]. Вот описание пейзажа художника Якова Паламахтерова, который выставлен на «вернисаже картин»:

> «Мы возвращаемся в сумраках. Нас, как правило, несколько зверобоев и до дюжины своры. <…> теперь мы находимся на перевале холма, обреченного, как и вся местность, рождественскому снегу <…> Оставив таверну слева, мы почти миновали ее и начинаем спускаться в долину. Перед нами – давно знакомая панорама. Это – долина реки и город в этой долине при этой реке, и пруды, и скалы вдали, и небо надо всем перечисленным. <…> А на льду прудов и реки – масса катающихся. <…> Там – буроватые <…> купины оголенных кустарников и дерев; сям – прачки, полощущие белье в проруби. <…> масса птиц – и на ветках, и просто в пространстве. <…> Что за чудесная, неотмирная такая страна, в восхищении застывает посетитель. Простота и неброскость ореховой рамы лишь подчеркивает очаровательную прелесть пейзажа»[24].

Ореховая рама обрамляет полотно, которое можно назвать своего рода тканью, создавая опространствливание прозы. Важно и то, что описание пейзажа действительно содержит все основные брейгелевские детали. Как я отметила выше, картины фигурируют в «Собаке» в главах под названием «Картинки с выставки» и в некоторых стихотворениях. Главная из них – «Автопортрет в мундире» Паламахтерова, которому уделяется много места в романе (его описание следует сразу после неназванного Брейгеля): «цветная репродукция [Автопортрета], пишет повествователь, украсит фронтиспис нашей монографии об этом выдающемся человеке, выход которой с нетерпением ожидается изо дня в день». Визуальность в «Собаке» отличается и тем, что в ней угол зрения играет важную функцию, который автор называет «углом

живописи». В случае «Автопортрета в мундире» художник вдруг понимает, «что это не он там, в углу, прислонясь к мольберту, а всего лишь изображение его, пусть и невероятно сходное с оригиналом»[25].

В 1981 году Саша Соколов был награжден Премией Андрея Белого, одной из самых престижных премий в России. Многие считают, что он ее получил за роман «Между собакой и волком», опубликованный годом ранее. Это, в сущности, самый насыщенный, чтобы не сказать – словесно избыточный (в позитивным смысле) роман в русской литературе. В 2004 году известный режиссер Андрей Могучий поставил спектакль «Иллюстрации к роману Саши Соколова ‘Между собакой и волком’», впервые показанный на Фестивале русской культуры в Ницце, за который Могучий получил Гран-при[26]. В 1998 году он театрализовал «Школу для дураков».

* * *

Пародийную «Палисандрию» Соколов начинал в Лос-Анджелесе, а закончил в горах штата Вермонт (1984), т. е. в пространстве природы, куда он переехал и где, в частности, работал лыжным инструктором. Мотив плетения словес в ней саморефлексивный – в виде различных сплетений, вплетений, переплетений, хитросплетений. Например, Биограф пишет в предисловии к воспоминаниям Палисандра, что он «искусный словесный ткач <…> События, люди, предметы <…> так или иначе переплетаются и вплетаются в ткань панно, образуя узоры, симметрии, аналогии и метафоры»[27].

«Палисандрия» – вымышленная история, отсылающая к переписыванию – переплетению – российского прошлого, особенно в течение XX веке. Из пародийных ремифологизаций советской/русской истории в его fin de siècle первым был тамиздатский «Остров Крым» В. Аксенова (1981), затем «Палисандрия»[28], в которой за псевдоисторическим временем следует безвременье. Оно называется «Вечным Сейчас»[29], а «ужебыло», русский вариант *deja vu*, Палисандр относит к «воспоминаниям о будущем, провиденьям прошлого. На Западе сей феномен зовут дежавю, у нас – ужебыло»[30]. В другом месте он пишет: «И однажды наступит час, когда все многократно воспроизведенные дежавю со всеми вариациями сольются за глубиной перспективы в единое ужебыло»[31]. Если по-русски оно относится ко времени, французское *deja vu* отсылает к уже виденному.

Роман начинается словами Биографа, публикатора воспоминаний вечного сироты Палисандра Дальберга, законченных в 2044 году. Как пишет Биограф, в них воссозданы «фрагменты интимной жизни правящей олигархии[32], в частности, этюды о совращении именитых кремлевских жен, описания самоубийств, покушений, казней, замет-

ки о путешествиях, детских проказах и старческой проституции». Эпоху, описанную Палисандром, он называет «Переходным временем»[33], своего рода межвременьем или Смутным временем[34].

Эпоха безвременья возникает в самом начале Пролога после того как основатель Келейной организации часовщиков (отсылающей к НКВД) и хранитель настоящего времени Лаврентий Берия, к тому же «дедоватый дядя» Палисандра (он также внук Распутина), вешается на часовых стрелках Спасской башни ровно без шестнадцати девять. Последние мысли Берии – о племяннике (в Опекунский Совет которого входили не только он, а и Сталин, Хрущев, Брежнев и Андропов). В повествовательной хронологии романа самоубийство Берии происходит до случайной смерти Сталина, в которой были виноваты «кремлевские дети», включая Палисандра, придумавшие для «дяди Иосифа» сюрприз: они запирают бывшую пограничную, сторожевую собаку по имени Руслан (отсылка к повести Георгия Владимова[35]) в шкаф в ожидании Сталина. Но керосиновая лампа гаснет и, когда он возвращается и открывает в темноте шкаф, запертый Руслан с радостью кидается ему на грудь – от перепуга дяде Иосифу мнится, что это «‘Засада!’ <…> Аорта Генералиссимуса переполняется кровью жил, не выдерживает и лопается»[36]. Родительский Комитет Кремля (РКК)[37] приговаривает детей к «ссылке и лагерям», – пародия на сталинский террор. Палисандра ссылают (изгоняют) в Дом Массажа, бордель для высокопоставленных личностей, расположенный в московском Новодевичьем монастыре, где он становится ключником. Называя дежавю словом «ужебыло», Палисандр имеет в виду, что история прекратилась.

Липовецкий пишет, что история в «Палисандрии» смоделирована в виде «идиллического симулякра»[38]. Движущийся назад и вперед между 1950 годами и концом XX века, роман также происходит в недавнем и далеком прошлом (например, в эпохи Ивана Грозного и Екатерины II[39]), как и в будущем, и в самых разных географических пространствах. Названия отдельных глав: «Книга изгнания», «Книга дерзания», «Книга отмщения» и «Книга послания». Изгнание и послание пародируют призыв Нины Берберовой к старой эмиграции в ее «Лирической поэме» (1926): «Мы не в изгнаньи, мы в посланьи», – превратившийся в своего рода мандат не только сохранения «правдивой» русской культуры, но и ее дальнейшего развития в диаспоре. Значительная часть романа происходит на Западе, в эмиграции, куда Палисандра изгоняют с посланием, о котором ниже. Как пишет Борис Гройс, «сталинский кремлевский мир <…> описывается им как рай истории <…> Изгнание из рая, постигающее героя, происходит как изгнание не в историю, а из истории – в утрату исторической памяти»[40].

Написанная в жанре псевдомемуаров, «Палисандрия» отчасти

пародирует современные тамиздатские тексты, разоблачающие и демифологизирующие официальную советскую историю сталинской, брежневской и андроповской эпох[41]. Иными словами, по части политической истории роман является откликом на современный «диссидентский» тамиздат, активно переводившийся во время Холодной войны и обсуждавшийся и в западной прессе. В нем имеются отсылки к произведениям, например, Солженицына (среди прочего – пьеса «Свеча на ветру»), Владимова, Абдурахмана Авторханова («Загадка смерти Сталина. Заговор Берии», опубликованная издательством «Посев» в 1976 году) и т. д. Из мемуарной литературы, например, «Двадцать писем к другу» (1967) Светланы Аллилуевой, дочери Сталина, – в романе намекается и на то, что у Палисандра были взаимоотношения с Надеждой Аллилуевой, возможно, любовные. В личном плане, однако, в «Палисандрии» отразился опыт собственной эмиграции Соколова и его жизни на Западе, тоже изображенных пародийно.

Отсутствие внимания к «Между собакой и волком» среди русских критиков и читателей навело Соколова на мысль написать нечто вроде бестселлера. Помимо пародии на диссидентское и эмигрантское разоблачение советской истории, «Палисандрия» отличается пародийными описаниями эксплицитного секса и использованиями мата в тамиздате, запрещенными в советской литературе. Он имел в виду и нашумевший эмигрантский роман «Это я – Эдичка» Лимонова (1979)[42]. У Соколова мат называется «крылатом словом». «Можно писать так, – говорил мне Саша, – что, не употребляя мата, будет гораздо более *shocking*.» В «Палисандрии» эрос, в основном извращенный, представлен в высокопарной или возвышенной манере, характеризующей роман в целом, который, с одной стороны, можно назвать псевдокуртуазным, с другой, он написан в изощренном стиле fin de siècle XIX столетия, который, как известно, перетекал в XX век.

Сексуальная жизнь героя возникает уже в пятилетнем возрасте, когда прабабушка Агриппина совращает его в «плескалище» (ванне, в которой он и потом живет), с чего начинаются и его кровосмесительные соития. Среди других женщин – Шагане, бывшая жена аятоллы Хомейни и настоятельница Новодевичьего монастыря, а также любовница Брежнева, к которому Палисандр ее ревнует; жена Брежнева[43], одна из его псевдоматерей; блудница и мачеха Мажорет (отсылая к Флоберу, он произносит: «Мажорет – это я»[44]); Фанни Каплан, покушавшаяся на Ленина. В основном, его пленяют старые женщины, представляющие Эдипов комплекс Палисандра, а также тягу к некрофилии – многие соития имеют место на кладбище, в пространстве, которое прельщает героя.

Ревнующий Брежнева, Палисандр покушается на его жизнь, но

неуспешно, вследствие чего Андропов ссылает/изгоняет неудачника на Запад в Мулен де Сен Лу (Бельведер), дом для престарелой эмигрантской аристократии, где живет его бабушка, Великая княгиня Анастасия Николаевна Романова[45]. Изгнанный из Эмска (Москвы), он надеется на усыновление дочерью Николая II, настоятельницей Сен Лу.

В повествовательном отношении следствием изгнания становится пародийная одиссея Палисандра в жанре пикарески с многочисленными странствиями героя по всем странам мира и встречами с известными персонажами, включая писателей, например, модерниста Сэмюэл Беккета, которому он подсказывает новый финал «В ожидании Годо». Таковы сюжет и подсюжеты «Палисандрии», которая более «сюжетна», чем предыдущие романы.

Палисандр мнит себя молодым и красивым, хотя он бесконечно стар и уродлив – помимо всего, он огромных размеров и семипалый – пальцы очень толстые. Это отчасти объясняет, почему он боится зеркал – символов смерти в романе, большинство которых по его велению в «крепости» (Кремле) и Новодевичьем задрапированы. Зеркала связаны с мотивом барочных отражений и с барочными лабиринтами, наслоенными во времени и пространстве как в палимпсесте; среди прочих эффектов они создают «обратность исторической перспективы». <…> Со времени осознанья себя исключительной личностью [он] старался не обнажаться даже пред собственным отражением», – говорит Палисандр в начале романа[46]. Ближе к концу (в Бельведере) обратность перспективы выражена текстуально в виде палиндрома – в вопросе, который ему задает муж Мажорет (Модерати): «елакрез в еинежарто еонневтсбос ан еинаминв илащарбо ен адгокин ыв?»[47] (вы никогда не обращали внимание на собственное отражение в зеркале?). Палиндром и зеркальность характерны для барочной текстуальности[48]. Мир, расположенный за зеркалом, в романе называется «зазеркальем», изображающим безвременье в пространственном отношении. Модерати далее спрашивает Палисандра: «Пугает ли вас зазеркалье? <…> Верите ли, что разбитое зеркало – весть о смерти?»[49] Тот отвечает положительно, объясняя, что этот страх вселился в него, когда кончилось «беззеркалье» (своего рода «вечное сейчас»): зеркала и многие другие отражающие поверхности стали за ним подсматривать в самых неожиданных местах.

Как и персонажи предыдущих романов, Палисандр многолик. В конце книги вскрывается самая неожиданная его инкарнация: оказывается, что он гермафродит, и в этом суть его тайного недуга в виде избыточного пола (главная причина, почему он так боялся своих отражений), но и его исключительности: «Отныне пусть ведают все: я – Палисандро, оригинальное и прелестное дитя человеческое, *homo*

sapiens промежуточного звена, и я горжусь сим высоким званием»[50]. В повествовательном отношении он/она переключаются на первое лицо среднего рода.

Разоблачение гермафродитизма происходит во время медицинского осмотра психиатром Карлом Юнгом и Мажорет, которой Палисандр приходится пасынком. Осмотр приводит ко множеству оргазмов (слово, которое не используется). Несмотря на сексуальный садизм Мажорет (она же – Дама из Амстердама) в жанре «все дозволено», мемуарист затем говорит: «Фрейд прав. Зизи есть та самая ось, на которой вертится Вселенная»[51]. Первым запускает свое «зизи» (пенис) во влагалище Палисандра сам Юнг, пародируя тем самым свое учение о гермафродите, представляющем основопологающий союз противоположностей. Иными словами, Соколов поистине перещеголял не только «половую идентичность» Эдички Лимонова и сексуальные похождения у Аксенова или Юза Алешковского, но, может, и западных писателей тоже.

При этом «Палисандрия» бестселлером не стала. Написанный хотя и проще, чем «Между собакой и волком», роман довольно сложный, в том числе в интертекстуальном отношении[52]. Помимо пародии на демифологизацию советской истории и сексуальную тематику в современной литературе, его можно отнести и к постмодернистскому соцарту. Возьмем, например, «Сталин и музы» Комара и Меламида, которых в «Gesamtkunstwerk Сталин» (1987) Гройс назвал лучшими учениками Сталина, ремифологизировавшими его, а самого Сталина «объявил» главным художником своей эпохи.

В самом конце романа Палисандр Дальберг триумфально возвращается в Эмск как законный правитель. Любитель кладбищ, он привозит с собой останки всех знаменитых российских эмигрантов, которые собирает в «изгнании». Это и есть «послание» Палисандра – возвращение русских из зарубежья снова отсылает к Берберовой, но более позднего времени, к мемуарам «Курсив мой» (1972), а именно, к описанию сна, в котором она стоит на ленинградской железнодорожной станции в ожидании их гробов[53]. В «Палисандрии» возвращение героя означает конец «безвременья», начавшегося самоубийством Берии на Спасской башне.

«‘Безвременье кончилось’, говорило я, говоря.» Последние слова Палисандра – «наступила пора свершений и подвигов»[54] – как бы предвещают Перестройку Горбачева, начавшуюся через два года после публикации «Палисандрии» (1985). Соколов опасался, что Андропов не доживет до возвращения своего героя, что и произошло – он умер в 1984 году, но в отношении «свершений и подвигов» получилось знаменательней: перестройка, а затем падение Советского Союза.

Как читатель, скорее всего, заметил, я не упомянула «Лолиту»

Набокова как один из главных подтекстов столь интертекстуально насыщенного последнего романа Соколова; некоторые критики называют его «Анти-Лолитой», – но обо всем не скажешь. Закончу тем, что «Палисандрия» была им задумана как конец романного жанра[55], чего, конечно, не произошло. Я бы сказала, что в философском смысле роман определяет проблематика конца истории[56], которую в нашей беседе Саша назвал «учебником смерти».

Идеи завершения истории витали в воздухе в fin de siècle XX столетия, например, в Советском Союзе. Теорию Фрэнсиса Фукуямы, провозглашенную в 1992 году[57], иногда связывают с концом коммунизма, точнее, с падением Советского Союза. Но главное то, что на его концепцию о конце истории повлиял известный русско-французский неогегельянец Alexandre Kojève/Кожев[58] (Кожевников), диссертация которого была посвящена религиозной философии Владимира Соловьева[59] эпохи предыдущего fin de siècle и его воззрениям на апокалиптический финал времени – с той основной разницей, что в целом Кожев рассматривал его с атеистических и марксистских позиций[60]. Саша Соколов, скорее всего, не имел в виду ни Соловьева, ни Кожева, когда писал «Палисандрию», – идея конца истории висела в воздухе.

* * *

Как известно, после «Палисандрии» Соколов замолчал на много лет. В своем эссе «Palissandre – c'est Moi?», прочитанном в Университете Южной Калифорнии в 1985 году, Соколов признался в любви к медлительности: «Ах, Лета, Лета, писал один мой до боли знакомый, как пленительна ты своею медовой медлительностью, как прелестна. Текст летейской воды излучает невидимую, но легко осязаемую энергию»[61]. Из Греции в 1989 году он приехал в Москву через Чоп в Западной Украине, недалеко от границ Венгрии и Словакии, повторив путь Палисандра на родину. В Москве мы с ним виделись последний раз, гуляя, в частности, по Новодевичьему кладбищу, воспетому Палисандром. Но его идея о переезде в Москву не осуществилась. В 1996-м Соколов был награжден Пушкинской премией, учрежденной немецким фондом Альфреда Тёпфера в Гамбурге и ставшей одной из самых престижных литературных наград в России[62]. Для этого он буквально на один день приехал в Москву. Однако в XXI веке он летом какое-то время назад ездил в Крым.

В начале девяностых Саша вообще пропал из виду своих друзей. В вечер переизбрания Барака Обамы (2012) Соколов позвонил мне, оставив краткую запись на автоответчике, не назвав себя; он сказал, что поздравляет меня со *своим* днем рождения. Прошло больше, чем двадцать, лет с нашей последней встречи. Прослушав запись несколь-

ко раз, я опознала его голос и перезвонила ему. С того времени мы опять стали общаться. Я даже ездила к нему на лыжный курорт Уистлер (Британская Колумбия), где он живет со своей женой Марлин Ройл, чемпионкой по гребле.

Что касается писательства, в начале XXI века Соколов обратился к малым формам – промежуточному жанру, который он еще в девяностые годы назвал «проэзией». О промежуточности поэзии и прозы некогда сказал Валерий Брюсов: «не помню, кто сравнил ‘стихотворение в прозе’ с гермафродитом»; промежуточный жанр был для него одной «из несноснейших форм литературы»[63]. Литературовед Илья Кукулин считает, что последняя книга Соколова «Триптих» (2011), в которую вошли проэмы «Рассуждение», «Газибо» и «Филорнит», – это возвращение к роману, опубликованному двадцатью шестью годами ранее, «словно бы роман ретроспективно переводит ‘Палисандрию’ в статус иронического высказывания <…> как если бы, выпустив ‘Палисандрию’, автор вдруг бы добавил: – А если говорить серьезно, то дело выглядит так…»[64]. Я бы добавила, что в «Газибо» автор устами одного из персонажей говорит о памяти: «…чтобы в некотором пониманьи остаться: остаться в наших [солнечных] *сплетениях*» (Курсив мой. – *О. М.*), о памяти[65], которую, к тому же, в своем «рифмоплетстве» он называет «ужебыло» и «лепит как мечту», но память остается иллюзорной.

В «Газибо» Соколов пишет, что «пространство <…> медитировало в стиле барокко»[66]. Как и в «Палисандрии», опространствливание времени, характерное для барокко, нарушает линейную последовательность в «Триптихе», тексты которого словесно еще более сжаты – отжаты. Они отличаются и другим барочным приемом – списками или «перечнем» слов и образов.

В «Рассуждении», где один из голосов говорит о перечнях и перечислениях, речь идет и о средствах «изящной словесности»:

все варианты по-своему хороши, достойны,
во-первых, порывами, что порывами,
мыслить можно порывами, в стиле ветра,
но не истории, а простого, обыденного,
который из воздуха,
это во-первых

потом можно в стиле реки, то есть плавно
и вместе с тем несколько, что ли, лукаво,
поскольку река безусловно с излуками,
и, наконец, скрупулезно и тщательно, так,
как мыслит тростник, можно мыслить
на вашем месте мы выбрали бы стиль тростника.[67]

Саша Соколов дарит «Палисандрию» Ольге Матич (1985)

И так далее. Но тростник уже обо всем догадался «ибо всё это было однажды в будущем, но / побыв, миновало, кануло, обернулось былым / и бытует лишь в качестве заблуждений, иллюзий»[68]. Это высказывание напоминает слова «ученика такого-то» в «Школе для дураков» (С. 385).

Последняя и, пожалуй, самая интересная часть «Триптиха» – «Филорнит» (птицелюб) – отличается полиглотством: звучат греческий, латынь, немецкий, итальянский, испанский, английский, даже словенский; так иронически изображается интернациональная ориентация проэмы. К тому же, как говорит повествователь Филорнит, он же смотритель зала насекомых в музее-кунсткамере, – все экспонаты в бытности своей живыми существами «подвержены метаморфозу»[69]. Если обратиться к словесным метаморфозам: ум превращается в «межеум»; семейные связи называются «узами, узостью»; совмещаются «имманентные» и «именно»; встречаются межязыковые каламбуры вроде «вдова моя, моя *муха-мухер*» (*mujer* – «жена» по-испански) и тому подобное. В «Филорните» также переливаются цвета, например, у сизо-лиловой болотной цапли (Botaurus stellaris) – перламутром и ювелирным турмалином. В одном месте переливы напоминают «витражи», через которые смотрит смотритель, превращаясь в смотрителя разноцветного пространства[70].

Если вспомнить сковороду для написания нового текста, о которой Соколов говорил после выхода «Палисандрии» (С. 383), «Триптих» отличается конденсацией литературных приемов и тематики, использованных Соколовым ранее и в его действительно поразительных романах. Например, длинное размышление о перетекании времени из будущего в прошлое и обратно в «Школе для дураков» (С.385) – в «Триптихе» сжато и, если можно так сказать, – «окаламбурено» – например, в мыслях тростника о будущем и прошлом. Что касается нового, здесь впервые явлена проэзия, состоящая из отдель-

ных нумерованных кусков текста, в которых переплетены проза и поэзия, написанная верлибром.

* * *

В заключение – несколько высказываний Соколова о своем творчестве из нашей частной беседы в Вермонте после окончания «Палисандрии», но еще до ее выхода. Вспоминая «Школу для дураков», Саша говорил, что он не мог употреблять диалог: «Диалог изжил себя – монолог сильнее. Мне интересно, когда речь не обрывается, когда ее нельзя расщепить, разобрать на части». О диалоге в «Палисандрии»: «Я использовал его исключительно в пародийном отношении». Вот как он описал свое видение высшего достижения современной прозы: «Это когда проза принимает обличие другого искусства, она как бы становится монументальной, т. е. становится пластическим искусством – скульптурой. Проза становится визуальной». Похожее Соколов сказал и о музыке. Иными словами, он описал *Gesamtkunstwerk*, к которому стремился, например, Андрей Белый в «Петербурге».

О Палисандре: «Он соткан весь из литературных эмоций, литературных фантазий. За счет своей литературности – реминисценций, намеков, аллюзий, многочисленных цитат – Палисандр весь из прошлого, обнаруживает себя как человека очень неестественного и гротескного. Он весь из русского прошлого. Его матерью можно считать русскую литературу». Далее: «Для меня он вышел из моего собственного жизненного опыта. Он типичный такой кремлевский, вернее, избалованный элитарный сынок. <…> Палисандр ведь – дерево (розовое дерево), а его полная фамилия Дальбергия – это определенный вид больших деревьев. Он как бы застывший, стоит, как дерево с ветвями. Мало движется. <…> А фамилия Дальбергия, если убрать Даль, получится Бергия, близкая к Берии».

О старых фотографиях и городе: «…я их очень люблю. При взгляде на старые фотографии, особенно групповые, смотришь – и самая первая мысль, с детства меня поражавшая, – они все умерли». Или: «Я вдруг видел людей, едущих со мной на автобусе в час пик и вдруг – стоп-кадр: останавливается всё движение, и люди тоже; я думаю, через пятьдесят лет их не будет в жизни. И я тоже с ними. Это для меня самое основное ощущение города. Город для меня вообще мертвый, потому что он состоит из смертных людей». Эти высказывания напомнили мне о Ролане Барте, который писал, что «смерть является *эйдосом*» (видимой природой) фотографии. «Искусство [фотографии], сколько бы ни исхитрялись сделать его живым, <…> есть не что иное, как мифологическое отрицание страха перед

смертью»[71]. Еще Анри Бергсон утверждал, что визуальная репрезентация живых – «с помощью глаза», как он пишет, – способствует состоянию, напоминающему *rigor mortis*, так как изображение времени в пространственных категориях соответствует смерти, а не жизни.

Можно было бы еще многое добавить – напечатанная неопубликованная запись нашей беседы состоит из 58 страниц, но пора заканчивать.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Об этом пишет *Arnold McMillan*. Aberration or the Future: The Avant-Garde Novels of Sasha Sokolov / From Pushkin to Palisandriia: Essays on the Russian Novel in Honor of Richard Freeborn // Ed. Arnold McMillan. – New York: St. Martin's Press. 1990. – P. 231.

2. Я читала окончательный вариант «Палисандрии» в Вермонте, где Соколов тогда жил, еще до ее выхода.

3. *Ольга Матич*. Беседа с Сашей Соколовым: «Нужно забыть всё старое и вспомнить всё новое» / «Русская мысль». № 3571. 31 мая 1985. – С. 12.

4. Заитильщина отсылает к древнерусской «Задонщине».

5. Термин используется для словесного орнамента в древнерусской литературе.

6. *D. Barton Johnson*. Sasha Sokolov's *Between Dog and Wolf* and the Modernist Tradition. / The Third Wave: Russian Literature in Emigration. // Eds. Olga Matich and Michael Heim. – Ann Arbor: Ardis Publishers. 1984. – P. 216. Конференция 1981 года в Лос-Анджелесе была самой большой конференцией о литературе третьей волны эмиграции.

7. URL: https://fantlab.ru/autor16387

8. *Michel Foucault*. Of Other Spaces. – Diacritics. Vol. 1, № 16, 1986. – P. 22.

9. Я впервые опубликовала статью о пространственном повороте и русской диаспоре в «Новом литературном обозрении» (№. 127 / 3, 2014) под названием «Литература третьей волны: Границы, теория, язык».

10. Там же. – С. 317.

11. Первыми ее читателями были Мария (Маша) Слоним, работавшая тогда в «Ардисе», и Иосиф Бродский. Слоним очень похвалила «Школу», как и Бродский, – думая, что ее автором был его друг Владимир Марамзин, но затем, узнав, что роман написал неизвестный ему Соколов, изменил свою оценку. Видимо, Бродский и потом давал отрицательные оценки Соколову, например, в случае стипендии Макартура. Мою догадку поддержала Эллендея Проффер (основательница «Ардиса» вместе с ее мужем Карлом), которая выдвинула его на эту премию. Бродский не любил соперников и поддерживал своих друзей и ленинградцев.

12. Марк Липовецкий считает, что «Школа для дураков» была отчасти написана под влиянием Набокова. Соколов это всячески отрицал, говоря, что до написания книги не читал Набокова. Как Саша говорил мне в 1985 году

(ненапечатанное интервью), он стремился «изжить в себе набоковскую линию», которую ему приписывали критики. Прочитав «Машеньку», которую ему дал Проффер вскоре после приезда, Соколов был удивлен сходством.

13. *Mark Lipovetsky*. Russian Postmodernist Fiction: Dialogue with Chaos. – Oxfordshire: Routledge. 2016. – P. 93.

14. *М. Н. Лейдерман, М. Н. Липовецкий*. Современная русская литература. 1950 и 1990-е годы. В 2 тт. – Москва: Академия. 2003. – С. 406.

15. *Саша Соколов*. Школа для дураков // «Школа для дураков и Между собакой и волком». – СПб: Симпозиум. 1999. – С. 69.

16. Там же. – Сс. 39-40.

17. *Александр Генис*. Довлатов и окрестности. – Литрес. 2016. URL: https://www.litres.ru/aleksandr-genis/dovlatov-i-okrestnosti-17768409/

18. *Андрей Битов*. К публикации романа С. Соколова «Школа для дураков». – Октябрь, 1989. №. 3. – Сс. 157-158.

19. *Саша Соколов*. Между собакой и волком. – Ann Arbor: Ardis. 1980. – С. 40.

20. Там же. С. 105.

21. *Leona Toker*. Gamesman's Sketches (Found in a Bottle): A Reading of Sasha Sokolov's Between Dog and Wolf / In Honor of Sasha Sokolov // Ed. D. Barton Johnson. – *Canadian American Slavic Studies*. Vol. 21, 3-4. – Pp. 349.

22. «Охотники на снегу» Брейгеля уже фигурировали в «Солярисе» (1972) Андрея Тарковского.

23. *Johnson*. – P. 209.

24. *Саша Соколов*. Между собакой и волком. – Сс. 26-27. Из главы «Ловчая повесть, или картинки с выставки», которые отсылают к «Картинкам с выставки» Мусоргского.

25. Там же. – С. 28.

26. В России он получил две премии за постановку «Собаки» в 2006 году – «Золотую маску» и «Приз критиков и журналистов».

27. *Саша Соколов*. Палисандрия. – Ann Arbor: Ardis Publishers. 1985. – С. 235.

28. После «Палисандрии», где, в отличие от «Острова Крыма», фигурируют *Stalin and Company*, первым примером в «метрополии» уже в эпоху перестройки, скорее всего, была пьеса Виктора Коркии «Черный человек, или Я, бедный Сосо Джугашвили», поставленная в Студенческом театре МГУ в 1988 году; как у Соколова, в ней пародируются официальные образы Сталина и Берии. Среди других затем последовал Сорокин, начиная с «Голубого сала», потом «Дня опричника» и «Сахарного Кремля». (Как мне кажется, последние два вышли из-под «шинели» «Палисандрии», пусть Сорокин мне и говорил, что он ее не любит.)

29. Оно названо в надписи: «Милому, доброму, / верному другу О. / на память о нашем / Вечном Сейчас. / Саша Соколов / апрель 85, Город Ангелов».

30. *Саша Соколов*. Палисандрия. – С. 220. Ее обсуждение здесь будет отчасти повторять мою статью о ней в «Новом Журнале» (*Ольга Матич*.

Необарочная «Палисандрия» Саши Соколова: Время, альтернативная история, память. – НЖ, кн. 289, 2017). Моя первая статья об этом романе была напечатана в журнале Синявских «Синтаксис» (*Ольга Матич*. Палисандрия: Диссидентский миф и его развенчание. – Синтаксис, № 15. 1986).

31. *Саша Соколов*. Палисандрия. – Сс. 263-264.

32. Стоит отметить, что термин «олигархия» стали употреблять в России в этом смысле лишь после 1991 года.

33. *Саша Соколов*. Палисандрия. – С. 7. Там же указано, что слова Биографа датированы 2757 годом, т. е. что он их пишет в далеком будущем.

34. В романе упоминается Иван Грозный как один из предшественников Палисандра и что Нострадамус предсказывал Грозному: «Кремлю не стоять», если последний Дальберг будет убит или сильно обижен.

35. «Верный Руслан» был напечатан в тамиздате в 1975 году, правда, без разрешения Владимова.

36. Саша Соколов. Палисандрия. – С. 82.

37. Это отсылка к американскому школьному институту PTA (Parent Teacher Association).

38. *M. Lipovetsky*. Russian Postmodernist Fiction: Dialogue with Chaos. – P. 175.

39. В одной из своих прежних инкарнаций Палисандр даже побывал в ее любовниках в виде жеребца.

40. *Борис Гройс*. Кремлевский хронист (Послесловие) // *Саша Соколов*. Палисандрия. Эссе. // Выступления. – СПб: Симпозиум, 1999. – С. 428. Гройс уже писал о «Палисандрии» в книге «Gesamtkunstwerk Сталин», законченной в 1987 году и впервые опубликованной по-немецки.

41. Об этом я писала сразу после выхода романа, который я читала в рукописи. *Olga Matich*. Sasha Sokolov's *Palisandriia*: History and Myth. / The Russian Review. Vol. 45. № 4. 1986. – Pp. 415-426.

42. Прямая отсылка к Лимонову: в Париже (в изгнании) Палисандр живет на рю дез Аршив (Rue des Archives), адрес Эдика в восьмидесятые годы.

43. В одном месте она описана как незаконная дочь князя Юсупова, убийцы Распутина. Палисандр как бы мстит за убийство своего деда.

44. «Это я – Эдичка» Лимонова тоже отсылает к этой известной фразе.

45. В одном месте говорится, что он там родился и вырос. Получается, что запутанная родословная П. включает и дом Романовых. Значительно и то, что в тексте активно фигурирует старая эмиграция, как бы замещающая третью волну, возможно, частично в виде пародии.

46. Саша Соколов. Палисандрия. – С. 23.

47. Там же. – С. 227.

48. О необарочности «Палисандрии» я писала в «Новом Журнале» в 2017 году.

49. Саша Соколов. Палисандрия. – С. 23.

50. Там же. – С. 269.

51. Там же. – С. 271.

52. О насыщенной интертекстуальности романа см. *Alexander Zholkovsky*. Stylistic Roots of *Palisandriia*. / Canadian-American Slavic Studies. – Pp. 401-417.
53. Среди них гроб ее первого мужа – поэта Владислава Ходасевича.
54. *Саша Соколов*. Палисандрия. – С. 293.
55. Дискуссию Соколова о «Палисандрии» с берклийскими аспирантами, организованную мною в 2015 г., можно послушать и увидеть на сайте Russian Writers at Berkeley. URL: http://russianwriters.berkeley.edu/sasha-sokolov/
56. История в тексте называется «типичной кантовской вещью в себе».
57. *Francis Fukuyama*. The End of History and the Last Man (1992).
58. Он повлиял на таких известных французских теоретиков и критиков, как Ж. Батай, М. Мерло-Понти, Ж. Лакан, М. Фуко, Ж. Деррида. К тому же Кожев был племянником В. Кандинского.
59. Стоит отметить, что в «Смысле люби» идеальный человек является андрогином (отсылка к «Симпозиуму» Платона), который в «Палисандрии» представлен как гермафродит. Я бы предположила, что Соколов пародирует возвышенный идеал андрогина. Когда Саша начинал писать роман, я как раз увлекалась андрогинизмом и ему о нем много рассказывала.
60. Об этом пишет Б. Гройс. См.: *Boris Groys*. Introduction to Antiphilosophy. – New York: Verso Books.
2012. О влиянии Соловьева на Кожева Гройс рассказывал в Лос-Анджелесе еще в 1981 году.
61. *Саша Соколов*. Palissandr – c'est moi. – Глагол. № 6, 1992. Этот текст был впервые произнесен на конференции, посвященной ему и отсутствующему Бродскому, который не принял приглашения.
62. Первым ее лауреатом был Битов (1989).
63. *В. Я. Брюсов*. Собр. соч. в 7 тт. Т 6. Статьи рецензии. / Далекие и близкие. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – С. 368.
64. *Илья Кукулин*. Машины зашумевшего времени. – Москва: НЛО. 2015. – С. 460.
65. *Саша Соколов*. Газибо // Триптих. – Москва: Изд. ОГИ. 2011. – С. 136.
66. Там же. – С. 108. Барокко рифмуется с «сирокко: всё делается размытым, смутным / и будто необязательном [так как] времена изменились». Там же.
67. *Саша Соколов*. Рассуждение // Триптих. – Сс. 43-45.
68. Там же. – С. 47.
69. *Саша Соколов*. Филорнит // Триптих. – С. 235.
70. Там же. – С. 240.
71. *Ролан Барт*. Camera lucida. Комментарий к фотографии. / Пер. Михаил Рыклин. – Москва: Ad Marginem. 1997. – С. 18.

Беркли

П. Н. Базанов

Издательство «Новый Журнал»

Наброски к теме

История издательской деятельности «Нового Журнала» пока не написана, но она крайне важна для общего пейзажа литературы эмиграции XX века.

Всего под маркой «Издательство Нового Журнала» (до 1950 года) или «Издание Нового Журнала» вышло несколько книг. Большинство из них первоначально печатались на страницах журнала. Полиграфическое оформление было самым экономным, почти без иллюстраций, в мягких обложках. Первой книгой, напечатанной в 1942 году, были воспоминания Андрея Седых «Дорога через океан» (158 с.). Талантливый журналист Яков Моисеевич Цвибак (1902–1994), секретарь И. А. Бунина, будущий главный редактор газеты «Новое русское слово», был вынужден бежать от нацистов в США. Книга посвящена обстоятельствам его эмиграции из оккупированной нацистами Франции и путешествию через океан в Америку.

В 1944 г. поэт Михаил Осипович Цетлин (1882–1945), один из основателей «Нового Журнала» издал сборник новелл «Пятеро и другие» (398 с.). Книга вышла с посвящением Александре Прегель, которая подготовила обложку, использовав «i» вместо новоорфографической «и» (сам «Новый Журнал» издавался исключительно по старой орфографии до № 9, 1944). Александра Николаевна Прегель (1907–1984) – русская художница и график, дочь лидера партии эсеров Н.Д. Авксентьева – одного из редакторов парижских «Современных записок» (предшественник «Нового Журнала»). Сборник рассказывал о русских композиторах «Могучей кучки» – М. И. Глинке, М. А. Балакиреве, А. П. Бородине, М. П. Мусоргском, Н. А. Римском-Корсакове. Второе издание журнал выпустил в 1953 году. В 2000-м книгу перепечатало российское издательство «Композитор», а еще через 20 лет – издательство «Директ-Медиа» (Москва; Берлин, 2020. 423 с.)

Самым красочным изданием «Нового Журнала» было «Слово о полку Игореве» (1950. 96 с.). Перевод на современный русский язык сделал поэт и переводчик, полковник Георгий Владимирович Голохвастов (1882–1963). Иллюстрировал издание знаменитый рус-

ский художник Мстислав Валерианович Добужинский (1875–1957) – автор обложки «Нового Журнала»; графический цикл был специально создан для этого издания «Слова».

В 1951 году отдельной брошюрой была напечатана статья дипломата, политолога, русофила, основателя Института Кеннана Джорджа Фроста Кеннана (1904–2005) «Америка и русское будущее» (28 с.). Первоначально как манифест американского русофильства статья была напечатана на английском языке в журнале «Foreign Affairs» (V. 29, № 3, April 1951. Pp. 351-370) в том же году и переведена на русский язык в «Новом Журнале» в № 26 с комментариями главного редактора журнала профессора М. М. Карповича (переопубликована в № 289, 2017). Д. Ф. Кеннан был другом «Нового Журнала» и добился в 1952 году материальной помощи от фонда «Свободная Россия» («Восточно-Европейского фонда Форда»), председателем которого он был в 1951–1952 годы.[1]

Так же два раза – в 1951 и в 1954 гг. – переиздавал свои мемуары «Моя жизнь» (153, V с. и 2-е издание 317 с.) русский композитор, ученик Н. А. Римского-Корсакова, Александр Тихонович Гречанинов (1864–1956). Оба издания были с портретом автора и нотами. Обложку снова оформил М. В. Добужинский. Книги были напечатаны в типографии «Rausen Bros». Нью-йоркская семейная типография «братьев Раузен» («Rausen Bros») была создана еще в Париже в 1932, в Нью-Йорке – с 1940 года до начала 1970-х. Максимальное число сотрудников достигало 35 человек. Ее владельцами были русские эмигранты Раузены – Георгиевский кавалер, участник Первой мировой войны Израиль Григорьевич (1892–1977) и вице-президент Одесского землячества Лазарь Григорьевич (1884–1960), которые состояли в нью-йоркской группе партии эсеров и выполняли заказы для издательств русской эмиграции в США. Братья Раузены были всеобщими любимцами диаспоры в Америке. Признательность объясняется очень просто: часто книги и периодику они печали в типографии в долг и даже без аванса, в том числе и для Издательства имени Чехова.

В 1957 г. в той же типографии был напечатан сборник «Неизданные письма А. И. Герцена к Н. И. и Т. А. Астраковым» (178 с.). Издание подготовил переводчик, литературовед, главный редактор журнала «Америка» в 1956–1971 гг. Людвиг Леопольдович Домгер (1894–1984). Деньги на тираж в 500 экземпляров выделил Восточно-Европейский фонд.

В 1958 г. в типографии братьев Раузен тиражом 500 экземпляров вышел последний прижизненный сборник Георгия Иванова «1943–1958. Стихи» (112 с.). Вступительную статью написал Р. Б. Гуль,

который давно дружил с ним и собирал деньги для старого и больного поэта, жившего в последние годы почти в нищете.

Следующим сборником стихотворений, напечатанным в 1963 году «Новым Журналом», была книга лучшего поэта второй волны Ивана Венедиктовича Елагина (1918–1987) «Отсветы ночные» (112 с.), обложка – работы художника и музыканта Владимира Васильевича Бобри (настоящая фамилия – Бобрицкий. 1898–1986). Через четыре года вышел и второй сборник И. В. Елагина «Косой полет» (128 с.). Обложку оформил один из лучших художников второй волны Сергей Львович Голлербах. Тираж книги напечатали в «Waldon Press Inc.».

Массовый интерес в Русском Зарубежье к оппозиционному и диссидентскому движению в СССР привел в 1960-х годах к публикации книг по лагерной тематике, к новым темам разоблачения коммунистической идеологии. В 1965 году с предисловием Р. Б. Гуля вышли воспоминания репрессированного педагога Елены Ишутиной (1903–1962) «Нарым: Дневник ссыльной» (111 с.). Через два года драматург, сценарист, «невозвращенец» Юрий Васильевич Кротков (1917–1981) издал «Письмо мистеру Смиту: как и почему я написал пьесу ‘Джон – солдат мира’?» (46 с.). (Его пьеса в трех действиях вышла в Москве в изд-ве «Искусство» в 1952 году). Брошюра была снабжена минипредисловием от редакции «Нового Журнала» и напечатана в типографии Раузен (Rausen Language Division).

Архиепископ Нью-Йоркский Иоанн (в миру Дмитрий Алексеевич Шаховской. 1902–1990) под псевдонимом Странник в 1968 г. выпустил книгу «Упразднение месяца: Лирическая поэма» (138 с.). Тираж книги был напечатан в испанской типографии «Imprenta R.T., sucesor de Galo Saez». В этой типографии в Мадриде в период между 1965–1969 гг. было опубликовано несколько известных книг русской эмиграции: Н. Н. Туроверов «Стихи. Кн. 5» (1965), В.Н. фон Дрейер «На закате империи» (1965); Н. И. Ульянов «Происхождение украинского сепаратизма» (1966), А. Дикий «Евреи в России и СССР» (1967); В. К. Ильин «О молитве и наставлении к ней» (1968); В. А. Маевский «На ниве церковной» (1968), «Афон и его судьба» (1969); Н. М. Мельников «А. М. Каледин – герой Луцкого прорыва и донской атаман» (1968); А. С. Позов «Метафизика Пушкина»; Е. Семичевская «Рассказы и очерки» (1969) и др. Видимо, русских эмигрантов привлекали низкие цены в типографии.

Дважды выпускал сборники своих стихотворений известный поэт эмиграции первой волны Игорь Владимирович Чиннов (1909–1996). Американский издатель русского происхождения В. П. Камкин хотел напечатать его сборник «Метафоры» (56 с.), но отказался от этих планов из-за кризиса 1968 года[2], и сборник вышел в том же году в Нью-

Йорке как издание «Нового Журнала» тиражом 600 экземпляров. Через два года И. В. Чиннов издал сборник «Партитура. Четвертая книга стихов» (64 с.) тиражом 500 экземпляров. Обе книги напечатала бельгийская типография А. Росселье в Лувене.

Еще в письме И. В. Чиннову от 24 февраля 1960 г. Р. Б. Гуль предлагал: «...Думаю, что если Вам понадобится наше скромное имя ‘Нового Журнала’, мы сможем Вам его дать (хотя это зависит, конечно, не от меня, а от всей редакции). Но в этом случае мы должны будем ознакомиться с книжкой полностью и с предисловием, если оно будет. Бог Вас знает, Вы закатаете к. н. ‘лолиту’, – и погибнет наша солидная репутация»[3]. Чиннов оставался автором НЖ на протяжении сорока лет, до самой смерти.

В 1969 году член корпорации «Нового Журнала», журналист и правый меньшевик, сотрудник нью-йоркской газеты «Форвертс» Давид Натанович Шуб (1887–1973) напечатал сборник статей «Политические деятели России (1850-ых – 1920-ых гг.)» (398 с.). Предисловие под криптонимом «Р. Г.» написал Р. Б. Гуль. В сборнике были собраны статьи по истории народнических и социалистических деятелей России XIX–XX вв. Статьи Д. Н. Шуба оказали влияние на последующие поколения советологов. Тираж в 500 экземпляров выполнила нью-йоркская типография «Waldon Press Inc.».

Отдельным тиражом вышла в 1971 году брошюра «Указатель содержания 101-й книги ‘Нового Журнала’ с 1942 по 1970 год» (59 с.).

В 1974 г. была напечатана книга филолога, критика и публициста Юрия Владимировича Мальцева, только что эмигрировавшего из СССР «Репортаж из сумасшедшего дома» (71 с.). Ю. В. Мальцев рассказывал о своей деятельности в советском правозащитном движении, о борьбе за права человека, а также об аресте, содержании в психиатрической спецбольнице. Правозащитник еще до эмиграции регулярно публиковался в «Новом Журнале», а редакция выступала за его выход из заключения на свободу.

Почти все произведения, изданные отдельным тиражом, сначала публиковались полностью или частично на страницах «Нового Журнала». Например, статья историка Н. И. Ульянова «Культура и эмиграция», которая очень понравилась Р. Б. Гулю. 8 февраля 1952 года Р. Б. Гуль написал в письме М. М. Карповичу: «2. Ульянов. У меня появилась одна, м. б., нелепая идея. Не оттиснуть ли нам экземпляров 50 статьи Ульянова для вербовки новых подписчиков (т. е. посылать ее намеченным жертвам, она очень убедительно говорит о необходимости такого журнала, как наш). Что Вы об этом думаете? Напишите»[4].

Лучше всего была оформлена книга «Слово о полку Игореве»

(1950), а самым известным текстом надо признать брошюру Д. Ф. Кеннана (1904–2005) «Америка и русское будущее». Популярны были также сборники поэтов Георгия Иванова и Ивана Елагина. Средний тираж этих изданий составлял примерно 500 экземпляров, максимальный – 1000.

Издательская деятельность «Нового Журнала» осуществлялась также под маркой Издательства «Мост». Это марку журнал использовал с 1954 года. Однако в этом очерке мы не будем подробно касаться данной темы, требующей дополнительных исследований. В Русском Центре в Амхерст Колледж, где хранится архив журнала, содержатся документальные свидетельства, открывающие завесу истории этого предприятия новожурнальцев, как и структуру рабочих отношений внутри редакции. Вся документация, финансовые дела, деловая переписка, выплаты издательства «Мост» шли через корпорацию «Новый Журнал», созданную в 1953 году. Изучение деятельности «Моста» еще предстоит. Можно лишь предполагать – исходя из более поздних практик журнала, о чем свидетельствует его нынешний редактор М. М. Адамович и старейшие члены корпорации, – что сама идея создания издательства возникла из необходимости дополнительного, помимо подписки на журнал, дохода для воспроизводства «Нового Журнала», издаваемого без каких-либо дотаций. Создавать и регистрировать отдельное издательство не имело смысла по чисто финансовым и налоговым соображениям; однако у НЖ как благотворительной общественной организации, занимающейся сохранением и развитием культуры, была легитимная возможность организации издательства как одного из проектов корпорации. Прибыли это не приносило, но помогало покрыть расходы на журнал и широкую общественную деятельность корпорации. Можно только предположить, что «Мост» с самого начала был проектом Р. Г. Гуля при главном редакторе М. М. Карповиче; Роман Борисович уже имел опыт самостоятельного издания публицистического политического журнала «Народная правда» и практически сразу после приезда в Нью-Йорк из Европы стал сотрудником «Нового Журнала», правой рукой главного редактора – гарвардского профессора Михаила Карповича.

Символом издательства был трехарочный виадук с надписью «МОСТ». Название могло обозначать связь эмиграции и России, что было актуально для членов редакции, – вопреки коммунистическому строю и цензуре. Данная тактика была популярна в 1950–1960 гг.; с похожими названиями стали позднее выходить журналы «Мосты» и «Воздушные пути».

Первой книгой, вышедшей в 1954 г. в издательстве «Мост», была поэма «Плач о Есенине» (31 с.) Николая Алексеевича Клюева

(1884–1937.). Предисловие написал Роман Борисович Гуль. В 1950-е годы никто в Зарубежье не знал о трагической смерти Н. А. Клюева; на родине же его произведения не издавались до 1977 года. Оформил обложку живописец и график из второй волны Анатолий Григорьевич Гороховец (псевдоним Goro, 1902–1980). В книге было напечатано знаменитое ныне совместное фото С. А. Есенина в военной форме и Н. А. Клюева.

В 1958 г. Р. Б. Гуль переиздал, сильно сократив и переработав, свой роман «Скиф в Европе (Бакунин и Николай I)» (207 с.) тиражом 500 экземпляров. Первоначально исторический роман был напечатан в двух томах, под названием «Скиф», в 1931 г. в берлинском издательстве «Петрополис». В 1974 г. в издательстве «Мост» он выпустил третье издание романа, но уже под названием «Бакунин» (207 с.) и с подзаголовком «Историческая хроника». Тираж третьего издания напечатала нью-йоркская типография «Waldon Press, Inc.».

В 1959 году Р. Б. Гуль выпустил исторический роман «Азеф» (319 с.) – переработанный «Генерал БО». В романе давалась резкая нелицеприятная оценка эсеровскому терроризму и, в частности, идее русской революции. Рецензентом на книгу Р. Б. Гуля в главной нью-йоркской газете выступил профессиональный историк из второй волны эмиграции, известный публицист и прозаик, профессор Йельского университета Н. И. Ульянов, на которого «Азеф» произвел огромное впечатление[5]. В своей ответной рецензии «Азеф и партия С.-Р. в изображении Р. Гуля»[6] видный представитель партии М. В. Вишняк, эсер с 1905 года, вылил ушаты грязи на автора и рецензента и заклеймил роман как «политическую Лолиту» (в 1950-е гг. роман Набокова считался в США скандальной детской порнографией), с низменным сюжетом, романом болезненных и уродливых страстей, а Н.И. Ульянова обвинил еще и в лизоблюдстве и низкопоклонстве перед главным редактором «Нового Журнала»[7]. Подобные заявления М. В. Вишняка, давнего приверженца журнала, поставили его отношения с Р. Б. Гулем и Н. И. Ульяновым на грань отрытой вражды. Из контекста конфликта становится понятно, почему «Азеф» вышел в «Мосте», а не непосредственно под именем издательства «Новый Журнал». В 1974 году Р. Б. Гуль напечатал четвертое, переработанное, издание «Азефа». В 1990-е годы исторический роман тысячными тиражами переиздавался в России.

В 1968 году Р. Б. Гуль совместно с кинорежиссером, сценаристом и художником Виктором Александровичем Тривасом (1896–1970) напечатал в типографии Раузен «Товарищ Иван: Пьеса в 3-х актах и 9-ти картинах» (61 с.). На следующий год книгу выпустили на английском языке «Comrade Ivan: a play in 3 acts» (62 с.), в пере-

воде Элизабет Рейнольдс Хэпгуд (Elizabeth Reynolds Hapgood, 1894–1974), известного американского переводчика Станиславского.

В 1973 году Р. Б. Гуль издает в «Мосте» сборник своих литературно-критических и общественно-политических статей «Одвуконь» (322 с.) с подзаголовком «Советская и эмигрантская литература». Название автор объяснял так: русские воины уходили в военный поход на двух конях – «одвуконно», на одной лошади ехали, на другой, свежей, скакали в бой; в XX веке русская литература разделилась на советскую и эмигрантскую, но при этом они лишь – два течения великой русской культуры. В 1982 году Р. Б. Гуль напечатал второй сборник, более политизированный, «Одвуконь два» (160 с.).

С середины 1970-х гг. Р. Б. Гуль начинает переиздавать в «Мосте» свои книги, опубликованные в довоенный период. Все они выходят в глянцевой обложке с фотографией персонажа. В 1974 г. выходит второе, исправленное, издание романа «Дзержинский: (Начало террора)» (162, [3] с.). Первый раз эта книга была напечатана в 1936 году в Париже издательством «Дом книги», но его владелец М. С. Каплан побоялся поставить на титульном листе свою марку, т. к. не хотел портить отношения с поставщиками советской книги в свой магазин.

В 1975 году Р. Б. Гуль второй раз издает биографическую повесть «Котовский: Анархист-маршал» (203, [1] с.). В 1932 году Р. Б. Гуль в Берлине в издательстве «Парабола» (дочернее предприятие «Петрополиса») выпускает серию «Красные маршалы» – о Ворошилове, Буденном, Блюхере, Котовском и Тухачевском. В Красной армии звание «маршал» еще не было введено; Гуль дал название серии по ассоциации с наполеоновскими временами. В переиздании «Котовский: Анархист-маршал» писатель хотел подчеркнуть: красный герой Гражданской войны не был коммунистом до 1920/1921 гг., а был сторонником совсем другой левой партии. Тираж заказали в нью-йоркской типографии «Waldon Press Inc.».

«Красные маршалы» с 1991 года большими тиражами переиздаются в России – как и многие издания автора, в обход юридических прав «Нового Журнала» – держателя копирайтов большинства текстов Романа Гуля. По словам нынешнего главного редактора журнала, проконтролировать пиратскую издательскую активность в современной России, от которой серьезно страдает старейшая издательская корпорация эмиграции – «Новый Журнал», – практически невозможно и до сих пор.

В том же 1975 году Р. Б. Гуль печатает в нью-йоркской типографии «Waldon Press Inc.» «Конь рыжий: Автобиография» (283, [5] с.) со своими портретами и семейными фотографиями. Впервые автомемуары вышли в Издательстве им. Чехова в 1952 г., но без подзаголовка.

Через год Р. Б. Гуль печатает сборник «Солженицын» (95 с.), собрав свои статьи и рецензии о творчестве и жизни Александра Исаевича. Р. Б. Гуль считал А. И. Солженицына живым классиком, а «Архипелаг ГУЛаг» – великой книгой, и ревностно относился к отрицательной критике творчества и деятельности писателя в США. Книга напечатана в нью-йоркской типографии «Waldon Press Inc.»

С 1984 по 1989 гг. издательство «Мост» издает три тома знаменитых воспоминаний Р. Б. Гуля «Я унес Россию: Апология эмиграции». Первые два тома вышли еще при жизни Р. Б. Гуля на основании его сильно расширенных и существенно добавленных публикаций в «Новом Журнале». Издания отличались большим количеством фотографий. Первый том назывался «Россия в Германии» (1984. 382 с.), второй – «Россия во Франции» (1984. 351 с.). Тираж книг выполнила коммерческая типография «Corporation» в городе Клифтон (штат Нью-Джерси). Третий том – «Россия в Америке» (1989. 400 с.) – был выпущен уже после смерти мемуариста, поэтому туда включили статьи об американском периоде жизни и творчества Р. Б. Гуля.

Первый же абзац «Вступления» к мемуарам может считаться девизом и гимном русской эмиграции в XX в.: «Какой-то большой якобинец (кажется, Дантон), будучи у власти, сказал о французских эмигрантах: ‘Родину нельзя унести на подошвах сапог’. Это было сказано верно. Но только о тех, у кого, кроме подошв, ничего нет. Многие французские эмигранты – Шатобриан, герцог Энгиенский, Ришелье и другие, у кого была память сердца и души, – сумели унести Францию. И я унес Россию. Так же, как и многие мои соотечественники, у кого Россия жила в памяти души и сердца. Отсюда и название этих моих предсмертных воспоминаний – ‘Я унес Россию’»[8].

В 1985 году в издательстве «Мост» вышел сборник в синей обложке с изображение венка «Избранное» (96 с.) польского поэта, прозаика и эссеиста Казимежа Вежинского (1894–1969). Книга вышла под редакцией проф. Валерии Филипп, введение написал польский филолог, автор «Нового Журнала» Збигнев Фолеевский. Перевод на русский язык выполнила Зоя Осиповна Юрьева (урожденная Микульская, 1922–2000) – философ, литературовед и переводчик, профессор Нью-Йоркского университета, сотрудник и член редколлегии «Нового Журнала», секретарь редакции при Р. Б. Гуле. Творчество К. Вежинского ценили М. М. Карпович и сам Р. Б. Гуль. Поклонница таланта польского поэта, З. О. Юрьева написала о его творчестве статьи в «Новом Журнале» «Новолунье (О поэзии Казимира Вежинского)» (1953, № 33) и «Казимеж Вежинский. Затмение лунной метафоры и смерть» (1972, № 108).

Последней книгой, выпущенной в издательстве «Мост» в 1988 году, был сборник повестей и рассказов Ю. Д. Кашкарова «Словеса царей и дней» (267 с.). Представитель третьей волны, талантливейший писатель-прозаик Юрий Данилович Кашкаров (1940–1994) после Р. Б. Гуля стал главным редактором «Нового Журнала» – в том была воля самого Гуля, оценившего дар молодого литератора из Советского Союза и связывавшего с ним дальнейшую судьбу журнала. К сожалению, Юрий Данилович скончался в Нью-Йорке в самом расцвете творческих сил (похоронен на родине, в Москве).

«Словеса царей и дней» – единственная книга, выпущенная «Мостом» совместно с другим издательством – «Russica». Нью-йоркское издательство «Руссика» было основано в 1976 году при одноименном книжном магазине и возглавлялось главным редактором, переводчиком и литературным критиком Александром Евгеньевичем Сумеркиным (1943–2006). Издательство известно, прежде всего, литературным сборником «Russica-81». «Руссика» целенаправленно переиздавала лучшую литературу Серебряного века и первой волны русской эмиграции (М. И. Цветаева «Стихотворения и поэмы в 5 томах», Б. Н. Николаевский «История одного предателя», А. М. Ремизов «Россия в письменах», Н. Н. Берберова «Курсив мой» (первый раз напечатано в мюнхенском издательстве «W. Fink» в 1972) и книги Арк. Аверченко, М. А. Кузьмина, А. В. Чаянова, А. Штейгера и многих других). Вторым важным направлением деятельности издательства была публикация ранее не изданных произведений авторов третьей волны эмиграции (И. Бродский «Римские Элегии», Ю. Алешковский «Рука», А. Глезер «Полдень и полночь», Н. Горбаневская «Чужие камни», Э. Лимонов «Дневник неудачника, или Секретная тетрадь» и другие). Всего вышло более 50 названий.

Подавляющее большинство книг, выпущенных в издательстве «Мост», принадлежит перу Р. Б. Гуля. Тиражи, ориентировочно, были от 500 до 1000 экземпляров. Наибольшей популярностью пользовались художественные произведения Р. Б. Гуля «Скиф в Европе», «Бакунин», «Азеф», «Дзержинский», «Котовский». Мемуары «Я унес Россию: Апология эмиграции» стали хрестоматийными в научной и учебной литературе о Русском Зарубежье. Публикация стихотворения «Плач о Есенине» Н. А. Клюева повлияла на литературоведческое изучение всей новокрестьянской поэзии.

История русской эмиграции в XX веке всё еще не прописана, не открыты ее многочисленные страницы – изучение которых существенно переписало бы историю русской литературы в прошедшее столетие. Одной из таких страниц остается издательская деятельность «Нового Журнала» – как, впрочем, и история самого журнала.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Фонд Форда – американский благотворительный фонд, созданный для финансирования программ в поддержку демократии, сокращения бедности, продвижения международного сотрудничества и человеческого развития.
2. [Письмо В. П. Камкина к И. В. Чиннову от 14 июля 1968 г.] Письма к Игорю Чиннову // «Новый Журнал». 2002. № 226. – Сс.178-179.
3. *Гуль Р. Б.* Письма к Игорю Чиннову // «Новый Журнал». 2002. № 226. – С. 161.
4. *Карпович М., Гуль Р.* Письма о «Новом Журнале» // «Новый Журнал». – 2002. № 226. – С. 24.
5. *Ульянов Н.* Без заглавия // «Новое русское слово». – 1959. 6 дек. – Сс. 3,7. В 2001 г. экземпляр книги Р. Г. Гуля «Азеф», принадлежавший Н. И. Ульянову, с его пометками и замечаниями на полях, с дарственной надписью Р. Г. Гуля, мне подарила вдова историка Надежда Николаевна Ульянова. Из контекста замечаний на полях книги можно утверждать, что роман Р. Б. Гуля поразил Ульянова.
6. «Социалистический вестник». – Нью-Йорк, 1960. № 1. – Сс. 8-12.
7. Там же. – С. 11.
8. *Гуль Р. Б.* Я унес Россию: Апология эмиграции. Т. 1: Россия в Германии. – М.: Б.Г.С. – ПРЕСС, 2001. – Сс. 27.

Санкт-Петербург

ЭССЕ. ОЧЕРКИ. ЗАМЕТКИ

А. Е. Климов

История ежегодника «Записки Русской Академической группы в США»

Русская Академическая группа в США (РАГ) была одним из многочисленных объединений российских ученых, возникших за пределами России после революции 1917 года. В странах Европы объединения такого рода сформировались уже в самом начале 1920-х годов ввиду большого количества русских эмигрантов с научным стажем, осевших в ряде крупных городов – в Праге, Берлине, Париже и Белграде. Но Соединенные Штаты в те годы не привлекали значительного потока научной интеллигенции, и попытки организовать стабильную северо-американскую академическую группу в довоенный период успехом не увенчались[1].

Всё переменилось после Второй мировой войны. Из разрушенной Европы через океан в США двинулись российские ученые из среды первой русской эмиграции, ранее состоявшие при университетах в странах, теперь занятых Красной армией. Туда же направилось немалое число советских беженцев с высшим научным или техническим образованием, полученным в СССР.

Но следует еще отметить интересный промежуточный момент. В конце 1945 года в Мюнхене под эгидой УНРРА[2] был разработан план создания международного университета для выходцев из стран Восточной Европы, лишенных возможности закончить высшее образование на родине из-за военно-политических событий[3]. Ряд видных специалистов из среды первой эмиграции (М. М. Новиков, К. Г. Белоусов, А. Д. Билимович и др.) вошли в руководство и преподавательский состав нового университета, а после его внезапного закрытия в 1947 г. переселились в Америку и составили ядро будущей РАГ в США. Как сообщает К. Г. Белоусов, поначалу деятели бывшего универстета надеялись продолжить в США работу, начатую в Мюнхене[4]. Для этой цели была создана «Ассоциация американских и иностранных ученых» (Association of American and Foreign Scholars), в рамках которой в 1948 г. и возникла РАГ в США. Это педагогическое наследие отражено и в уставе новой организации. Цитирую формулировку целей, провозглашенных в этом документе:

Академическая Группа в США призвана, гласит второй пункт Устава, *содействовать русским научным деятелям в их преподавательской и*

научно-исследовательской работе в Америке; издавать научный сборник «Записки» и отдельные труды своих членов; организовывать лекции и симпозиумы, а также учебные и исследовательские учреждения[5].

К публикации ежегодника «Записки РАГ» удалось приступить только в 1967 г. ввиду крайне скудных финансовых возможностей организации, и в первые годы деятельность РАГ в США ограничивалась открытыми лекциями, рядом симпозиумов и изданием отдельных брошюр и сборников, посвященных членам РАГ в США[6].

Следует еще вкратце сказать о руководстве организации на начальном этапе ее существования. Первым председателем был избран правовед и историк Е. В. Спекторский (1948). После его смерти в 1951 г., Группу до 1966 г. возглавлял биолог и зоолог М. М. Новиков, а председательство следующего возглавителя Группы, юриста и историка А. А. Боголепова, связано с началом издания ежегодника «Записки РАГ в США». Существенно, что все три названные лица являлись видными учеными с большим общественным опытом: Спекторский в годы Гражданской войны был назначен ректором Киевского университета; Новиков в тот же период был избран ректором Московского университета, а юрист и историк Боголепов в 1921–1922 гг. исполнял должность проректора в Петроградском университете. Своей жизнью и деятельностью эти основатели новой организации воплощали лучшие традиции свободной научной работы и общественного служения.

* * *

В предисловии к первому тому «Записок РАГ в США» высказывается благодарность двум американским благотворительным обществам, Humanities Fund и Orthodox Charitable and Educational Foundation, за финансовую поддержку, позволившую осуществить этот выпуск[7]. Все входящие в первые сборники статьи и материалы были написаны членами РАГ – «Записки» виделись поначалу как естественная площадка для научных работ членов организации. Поэтому в первом томе, вместе с материалами исторического и литературного характера, имеются работы на темы из совсем других областей знания – например, высыхание Каспийского моря и история полемики, вызванная виталистическими теориями в биологии[8]. Том содержит также ряд небольших заметок о публикациях членов РАГ и разнообразные сведения о событиях в жизни Группы (симпозиумы, собрания, юбилеи и некрологи).

Построение следующих нескольких томов существенно не отличается от описанного выше, за исключением растущего общего объема. Наиболее ценным материалом в первых четырех томах, несомненно, являюся публикации из архива П. Б. Струве (тома 2 и 3) и неизданные философские работы Е. В. Спекторского (тома 3 и 4).

Первые тома «Записок» были сборниками пусть интересного, но весь-

ма разнородного материала, и только в 5-м томе, вышедшем в 1971 году, наметилась вошедшая в обиход практика публикации нескольких статей, объединенных одной темой. Пятый том появился в юбилейный год Достоевского (1821–1971), и писателю в сборнике посвящено 11 статей. Такая же цель могла достигаться более скромным сочетанием работ – например шесть статей об «Архипелаге ГУЛаг» Солженицына (т. 8) или пять статей о Пушкине (т. 9); в иных же случаях, и особенно часто в более поздних томах, весь или почти весь выпуск отводится одной теме (например, т. 11 с двадцатью статьями о Л. Н. Толстом или т. 15 с пятнадцатью статьями о русском искусстве).

Возвращаясь к 5-му тому, отмечу начало серийной публикации последней работы историка Г. В. Вернадского «Очерки по истории науки в России», в пяти выпусках «Записок» (тома с 5 по 9). В том же томе начата, и в ряде других выпусков продолжена, публикация аннотированных переводов различных исторически значимых российских документов, ранее не переведенных на английский язык.

Если рассматривать всю серию «Записок» в целом, то становится ясно, что публикации так или иначе связанные с русской литературой, занимают в ней первое место. Помимо уже упомянутого выпуска, посвященного Толстому (т. 11), к литературной тематике относятся следующие «маркированные» выпуски, т. е. тома, в которых эта тема формально провозглашена на обложке или титульном листе: том 14 (Достоевский), 16 (Тургенев), 17 (Гоголь), 18 (Чехов), 20 (Пушкин), 23 (Лермонтов и Ахматова), 24 (М. Булгаков), 25 (Фет), 30 (еще раз Пушкин) и 36 (Солженицын). Этот перечень учитывает только специально направленные выпуски и не вкючает более краткие сплотки литературоведческих работ. Преобладание такой тематики несомненно связано с интересами тех, кому пришлось руководить «Записками». Основатели РАГ в США, такие как Е. В. Спекторский и М. М. Новиков, литературоведами не были, не был им и первый редактор «Записок» К. В. Белоусов. Но когда наступило время неизбежной смены поколений, новое правление РАГ естественным образом сложилось из интересов подавляющего большинства членов организации – преподавателей русского языка и русской литературы в университетах США.

Вторая тема, широко представленная в «Записках», – русская история. Выше уже была отмечена серийная публикация очерков Г. В. Вернадского о выдающихся историках России. В такой же серийной форме опубликовано большое исследование С. А. Зеньковского о роли старообрядцев в русской истории (тома с 29 по 32). Тома 21 и 22 целиком посвящены Крещению Руси; том 33 рассматривает феномен Санкт-Петербурга, а том 19 состоит из статей, написанных в память историка С. Г. Пушкарева.

К рубрике «русская история», несомненно, относится и большой блок работ, посвященный судьбам русской эмиграции. Три сборника (тома 26-28)

обращены полностью к различным аспектам этой темы, включая серийную публикацию чрезвычайно ценных воспоминаний прот. В. В. Зеньковского. Очень содержателен том 31, освещающий малоизвестные стороны т. н. «Русской Праги», в том числе несколько статей, обращенных к вопросу о действиях ген. Власова в последние дни войны. В томе 37 приводится большое количество новонайденных архивных данных, относящихся к зарождению и распаду евразийского движения, самого яркого идеологического направления, возникшего в среде русской эмиграции, а том 39 обращен к бурным спорам о софиологии, разгоревшихся в церковных кругах эмиграции в 1930-е годы.

Советский период русской истории отражен в «Записках» менее подробно. Но есть интересные воспоминания о советской аспирантуре 1930-х годов и о лингвистических теориях того времени. Есть ряд статей о тяжелых условиях Русской Православной Церкви. И очень значительные материалы представлены в ненумерованном сборнике, состоящем из сведений, почерпнутых из Интернета о разного рода репрессиях, имевших место в Советском Союзе почти за весь период его существования (составитель Е.Л. Магеровский).

Из других тем, имеющих значительное присутствие в «Записках», следует назвать русское искусство, которому полностью посвящен 15-й том. Отчасти ему же посвящен и том 35, рассматривающий модернистические и абсурдные элементы в русской культуре в самом широком смысле. И вне каких-либо однородных категорий находится том 38, Festschrift В. Е. Александрову, – богатый сборник статей на разнообразные исторические, литературоведческие и теоретические темы.

Хочется отметить также весьма полезные библиографии и библиографические очерки, появившиеся в «Записках». Из них особого внимания заслуживают блестящая *bibliographie raisonné* на тему Александра I и Федора Кузьмича (т. 13) и исчерпывающе полная сводка литературы о богослове и историке прот. Георгии Флоровском (т. 37).

* * *

Последний выпуск «Записок» (т. 39) вышел в 2016 году. Причины закрытия этого ценного периодического издания достаточно типичны в ряду неизбежных уходов со сцены многих эмигрантских начинаний. Русская Академическая Группа в США была создана эмигрантами для выходцев из России. Так же поначалу виделись и «Записки». По мере роста научной репутации этого издания, однако, в организацию начали вступать – и в сборниках печататься – американские русисты и слависты, обогощая «Записки» своими публикациями. К 1980-м годам, когда деятельность Группы сузилась и стала выражаться одним только изданием «Записок», статьи в очередных номерах стали всё более и более внешне походить на публикации в *Slavic and East*

European Journal или *Slavic Review* (главные органы американских ученых сообществ по изучению Восточной Европы), отличаясь от них главным образом лишь своим последовательным двуязычьем. Одновременно с этим намечалась всё более явная смена профиля авторов публикуемых в «Записках» материалов. Статьи «китов» первой эмиграции уже давно исчезли со страниц «Записок», представителей второй эмиграции становилось всё меньше, а более молодые ученые, как правило, не испытывали того «эмигрантского пафоса», который был присущ уходящему поколению авторов.

В этом отношении конец Советского Союза стал кризисной точкой для «Записок». Пишущий эти строки был свидетелем споров в редакции о том, можно ли при новых обстоятельстах вообще оправдать дальнейшую деятельность «Записок». Не исчез ли основной *raison d'être* существования журнала? Ведь теперь каждый желающий писать по-русски автор получил возможность печататься в России. Так зачем нам «Записки»?

Хотя такая точка зрения не оказалась решающей в 1990-е годы, всё же потеря некоего чувства «миссии» несомненно наложилась на другие процессы, влияющие на положение «Записок». По мере того, как журнал становился более похожим на другие издания для русистов и славистов, потенциальные авторы, свободные от особой преданности «Запискам», естественным образом выбирали наиболее выгодный для себя вариант, предпочитая печататься в изданиях с несравненно бóльшим тиражом, чем тем скромным, что способны были предложить им «Записки» (тираж – ок. 350). Сокращение поступающего материала от проживающих в США авторов отчасти возмещалось статьями и рецензиями от новых российских сотрудников. Качество этого материало было безупречным, но когда участие членов РАГ в США в изданиях сборника упало до минимума, пришло время закрывать «Записки». Формальное решение о прекращении деятельности РАГ в США было принято на Общем собрании организации, имевшем место 17 мая 2018 года в Покипси, штат Нью-Йорк.

* * *

На последнем Общем собрании также было постановлено, что следует попытаться создать сайт с размещением всего материала, напечатанного в «Записках». С помощью Вассар Колледжа (Vassar College) главную часть проекта удалось осуществить, см.: https://digitallibrary.vassar.edu/islandora/object/vassar%3Aaras (Составление указателя авторов было прервано карантинными мерами, связанными с COVID-19, но есть надежда, что это будет добавлено к сайту до конца текущего года.)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Об этих попытках рассказывают Т. И. Ульянкина и А. В. Квакин. См. *Ульянкина Т. И.* История создания РАГ в Северо-Американских

Соединенных Штатах (1923) // Записки Русской Академической Группы в США. Т. 34 (2006–2007). – Сс. 197-236; *Ульянкина Т. И., Квакин А. В.* Русская Академическая группа в США (Русский Академический союз – 1921–1931): История, растянувшаяся на десятилетие // Там же. – Сс. 237-276.

2. UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration.

3. О международном университете см.: *Ульянкина Т. И.* «Дикая историческая полоса…» Судьбы российской научной эмиграции в Европе (1940–1950) – М.: РОССПЭН, 2010. – Сс. 121-136.

4. *Belousow C. W.* [*Белоусов К. В.*] Русская Академическая Группа в США // «Записки Русской Аладемической группы в США». Т. 6 (1972). – Сс. 321.

5. Устав РАГ в США. – С. 1. (Архив РАГ в США). Дата составления документа не указана.

6. *Белоусов.* Указ. соч. – С. 323.

7. Humanities Fund помог финансировать издание и следующих трех томов «Записок». Начиная с 5-го тома, однако, расходы по изданию покрывались почти исключительно членскими взносами и растущей подпиской на «Записки» многих библиотек в США, Канаде и Европе. В более поздние годы РАГ получила ряд дотаций от Толстовского Фонда и от Фонда И. В. Кулаева. Кроме того, в кассу поступили некоторые суммы, завещанные Русской Академической группе почившими членами организации.

8. Здесь следует пояснить, что в 1960-е годы у автора-эмигранта, желающего писать по-русски на тему естественнонаучного характера, не существовало никакой платформы для публикации, кроме «Записок». Печататься в Советском Союзе было изначально исключено по политическим причинам; для эмигранской газеты или для периодического издания типа «Нового Журнала» естественнонаучная тематика не подходила, а трудность изложения своих мыслей по-английски для нового иммигранта во многих случаях являлась непреодолимой преградой.

Покипси

Андрей Любимов

Свято-Троицкий мужской монастырь в Джорданвилле. Страницы истории

На севере штата Нью-Йорк среди многочисленных фермерских хозяйств находится русский православный Свято-Троицкий мужской монастырь. Его земельные угодья широко раскинулись по соседству с деревней Джорданвилль.

Монастырь был основан выходцем из Гродненской губернии архимандритом Пантелеимоном. В его послужном списке отмечено: «Основатель и строитель Свято-Троицкого монастыря архимандрит Пантелеимон. Сын крестьянина Адама Павловича Нижник[а]. В миру Петр Адамович Нижник. Мать – Александра Антоновна, урожденная Стасюк. Родился 16 января 1895 года. Полуселок Пантеевская Речица Городечнянской вол[ости], Пружанскаго уезда, Гродненской губернии»[1]. В 1913 году Петр Нижник отправился в путь на заработки в далекую Америку, чтобы поддержать финансово семью и домашнее хозяйство с надеждой посылать заработанные деньги родителям. С началом Первой мировой войны, а затем революции в России в 1917 г., Петр решил не возвращаться и остался в США. В 1918 г. он поступил послушником в русский Свято-Тихоновский мужской монастырь в штате Пенсильвания. В 1920 г. Петр Нижник принял монашеский постриг с именем Пантелеимон. В 1928 г. после долгих раздумий отец Пантелеимон принял решение оставить монастырь и, с благословения митрополита Платона (Рождественского)[2], отправился в Канаду в поисках уединенного места для подвижничества. Отправился с ним в дорогу и давний знакомый, регент одного из церковных приходов в Пенсильвании Иван Андреевич Колос[3].

Добравшись поездом до деревни Джорданвилль, путники вышли на маленькой станции. В поисках ночлега им посоветовали остановиться недалеко от деревни в бывшем фермерском доме, который был переоборудован новым хозяином частично в гостиницу. За беседой с владельцем дома по имени Лео Уайт[4], отец Пантелеимон и Иван Колос поделились причиной своего путешествия. Лео Уайт предложил им купить землю, приобретенную им вместе с домом. На что путники дали свое согласие.

Отсутствие денег на покупку земли у отца Пантелеимона и Ивана Колоса не повлияло на их решение поселиться именно здесь. Лео Уайт раз-

решил остаться и использовать возможность заработать деньги на приобретение земельного участка. Свидетельством этой договоренности является письмо отца Пантелеимона, датированное 21 ноября 1928 г., адресованное архиепископу Апполинарию (Кошевому): «Прошу Ваше Преосвященство, исходатайствуйте нам от высшей заграничной церковной власти, Карловацкого Синода и Председателя его Митр[ополита] Антония благословите на устройство Русской православной общежительной мужской обители во славу Святой Единосущной, Животворящей и Нераздельной Троицы, также попросите Высокопреосвященнейшего Митр[ополита] Антония прислать нам опытного в духовной жизни старца иеросхимонаха или иеромонаха в духовники, а если будет возможность, то и двух старцев. Нас теперь 6 человек, желающих устроить св[ятую] обитель. Покуплен большой участок земли в штате Нью-Йорк 320 акров, более 90 десятин»[5]. Купчая на приобретение земли была подписана 6 июля 1929 г. после того, как отец Пантелеимон вернулся из штата Коннектикут, где он работал на заводе Игоря Сикорского[6], чтобы собрать деньги на покупку земельного участка.

Весной 1934 года братия монастыря приступила к строительству братского корпуса на 16 келий с церковью внутри. К началу июня была закончена внутренняя отделка здания и церкви. Для освящения храма, назначенного на 17 июня, второго дня празднования Святой Троицы, ожидали приезда архиепископа Виталия (Максименко)[7]. В конце Божественной Литургии был замечен пожар в одной из келий. Огонь невозможно было остановить. Сгорело всё здание вместе с церковью и библиотекой.

На помощь оставшейся без крова братии пришел Лео Уайт. Он поселил всех в свой просторный дом. В одном из помещений была устроена церковь. Буквально на следующий день хозяин дома заявил братии следующее: «Я отдаю этот дом в ваше полное распоряжение, ни одного цента от вас не возьму. Есть на нем заем в 5.000 долларов в банке – берите дом, 4 акра под ним земли, гараж и сарай, а заем и акт я переписываю на вас. Кроме того я оставляю вам почти всё, что есть в доме: печки, кровати, столы, стулья, занавесы на окнах и много других вещей и за это ни цента от вас не возьму»[8].

Первого октября этого же года была полностью выплачена сумма банковского займа, и дом стал собственностью обители.

С первых лет становления монастыря отец Пантелеимон с братией мечтал об организации печатного дела. Это начинание возглавил архиепископ Виталий (Максименко). Владыка передал для монастыря из собора в Нью-Йорке небольшую типографию, сопровождая это событие обращением к монастырской братии: «Дорогая во Христе братия! Десять лет вы усердно трудились по сельскому хозяйству, улучшая и расширяя его, но не для обогащения земного, а чтобы иметь прочный собственный материальный фундамент в служении Слову Божию. Я был свидетелем ваших вели-

ких трудов, удивлялся вашей настойчивости и терпению и с радостью слушал ваши мечты, как, прочно поставивши хозяйство, вы своими средствами начнете издавать церковные и назидательные книги, чтобы увеличить свет Веры Христовой. Это была ваша заветная мечта, и вот, Бог дал, она осуществляется: вы получите типографию. От всей души приветствую вас с этим новым святым послушанием»[9]. В августе 1941 г. в монастырь из Нью-Йорка была перевезена типографская машина и несколько наборов шрифтов.

Некоторое время спустя известный писатель эмиграции Г. Д. Гребенщиков[10], живший в основанной им в толстовском стиле для русских эмигрантов деревне Чураевке в штате Коннектикут, продал монастырю оборудование своего издательства «Алатас» в связи с переездом во Флориду.

29 ноября 1943 г. в монастыре состоялось общее собрание братии. Единогласно было принято решение о строительстве монастырского храма.

В декабре 1943 г. отец Пантелеимон отправляет письмо архитектору Р. Н. Верховскому с просьбой составить чертеж будущего храма: «Для нас наиболее воодушевляющим примером был тот факт, если бы и наш храм Свято-Троицкой обители напоминал нам во всем старый Троицко-Сергиевский храм или вновь построенный в том же стиле Троицкий Собор Почаевской лавры, и мы надеемся, что Вы приложите Богом Вам данные таланты и исключительный опыт в деле церковного строительства, чтобы сочетать эти высокие образцы русского зодчества с условиями современной техники»[11].

Роман Николаевич дал согласие. Был организован строительный комитет, в который вошли архиепископ Виталий (Максименко), будущий первый декан Свято-Троицкой семинарии Н. Н. Александров[12], отец Пантелеимон (Нижник) и др. За образец нового храма по благословению Владыки Виталия были взяты две церкви Свято-Троицкой лавры – Введенская и Пятницкая, и храм Почаевской лавры по проекту архитектора Щусева[13].

Р. Н. Верховской работал над проектом до конца 1944 года. Чертеж будущего храма и указанные расходы по его возведению стали предметом детального обсуждения со стороны архитектора А. Е. Болдакова[14], который непосредственно принял деятельное участие в подготовке храмостроительства в Св.-Троицкой обители. По мнению А. Е. Болдакова, стоимость постройки оценивалась в 50.000 долларов. Алексей Ефимович указал на плоские крыши храма, которые не могли бы выдержать обильных снегопадов в этих краях. Такого же мнения был и отец Пантелеимон, сообщив в письме Н. Н. Александрову следующее: «Очень сожалею и болею душой, что в деле Божием, в нашем строительстве нет единодушия. Сожалею также о том, что архитектору Р. Верховскому поручили ему самому, по его личному соображению, составить план-чертеж постройки нашего храма. Который был составлен им непрактично, и составлен был в таких размерах, не под силу нами выполнимых»[15].

Н. Н. Александров предпринял поиски других образцов будущей церкви и остановился на храме в селе Федино Воскресенского района Московской области. Изображение этой церкви, построенной во имя преподобного Серафима Саровского, он нашел в журнале «Нива», а чертежи – в журнале «Зодчий» за 1914 год. Св.-Серафимовский храм был построен в селе Федино по проекту архитектора Суслова[16] в имении П. Д. Ахлестышева[17]. К сожалению, его так и не смогли освятить, а после 1917 г. использовали не по назначению.

Владыка Виталий и отец Пантелеимон с братией с воодушевлением приняли за образец этот храм. Отец Пантелеимон восторженно сообщал Н. Н. Александрову: «Теперь посылаю Вам мой новый среднего размера план храма и тот, что посылал Владыка, и одинаковый – А. Е. Болдакову. Вид храма святого Серафима в селе Федино, для всех желательный, только чтобы 4-е малые купола в новом чертеже были сделаны над притвором и боковыми стенами, а нижные купольчики чтобы были сделаны над входными и выходными дверями: западными, северными и южными с их сенями и украшениями, а главный купол желательно для нас многих, для памяти бывшей чудной церкви Успения в Киево-Печерской лавре и варварами XX-го века разрушенной, иметь хотя частичку, хотя большой главный купол на нашей монастырской земле, а вместе получит Державный Покров Царицы Небесной над нашей обителью»[18].

Р. Н. Верховской вновь приступил к работе над чертежами будущего храма. В период строительства храма в Св.-Троицкий монастырь после двух лет скитаний по Европе прибыла братия из монастыря в Ладомирово (Словакия). Это произошло 1 декабря 1946 года.

С 1947 г. в типографии монастыря возобновился выпуск «Православной Руси», газеты, основанной в 1928 г. и печатавшейся в обители преп. Иова Почаевского в Словакии.

В 1948 г. был закончен и освящен нижний храм во имя преподобного Иова Почаевского. В день освящения храма было объявлено об официальном открытии духовной семинарии при монастыре. Представитель Отдела просвещения штата Нью-Йорк доктор Франк Грейвс (Frank Graves, 1869–1956) передал Владыке Виталию (Максименко) документ на право открытия семинарии. В этом была огромная заслуга профессора Н. Н. Александрова, который с неимоверной энергией не только занимался строительством храма, но и трудился в деле организации духовного образования. С момента открытия семинарии Николай Николаевич был назначен ее первым деканом.

В 1950 г. был закончен главный храм обители. Над его росписью трудился отец Киприан (Пыжов) со своим помощником иеродиаконом Алипием (Гамановичем)[19]. Спустя два года, в 1952 г. было начато строительство братского корпуса.

В монастырь стали приезжать многочисленные русские паломники,

волею судьбы попавшие в США из Европы после окончания Второй мировой войны. На страницах «Православной Руси» часто печатались впечатления людей, приезжавших в монастырь. Большое число паломников прибывало в обитель в дни ее престольных праздненств. Вот как трогательно описывал свои впечатления от посещения монастыря один из паломников: «Св. Троица! Один из любимейших праздников родной страны. И неудержимо потянуло в нашу дивную Свято-Троицкую обитель. Под русское небо. Там и только там забываешь, что ты на чужбине, что ты бездомный скиталец, мятующаяся птица с разоренных и оскверненных гнездовьев. Там всё родное, близкое, безконечно милое и дорогое. Там дух истинной Святой Руси. Богом благословенная, чудом Его творимая, Святая Божья обитель»[20].

В 1951 г. по приглашению Владыки Виталия (Максименко) из Европы в монастырь приезжает архимандрит Аверкий (Таушев)[21]. На следующий год отец Аверкий становится ректором семинарии, а в 1953 г. архимандрит Аверкий был возведен в сан епископа. Владыка Аверкий обладал проповедническим талантом, составил несколько учебников для семинарского учебного курса. В 1960 г. после кончины архиепископа Виталия, Владыка Аверкий был избран настоятелем монастыря.

На всем протяжении существования монастыря многие русские эмигранты, посещая монастырь во время паломнических поездок, принимали решение завещать обители на хранение семейные реликвии. Руководители многих эмигрантских организаций и объединений стремились передать в монастырь воинские регалии, ценные архивные документы. Все переданные реликвии хранились на втором этаже братского корпуса в специальной комнате рядом с кабинетом Владыки Аверкия.

В 1980 г. во время настоятельства епископа Лавра (Шкурлы)[22] было принято решение сделать пристройку к семинарскому зданию для устройства музея, архива и библиотеки. В «Православной Руси» было напечатано обращение о предстоящем строительстве и о большой значимости собрания и сохранения в стенах монастыря наследия Русского Зарубежья. В частности, говорилось следующее: «...с годами старшие поколения уходят из жизни, а младшие постепенно денацализируются, так что уже в третьем поколении многие перестают говорить по-русски. Старые общественные, военные и иные организации за смертью своих членов прекращают свое существование. Хранителей русских заветов и традиций остается всё меньше и меньше. Единственным хранителем русских начал и русских традиций остается только Русская Зарубежная Церковь»[23]. После напечатанного обращения на имя Владыки Лавра стали поступать многочисленные письма от желающих передать семейные архивы. Письма поступали от руководителей эмигрантских организаций как в США, так и из стран Южной Америки и Европы. Музей, архив и библиотека стали пополнятся редкими экспонатами, документами, семейными книжными собраниями.

17 июня 1984 г. был открыт музей. А спустя 30 лет началась подготовка к открытию нового помещения для музея. 25 мая 2014 года двери музея распахнулись для посетителей, пришедших ознакомиться с подготовленной к этому событию выставкой «Русское слово и образ: четыре века книги и искусства». Тем самым Свято-Троицкий монастырь выполняет свою духовную и просветительную миссию. Каждый день совершается установленный круг богослужений. В пять часов утра начинают звучать слова молитвы в храме. Монастырская братия молится о почивших насельниках обители и о всех, кто нашел упокоение на монастырских кладбищах. Монастырь посещают многочисленные паломники, приезжая помолиться в этот тихий уголок, похожий на Россию. В воскресные и праздничные дни утренний благовест возвещает о начале божественной литургии. Богомольцы спешат в храм.

Жизнь монастырских насельников состоит из молитвы и послушаний. На протяжении десятилетий братия монастыря жертвенно трудится по благоустройству обители, сохраняя память о своих собратьях, которые, придя в эти места, начали создавать духовный и миссионерский центр Русской Зарубежной Церкви.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Архив Свято-Троицкой духовной семинарии. Holy Trinity Monastery Papers. Коллекция послужных списков насельников монастыря. Temporary Box 1, Folder 9. Архимандрит Пантелеимон (в миру Петр Адамович Нижник, 1895–1984). Похоронен на братском кладбище монастыря.
2. Митрополит Платон (в миру Порфирий Федорович Рождественский, 1866–1934). С 1921 г. Управляющий Северо-Американской епархией.
3. Архимандрит Иосиф (в миру Иван Андреевич Колос, 1896–1970). Родился 12 марта 1896 г. в дер. Свириды Бельского уезда Гродненской губ. Начальное образование получил в деревенском Народном училище. 13 февраля 1913 г. прибыл в США на пароходе «Graf Waldersee» рейсом Гамбург–Филадельфия. В 20-х годах служил псаломщиком в приходе протоиерея Григория Глебова (1879–1956). С 1922 по 1924 гг. учился в духовной семинарии в Нью-Йорке. Работал механиком в г. Бриджпорт, шт. Коннектикут, и служил псаломщиком в разных приходах Американской Митрополии. В марте 1933 г. поступил послушником в Св.-Троицкий монастырь. В июне 1935 г. пострижен в монашество. В конце декабря 1956 г. возведен в сан архимандрита. Скончался 7 августа 1970 г. Погребен на братском кладбище монастыря.
4. Лео Уайт (Leo Raphael White). Род. 12 декабря 1884 г. в городке Аннсвилль (Annsville), штат Нью-Йорк. Скончался 26 октября 1966 г. в гор. Илион (Ilion) в окрестностях Джорданвилля и похоронен на кладбище Armory Hill.
5. Архив Свято-Троицкой духовной семинарии. Holy Trinity Monastery Papers. Temporary Box 11, Folder 1.

Архиепископ Аполлинарий (в миру Андрей Васильевич Кошевой, 1874–1933), епископ РПЦЗ, архиепископ Северо-Американский и Канадский. Скончался и похоронен в Нью-Йорке. В 1965 г. его останки были перезахоронены в Св.-Троицком монастыре в Джорданвилле. Митрополит Антоний (в миру Алексей Павлович Храповицкий, 1863–1936). Род. в селе Ватагино, Крестецкого уезда Новгородской губернии. Первый Председатель Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви.

6. Сикорский Игорь Иванович (1889–1972). Русский авиаконструктор, изобретатель, философ. Входил в состав комитета по строительству храма в Св.-Троицком монастыре и оказывал финансовую помощь.

7. Архиепископ Виталий (в миру Василий Иванович Максименко, 1873–1960). Родился в местечке Глафировка Таганрогского округа Войска Донского. Окончил Екатеринославскую духовную семинарию. Основатель монастыря преп. Иова Почаевского в Ладомирово, Пряшевская Русь, и типографии. В 1889 г. пострижен в монашество митрополитом Антонием (Храповицким). В 1934 г. в Белграде хиротонисан во епископа Детройтского с пребыванием в Св.-Троицком монастыре в Джорданвилле. С 1948 г. – настоятель монастыря.

8. Архив Свято-Троицкой духовной семинарии. Archimandrite Panteleimon (Nizhnik) Papers. Temporary Box 1. Folder 14.

9. Архив Свято-Троицкой духовной семинарии. Коллекция фотоальбомов.

10. Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1883–1964). Известный русский писатель. Автор многотомной эпопеи «Чураевы». В штате Коннектикут основал русскую деревню Чураевка и издательство «Алатас».

11. Архив Свято-Троицкой духовной семинарии. Nikolai Nikolaevich Aleksandrov Papers. Temporary Box 12. Folder 10. Письмо о. Пантелеимона (Нижника) Р. Н. Верховскому. Верховской Роман Николаевич (1881–1968). Архитектор. Родился в городе Вильно. В эмиграции с 1920 г. в Югославии. В 1937 г. переехал в США. С 1941 г. определен архитектором в Американской митрополии. Автор проектов многих православных храмов.

12. Александров Николай Николаевич (1886–1970). Инженер-конструктор морских судов. Участник Первой мировой войны. Капитан 1-го ранга. С 1920 в эмиграции в Бизерте (Тунис). В 1926 г. по приглашению И. Сикорского переезжает в США. Профессор. Преподавал в нескольких американских университетах. Принимал самое деятельное участие в основании семинарии. Был ее первым деканом. Похоронен на старом монастырском кладбище.

13. Щусев Алексей Викторович (1873–1949). Академик архитектуры. Родился в Кишиневе. Здесь имеется в виду его проект Троицкого собора Почаевской лавры.

14. Болдаков Алексей Ефремович (1891–1951). Архитектор. Родился в Петербурге. В США прибыл в мае 1916 г. из Норвегии. Жил и работал в Нью-Йорке. Затем переехал в г. Бриджпорт, штат Коннектикут. Работал на руково-

дящих должностях в строительных компаниях. Похоронен на старом монастырском кладбище.

15. Архив Свято-Троицкой духовной семинарии. Nikolai Nikolaevich Aleksandrov Papers. Temporary Box 12. Folder 7. Письмо о. Пантелеимона (Нижника) Н. Н. Александрову от 29 января 1945 г.

16. Суслов Владимир Васильевич (1857–1921). Архитектор, реставратор, исследователь русского зодчества. Родился в Москве в семье иконописца. Детство провел в Палехе Владимирской губернии (ныне Ивановская область). Автор многочисленных печатных трудов по русской архитектуре. Умер и похоронен в г. Хвалынске Самарской губернии.

17. Ахлестышев Павел Дмитриевич (1845–1933). Вице-губернатор Московской губернии.

18. Архив Свято-Троицкой духовной семинарии. Nikolai Nikolaevich Aleksandrov Papers. Temporary Box 12. Folder 6. Письмо о. Пантелеимона (Нижника) Н. Н. Александрову от 24 февраля 1945 г.

19. Архимандрит Киприан (в миру Кирилл Дмитриевич Пыжов, 1904–2001). Известный иконописец и художник. Происходил из старинного дворянского рода Пыжовых. Его предки записаны в Бархатной книге. В эмиграции стал насельником монастыря преп. Иова Почаевского в Ладомирово. С 1946 г. – насельник Св.-Троицкого монастыря в Джорданвилле. Похоронен в крипте Св.-Троицкого храма. Архиепископ Алипий (в миру Николай Михайлович Гаманович, 1926–2019). Архиепископ Чикагский и Средне-Американский (РПЦЗ). Иконописец. С 1946 г. – насельник Св.-Троицкого монастыря. Окончил Св.-Троицкую семинарию. С 1987 г. епископ Чикагский и Детройтский. Похоронен на братском кладбище Св.-Троицкого монастыря.

20. *С. Н. Боголюбов*. Под русским небом. День Св. Троицы в Св.-Троицком монастыре, Джорданвилль, НЙ. – «Православная Русь», № 11-12. 1952. – С. 7.

21. Архиепископ Аверкий (в миру Александр Павлович Таушев, 1906–1976). Архиепископ Сиракузский и Троицкий (РПЦЗ), настоятель Св.-Троицкого монастыря в Джорданвилле. Ректор Св.-Троицкой духовной семинарии. Происходит из старинного княжеского рода Таушевых, утративших княжеский титул. Известный проповедник, автор учебников, книг, многочисленных статей. Похоронен в крипте Св.-Троицкого собора.

22. Митрополит Лавр (в миру Василий Михайлович Шкурла, 1928–2008). С 2001 г. – Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. Похоронен в крипте Св.-Троицкого собора.

23. *Епископ Лавр, с братией*. К построению музея и архива при Свято-Троицкой семинарии. – «Православная Русь», № 13. 1980. – Сс. 11-12.

Джорданвилль

Сергей Голлербах

Вспоминая Р. Б. Гуля

Мое личное знакомство с Романом Борисовичем Гулем (1896–1986), долголетним главным редактором старейшего в эмиграции литературного «Нового Журнала», восходит к концу шестидесятых – началу семидесятых годов прошлого столетия. Хотя имя его мне было известно и раньше, и я даже встречался с ним. Писатель, журналист, литературный критик, редактор, политический деятель – он был одной из значительных фигур первой волны русской эмиграции и прошел долгий и в молодости своей бурный путь в тяжелые и судьбоносные годы. Первая мировая война, революция, Гражданская война... надежды, разочарования, дорога от блоковского Христа в «белом венчике из роз» до красного террора и всех тягот последовавшей эмиграции.

Роман Борисович Гуль родился в 1896 году в Пензе в семье нотариуса, окончил там гимназию и поступил в Московский университет на юридический факультет; во время Первой мировой воевал на Юго-Западном фронте командиром роты. После Октябрьской революции добрался до Новочеркасска, где сражался в отряде полковника Симановского, входившего в Корниловский Ударный полк Добровольческой армии. Участвовал в Первом Ледяном походе, был ранен. С осени 1918-го оказался в Киеве. Там во время оккупации города Петлюрой был арестован. В начале 1919 года вместе с другими пленными из армии гетмана Скоропадского был вывезен в Германию, где попал в лагерь для русских военнопленных.

По окончании Первой мировой войны оказался в Берлине, ставшем тогда одним из центров русской эмиграции. Именно там началась активная творческая деятельность Романа Борисовича как журналиста и редактора. В Берлине, подвергая анализу события Гражданской войны и политику обеих армий – Белой и Красной – по отношению к гражданскому населению, временно увлекся идеями сменовеховцев, однако довольно быстро разочаровался в них и уже никогда на протяжении жизни не впадал с соблазн идей конвергенции советского строя или «особого пути» России.

Когда к власти в Германии пришли нацисты, Гуль был арестован за свои произведения (в частности, «Генерал БО», 1920, о Савинкове и Азефе) и заключен в концлагерь. Вскоре он был освобожден при содействии друзей-эмигрантов из Франции, сумел добраться до Парижа, где возобновил свою писательскую и общественную деятельность. Молодой литератор

сотрудничал с ведущими изданиями Зарубежной России – «Последними новостями», «Современными записками» и др. Склонный по глубоко творческой природе своей к авантюрным поступкам и рискам, Гуль короткое время был членом масонской ложи «Свободная Россия», но легко и добровольно покинул ряды русских масонов. Во время немецкой оккупации Франции жил огромной семьей Гулей на ферме на юге Франции, подрабатывал на стекольной фабрике. После войны Роман Борисович занимался активнейшей общественной и политической антикоммунистической деятельностью; вместе с С. Мельгуновым создал группу «Российское народное движение», издавал свой политический журнал «Народная правда», объединивший всю антикоммунистическую международную эмиграцию. Наконец, в 1951 году Р. Б. Гуль иммигрирует в США, где и прожил до конца своих дней.

У каждой крупной личности есть свои друзья и свои недоброжелатели; были они и у Романа Гуля. Позволю себе высказаться по этому поводу. Каждый страстный творческий человек, а таким и был Роман Борисович, обладает особой, неуправляемой, жадной любознательностью, – эта черта подобна актерской жажде воплотиться в ту или иную роль. Мы все, в определенном смысле, в этой жизни играем разные роли. Оглядываясь на бурный путь, пройденный Гулем, вспомним, что от родного дома он оторвался еще мальчиком, что ему пришлось испытать на себе самые трагические повороты истории, – и он старался найти какие-то нити, связывающие его с прошлым и, одновременно, пронизывающие его настоящее и будущее. Он не вернулся в Россию советскую, но унес с собой в эмиграцию Россию свободную. При этом он жадно пытался изучить современную ему Россию, чтобы оказаться ей полезным после победы над Советами. Его переписка, скажем, со Светланой Аллилуевой, женщиной сумасбродной, но с трагической судьбой, была важна для Гуля и как для писателя, и как для человека – исследующего феномен свободного духа. Романа Борисовича даже тянуло к таким людям, через них он пытался понять игру самой истории.

Вернусь, однако, к моей первой встрече с Гулем. Мой друг, художник Алексей Шлиппе, преподавал историю искусства в университете штата Коннектикут; он проживал в городке Норвич часах в двух от Нью-Йорка. Летом он с семьей улетал на месяц в Европу и приглашал друзей погостить в летнем доме в его отсутствие. Однажды гостями оказались у него Роман Борисович с супругой и автор этих строк. За давностью лет трудно сейчас вспомнить, о чем мы тогда говорили, – кажется, меньше всего о политике и больше – о нашей жизни в Нью-Йорке. Роман Борисович жаловался на то, что нести заботы главного редактора «Нового Журнала» ему одному становится трудно, хотя у него были секретари – сначала Зоя Осиповна Юрьева и затем – Ксения Владимировна Радыш. Финансовое положение журнала было действительно сложным. Однако произошло чудо – которому способствовал эстонский поэт-эмигрант Алексис Константинович Раннит.

Алексис Раннит, русский со стороны отца, вырос в эстонской семье и считал себя эстонцем. Его в журнал привела Юрьева. А он, в свою очередь, познакомил Романа Борисовича Гуля с американским миллионером Томасом Витней. Член известной семьи миллионеров (нефтянников и коннозаводчиков), Томас во время Второй мировой войны совсем еще молодым человеком стал корреспондентом американского агентства The Associated Press в Москве; там он овладел русским языком, причем настолько, что перевел впоследствии несколько книг Солженицына на английский язык. Там же он встретил русскую певицу Юлию, женился на ней и вывез, после долгого сопротивления советских властей, в Соединенные Штаты. Юлия, увы, вскоре скончалась; Томас создал благотворительный фонд ее имени Julia Whitney Foundation. Фонд помогал журналу вплоть до кончины Томаса. Роман Борисович жил тогда на 113-й улице Верхнего Бродвея, редакция находилась несколькими кварталами ниже, на втором этаже дома, над китайским рестораном. С помощью Фонда редакция переехала в лучшее помещие на Нижнем Бродвее, а Томас Витней стал президентом корпорации «Нового Журнала».

Роман Борисович, фактически единолично ведший журнал, остро нуждался в помощнике-редакторе. Выбор его пал на Леонида Денисовича Ржевского, профессора Нью-Йоркского университета, прозаика, эмигранта второй волны. Однако двум творческим индивидуальностям оказалось тесно под одной крышей. Надо тут сказать, что врагами они не стали и встречались на выступлениях литераторов и на журфиксах. Когда в Нью-Йорк прибыли из Парижа друзья Гуля – Георгий Адамович и Ирина Одоевцева, Ржевский устроил им торжественную встречу у себя на квартире и, конечно, пригласил Гуля. Присутствовал на этой встрече и я, – и теперь с улыбкой вспоминаю, как Роман Борисович и Ирина Одоевцева уже старческими голосами пропели стишок поэтессы – «И во сне, и наяву с наслаждением живу!»

Скажу тут несколько слов о характере Романа Борисовича. Мне кажется, что в нем сочеталась терпимость и даже мягкость с резкостью и жесткостью. Так, например, живший в Нью-Йорке знаменитый меньшевик Борис Николаевский известен был тем, что никогда не возвращал данные ему для прочтения книги. Гуль ему это прощал, говоря: «Зачитать книгу – это преступление на почве страсти, всё равно, что отбить жену у друга». Еще большее впечатление произвел на меня его рассказ о том, как он интервьюировал перебежчика из Советского Союза, бывшего следователя НКВД: «Жуткая личность. Но, знаете, в нем было и что-то симпатичное». О людях, которых он презирал, Гуль отзывался резко. Невзлюбив почему-то поэта и искусствоведа С. Маковского, Роман Борисович называл его «г* в перчатках».

Познакомившись ближе с Романом Борисовичем, мы с женой несколько раз приглашали его поужинать с нами в ресторане. Роман Борисович знал толк во французских винах и объяснил мне, что в белом вине надо ценить букет, а в красном – тело. Этих выражений я не знал.

Наступила середина семидесятых годов, и произошли события, связанные как с Гулем, так и со мною. Летом 1975 года мне позвонил молодой человек, прекрасно говоривший по-русски, но оказавшийся чистокровным французом. Его звали Ренэ Герра, и он прилетел из Парижа в Нью-Йорк познакомиться с Романом Борисовичем и со мною. Сейчас Ренэ Герра известен как крупнейший французский славист и коллекционер русского искусства Серебряного века, не имеющий себе равных в западном мире. С Ренэ Юлиановичем меня связывает уже сорокапятилетняя дружба, и по его предложению я в свое время сделал портретный набросок с Романа Борисовича, который теперь находится в коллекции Герра.

В семидесятые же годы в Америку прибывали художники-диссиденты из СССР, и в газете «Новое русское слово» стали появляться мои рецензии об их выставках. Роман Борисович читал их и как-то предложил мне написать что-нибудь об искусстве для «Нового Журнала», на что я с радостью согласился. В 1976 году появились в журнале мои «Заметки художника» – и я считаю Романа Борисовича крестным отцом моих дальнейших литературный опытов.

Наконец, произошло и еще одно событие, касающееся как Романа Борисовича, так и моей семьи. Предыстория такова. Брат моей матери, дядя Сергей Алексеевич Удальцов-Агапов, в молодости – офицер Второго Лейб-гвардии Царскосельского полка, воевал в Первую мировую войну, получил золотое оружие и Георгия за храбрость; был ранен в 1916 году и отправлен в тыл на излечение. Там он женился на балерине балета Дягилева Анне Ивановне Прокофьевой, и у них родилось двое детей – сын Виталий и дочь Марина. После убийства Кирова дяде припомнили его офицерское происхождение и сослали в концлагерь, а тетю Аню выслали в Уфу, где она устроилась преподавать танцы в местном Доме пионеров. Среди учеников оказался татарский мальчик Рудик, талант которого она распознала и посоветовала ему поступить в хореографическое училище в Ленинграде. Это был Рудольф Нуреев. Некоторое время до приема в общежитие училища он жил в квартире Марины, дочери тети Ани, моей двоюродной сестры (о существовании которой я в те времена даже не подозревал. Связи с семьей для меня и матери были все оборваны). А потом – бегство Нуреева на Запад и его фантастическая слава.

Прошли годы и моя двоюродная сестра смогла получить визу и навестить нас в Нью-Йорке. Шел 1978 год. И как раз в то лето проходили в нашем городе гастроли Нуреева. Устроена была встреча его и Марины. Она очень боялась фотографов и всяческих провокаций. Найден был «нейтральный» дом, который принадлежал Наталье Абрамовне Харлей и ее отцу Абраму Рафаиловичу Гурвичу. Встреча Марины с Рудольфом была очень теплой. Среди гостей я увидел вдруг Романа Борисовича – оказывается, они с Гурвичем дружили еще в Париже.

Моя двоюродная сестра, по профессии врач-психиатр, заинтересовала Романа Борисовича – в Советском Союзе в те годы диссидентов сажали в психушки. Марина, однако, была наркологом. В одной из бесед с нею Роман Борисович всё же сказал: «Вы там у себя не говорите, что познакомились со мной, Вам за это могут дать вышку». Марина была шокирована, я ее успокоил: «Он просто старый антикоммунист».

По возвращении в Россию «вышку» Марине за двухмесячное пребывание в капстране, конечно, не дали, но поездка ее вызвала злобу и зависть. В итоге Марина как-то недолго после этого прожила.

Очень приятным было для меня знакомство с Абрамом Рафаиловичем Гурвичем. Старше Гуля на несколько лет, в прошлом – режиссер и коллекционер, он был состоятельным человеком и владел несколькими домами на Лонг-Айленде, части Нью-Йорка. Он пригласил Романа Борисовича и меня погостить у него. Кроме большого дома, на его участке стояло несколько маленьких домиков-бунгало, в одном из который поселился Роман Борисович, а в другом – я. Однажды, проходя мимо домика Романа Борисовича, я увидел, как он, жестикулируя, что-то говорит сам себе. Оказалось, что он наговаривает на диктофон свою книгу «Я унес Россию».

Мне кажется, что три части этой книги – «Россия в Германии», «Россия во Франции» и «Россия в Америке» – лучше всего определяют значение Романа Борисовича Гуля как писателя и публициста. Известно его высказывание из этой трилогии: «...я унес Россию» с собою. Что же значит «унести» с собою свою родину? Это значит унести духовные и культурные ценности и свой язык. Можно, пожалуй, добавить к этому, что ценности, будучи вынесеными за пределы родины, не подвержены тем изменениям, которые там происходят. В случае России это особенно важно – так как давление диктатуры исказило и уничтожило многое, а в русский язык вошел лагерный жаргон, упала культура речи.

Прогрессивная интеллигенция в эмиграции, при всем ее многообразии, не отказалась от России и с живым интересом, хотя и с горечью, следила за всем, что там происходило. К этой части эмигрантов принадлежал и Роман Борисович Гуль. Твердые антикоммунистические убеждения сочетались в нем с творческой любознательностью. И эта черта его характера, помимо всех других и более значительных достоинств его как писателя и редактора, мне лично была очень близка.

В заключение скажу – я благодарен судьбе, что встретил в жизни этого замечательного человека, знакомство с которым обогатило меня.

Нью-Йорк

Павел Глушаков

Виктор Некрасов и «идеологическая бдительность»

Неопубликованное письмо 1947 года

В парижском архиве Виктора Платоновича Некрасова хранится любопытный документ – письмо в секретариат Союза советских писателей от 2 августа 1947 года. Казалось бы, сугубо деловое письмо, касающееся взаимоотношений писателя и издательства, представляет собой один из самых ранних примеров противостояния Некрасова официальной власти и «механизму подавления».

Из письма мы узнаем, что даже после прохождения пресловутой издательской редактуры[1] (естественно, что за этой маской скрывалась обычная цензура) автора ожидали и другие, совершенно неожиданные, «сюрпризы» – произвольное вмешательство в уже вычитанный в верстке текст. Вмешательство это было анонимным, а потому совершенно исключало возможность поиска справедливости, поэтому публикуемое ниже письмо писателя в «вышестоящие органы» представляется, на первый взгляд, эмоциональным актом отчаяния. Нелишне напомнить, что повесть «В окопах Сталинграда» уже была отвергнута издательством «Советский писатель», куда ее рекомендовал Александр Твардовский. Только после выхода журнального варианта повести (и последующего книжного издания в «Московском рабочем») книга была принята в главном издательстве советских писателей.

В июне этого же 1947 года повесть получила Сталинскую премию второй степени: теперь у Некрасова появились резонные основания считать, что он мог бы побороться за свой текст, избавить его от навязанных искажений[2]. В этом деле ему поможет и чудом пробившаяся к читателю доброжелательная критика Андрея Платонова, специально остановившегося именно на тех нравственных вопросах повести, которые и подверглись резекции и изменениям в издательстве «Советский писатель»: «...укажем еще на одно драгоценное значение книги Некрасова. Советские люди, действующие в ней, воюют, погибают и побеждают, но нравственно не разрушаются, под любым огнем они не содрогаются от отчаяния. Они не хотели войны, они были рождены и воспитаны для создания нового мира, но раз уж война случилась, то в наших людях открылась волшебная сила, использующая и самое войну для воспитания себя в стойкости, в труде и в подви-

ге, для нового познания мира. И еще одно достоинство книги Некрасова: в ней показано сознательное, творческое отношение нашего народа к минувшей войне, потому что народ понял: разрушение германского фашизма есть необходимая работа и долг нашей страны перед всемирной историей и перед человечеством»[3].

Именно на защиту этого *драгоценного* качества и встал Виктор Некрасов. Текст его письма написан спокойным, деловым тоном: короткие предложения и примеры. Автор не просит (эта роль будет совершенно чужда Некрасову на протяжении всей его жизни), он констатирует факты. Вопросы, поставленные в письме, носят, скорее, неэмоциональный характер риторического восклицания, – они почти ироничны; благодаря этим вопросам неизвестный исказитель текста повести видится неумелым и недалеким ремесленником, а его идеологическая бдительность предстает ничтожной и вредной даже в глазах самих «вышестоящих органов».

Письмо публикуется в соответствии с современной орфографией и пунктуацией по оригиналу (машинопись с авторской правкой шариковой ручкой), хранящемуся в архиве В. П. Некрасова, с разрешения наследника писателя В. Л. Кондырева.

---

1. В одном из первых печатных откликов на повесть критик А. Макаров уже призывал к большему давлению редактуры, в том числе, и на произведение Некрасова (именуемое здесь романом): «Читая роман, мы чувствуем недостаточную идейность автора, отсутствие у него научного, сложившегося мировоззрения. <...> Редакторы и критика несомненно повинны в том, что многие заблуждения и ошибки молодежи не были своевременно исправлены» (*Макаров А.* Рожденные в битве // Литературная газета, 28 декабря 1946, № 52 (2315). – С. 2). Как можно убедиться, издательство «Советский писатель» и «редакторы» текста Некрасова в некотором роде следовали руководящим указаниям центральной прессы.

2. В заметке, опубликованной спустя десять дней после постановления о премиях, Некрасов чувствует себя более чем уверенно, говорит о своих творческих планах: «Мысль написать повесть про Сталинград родилась у меня еще в армии. Родилась, правда, не в самом Сталинграде – там просто не было времени об этом думать, – а через год, в резерве, незадолго до начала Никопольской операции. Но в резерве мне удалось написать только шесть страниц. Началось наступление. Продолжить писать удалось только через полтора года – в Киевском Окружном госпитале, в конце 1944 года. Записок и дневников никаких на фронте я, конечно, не вел. Попробовал еще в самом начале войны, но мне показалось это занятие нудным и напрасным, и я бросил. Персонажи повести в основном взяты из жизни – хотя с некоторыми из них судьба столкнула меня уже после Сталинграда. <...> / Сейчас я работаю над пьесой. До войны я достаточно долгое время работал в театре. Полюбил его. Вот и захотелось попробовать свои силы в этом, на мой взгляд, наиболее трудном литературном жанре. / Тема пьесы... Тяжело сказать. В общих чертах – это пьеса про тех же офицеров, что и ‘В око-

пах Сталинграда', только без погонов» (*Некрасов В.* Моя работа над повестью «В окопах Сталинграда» // Радянське мистецтво, 18 июня 1947, № 25 (115). – С. 2, на укр. яз.).
3. *Платонов Андрей.* В окопах Сталинграда // Огонек. 1947, № 21. – С. 24.

ПИСЬМО В. П. НЕКРАСОВА

2 августа 1947 года

В СЕКРЕТАРИАТ ССП[1]

В начале этого года издательством «Советский писатель» была выпущена моя книга «В окопах Сталинграда». Редактировал ее тов. Смирнов[2]. В декабре прошлого года мною была прочитана и одобрена верстка книги, после чего я уехал в Киев. Теперь книга вышла в свет. К своему величайшему удивлению, прочитав ее сейчас, я увидел, что в ней произведены без моего ведома и разрешения изменения, которые самым грубым образом искажают содержание книги.

Я не говорю уже о большом количестве корректорских опечаток и редакторских небрежностей <...>[3]

Конечно, очень обидно, что они есть. Но в конце концов они говорят только о неряшливости редакторской и корректорской работы. И по поводу них я не обращался бы в секретариат ССП.

Возмущает же меня другое.

Есть в повести некто Георгий Акимович – инженер-электрик Тракторного завода. Это честный, добросовестный, энергичный и смелый человек. Но, к сожалению, слишком остро и односторонне воспринимающий наши неудачи на фронтах. Он, как всякий советский человек, хочет нашей победы и делает всё, от него зависящее, чтобы она пришла. Но в душе своей не верит в нее. Он загипнотизирован мощью и внешней организованностью немецкой армии. Такие люди были, и о них-то я и говорил, выводя Георгия Акимовича.

Он говорит (стр. 81):

«Мы будем воевать до последнего солдата. Русские всегда так воюют. Но шансов у нас все-таки мало. Нас сможет спасти только чудо. Иначе нас задавят. Задавят организованностью и танками».

И вот эта-то фраза в издательстве кого-то (кого я, к сожалению, не знаю) испугала. Ее решили изменить. И как изменить! В тексте издания «Советский писатель» мы видим:

«Мы будем воевать до последнего солдата. Русские всегда так воюют… Мы все-таки победим».

Что это значит? Последняя фраза Георгия Акимовича совершенно не вытекает из всего говоренного им раньше.

Именно отталкиваясь от этой мысли Георгия Акимовича о «чуде», герой

повести Керженцев вспоминает, как он видел каких-то ночью шедших на передовую бойцов – спокойных, уверенных, тихо поющих песню на привале.

«...в песне той, в тех простых словах о земле, жирной, как масло, о хлебах, с головой закрывающих тебя, было что-то... я даже не знаю, как это назвать. Толстой называл это скрытой теплотой патриотизма. Возможно, это самое правильное определение. Возможно, это и есть то чудо, которого так ждет Георгий Акимович, чудо, более сильное, чем немецкая организованность и танки с черными крестами».

В тексте «Советского писателя» (стр. 82) эта последняя фраза звучит так:

«А у советского народа есть то, что сильнее немецкой организованности и танков с черными крестами».

Что – «то»? Ничего не понятно. Что-то, по-видимому, противопоставляемое этой скрытой теплоте патриотизма. Но что? Чепуха какая-то.

Но самое нелепое и возмутительное в этом самовольном жонглировании текстом – это то, что отдельные фразы переделывались без всякой связи с последующим развитием повести. На странице 83 Георгий Акимович, прощаясь с Керженцевым, говорит:

«Надеюсь, всё, что я пытался вам доказать, никогда не сбудется».

Но ведь он двумя страницами раньше говорил: «Мы все-таки победим».

Как это понимать?

По милости издательства Георгий Акимович превратился в какого-то рассеянного идиота или просто в подозрительного двуличного болтуна.

Смею Вас заверить, что у автора ни одной минуты не было желания делать его таким. Почему явилось такое странное желание у работников издательства – трудно объяснить. Непонятно также и то, почему, внося такие изменения в книгу, издательство не сочло нужным поставить о них в известность автора. Все-таки ответственность перед читателем несет в первую очередь автор. И никто не давал права издательству так грубо и безграмотно искажать замысел автора.

В. Некрасов

---

1. В правом верхнем углу карандашная надпись: *«т. Ярцеву. Прошу ознакомиться и вернуть мне. 5. VIII. С. Смирнов»*. Георгий Алексеевич Ярцев (1904–1955) – директор издательства «Советский писатель».

2. Сергей Сергеевич Смирнов (1915–1976) – писатель, редактор.

3. Далее перечислены номера страниц.

Публикация – П. Глушаков

Памяти Евгения Витковского
1950–2020

Очень трудно сказать, кем был этот удивительный человек. Один из самых блестящих и талантливых переводчиков в истории русской литературы? Безусловно. Настоящий поэт? Конечно. Писатель-фантаст, чьи удивительные романы неоднократно выдвигались на премии имени братьев Стругацких? Естественно. Составитель поэтических антологий, вошедших в золотой фонд не только российской, но и мировой культуры? Да, и всё будет мало, чтобы охарактеризовать Евгения Витковского, титана, энциклопедиста, словно вышедшего из эпохи Возрождения.

Потомок обрусевших немцев, он в детстве жил в Сибири, Средней Азии, школу закончил в Каменец-Подольске. С блеском поступив на совершенно недоступный исторический факультет МГУ, очень быстро оттуда вылетел – слишком не гармонировал его свободолюбивый характер с царившими тогда нравами. Впрочем, подобно Иосифу Бродскому, отсутствие диплома совершенно не смущало его.

Если поставить в ряд подготовленные им книги, то их наберется, наверное, несколько шкафов. Антологии переводов на русский немецкой, французской, голландской, португальской, английской поэзии. Издания Уайльда, Блейка, Киплинга, Рильке, Камоэнса, Поля Валери, Бодлера, нидерландского гения Й. ван ден Вондела, К. Хейгенса, многих, многих других. Классическое собрание переводов шотландской поэзии, в том числе и с редкого гэльского языка. А еще Витковский умудрился выучить и переводить с африкаанас (диалекта южноафриканских буров). За свои немыслимые достижения в деле приобщения России к мировой литературе Евгений Владимирович был удостоен Премии «Серебрянный век» и Золотой медали имени Константина Бальмонта. Именно им был создан сайт «Век перевода» и издана классическая антология переводчиков «Строфы века-2».

Однако, при всем огромном масштабе сделанного Евгением Витковским для открытия поэзии мира, читателям «Нового Журнала» имя его дорого прежде всего его вкладом в сохранение и изучение наследия эмиграции.

«Новый Журнал» всегда был, да и остается, символом свободной русской мысли. Прежде всего – наследия изгнания. На страницах журнала публиковались произведения авторов, которые в советские годы не могли быть изданы в СССР. И в возвращении России этого огромного пласта культуры роль Витковского огромна.

В самые трудные времена он умудрялся вести переписку с поэтами русского изгнания – Иваном Елагиным, Дмитрием Кленовским, Юрием

Терапиано, свои стихи ему посвящал Валерий Перелешин. И, когда сменилось время, именно Евгений Владимирович взвалил на себя неподъемную ношу возвращения в Россию поэзии русской эмиграции.

Прежде всего, это четырехтомник «Мы жили тогда на планете другой…», увидевший свет в издательстве «Московский рабочий». Фундаментальная антология поэтов русской эмиграции XX века. От мэтров Серебрянного века до поэтов третьей волны и тех, кто уезжал в нач. 1980-х. Но, мне кажется, особенно заслуга Витковского велика в возвращении поэзии второй волны. Тех, кто был угнан немцами на работы с оккупированных территорий, кто попал в плен, кто в лагерях перемещенных лиц ждал своей участи. Тех, кого очень долго и абсолютно голословно считали на родине предателями. Их пронзительные стихи, и особенно голос Ивана Елагина, дошли до нас на страницах этой антологии.

С Елагиным Витковского связывала большая дружба, хотя они лично так и не встретились. Уже после кончины поэта Витковский подготовил и написал прекрасное предисловие к двухтомнику произведений Ивана Елагина, вышедшего в московском издательстве «Согласие». Там же увидел свет трехтомник стихов и прозы гениального мастера поэзии русского Парижа Георгия Иванова, подготовленный вместе с Вадимом Крейдом, тогда гл. редактором НЖ. Эти книги стали эпохой не только в возвращении литературы российского изгнания, но и в нашей культуре. Слишком мощным было появление произведений такого масштаба.

С именем Витковского связано и обретение наследия другого выдающегося поэта эмиграции – Арсения Несмелова. Евгений Владимирович вместе с А. Ревоненко подготовил книгу стихов этого «короля» поэзии русского Дальнего Востока «Без Москвы, без России». А через несколько лет в содружестве с А. Колесовым и Ли Мэн издал двухтомник Несмелова во Владивостоке.

И, конечно, огромная поэтическая антология XX столетия «Строфы века», подготовленная Евгением Евтушенко, не появилась бы без участия Витковского. Его невероятные знания позволили Евтушенко включить в антологию сотни имен, многие из которых стали подлинными открытиями для современного читателя.

Да и само общение с Витковским каждый раз становилось событием. Он говорил мощно, как-то монументально и, в то же время, ярко и легко, – так же, как и писал. От его статей, посвященных иногда довольно сложным темам, оторваться просто невозможно. И, я думаю, многие, знавшие его, помнят, как какая-то детская улыбка, абсолютно искренняя, в чем-то даже наивная, интонация сопровождали его восхищение той или иной находкой или удачно подобранным словом.

Светлая Вам память, Евгений Владимирович…

Виктор Леонидов

ОБ АВТОРАХ

АМУРСКИЙ Виталий (1944, Москва). Поэт, эссеист, журналист. Окончил филологический ф-т МОПИ, позднее – Сорбонну. Публиковался в журналах «Континент», «Вестник РХД», «Футурум АРТ», «Мосты», «Грани» и др.; на французском языке – в журналах «Europe», «Magazine littéraire», «Lettre Internationale». Более двадцати лет проработал в русской редакции Международного французского радио. Автор книг «Памяти Тишинки», «Запечатленные голоса», «Тень маятника и другие тени», поэтических сборников: «СловЛарь», «Трамвай ‘А’», «Tempora mea», «Серебро ночи», «Земными путями», «Слушая ветер» и др. С 1973 г. живет во Франции.

БАЗАНОВ Петр Николаевич (1969). Доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры. Историк, специалист по истории русской зарубежной печати, истории второй волны эмиграции, деятельности политических организаций в Зарубежье. Автор многочисленных научных статей и книг о русской эмиграции, среди них: «‘Петропольский Тацит’ в изгнании: жизнь и творчество русского историка Николая Ульянова», «Братство Русской Правды – самая загадочная организация Русского Зарубежья», «‘Дипийские’ книги, издательства и периодика русских эмигрантов (1945–1951 гг.)» и др.

БОБЫШЕВ Дмитрий Васильевич (1936, Мариуполь). Поэт, переводчик, литературовед. Окончил Ленинградский технологический институт (1959). Публиковался в Самиздате. В 1960-е гг. входил в ближайший круг молодых друзей Анны Ахматовой. В США с 1979 г., профессор Славянского отделения Иллинойского университета. Автор поэтических сборников: «Зияния», «Звери святого Антония. Бестиарий» (совм. с М. Шемякиным), «Полнота всего», «Ангелы и Силы», «Ода воздухоплаванию: Стихи последних лет», «Чувство огромности», и др., мемуарной прозы «Я здесь» и «Автопортрет в лицах» («Человекотекст» в 2-х тт.). Стихи и статьи печатались в «РМ», «Гранях», «Вестнике РХД», «Континенте», «Синтаксисе», «Знамени» и др.

ГАНДЕЛЬСМАН Владимир Аркадьевич (1948, Ленинград). Поэт, эссеист, переводчик. С 1990 г. живет в США. Автор более 10 книг стихов, среди них «Шум Земли», «Чередования», роман в стихах «Там на Неве дом», «Каменный остров», «Ода одуванчику», «Ладейный эндшпиль», «Читающий расписание», «Разум слов», «Глассические стопки», «В чуть видимом прочесть», «Видение. Избранное» (2019) и др. Обладатель премии им. Осипа Мандельштама. Автор переводов современной американской поэзии. Лауреат премии «Anthologia», «Русской премии». В 2011 году за книгу «Ода одуванчику» удостоен премии «Московский счет».

ГАРБЕР Марина. Поэт, эссеист. Родилась в Киеве. В США с 1989 года. Магистр искусств, преподаватель английского, итальянского и русского языков. Автор поэтических сборников, в том числе «Между тобой и морем», «Каждый в своем раю», а также книги прозы «Повесть о кофе». Публиковалась в ж. «Звезда», «Знамя», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Литеrrатура», «Нева», и др. Лауреат премии им. Хемингуэя за 2019 год (Канада).

ГЕЛЬБАХ Игорь (1943, Самарканд). Прозаик. Окончил физический факультет Тбилисского университета. Автор книг прозы «Признания глиняного человека», «Утерянный Блюм», «Показания Цаплина», «Очертания Грузии», «Музейная крыса» (2018), др.; две книги переведены на английский язык. Номинирован на «Русского Букера» в 1994, шорт-лист премии Андрея Белого (2004), лауреат премии им. Марка Алданова за лучшую повесть Русского Зарубежья (2012). Живет в Израиле.

ГЕРРА Ренэ. Доктор филологических наук Парижского университета, литературовед, издатель, собиратель и исследователь культурного наследия Зарубежной России. Основатель издательства «Альбатрос» (Франция); выпустил более 40 книг писателей первой и второй волн русской эмиграции. Автор, соавтор или составитель многочисленных книг о писателях и художниках-эмигрантах, в т. ч.: на фр. – о С. Шаршуне, Б. Григорьеве, Б. Зайцеве, Н. Калмакове; «Русское искусство в изгнании в Париже 1920–1970»; «Русское искусство в изгнании во Франции 1920–1970»; на русск.: «Русские художники-эмигранты во Франции 1920–1970»; «Они унесли с собой Россию…»; «Младшее поколение писателей Русского Зарубежья»; «Культурное наследие Зарубежной России» (2020) и др. Автор более 400 научных и публицистических статей по культуре русской эмиграции. Президент-основатель Общества по сохранению русского культурного наследия во Франции. Почетный член Российской академии художеств, лауреат Царскосельской художественной премии, Литературной премии им. Антона Дельвига и др.

ГЛУШАКОВ Павел Сергеевич (1976). Литературовед, доктор филологических наук. Специалист по истории русской литературы XX века. Публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы», «НЛО» и др. Автор книг: «Шукшин и другие» (2018), «Мотив – структура – сюжет» (2020). Живет в Риге.

ГОЛЛЕРБАХ Сергей Львович (1923, Царское Село). Художник, эссеист; академик Американской академии дизайна. Во время войны был вывезен на работы в Германию. После войны учился в Мюнхенской академии худо-

жеств. Эмигрировал в США в 1949. Окончил художественный институт Art Student League. Преподавал в американских университетах. Автор многочисленных книг по искусству, а также мемуаристики и сборников эссе, среди них «Нью-Йоркский блокнот», «Вспоминая с улыбкой», «New York on My Mind», «From a Personal Point of View» и др. Живет в Нью-Йорке.

ГРИЦМАН Андрей (Москва). Поэт, эссеист, гл. редактор журнала «Interpoezia». Окончил Первый медицинский институт. В 1998 г. окончил Университет Вермонта, факультет филологии. Публикуется в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Арион», «Вестник Европы», «Сибирские огни» (Россия), «Иерусалимский журнал» (Израиль), «Стетоскоп» (Париж), «Крещатик» (Германия) и др. Автор более десяти книг стихов, среди них: «Ничейная земля», «Двойник», «In Transit» (англ., рум.), «Остров в лесах», «Голоса ветра», «Pisces», «Long Fall» (англ.) и др. Стихи включены в антологию русской зарубежной поэзии «Освобожденный Улисс», в антологии «Crossing Centuries. New Russian Poetry», «Voices from the Frost Place», «Modern Poetry in Translation» (UK). Живет в Нью-Йорке.

ЕВГРАФОВ Геннадий (1950, Москва). Литератор, редактор. Окончил филологический факультет МГПИ. Автор эссе о поэтах и писателях Серебряного века – А. Блоке, И. Бунине, В. Ходасевиче, З. Гиппиус, Л. Зиновьевой-Аннибал и др. Как редактор подготовил к печати книги В. Розанова «Литературные странники», З. Гиппиус «Литературный дневник» (1999), Е. Шварца «Позвонки минувших дней», Д. Самойлова «Перебирая наши даты», Н. Тэффи «Избранное», А. Седых «Далекие, близкие» (2019) и др.

ИВАНОВ Андрей (1971, Таллинн). Писатель. Окончил Таллиннский педагогический университет, филолог-русист; работал сварщиком, дворником и оператором телефонных линий, жил в переселенческих лагерях в Скандинавии. Автор романов «Путешествие Ханумана на Лолланд», «Бизар», «Исповедь лунатика», «Обитатели смиренного кладбища» и др. Лауреат Литературной премии им. Марка Алданова за повесть «Зола», премии эстонского фонда «Капитал культуры», «Русской премии», премии НОС, финалист «Русского Букера». Романы переведены на эст., фин., нем., англ. и фр. языки. Член Союза писателей Эстонии. Живет в Таллинне.

КАПОВИЧ Катя. Двуязычный поэт, переводчик. Автор 9-ти поэтических сборников на русском языке и двух на английском, в том числе «Город неба» (2020). Публиковалась во многих журналах, включая «Знамя», «Новый мир», «Звезда», «Дружба народов», «Воздух», «London Review of Books», «The New Republic», «Harvard Review», «The American Scholar»; в антологиях «Poetry-180» и «Best American Poetry». Книга «Gogol in Rome»

получила премию Библиотеки Конгресса (США) в 2001. В 2007 г. получила стипендию Амхерстского университета «За мастерство в литературе». Лауреат «Русской премии». Участник 10 международных поэтических фестивалей в Лондоне, Роттердаме, Москве, Париже, Осло и др. Живет в США.

КАЦОВ Геннадий (1956, Евпатория). Поэт, журналист. Окончил Николаевский кораблестроительный институт. С 1989 года живет в США. В 1989–91 гг. вел передачи по культуре в программе «Поверх барьеров» на радио «Свобода». С 2010 г. – владелец и гл. редактор портала RUNYweb.com; также работает на телевидении RTN/WMNB. Автор книг «Притяжение Дзэн», «Словосфера», «Меж потолком и полом», «25 лет с правом переписки», «Три ‘Ц’ и Верлибрарий», «Нью-йоркский букварь» (2018) и др. Живет в Нью-Йорке.

КЕНЖЕЕВ Бахыт (1950, Чикмент). Поэт, переводчик, эссеист. Окончил химический факультет МГУ. Соорганизатор группы независимых поэтов и участник самиздатовского альманаха «Московское время» (1975). Эмигрировал в 1982 году. Автор более 20 книг стихов, в их числе «Избранная лирика. 1970–1981», «Осень в Америке», «Снящаяся утром» и др.; книги прозы «Золото гоблинов». Лауреат многочисленных литературных премий, среди них – Анти-Букер, «Русская премия». Печатается в ж. «Знамя», «Октябрь», «Новый мир» и др. Стихи переводились на англ., нем., фр. языки. Член Русского Пен-центра. Живет в Нью-Йорке.

КОГАН Евгений (1974, Ленинград). Поэт, прозаик, журналист, редактор. Автор поэтического сборника «Моя королева» и четырех книг прозы, в том числе «Мы придем еще. Личная история ‘Болотного дела’»; автор и составитель книги «Слеза социализма. Дом забытых писателей» о неизвестной ленинградской литературе 1930-х. С 2015 года живет в Израиле. Совладелец издательства, книжного магазина и клуба «Бабель» (Тель-Авив).

КЛИМОВ Алексей Евгеньевич (1939, Рига). Литературовед. Потомок эмигрантов первой волны. Окончил Мичиганский университет (магистерская под руководством проф. Н. П. Полторацкого), Йельский унитерситет (докторская); преподавал русский язык и литературу в американских университетах. Почетный профессор Vassar College (США). Темы публикаций: творчество Вяч. Иванова, А. Солженицына, И. Ильина, о. Георгия Флоровского. Последний председать РАГ в США. Среди книг:: «The Soul and Barbed Wire: An Introduction to Solzhenitsyn» (в соавторстве с Э. Эриксоном)., «Alexander Solzhenitsyn Speaks to the West» и др.

КУЛЕН Елена (1964, Архангельск). Историк культуры, переводчик. Окончила историко-филологический факультет Северного университета (Архангельск), Институт Восточной Европы при Свободном Университете Берлина (Freie Universität). Работает в качестве историка-слависта в рамках научного исследования о русских Ди-Пи в послевоенной Баварии.

ЛЕОНИДОВ Виктор Владимирович (1959, Москва). Критик, исследователь истории Русского Зарубежья. Окончил Историко-архивный институт, кандидат исторических наук. Автор-составитель нескольких книг поэтов Русского Зарубежья и многочисленных статей по проблемам наследия русской эмиграции. Один из организаторов Архива-библиотеки Российского ФК.

ЛЮБИМОВ Андрей Алексеевич (1959, пос. Каменка, Ивановская обл.). Историк, краевед. С 1992 г. живет в США. Исследователь жизни и творчества писателя второй волны Сергея Максимова. Печатается в периодических изданиях Русского Зарубежья. Работает администратором библиотеки Духовной семинарии при Св.-Троицком мужском монастыре в Джордан-вилле. Выпускающий редактор газеты-журнала «Православная Русь».

МАТИЧ Ольга (1940, Любляна). Литературовед, культуролог. Специалист по русской литературе, профессор Калифорнийского университета в Беркли. Автор книг «Petersburg/Petersburg: Novel and City, 1900–1921», «Эротическая утопия. Новое религиозное сознание и fin de siecle в России» (доп.: «Erotic Utopia: The Decadent Imagination in Russia's Fin de Siècle»), «Записки русской американки» (2016) и др.; сайта «Mapping Petersburg», многих публикаций в американских и российских журналах.

МАШИНСКАЯ Ирина (1958, Москва). Поэт. Окончила географический факультет и аспирантуру МГУ. Эмигрировала в 1991. С 1992 публикуется в периодике США, Франции и России. Редактор литературно-художественного журнала «Стороны света». Автор семи поэтических сборников, в их числе «Волк: Избранные стихотворения». Живет в США.

МИХАЙЛОВА Мария Викторовна. Доктор филологических наук, профессор кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса, филологический факультет, МГУ.

НАЗАРОВА Анастасия Викторовна. Кандидат филологических наук, преподаватель кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса, филологический факультет, МГУ.

ЦВЕТКОВ Алексей (1947, Ивано-Франковск). Поэт, прозаик, эссеист, кри-

тик и переводчик. Учился на химическом факультете Одесского университета, на ф-тах журналистики и историческом в МГУ. Соорганизатор группы независимых поэтов и участник самиздатовского альманаха «Московское время». Автор двух десятков книг, в их числе «Все это, или Это все. Собрание стихотворений в 2-х томах». В 1975 эмигрировал в США. Лауреат премии Андрея Белого и «Русской премии». Последние годы живет в Израиле.

ХАНАН Владимир (Ханан Иосифович Бабинский. 1945, Ереван). Поэт, прозаик, драматург, принадлежал к питерскому андеграунду. Окончил Ленинградский университет, исторический ф-т. Печатался в США, Англии, Франции, ФРГ, Австрии, Литве, Израиле и т. д. Автор 14 книг, среди них «Однодневный гость», «Аура факта», «Неопределенный артикль», «Вверх по лестнице, ведущей на подоконник», «Осенние мотивы Столицы и Провинций», «И возвращается ветер...» (сборник статей), а также трехтомника «Избранного». Эмигрировал в Израиль в 1996. Живет в Иерусалиме.

ЯСЬКОВ Владимир (1957, Винницкая обл., Украина). Поэт, прозаик. Окончил Харьковский университет. Работал инженером-химиком, сторожем, научным сотрудником литмузея, редактором. Пишет на русском и украинском языках. Публиковался в ж. «Волга», «Звезда», «Новый берег», «Интерпоэзия» и др., в антологиях и сборниках. Живет в Харькове.

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:
Patron: The Tcherepnine Society, Mr. P. Tcherepnine; Russian Nobility Association in America;
Sponsors: American-Russian Aid Association "Otrada"; Mr. S. Hollerbach; Eli & Ludmila Flam Living Trust; Mr. A.Nemirovsky; Mr. & Mrs. A.Petrov;
Fellows: Mr. G. Glinka; Mr. & Mrs. J. Vulfin;
Friends: Mr. & Mrs. M. Averbuch; Mr. & Mrs. G. Golovin; Mr. A.Gritsman, Ms. N. Kossman, Mr. A.Moussaïan; Ms. C. Raeff.

It requires the support of loyal friends for year 2020:

Patron – $ 5,000 and up
Benefactor – $ 2,000 and up
Sponsor – $ 1,000 and up
Fellow – $ 500 and up
Friend – $ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW
1216 Broadway, 2nd floor
New York, NY 10001

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61
Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421
Париж, Франция: Виталий Амурский: vitaly.amoursky@ gmail.com
Израиль: Марина Кособок-Полонски: Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2
Магазин «Фаланстер»: Москва, Тверская 17; тел.: 7+495-629-88-21
Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France
RBC Video / Bukinist: 269 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY, USA
Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel;+972 55 968 24 16
на сайте журнала через PayPal (кнопка: Подписка)

Вы можете оформить электронную подписку на журнал. Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (кнопка: Подписка)

Новый Журнал
THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2020

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):
для университетов и организаций
в США – $ 150.00, за границу – $ 200.00
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка
(4 книги, включая пересылку):
в США – $ 80.00, за границу – $ 120.00

Цена отдельного номера – $ 16.00
дополнительно за пересылку:
в США – $ 7.00, за границу – $ 25.00

E-access на год – $ 185.00

Комбинированная подписка на год
(E-access и 4 журнала)
в США – $ 320.00
за границу – $ 360.00
(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте
www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:
The New Review
1216 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10001

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478
www.newreviewinc.com
newreview@msn.com
newreviewworld@gmail.com